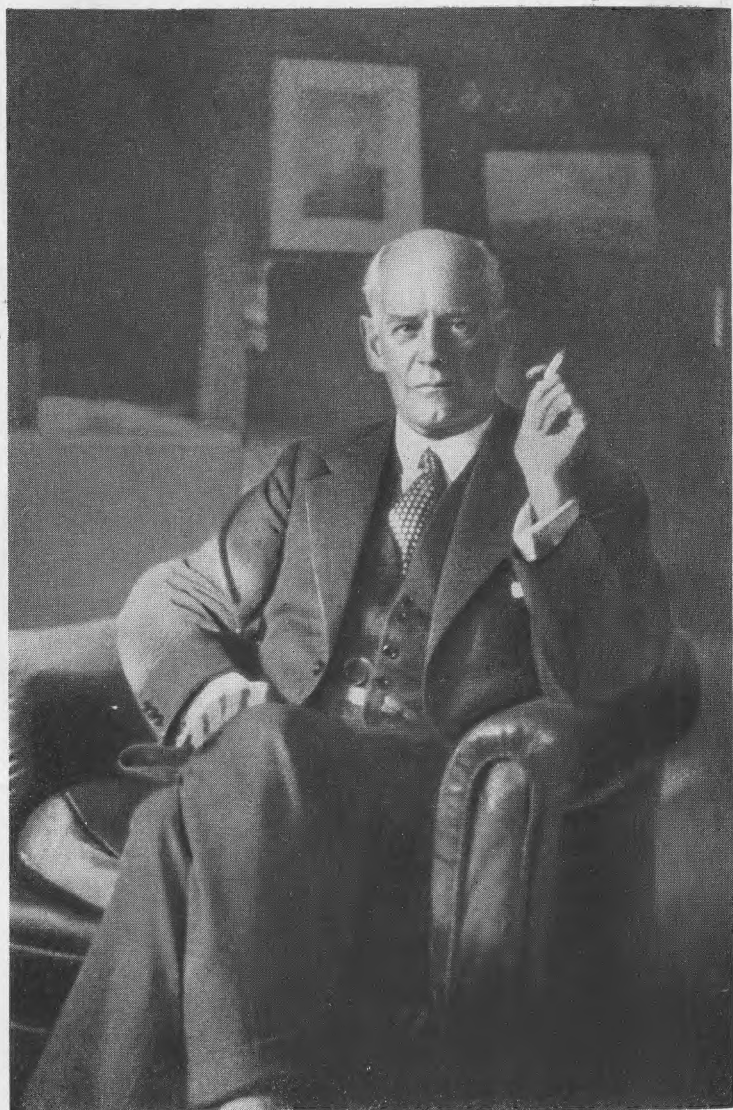


ДЖОН
ГОЛСУОРСИ



ДЖОН
ГОЛСУОРСИ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТНАДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ 1

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» • МОСКВА • 1962

Перевод с английского
под редакцией
М. Л о р и е.

Вступительная статья
Д. Ж а н т и е в о й.

ДЖОН ГОЛСУОРСИ

(1867—1933)

«Размышления о нашей нелюбви к вещам как они есть» — так назвал Джон Голсуорси статью, написанную им в начале его творческого пути. Протестуя против фарисейских запретов и условностей, сковывающих английскую литературу, он утверждал, что долг художника — изображать подлинную жизнь. Эта мысль была девизом нескольких поколений английских реалистов, которым приходилось бороться за право изображать «вещи как они есть», за право ставить в романе острые социальные проблемы своего времени. История этой борьбы отмечена не только победами, но порой и компромиссами и поражениями. Для того, чтобы понять необходимость такой борьбы в начале XX века, когда Голсуорси стал писателем, нужно представить себе атмосферу, которая царила в это время в английской литературе.

На «литературном климате» Англии сказался духовный кризис, который переживала буржуазная культура конца XIX — начала XX века. Сошли со сцены великие английские реалисты «блестящей плеяды», немногим их последователям приходилось противостоять все усиливающимся антиреалистическим, декадентским течениям. Буржуазные критики поддерживали тех, кто, как Киплинг, прославлял британский империализм. Многие из них благоволили к писателям-эстетам, призывавшим литературу к уходу в мир «чистого искусства». Велик был также удельный вес литературы, рассчитанной на требования книжного рынка, романов с захватывающей фабулой и «счастливым концом». Авторы этих романов, обходя острые углы, удовлетворяли давно укоренившемуся в английских издательствах требованию не касаться мрачных сторон действительности. Как писал позднее Голсуорси в статье «Кредо романиста», это требование выдвигала «критическая школа, которая стремится свести круг сюжетов в романе к то-

му, что желательно дать в руки молодой девице,— критическая школа, уже давно воплощенная в образе Подснепа».

Не случайно вспомнил Голсуорси мистера Подснепа из романа Диккенса «Наш общий друг» — самодовольного английского буржуа, убежденного в превосходстве всего английского, стремящегося навязать пуританские требования литературе. Мир диккенсовских образов — родной мир для Голсуорси. Плодотворным для его творчества оказалось стремление следовать традициям критического реализма Диккенса и других английских классиков. Это было несколько необычно в то время, когда выступившие на авансцену эстеты требовали от литературы «бесстрастности» и ополчались на писателей, выражавших ненависть к социальному злу. В предисловии к «Холодному дому» Диккенса, написанном в 1912 году, Голсуорси, восставая против «бесстрастности» эстетов, говорил о том, какой резкий контраст их установкам представляет собой творчество Диккенса, который ненавидел подлость и жестокость всей силой своего благородного сердца. Подлость и жестокость в их новом обличье Голсуорси видел и в современной ему Англии.

Голсуорси вошел в литературу в начале XX века, в период, когда ширилась в стране оппозиция политике империализма, посредством которой Англия пыталась разрешить внутренние противоречия, рос протест рабочего класса против своего положения «другой нации».

Истинную суть британской внешней политики раскрыла Джону Голсуорси позорная для Англии война с бурами 1899—1902 годов, вызвавшая в нем возмущение. Война заставила его также яснее увидеть несправедливость господствующего в Англии правопорядка. Чувство ответственности перед обществом становится основным качеством Голсуорси-писателя. Этим он близок к Герберту Уэллсу, почти ровеснику его, несколько ранее вошедшему в литературу, и к их старшему современнику Бернарду Шоу. Как и эти писатели, Голсуорси содействовал становлению критического реализма XX века, стремился поднять роль литературы, призванной, по его убеждению, быть средством глубокого осмысления жизни и критики социальных институтов своего времени, носителем гуманных идей.

Заслуга Голсуорси, выдвинувшего такое понимание задач литературы, станет тем более очевидной, если вспомнить, что он отнюдь не был подготовлен к этому своим воспитанием, средой, в которой он вырос. В ответ на запрос издателя одного журнала о том, как он стал писателем, Голсуорси сообщал, что до 28-летнего возраста, когда он начал пробовать свои силы в литературе, он «не воспринимал литературу всерьез», что, будучи «воспитан в английской закрытой школе и университете, питал склонность к спорту и путешествиям, имел небольшой самостоятельный доход и был непрактикующим адвокатом». Из других высказываний Голсуорси и из его произведений мы знаем, что в английской привилегированной школе и привилегированном университете, в данном случае Оксфордском, готовили «джентльменов», которые должны были смотреть на жизнь сквозь призму своего положения в обществе, мыслить стандартно и подавлять в себе все эмоции,

связанные с восприятием подлинного искусства, ибо они объявлены «сентиментальностью».

Как же отзывался сам Голсуорси о своих первых литературных опытах? Рассказы сборника «Под четырьмя ветрами» (1897), возникшие в результате его кругосветного путешествия, он считал экстравагантными по тематике, лишенными глубины чувства, философской мысли, темперамента. В процессе работы над романом «Джослин» (1898) он, по его словам, стал постигать то, что называют «ощущением характера», но, говорит он, роман был плох, нельзя было сказать, что он «написан». Вскоре после выхода этих вещей, не имевших успеха, Голсуорси начал читать Тургенева и Мопассана. «Это,— отмечал он,— были первые писатели, которые сразу же возбудили во мне подлинное эстетическое волнение и открыли мне глаза на то, что значит чувство пропорций в трактовке темы и экономия слов. Вдохновленный ими, я начал второй роман — «Виллу Рубейн». Он больше приближался к подлинному роману, в нем чувствовалась атмосфера и были соблюдены пропорции, но и он все же не был «написан».

В романе «Вилла Рубейн» (1900) впервые затронута важная для Голсуорси тема — противопоставление искусства, в котором писатель видел животворную, преобразующую силу, дух свободы, нравам общества, чуждого свободной творческой мысли, живущего по омертвелым традициям. Наиболее удался автору образ Никола Трефри. Его внучка ломает традиции семьи, уходит из дому с художником Гарцем, мятежным человеком, появление которого нарушает устоявшийся уклад жизни на вилле Рубейн.

В основных ситуациях, в трактовке образов романа чувствуется влияние Тургенева, атмосфера «Дворянского гнезда», отчасти «Рудина». По свидетельству друзей Голсуорси, русский писатель оказал на него глубокое духовное воздействие. Сам Голсуорси вспоминал в предисловии к «Холодному дому», что Тургенев овладел его умом и душой, когда он впервые познакомился с ним. Позднее он писал, что видит между ним и Диккенсом следующие точки соприкосновения: глубокое понимание человеческой натуры, глубокий интерес к жизни, глубокую ненависть к жестокости и обману. Изучение Тургенева помогло Голсуорси увидеть, как подлинный писатель подходит к жизни, помогло различить основные силы, действующие в обществе, выразить их через характеры.

Вышедший через год после «Виллы Рубейн» сборник рассказов «Человек из Девона» доставил писателю, по его словам, большее удовлетворение, чем предыдущие вещи, хотя он полагал, что и эти рассказы еще нельзя было считать «написанными». Через несколько лет он основательно переработал их, так же как и «Виллу Рубейн».

Любовь к родному Девонширу помогла автору придать поэтическую прелесть произведению, давшему название сборнику. В рассказе показаны красота девонширской природы, жизнь обитателей приморской деревни (среди них есть потомки пиратов, сподвижников Дрейка), трагическая история молодой любви.

Примечателен в сборнике рассказ «Спасение Форсайта»; в нем впервые выведен представитель семьи, с которой неразрывно была связана почти вся творческая жизнь Голсуорси. Путешествуя в

молодости по Европе, Суизин Форсайт случайно сталкивается с семьей венгерского революционера Болешке и его друзьями, участниками революции 1848 года в Венгрии. Перед Суизином приоткрывается дверь в совсем иную жизнь; она привлекает своей необычностью и в то же время отталкивает: ведь она противоречит форсайтским нормам! С точки зрения этих норм, неприлична манера открыто и смело выражать свои чувства, да и самые чувства эти так странны. «Свобода, равенство, самопожертвование», — слышать эти слова было «все равно, что смотреть на то, чему нет места при дневном свете». Почему бы им «не заняться каким-нибудь настоящим делом вместо этой болтовни?» Форсайт не в состоянии постигнуть, как можно заниматься тем, что не приносит выгоды. И все же Суизина притягивает семья Болешке, чувство, которое он испытывает к его дочери, похоже на любовь, и, может быть, это единственная подлинная любовь в его жизни. Но форсайтская натура Суизина берет верх: опасаясь, что ему готовят ловушку, чтобы женить его, он обращается в бегство. Суизин спасает свою форсайтскую цельность, но в конце жизни, на смертном одре, он не может отделаться от смутного ощущения, что утратил нечто очень важное.

Позднее Голсуорси писал, что рассказ «Спасение Форсайта» «высвободил сатирика» в нем. И правда, здесь впервые сказался его сатирический дар: Суизин выглядит этаким «Джоном Буллем», исполненным сознания превосходства своей страны и своего класса, презирающим иностранцев. Специфические его черты видны особенно четко при столкновении с людьми иных принципов, иной жизненной философии.

Сатирический метод является основным и в «Острове фарисеев» (1904), самом значительном из всех ранних произведений Голсуорси. По его словам, этому роману предшествовали годы духовного напряжения. Сатира заключается уже в самом заглавии. Голсуорси назвал Англию «островом фарисеев», подчеркивая распространенность фарисейства среди английских правящих классов... Как не вспомнить определение Белинского, который воспринимал это характерное для английского общества свойство как всеобщее тартюфство! Вспоминаются и слова М. Горького: «...английское лицемерие — наилучшее организованное лицемерие...»¹.

В письме к американскому критику У. Л. Фелпсу, автору статьи о Голсуорси, последний опровергал высказанное в статье мнение, будто путешествия помогли ему по-настоящему увидеть Англию. По словам Голсуорси, тут были иные причины; он назвал две из них. С одной стороны, писал он, сыграла роль англо-бурская война, с другой — встреча с бродягой, черты которого получили воплощение в романе «Остров фарисеев» в образе Феррана.

Встреча героя романа Ричарда Шелтона с «деклассированным человеком», выходцем из буржуазной семьи, свободным от всяких условностей, обладающим даром видеть то, что скрыто за фасадом «порядочного общества», — своего рода фермент, возбуждающий в

¹ М. Горький, Собр. соч. в 30 томах, М., Гослитиздат, 1955, т. 29, стр. 399.

Шелтоне мучительную работу мысли². В результате он обретает способность увидеть в новом свете респектабельное общество, к которому он сам принадлежит, переоценить все то, что казалось ему раньше обычным и естественным. Шелтону становится ясной несправедливость порядка, при котором «один обедает на золоте, а другой отыскивает себе обед в помойной яме». Он видит в то же время, что те, кто принадлежит к верхам общества, выдают этот порядок за правомерный и единственно возможный.

Основное определение истоков фарисейства дано в романе устами бывшего актера — одного из обитателей ночлежки, куда Шелтон попадает в поисках Феррана: «Невыгодно добираться до сути вещей!» Шелтон постепенно осознает, что «суть вещей» во всех областях скрыта покровами фарисейства. Оно царит и в сфере колониальной политики (управление Индией, которое приносит Англии большие барыши, именуется великой и благородной миссией), и в сфере религии (служители церкви закрывают глаза на то, что проповедуемые ими правила абстрактной морали вступают в вопиющее противоречие с тяжелым положением бедняков), и в сфере буржуазной семьи (супруги, чуждые друг другу, вынуждены жить вместе, чтобы не нарушать предписанного государством канона о святости брака), и в сфере искусства («романисты в лайковых перчатках» создают литературу, не имеющую ничего общего с жизнью, а драматурги преподносят зрителям «сладкую кашу», превращают театр в «рассадник фальшивых чувств и морали»), и в сфере науки (ученые мужи Оксфорда, накапливающие сведения о вымерших племенах и греческих глаголах, стараются не проникать в «суть вещей», связанных с запросами жизни, знают, «когда и где следует остановиться»). Фарисейство царит и в высшем обществе. Светские люди, стремясь сохранить свое достоинство, как члены правящей касты верны неписаному закону, обязывающему скрывать чувства, помимо тех, что дозволены хорошим тоном; все, что выходит за эти рамки, объявляется «крайностью». «Чувства?! — казалось, говорил всем своим видом собеседник Шелтона. — Чувства! Я родился в Англии и учился в Кембридже...» Старательно оберегая ощущение собственного превосходства, представители высшего общества страшатся «идей» и содержат «свои мысли и мнения в таком порядке, чтобы ничто чуждое не могло неароком затесаться между ними». «Чуждыми» они считают мысли о бедности, преступлениях, несовершенстве законов. Именуя все это «мрачными сторонами жизни», они стараются не видеть их и тем самым как бы объявляют несуществующими. Воздвигнув барьеры между собой и людьми «не своего круга», они снисходят до бедняков лишь постольку, поскольку филантропия является для них одним из средств заполнить досуг, так же как игра в теннис; доброта, не требующая жертв, вызывает у них приятное ощущение, «словно массаж ног».

Человеческая неполноценность, стандартизация мыслей и чувств людей высшего общества, которые представляются Шелтону

² С этим образом Голсуорси не расстаётся и после окончания «Острова фарисеев»: бродяга Ферран фигурирует также в пьесе «Голубь», в рассказах «Мужество», «Вознаграждение», «Простая история».

«слепками с какого-то одного оригинала», становятся особенно ясными, когда он сравнивает их с теми, что «на дне», с обитателями ночлежки. В них он видит подлинную человечность, искренность, способность критически мыслить.

На романе сказался тот факт, что автор стремился охватить как можно больше сторон жизни «острова фарисеев»; ряд его мыслей выражен не через образы, а в форме, приближающейся к публицистической. Сам Голсуорси считал, что роман еще не «отстоялся», что «напиток слишком бурлит, чтобы можно было спокойно разлить его в бутылки». Но именно это «бурление» ненависти к фарисеям и придало силу роману Голсуорси. Как выразился его биограф Г. В. Мэррот, он вонзал стальное оружие иронии и сатиры «в упитанную плоть и ожиревшие души».

Характерные черты персонажей романа выявлены «изнутри», так, как их мог показать человек, который сам принадлежит к этой среде, но поднялся над ней. Именно потому роман этот особенно сильно возмутил буржуазную читающую публику.

Уже в этом раннем произведении Голсуорси проявляется его дар речевых характеристик, получивший развитие в дальнейшем. В этом смысле интересен образ миссис Денант. Вся эгоистическая сущность ее, воспитанное поколениями свойство считаться только со своими интересами выражены в ее речи. Миссис Денант делится с Шелтоном своим огорчением по поводу того, что ее садовник, удрученный потерей жены, стал плохо справляться со своими обязанностями: «Я сделала все, что могла, чтобы подбодрить его, ведь очень грустно видеть его таким подавленным! Ах, дорогой Дик, если бы вы знали, как он калечит мои новые розовые кусты! Боюсь, не сошел бы он с ума; придется мне уволить его, беднягу!» Далее характеристика миссис Денант дается путем так называемой несобственно прямой речи: «Она, конечно, сочувствовала Беньяну, или, вернее, считала, что он вправе погоревать самую малость, поскольку потеря жены — вполне законная и разрешенная церковью причина для скорби. Но впадать в крайности?! Нет, это уже слишком!»

В романе находит действенное применение прием косвенной характеристики через деталь. Чрезвычайно выразительную роль, например, играет рука дорожной спутницы Шелтона — полной дамы с римским профилем. Рука дает представление о том, что ее владелица находится в состоянии презрительного возмущения. Шелтон дал соверен девушке, у которой не было денег на билет, а это противоречит понятиям полной дамы о благопристойности. От «холеной, белой руки веяло необычайным самодовольством и обособленностью; какая-то уверенная праведность в ее изгибе, чопорная жеманность отставленного толстого мизинца — все это приобрело совершенно необъяснимую значимость, словно олицетворение приговора, который вынесли его спутники...»

Снимая один за другим покровы с общества фарисеев, Шелтон подвергает сомнению их право рассматривать мир как свой заповедник и приходит к мысли, что положение, которое занимают они, как и сам он, не более, чем «счастливая случайность». Однако Шелтон не делает последнего, более смелого вывода по поводу системы, порождающей подобные «счастливые случайности».

«Остров фарисеев», в котором дана общая картина буржуазно-аристократической Англии,—своего рода прелюдия к зрелому творчеству Голсуорси, здесь затронуты все волнующие его вопросы современной жизни, которые он рассматривает более пристально в последующих произведениях. В центре романа «Собственник», вышедшего через два года после «Острова фарисеев», стоит проблема семьи — «мощного звена общественной жизни», «точного воспроизведения целого общества в миниатюре». В критике семьи, как цитадели устоев буржуазного общества, Голсуорси шел по пути своих предшественников — Сэмюэля Батлера с его романом «Путь всякой плоти» и Бернарда Шоу, назвавшего буржуазную семью «страшным институтом».

На фоне большинства тех романов, которые выходили в Англии в начале XX века, «Собственник» выделялся остротой поставленной в нем проблемы. Один из младших современников Голсуорси, Комптон Макензи, писал в своих воспоминаниях, что воздействие этой книги на молодых людей его поколения было подобно электрическому току. Есть все основания считать, что роман «Собственник» — высшее творческое достижение Голсуорси. К такому выводу пришел и сам Голсуорси, который в конце своего творческого пути заметил, что он пишет романы с большим удовольствием, чем пьесы, и что «Собственник» — самое любимое его произведение.

Многое в «Собственнике» помогает понять особенности творчества Голсуорси. Показав в этом романе семью Форсайтов в период ее расцвета (80-е годы прошлого века), писатель через нее дал представление о целом классе, по чьим законам идет жизнь в стране. Форсайты — финансисты, рантье, члены акционерных обществ — принадлежат к эпохе империализма, когда Англия, после утраты своей промышленной монополии, стала вывозить накопленные капиталы в отсталые страны. Они потомки английских буржуа времен славы Англии — «мастерской мира». Их портреты могли бы занять место в галерее, где выделяются такие образы Диккенса, как владелец торгового дома Домби, как фабрикант Баундербери. Но в романе Голсуорси мы, пожалуй, впервые в английской литературе находим такой глубокий, последовательный анализ собственнической психологии, проявляющейся во всем, начиная от взгляда Форсайтов на колонии Британской империи и кончая их отношением к своему меню.

Представление о непосредственной связи между эксплуатацией природных богатств в британских колониях и обогащением Форсайтов дается в одной из первых глав романа. Николасу Форсайту посчастливилось в этот день осуществить свой план использования на Цейлонских золотых приисках одного племени из Верхней Индии. «Добыча на его приисках удвоится, а опыт показывает, как Николас постоянно твердил, что каждый человек должен умереть, и умрет ли он дряхлым стариком у себя на родине или молодым от сырости на дне рудника в чужой стране, это, конечно, не имеет большого значения, принимая во внимание тот факт, что перемена в его образе жизни пойдет на пользу Британской империи».

Автор находит наиболее выразительные средства для раскрытия форсайтизма как распространенного социального явления (Гол-

суорси подчеркивает, что форсайтизм не ограничивается рамками одной семьи, что Форсайтов множество). Он добивается органического единства между исчерпывающим, можно сказать, научным анализом форсайтизма как характерного явления английской действительности и образным выражением его сущности. Эпитеты, сравнения, метафоры объединены в стройную систему единством цели. Их назначение — содействовать более острому читательскому восприятию сути форсайтского миропонимания. Так, через них автор раскрывает, что значат для Форсайтов деньги и вещи. Деньги стали для них «светочем жизни, средством восприятия мира». «Если Форсайт не может рассчитывать на совершенно определенную ценность вещей, значит, компас его начинает пошатливаться...» О том, что глагол «иметь» употребляется не только по отношению к деньгам и вещам, говорит формула о бесчисленных Форсайтах, ведущих дела, «касающиеся того или иного вида собственности (начиная с жен и кончая правом пользоваться водными источниками)».

Критерий денежной оценки, соответствующий строю мыслей Форсайтов, кладется в основу всех авторских определений форсайтизма, в частности в основу характеристики отношений отца и сына. Даже на любви к детям, входящей, казалось бы, в сферу чисто человеческих отношений, лежит печать собственнического эгоизма. В основе такой любви — отношение собственника к наследникам своего имущества. Взять хотя бы сравнение: Джемс и Сомс «смотрели друг на друга как на капитал, вложенный в солидное предприятие, каждый из них заботился о благосостоянии другого и испытывал удовольствие от его общества».

Критерий денежной оценки играет роль и в отношениях между братьями; здесь он связан с законом конкуренции, которая царит внутри форсайтского клана, как и в буржуазном обществе в целом. Каждый из шести братьев Форсайтов опасается, что кто-то из пяти остальных «стоит» больше, чем он сам. Этот же критерий применяется и к людям, которые приобщаются к клану Форсайтов. Список свадебных подарков, ценность которых зависит от положения жениха, «устанавливался всей семьей примерно так же, как устанавливается курс на бирже».

Великолепны сатирические метафоры, выражающие сущность форсайтизма. При всем их лаконизме они вбирают в себя обширный смысл. «Все Форсайты живут в раковинах,— пишет Голсуорси, характеризуя собственническую замкнутость Форсайтов,— подобно тому чрезвычайно полезному моллюску, который идет в пищу как величайший деликатес... никто их не узнает без этой оболочки, сотканной из различных обстоятельств их жизни, их имущества, знакомств и жен...» Для Форсайтов — устриц, замкнутых в рамки своего класса, который они отождествляют со всей страной,— эпитет «иностранный» является синонимом всего чуждого их классу, подозрительного и недобропорядочного.

Характер благотворительности Форсайтов определяется метафорой о храме форсайтизма, где денно и нощно поддерживается «неугасимый огонь в светильнике, горящем перед богом собственности, на алтаре которого начертаны возвышенные слова: «Ничего даром, а за пенни самую малость». Этот девиз получает выра-

зительное подтверждение в конце романа. Маленький Публиус, внук Джемса, подал нищему фальшивую монетку, и под влиянием этого известия удрученный заботами Джемс просветлел.

Предельно краткая метафора «их лица — тюремщики мыслей» характеризует скрытность Форсайтов, их связанное с тем же законом конкуренции свойство не показывать своих мыслей и чувств.

Важную роль в раскрытии форсайтизма играют речевые характеристики Форсайтов. Их разговоры, вращающиеся вокруг курса акций, дивидендов, стоимости домов и вещей, сопровождаются неизменными возгласами: «У Джобсона за это дадут хорошую цену!», «У Джобсона такие вещи давно не идут!»; ехидными замечаниями, которыми каждый из них отмечает покупки и продажи другого: «Переплатил!», «Продешевил!» Очень действенна в романе несобственно прямая речь, когда отрывки разговора вплетаются в авторское повествование. Таким путем, в частности, характеризуются обитатели «форсайтской биржи» — дома Тимоти, где «производился обмен семейными тайнами и котиrowались семейные акции», — передаются интонации своего рода «хора сплетников»; в их вопросах, намеках, недомолвках, замечаниях, сделанных вскользь, проглядывает замаскированное любопытство, порицание, притворное сочувствие, тайное желание уколоть.

Выдающееся достижение Голсуорси — портреты Форсайтов. Рисуя их немногими, но выразительными чертами, он сумел показать нерасторжимую связь индивидуального и типического. В каждом из Форсайтов наряду с родовыми чертами видно, если употреблять выражение Голсуорси, «неповторимое «я». Оживленные силой авторского мастерства, сходят со страниц книги Форсайты: закованный в броню собственнической самоуверенности Сомс, с его квадратной челюстью бульдога, надменным видом, вызывающим уважение его клиентов; сухопарый Джемс, снедаемый вечной тревогой за сохранность своих капиталовложений и незыблемость собственнического бытия своей семьи, с его вечными возгласами: «Мне никогда ничего не рассказывают!» и «Я так и знал, чем все это кончится!»; величественный, осанистый Суизин во всем великолепии своих жилетов (особый — на каждый случай!), и даже осторожный накопитель Тимоти, который из-за боязни инфекции стал почти невидимым для остальных Форсайтов и для читателей.

Воспринимая Форсайтов как живых людей, читатели спрашивали автора, что случилось с его героями. Многие читатели утверждали, что именно их семья изображена в «Собственнике», а однажды Голсуорси получил письмо, где говорилось следующее: идя по Кокспер-стрит, автор письма встретил человека, которого тотчас же узнал, но не мог вспомнить, где и когда его видел; напрягая память, он вдруг понял, что это был Сомс Форсайт.

Основная мысль Голсуорси — собственническая философия противоречит всему истинно человеческому — становится особенно ясной, когда он рисует мир природы. Движение и яркость красок отличают ее от мертвенности застывшего существования Форсайтов. «Широкие яркие листья блестели в лучах, танцуя под звуки шарманки»; «Над полем дрожал зной, все кругом было пронизано нежным, еле уловимым жужжанием, словно мгновения радости, в

буйном веселье пронесившиеся между землей и небом, шептали что-то друг другу»; «На дорожку неба между рядами деревьев выбежали новые звезды...» Оживают даже неподвижные пни: «Священная рощица оленей, причудливых пней, фавнами скачущих в летних сумерках вокруг серебристых березок-нимф!»

Но автор запечатлевает и тишину сумерек и тяжелую неподвижность ненастного дня, улавливая все оттенки «настроений» пейзажа, часто рисуя их в органической связи с душевным состоянием героев.

Если Форсайт — городской житель, как правило, чуждый вольной красоте полей, почему-либо изменяет своей натуре, то вместе с ним в природу вторгается глагол «иметь» или его синонимы. Сомса, выбирающего участок для постройки загородного дома, угнетает тишина луга, но красота открывшегося перед ним вида все же захватывает его: «Против воли что-то ширилось у него в груди. Жить здесь и видеть перед собой этот простор, показывать его знакомым, говорить о нем, владеть им! Щеки его вспыхнули. Тепло, блеск, сияние захватили Сомса так же, как четыре года назад его захватила красота Ирэн».

С женой Сомса Ирэн связана драма в доме собственника. Твердыня форсайтской семьи дает трещину. Сила чувства Ирэн, ее любовь к архитектору Босини вырывает ее из замкнутой сферы, где ей отведена роль прекрасной вещи, обладание которой было венцом собственнических устремлений Сомса.

Показывая перипетии этой драмы, Голсуорси рисует Сомса как мужа-собственника, который считается только со своими чувствами, не желает расставаться с тем, что было им завоевано, проявляет цепкость бульдога, зная, что за его спиной стоит собственническое общество, что на его стороне закон. Голсуорси смог увидеть в семейной драме социальное ее значение. Вместе с тем в изображении этой драмы, как и в блестящем воплощении форсайтизма в живых образах, чувствуется, что писатель знал форсайтский мир «изнутри». Биографические данные говорят о том, что к этому миру принадлежала и семья, в которой вырос Голсуорси. Многие из того, что изображено в «Собственнике» и более позднем романе, «В петле», пережито и выстрадано им самим. Эти переживания роднят его с выразителем его мыслей в романе — молодым Джолионом, который ушел от семьи во имя «недозволенной», по форсайтским нормам, любви, посвятил себя живописи — компрометирующему, с точки зрения Форсайтов, занятию¹. В Форсайтах

¹ Голсуорси также сошел с предначертанного ему отцом пути, отказавшись от респектабельной карьеры адвоката и избрав предосудительную в глазах буржуазной семьи профессию писателя. Столь же предосудительной, на взгляд семьи, была его любовь к Аде Голсуорси, жене его двоюродного брата, обладавшего, по видимому, чертами Сомса Форсайта. Джон Голсуорси пришлось скрывать отношения с Адой от своего отца вплоть до смерти последнего, затем пройти через бракоразводный процесс, на котором он должен был фигурировать как соответчик, и выждать положенный законом шестимесячный срок. Только после этого — в общей сложности через десять лет — он смог жениться на Аде, которая все время их совместной жизни была его другом и помощником. Голсуорси неоднократно упоминал о том, что именно она вскоре после их знакомства побудила его начать писать.

Голсуорси воплотил черты некоторых членов своей семьи и своих родственников; в частности его отец — прообраз старого Джолиона.

В предисловии к трилогии «Сага о Форсайтах», первым романом которой стал «Собственник», Голсуорси писал, что образ Ирэн — «воплощение волнующей Красоты, врывающейся в мир собственников», и что главная тема романа — «набеги Красоты и посягательства Свободы на мир собственников».

Красоту и Свободу символизируют в романе образы Ирэн и Босини. Автор связывает эти образы с искусством, которое в его глазах является великой моральной силой, призванной изменить собственнический мир, внести в него гармонию и чувство пропорций. Эту мысль, характерную для всего творчества Голсуорси, он развивает позднее и в своих статьях.

Противопоставленный собственникам образ Ирэн, исполненный обаяния Красоты, подчеркивает уродство обесчеловечивающего Форсайтов культа денег, сухой утилитаризм духовно убогих людей. Но Красота, задуманная как отвлеченный символ, не имеющая опоры в самой жизни, не может противостоять форсайтизму. Автор, по существу, и не возлагает на нее эту миссию. В письмах к своему другу и критику Эдуарду Гарнету Голсуорси пояснял, что «Ирэн не действует, она пассивна». Эпитеты в романе, относящиеся к Ирэн, прочно связаны с представлением об ее пассивности, загадочности, непроницаемости. Но, подчеркивая, что она чужда миру Форсайтов, Голсуорси создает впечатление, что она не причастна и к жизни в целом.

Отвлеченность его идеала сказалась и на образе Босини. Мысль, что свобода — нечто имманентно присущее искусству и художнику, опровергается в самом романе, где показаны реально сложившиеся отношения между художником и собственническим обществом, которое покупает его талант и губит его. Как художественные образы Ирэн и Босини уступают полнокровным образам Форсайтов. Голсуорси и сам это чувствовал. Как он писал сестре, ему пришлось показать Ирэн и Босини «со стороны», только через восприятие других действующих лиц. «Ни тот, ни другая не наделены жизнью в отличие от Форсайтов; но они выполняют свое назначение». По мысли Голсуорси, назначение Босини в том, чтобы показать своей смертью, что «собственность — пустая оболочка». Можно признать, что автор таким путем показывает моральное поражение Форсайтов, но, по существу, Красота и Свобода сдаются без боя, конфликта между ними и собственниками не происходит. Поиски причин этого приводят нас к выводу, что они таятся в противоречивом отношении автора к Форсайтам. Об этих противоречиях свидетельствует в основном образ старого Джолиона.

Дав трезвый и проницательный анализ форсайтизма, выраженного в образах большинства Форсайтов, Голсуорси возвышает над ними старого Джолиона — собственника по своей сущности — за то, что в нем есть и нефорсайтские свойства: сердечная теплота, чувство юмора, умение мыслить отвлеченно и понимать Красоту. Эти истинно человеческие черты старого Джолиона, противоречащие нормам форсайтизма, не являются, однако, в изображе-

нии автора источником внутренней дисгармонии. Здесь таится зерно развившейся позднее мысли о совместимости подлинно человеческих чувств с бытием собственников, обогороженных, лишенных «крайностей» чувства собственности¹. Вместе с тем автор именно с этим образом связывает мысль о положительном значении класса Форсайтов, отмечая в старом Джолионе «здравость ума, выдержку и жизнеспособность — все то, что делало его и многих других людей одного с ним класса ядром нации». Отмеченные им качества, необходимые для созидательной работы, Голсуорси находит только в Форсайтах, не видя их в английском народе; с другой стороны, он как будто забывает, что у старого Джолиона эти качества были подчинены целям стяжательства. Та же мысль о «ядре нации» проглядывает и у молодого Джолиона в его иронической лекции о «симптомах форсайтизма». Давая меткое определение этих симптомов, он в то же время гипертрофирует значение Форсайтов, как и автор, не видя в английской действительности сил, способных им противостоять. Таким образом, сатирическая линия, очень четкая в начале романа, не получает логического развития.

В то же время в романе проступает мысль, свидетельствующая об ощущении автором «духа времени».

Хотя Форсайты не воспринимают гибель Босини как свое поражение и все в форсайтском мире остается неизменным, автор дает понять, что с этой гибелью связана первая трещина в твердыне форсайтского благополучия. Свою мысль он выражает через символ: смерть Босини — удар молнии в семейное дерево Форсайтов, которое уходит корнями в закон собственности. «На взгляд посторонних оно еще будет цвести, как и прежде, но ствол его уже мертв». Предчувствием угрозы форсайтскому семейному очагу — этой основе основ собственнического бытия — проникнута и нарисованная в первой части книги сцена похорон тети Энн, старшей в роде Форсайтов. Сравнивая клан Форсайтов с деревом в разгар цветения, «почти отталкивающим в своей пышности», Голсуорси уже предчувствует, что дерево это должно засохнуть. Его предчувствие было порождено обстановкой, сложившейся в начале XX века, когда создавался «Собственник»; писатель ощущал, что стабильное существование Форсайтов, принадлежащих XIX веку, отходит в прошлое.

«Собственник» был задуман как самостоятельное произведе-

¹ Именно в этом плане дан образ не названного по имени 80-летнего старика в этюде «Портрет», вошедшем в сборник «Смесь» (1910). В основу портрета, по словам автора, положены черты его отца, другими словами, черты старого Джолиона, которые мы узнаем. Противоположные качества даны здесь в «сбалансированном» виде. «Он пронес через всю жизнь стремление к самому лучшему и в области материальной и в области духовной», — говорит автор о своем герое. Отвращение к авантюризму, осторожность, умеренность, мудрый расчет в финансовых делах, умение наслаждаться красотой жизни — вот что автор определяет как «гармоничное существование». В его глазах именно благодаря этим качествам герой «Портрета» принадлежит к ушедшему в прошлое «золотому веку».

ние. Лишь через 12 лет автор вернулся к Форсайтам и продолжил эпопею этой семьи¹.

С выходом «Собственника» Голсуорси прочно занял одно из первых мест в английской литературе своего времени. Правда, реакционная критика, тотчас же почувствовавшая, что в «Собственнике» изображены «вещи как они есть», выразила свое недовольство романом. В частности, автор рецензии в журнале «Спектейтор» сожалел, что Голсуорси нашел такое применение своему таланту, предупреждал, что к книге надо подходить с большой осторожностью, ибо из-за «уродливых мест» она производит «гнетущее впечатление» и это делает ее неприемлемой для широкого читателя.

Иначе встретила та же критика вышедший вслед за «Собственником» роман Голсуорси «Усадьба» (1907). Так, рецензент «Таймс» нашел, что это произведение «хотя и менее сильное, но более приятное, а также более правдивое».

В «Усадьбе» нет той резкости и четкости постановки проблемы, как в «Собственнике». Но автору удается дать образное представление еще об одном слое собственнического общества — земельном дворянстве, также занимающем «место наверху». В образе помещика Хорэса Пендайса нашли прекрасное воплощение черты, которые автор определяет как проявление «пендисита» — тупая уверенность в том, что именно дворянство унаследовало от предков и призвано передать потомкам право управлять страной, что для этой цели привилегированные учебные заведения будут вечно поставлять государству все новые кадры, что порядок этот незыблем и вечен. Эти убеждения Пендайса сформулированы в его выразительном «символе веры»: «Верую в отца моего, и в его отца, и в отца его отца, собирателей и хранителей нашего поместья, и верую в самого себя, и в сына моего, и в сына моего сына. И верую, что мы создали страну и сохранили ее такою, как она есть. И верую в закрытые школы и особенно в ту школу, где я учился! И верую в равных мне по общественному положению, и в усадьбу, и в порядок, который есть и пребудет во веки веков. Аминь».

Твердо убежденный в том, что его сословие — оплот государства, Пендайс берет на себя роль блюстителя нравственности по отношению к фермерам-арендаторам, живущим на его земле. Тесный контакт его с преподобным Хасселом Бартером, «за спиной которого стоят века неоспоримой власти церкви», вполне понятен. Основное место в романе занимают события в семейной жизни Хорэса Пендайса: переживания миссис Пендайс, любимой героини автора, не понятой мужем и сыном Джорджем — людьми с более грубой душевной организацией, перипетии любви Джорджа к Элен Белью, которая ушла от мужа, но не получила развода.

¹ В эту эпопею, помимо «Собственника», вошли романы «В петле» (1920) и «Сдается в наем» (1921), составляющие вместе с «Собственником» трилогию «Сага о Форсайтах», и «Белая обезьяна» (1924), «Серебряная ложка» (1926), «Лебединая песня» (1928), составляющие трилогию «Современная комедия». В данном издании обе трилогии занимают четыре тома. Таким образом, в первых четырех томах собрания сочинений Голсуорси представлена вся эпопея о Форсайтах, которой принадлежит центральное место в его творчестве.

Здесь снова ставится вопрос о семье, о жестокости и лицемерии буржуазного закона о браке — вопрос, к которому Голсуорси постоянно возвращается в своем творчестве; ему, в частности, посвящена пьеса «Беглянка» (1912). Но в отличие от «Собственника» семейная драма здесь лишена значительности, так же как и действующие лица ее. По своей жизненной убедительности ни один из образов романа не может сравниться с образом Хорэса Пендайса.

О тех, кто находился за пределами замкнутого круга Пендайсов и Форсайтов, о «другой нации», Голсуорси поднимает вопрос в пьесах «Серебряная коробка» (1906) и «Борьба» (1909), в сборнике рассказов «Комментарий» (1908), в романе «Братство» (1909).

Постановку «Серебряной коробки», своей первой пьесы, Голсуорси охарактеризовал позднее в письме, относящемся к 1925 году, как «вторжение» в английский театр, «продиктованное возмущением против искусственности английских пьес того времени и решительным намерением представить на сцене реальную жизнь». Насколько необходимо было такое «вторжение», можно судить хотя бы по замечанию английского драматурга Г. А. Джонса, что драматургия в Англии находилась в течение всего XIX века в состоянии интеллектуального паралича. Голсуорси встал на путь Бернарда Шоу, предпринявшего в конце XIX века поход за то, чтобы сломить в английском театре дурную традицию искусственных пьес и вынести на сцену острые проблемы действительности. Свои мысли о состоянии английского театра Голсуорси высказал еще в 1903 году в статье «После просмотра пьесы». Он отмечал в ней, что современные драматурги, обладающие «практическим здравым смыслом», ставят из года в год пьесы, отвечающие определенным стандартам. Вместо того, чтобы показывать реальную жизнь, они исходят из готовой схемы. Все действия персонажей, их речи, исполненные риторики и сентиментальности, продиктованы занимаемым ими «положением в обществе». Конец пьесы неизбежно сводится к торжеству добродетели.

«Серебряная коробка» Голсуорси явилась полной противоположностью таким пьесам; здесь нет хитросплетенной интриги, которой подчинены действия персонажей, нет «счастливого конца». На сцене — сама жизнь с теми ее проблемами, которые встали в Англии в первые годы XX века: тяжелый экономический кризис, массовая безработица. В обнаженной форме показан реальный жизненный конфликт, подлинное соотношение сил в обществе. На одном полюсе его — семья члена парламента Бартвика, на другом — семья безработного Джонса. «Тут человек камни готов ворочать до кровавого пота... а ему не дают. И это справедливость, и это свобода, и все прочее», — так в возгласе Джонса выливается горечь, накопившаяся в его душе за то время, что он обивал пороги, выпрашивая работу, как милостыню. Случай сводит Джонса, доведенного безработицей до отчаяния, с сыном Бартвика — Джеком, «безработным богачом», живущим в свое удовольствие. Оба они в пьяном виде совершают аналогичные проступки, но Джонс фигурирует на суде как подсудимый, Джек Бартвик благодаря стараниям отца и искусного адвоката — лишь как свидетель. «Видимость и сущность» — так можно сформулиро-

вать мысль, лежащую в основе пьесы. Торжественно провозглашенное равенство богатых и бедных перед законом — по существу лишь фикция. Критерий для тех, кто творит буржуазное правосудие, — имущественное положение подсудимого; материальная обеспеченность — сертификат благонадежности. За «принципиальностью» мистера Бартвика, буржуазного либерала, почтенного члена парламента, скрывается отсутствие принципов. Вместо них страх быть скомпрометированным из-за поведения сына. Маска высокой добродетели миссис Бартвик, стоящей на страже морали, скрывает душевную жесткость по отношению к низестоящим, безграничную снисходительность к порочным наклонностям сына.

Теме двух полюсов социальной жизни посвящен сборник рассказов Голсуорси «Комментарий». Мир горя и нищеты противопоставлен миру сытых и самодовольных. Автор рисует беспроблемно тяжелый труд людей, обьятых вечным страхом потерять работу, и отчаяние тех, кто ее уже потерял («Комментарий», «Страх», «Пропавший человек»), трагедию стариков, которые, проработав всю жизнь, находятся на грани голодной смерти («Старость»). Большинство бедняков, фигурирующих в рассказах этого сборника (как и сборника «Смесь», вышедшего два года спустя), отличает безропотный стоицизм. Характерное выражение его автор дает в рассказе «Надежда» в образе хромого уличного торговца, который продает за гроши птичий корм. Во всякую погоду на людном перекрестке стоит «обтрепанная статуя, олицетворение человеческого свойства — «Мужество без Надежды!»

Мысль о том, как позорно для Англии наличие вопиющей нужды на ее земле, выражена в проникнутом горькой иронией рассказе «Ребенок». С маленьким мальчиком из бедной семьи, бледным заморышем, лишенным детства, вдруг произошла необычная вещь: он засмеялся. Раздался жесткий звук, «как будто ударились друг о друга две дощечки». В смехе ребенка автору слышится смех миллионов таких же полуголодных детей. «Это смеялось Будущее нации, самой богатой, самой свободной и гордой из всех когда-либо живших на земле...»

Рассказы «Дом молчания» и «Порядок» посвящены теме, занимающей Голсуорси на протяжении всего его творчества. Он показывает здесь антигуманность пенитенциарной системы в буржуазном обществе, рассчитанной на то, чтобы духовно подавить заключенных, и утверждает, что это общество в силу своего несправедливого устройства несет ответственность за тех, кто совершает преступления. Та же идея выражена в рассказе «Заключенный» из сборника «Смесь» и в вышедшей в одном году с ним пьесе «Правосудие». Голсуорси считает также, что общество ответственно за унижение женщин, которых гонит на улицу нужда; тема проституции, поставленная в одном из рассказов сборника «Комментарий», также является «сквозной» в его творчестве.

«Сытые» представлены в рассказе «Мода» в образе дамы в экипаже, приученной думать, что цель ее жизни — заботиться о своем чистом, хорошо упитанном теле, в рассказе «Комфорт» — в образах тех, кто старается всячески оградить себя от неприятных впечатлений, связанных с существованием «низов».

В подтексте рассказов сборника заключена мысль автора, что спасти положение могут реформы, но он видит препятствия к осу-

ществлению своих скромных надежд и дает портреты тех, кто хочет, чтобы существующий порядок был неизменным. Это финансист в рассказе «Деньги», который сопротивляется созданию пенсионного фонда путем увеличения подоходного налога¹; это правительственный чиновник, который старается предохранить государственный корабль от всяких реформ, чтобы курс его оставался неизменным («Власть»); это член парламента, который относится с симпатией ко всем социальным законопроектам, но считает менее рискованным тормозить их («он чувствовал, что не будь его, страна слишком быстро двигалась бы по пути прогресса») («Осторожный человек»).

Именно в реформах в рамках существующей системы видит Голсуорси выход из тяжелого положения народа; об этом свидетельствуют также его статьи и высказывания. Подобно своим положительным героям, он, обладая, по выражению английских критиков, «социальной совестью», смотрит на людей из народа глазами человека, который глубоко им сочувствует, но отделен от них довольно значительной дистанцией. Ему представляется, что народу необходима благожелательная опека состоятельных людей, проникшихся пониманием его положения. Предоставленный себе народ, доведенный правящими классами до состояния деградации, может стать опасным. Эта мысль выражена в рассказе «Демос», отличающемся от большинства рассказов сборника, где изображены вызывающие сочувствие автора одинокие бедняки. По мнению Голсуорси, люди из «низов», объединившись, станут грубой, озверелой массой, склонной к безрассудным насильственным действиям.

Но уже в 1909 году ставится пьеса Голсуорси «Борьба», рисующая организованные действия бастующих рабочих (подобная пьеса, вероятно, впервые была поставлена английским театром!), не сопровождающиеся грубостью и насилием. Создание пьесы с таким необычным для Голсуорси сюжетом объясняется тем, что он не старался закрывать глаза на факты, не отвечавшие его взглядам, но пристально всматривался в явления английской действительности, которую отличали в то время напряженность экономической и политической обстановки, рост стачечного движения. Голсуорси увидел основной для своего времени конфликт между трудом и капиталом и почувствовал весь драматизм его.

Правда, взгляды Голсуорси помешали ему глубоко понять суть описываемых им событий и неизбежность их. Вот почему он как бы ставит на одну доску председателя правления компании Джона Энтони, отстаивающего собственные интересы, и рабочего Роберта, руководителя стачечного комитета, который борется за то, чтобы рабочие были избавлены от нужды и страданий; писатель рисует конфликт между ними как состязание двух

¹ «Деньги» своей художественной силой выделяются в сборнике рассказов, многие из которых производят впечатление несколько упрощенных зарисовок. Герой его — старик, не названный по имени, — напоминает Джемса Форсайта. Но в то время как образ Джемса в «Собственнике» дан в ироническом плане, здесь автор рисует своего совершенно обыденного героя в почти трагическом плане, создавая представление о страшном, опустошительном воздействии на его душу чувства собственности.

упрямцев: ни тот, ни другой не хочет сдавать свои позиции, более «широко» посмотреть на вещи, хотя такое упрямство и идет в ущерб делу. Когда остальные члены правления, боясь снижения прибылей, за спиной у Энтони и Робертса заключают компромиссное соглашение с профсоюзом, оказывается, что они делают это на условиях, первоначально предложенных профсоюзом, и, следовательно, вся длительная, ожесточенная борьба была напрасной, как напрасна, по мысли автора, и классовая борьба в целом.

В романе «Братство», вышедшем, как и «Борьба», в 1909 году, на «верхнем полюсе» изображены представители интеллигенции. «У каждого из нас есть своя тень там, на тех улицах», — говорит профессор Стоун, подразумевая кварталы бедняков. В утопической книге о всемирном братстве, над которой он работает, современное общество, названное «кастовой пагодой», изображено как отошедшее в прошлое; люди этого общества «жили в различных слоях, отделенные друг от друга, класс от класса... Среди трупов бесчисленных жертв тучнели и багровели полчища мясников, физически окрепшие от запаха крови». Стоун провидит время, когда рухнут перегородки «кастовой пагоды» и на земле воцарится всемирное братство. Единственный путь к этому — любовь; восставший пролетариат — опасная сила. Профессор Стоун, изображенный маниаком (хотя Голсуорси и высказывает через его посредство некоторые свои мысли), витает в обособленном мире. Но перед остальными героями романа реально встает проблема кастовых перегородок; о ней заставляют их думать «тени», с которыми они сталкиваются волей случая, — метельщик улиц Хьюз, его жена, старый продавец газет, девушка-натурщица. Голсуорси выдвигает в центр романа отношение к этой проблеме поэта Хилери Даллисона, видя в нем, как он писал впоследствии, слабость, характерную для современной писателю интеллигенции.

Хилери Даллисон способен увидеть порочные черты своего класса, осознать бедственное положение народа, но, считая, что избавления можно ожидать лишь «сверху», он видит препятствия к этому в том, что среди десятков тысяч людей, принадлежащих к привилегированным классам, только несколько тысяч обладают «социальной совестью». «...а многие ли даже среди нас, — говорит он, — готовы... поступать так, как подсказывает нам наша совесть... боюсь, что мы слишком резко разделены на классы. Человек всегда поступал и поступает как член своего класса». Влечение к «маленькой натурщице» приводит Хилери к тому, что он готов переступить кастовые перегородки, но внезапно он осознает, что мир, к которому она принадлежит, слишком чужд ему. В романе уловлены сдвиги в сознании английской интеллигенции, ее тревога при мысли о пропасти, отделяющей ее от народа. По словам Джозефа Конрада, «Братство» — голос «совести эпохи, услышанный Голсуорси». К этому мнению близок отзыв М. Горького о романе. Рекомендуя книгу для издания на русском языке, он писал: «Мне кажется, что к ней нужно дать небольшое предисловие на тему о развитии самокритики в английском обществе...»¹.

¹ М. Горький. Собр. соч., в 30 томах. М., Гослитиздат, 1955, т. 29, стр. 399.

Не удивительно, что буржуазная пресса обрушилась на «Братство». Характерен следующий отрывок из рецензии на этот роман в журнале «Сатердей ревью оф литератюр»: «Мистер Голсуорси выпустил в форме романа очень опасную и революционную книгу. «Братство» — не более, не менее, как ожесточенная атака на нашу социальную систему. Роман рассчитан на то, чтобы унижить правящий класс и внушить публике предубежденный взгляд на многие важные проблемы. Автор нарушил все каноны искусства и сделал свой роман средством политической пропаганды».

Из приведенных здесь примеров рецензий буржуазной критики на произведения Голсуорси видно, как сильно было давление реакции на английскую литературную жизнь. Писателя, возлагавшего надежды на реформы, на постепенную эволюцию, обвиняли в ниспровержении устоев, называли социалистом. С другой стороны, эта атмосфера дает нам представление о смелости, которая необходима была Голсуорси, чтобы «идти против течения».

Многочисленные высказывания Голсуорси о русском романе — в его глазах, «великой живительной струе в мире современной литературы» — позволяют сделать вывод, что в данной обстановке для писателя, который стремился высоко держать знамя реализма, русская литература служила опорой. Выше уже говорилось о глубоком духовном воздействии Тургенева на Голсуорси в начале его творческого пути. На зрелых произведениях английского писателя отразилось его творческое общение с Толстым.

Еще в 1902 году, после прочтения «Анны Карениной», Голсуорси писал переводчице романа Констанции Гарнет, что в его глазах искусство Толстого нечто совершенно новое, ни с чем не сравнимое; особенно поражала его глубина проникновения Толстого во внутренний мир человека. В статье об Эдуарде Гарнете (пропагандировавшем в Англии русскую литературу) Голсуорси, отмечая необычайную жизненную силу Толстого и никем не превзойденное стремление к правде, называл его величайшим из всех русских писателей. Толстой, чья роль великого обличителя буржуазной цивилизации явилась для всей Европы, по выражению Э. Гарнета, знаменем духовного беспокойства, охватившего современный мир, помог английскому писателю глубже осознать порочность буржуазного общества. Голсуорси видел в английской действительности и осмысливал в своем творчестве проблемы, которые поднимал и Толстой: пропасть между «верхами» и «низами», паразитизм и фарисейство привилегированных, бедственное положение народа, жестокость, лицемерие внутренней и внешней политики государства, неравенство богатых и бедных перед законом, лицепрятие суда, виновность общества в преступлениях его членов, ложные основы буржуазной семьи. Близость к Толстому особенно чувствуется в таких произведениях Голсуорси, как «Остров фарисеев», «Собственник», «Братство», «Серебряная коробка». Однако в отличие от Толстого, который в своей разрушительной критике самых основ буржуазного общества выражал протест народа, Голсуорси, ставя те же проблемы, трактует их более узко; здесь сказались исторические условия развития английского общества, влияние на писателя реформистской идеоло-

гни. Иное, чем у Толстого, отношение к народу, неверие в его духовные возможности видно, в частности, в статье Голсуорси «Неопределенные мысли об искусстве», в которой он возражает против критерия народности, выдвинутого Толстым в трактате «Что такое искусство?».

Названная статья Голсуорси, включенная, как и ряд других, написанных им до войны статей об искусстве и литературе, в сборник «Гостиница успокоения» (1912), примечательна еще в одном смысле. Одновременно с рядом верных положений здесь выражена мысль о том, что только искусство с его чувством пропорций может привести к гармонии и равновесию в отношениях между людьми. Эта мысль перекликается с другими высказываниями писателя, судя по которым он считает отличительной чертой миропорядка столкновение противоположных принципов — света и тени, жизни и смерти и т. д. Тот же процесс, по его мнению, происходит в природе, в жизни человека, в сфере его морали. В результате конфликта противоположных начал устанавливается равновесие. В подобных рассуждениях сквозит мысль, что именно таким путем, а не посредством классовой борьбы будет достигнута гармония в социальной жизни. Сосредоточивая внимание главным образом на моральном аспекте социальных противоречий, обвиняя людей высшей касты в гипертрофии чувства собственности, эгоизме, черствости, фарисействе, Голсуорси считает, что гармония будет установлена, если они освободятся от этих свойств и обретут чувство пропорций в моральной сфере. Такой ход мысли противоречит логике его произведений, из которых явствует, что все эти черты собственников, как и дисгармония в собственническом обществе, неразрывно связаны с самыми его основами.

Стремление Голсуорси отделить моральные свойства людей от обусловившей их, как он сам же показывает, социальной сущности, истолковать в абстрактном плане очень конкретные факты, отраженные в его же произведениях, противоречивость подхода ко многим явлениям — все это говорит о том, что ему нелегко было «идти против течения», что творчество для него было далеко не спокойным процессом. Голсуорси пытался преодолеть в себе мироощущение, связывавшее его с его классом, и именно победам в этой борьбе, хотя бы и неполным, он как художник обязан своими достижениями.

О внутренней борьбе, сопряженной с его творческой работой, Голсуорси упоминал не раз. Он писал Гарнету, что в процессе работы над основными своими романами у него всегда было ощущение, что в нем сидят два человека, причем один из них, олицетворяющий творческое начало, атакует «того, другого», в ком воплощены черты, связывающие его с кастой. В свете этого письма становится понятным высказывание Голсуорси в предисловии к «Братству», вышедшему в собрании сочинений в 1930 году. Давая понять, что в некоторых образах он воплощает свои собственные черты, Голсуорси писал: «Рассекая Хилери... Сомса Форсайта... их создатель чувствует, как нож глубоко вонзается в него самого». Пытаясь разобраться в этом неожиданном — в отношении образа Сомса — признании, проследить нити родства автора с Сомсом, отвлекаясь при этом от всего грубособственни-

ческого в образе последнего, мы можем предположить, что «сомсовское начало» в писателе — это некая внутренняя скованность, ощущение невозможности совсем отделиться от «раковины», образованной традициями давно устоявшейся жизни класса, — при всем критическом отношении к ним; это привычка смотреть на тех, кто находится вне раковины, как на людей иного мира, — при всем сочувствии к ним и сознании тяжести их положения.

В своем письме к Гарнету Голсуорси выражал мысль, что критическая линия его книг была действительной именно потому, что он по опыту хорошо знал свойства, которые критиковал в своих персонажах. Нельзя, однако, не заметить, что «тот, другой» человек в Голсуорси порой оказывается сильнее своего критика.

Это проявляется в романе «Патриций» (1911), в котором выведены крупные землевладельцы-аристократы. Прочитав роман в рукописи, Гарнет почувствовал отступление от той линии в творчестве Голсуорси, которая была начата «Островом фарисеев». В своих письмах к другу, который был дорог ему как писатель, он всячески стремился дать ему это понять. Основное отличие «Патриция» от предыдущих романов Гарнет справедливо находил в том, что здесь в изображении аристократии нет той определенности и четкости, с которой Голсуорси ранее изображал представителей других классов.

Голсуорси отвечал Гарнету, что обличение аристократии не являлось его целью; это был бы слишком легкий путь. Став на него, он свел бы на нет основную линию книги. Его цель — показать, как воздействует на духовный облик героев романа их привилегированное положение, привычка повелевать, как это ведет к стандартизации, бесплодной сухости их внутреннего мира. Он стремился также показать, по его словам, столкновение кастового духа с поэтической стороной жизни, с любовью. Далее Голсуорси пояснял, что его творчество вступает в новую фазу, в нем ослабевает критическая линия, элемент сатиры и в то же время растет стремление к красоте, и высказывал предположение, что это, может быть, признак возраста.

Герой романа «Патриций» лорд Милтоун и его сестра Барбара каждый по-своему, сталкиваясь с людьми иной среды, узнают «поэтическую сторону жизни, любовь». Но каждый из них, пройдя через мучительные переживания, все же остается верным традициям своего класса, причем Милтоун жертвует любовью ради политической карьеры.

По окончании «Патриция» Голсуорси записал в дневнике, что это последний из серии романов, в которых дан критический обзор различных слоев общества (буржуазии — в «Собственнике», земельного дворянства — в «Усадьбе», интеллигенции — в «Братстве», аристократии — в «Патриции»). В конце одного из писем Голсуорси к Гарнету по поводу «Патриция» стояла фраза: «Во всяком случае роман заканчивает то, что я начал «Островом фарисеев». Аминь».

Такое «финальное» слово заставляет предположить, что писатель отказывается от своей роли критика общества. Следующий его роман, «Темный цветок» (1913), не опровергает это предположение. Писатель вместе с героем романа скульптором Марком

Леннаном уходит в сферу ничем не стесненных чувств. Любовь — «темный цветок страсти» — рисуется как всепоглощающая сила, перед которой человек бессилён. Здесь происходит расщепление психологической и социальной тем, обычно слитых у Голсуорси, и нельзя сказать, чтобы художник от этого выиграл.

Но Голсуорси ещё только один раз обращается к роману, близкому по типу к «Темному цветку» («Сильнее смерти», 1917).

Писатель его склада не мог искусственно изолировать себя от жизни с ее многообразными вопросами, они тревожили его, и среди них был один из самых острых — политика его страны в колониях. В 1914 году выходит пьеса Голсуорси «Толпа», в которой осуждаются британские «цивилизаторы», развязывающие войну против маленького народа за отказ подчиниться им. Голсуорси и здесь склонен рассматривать вопрос в плане отвлеченной морали: поясняя действия своего героя Стивена Мора, заместителя министра, настойчиво выступающего против политики правительства, он подчеркивает, что дело не столько в защите малых стран, сколько в том, что человек должен упорно отстаивать свои идеалы. Но объективное положение вещей правдиво освещено в пьесе, особенно хорошо показан образ мышления колонизаторов, прикрывающих жестокость своей грабительской политики фразами о необходимости «наказания» «дикого, не ведающего законов» народа.

Острая проблема поднята и в романе «Фриленды» (1915), по своему духу примыкающем к серии романов, начатой «Островом фарисеев». Это знакомая нам по «Усадьбе» проблема отношений между фермерами-арендаторами и помещиками, считающими себя вправе быть моральными судьями зависящих от них людей, но здесь эти отношения принимают форму конфликта, который разрешается стачкой арендаторов и сельскохозяйственных рабочих в знак протеста против навязанной им моральной опеки. Писатель, относившийся отрицательно к решительным массовым действиям, разумеется, осуждает стачку, но, давая почувствовать атмосферу морального гнета, созданную помещиками Маллорингами, он тем самым вскрывает причины, вызвавшие эту стачку.

В романе слышатся отголоски идей Толстого, в частности высказанная в связи с трагической историей фермера Триста мысль, что общество само толкает людей на преступления, а потом судит их несправедливым судом. В манере, напоминающей Толстого, в резко контрастном противопоставлении даются параллельно картины жизни помещика Маллоринга и фермера Триста, живущего на его земле. В романе отражена обычная для Голсуорси тревога в связи с упадком сельского хозяйства Англии, наступлением индустриального города на деревню. Он высказывает мысль о губительном влиянии техники на жизнь людей, о необходимости «возврата к земле». Джону Фриленду, крупному чиновнику, и Стенли Фриленду, промышленнику, воплощающим дух касты, противопоставлен их младший брат Тодд — своего рода «толстовец», который вместе с членами своей семьи ведет «опрошенную» жизнь, сам обрабатывает землю.

Роман «Фриленды» вышел в свет уже во время первой мировой войны.

молодых писателей: быть верным себе, не гнаться за модой, не подчинять свой талант требованиям книжного рынка. В рассказах Голсуорси нет ничего необычайного; в них дана повседневная жизнь, но образы, которым подчинен сюжет, побуждают задуматься над тем, что представляет собой эта повседневная жизнь, часто страшная именно своей повседневностью, каковы нравственные качества людей, подвергающиеся испытанию в тех или иных жизненных ситуациях.

В 1918 году вышел сборник Голсуорси «Пять рассказов». Одному из этих рассказов суждено было стать знаменательной вехой на его творческом пути. Это «Последнее лето Форсайта», где снова перед нами предстает старый Джолион, удалившийся от дел, «очищенный» от всего собственнического; именно потому гармоничность его образа не кажется искусственной. Автор рисует его молчаливую любовь к Ирэн в последний для него «месяц лета в полях и в его сердце». Поэтическая проза рассказа подчинена единому ритму, проникнута настроением шекспировских строк, взятых эпиграфом: «И жизни летней слишком срок недолог». Старый Джолион, возлюбивший красоту больше разума, умирает, сидя под дубом, в буйный, яркий день.

Рассказ «Последнее лето Форсайта» можно сопоставить по контрасту с другим рассказом сборника, «Цвет яблони», герой которого, связанный прочными узами с традициями своего класса, проходит мимо настоящей любви и осознает это только на склоне лет.

Иного рода ассоциацию «Последнее лето Форсайта» вызывает с рассказом того же сборника «Стоик». Если, возвышая старого Джолиона, автор дает в его образе противоположные качества в «сбалансированном» виде, то герой «Стоика» поднимается на щит именно как стопроцентный собственник, воплощение прозорливости, выдержки, смелости в деловых операциях — качеств дельцов «старой школы», отличающих его от буржуа новой формации.

«Последнее лето Форсайта» явилось для его автора стимулом к тому, чтобы продолжить семейную хронику Форсайтов, с которыми он расстался двенадцать лет тому назад. «Думаю, что то воскресенье в июле 1918 года в Уингстоне, — писал он впоследствии, — когда я внезапно почувствовал, что могу продолжить историю своих Форсайтов на протяжении еще двух томов, со связующим звеном между ними, было самым счастливым днем в моей творческой жизни». Этими двумя томами явились романы «В петле» и «Сдается в наем». «Связующим звеном» между ними стала интерлюдия «Пробуждение».

Голсуорси возвращается к Форсайтам после того, как совершилась величайшая в истории революция. Тревожное состояние духа писателя отражается на его видении жизни послевоенной Англии; ее положение, как он писал позже, представляется ему «расплывчатым и безысходным», и это заставляет его нередко обращаться мыслью к прошлым, более устойчивым в его глазах временам.

В романе «В петле» мы снова погружаемся в мир Форсайтов и прежде всего утверждаемся в мысли, что соприкосновение с ни-

ми автора — в области ли романа или рассказа — производит на него как бы магическое действие. Он вновь постигает секрет жизненности характеров, с которыми не могут сравниться характеры других его произведений.

Действие романа «В петле» происходит в 1899—1901 годах, и здесь по-прежнему царит собственнический комплекс Форсайтов во всех его проявлениях; глагол «иметь» применяется ко всему, что они считают своим, от колоний до жен. Эта философия получает исчерпывающее воплощение всего в нескольких фразах Сомса. Он мысленно сближает поведение Ирэи, которая, уйдя из его дома двенадцать лет назад, отказывается вернуться к нему, и позицию буров, отказавшихся признать суверенитет Англии. «Буры отказываются признать суверенитет», — читает он заголовок газеты. — Суверенитет! Вот как она... Всегда отказывалась. Суверенитет! А я все же обладаю им по праву».

Сомс по-прежнему предстает как истый собственник, но здесь автор подчеркивает трагизм переживаний Сомса, тщетно пытающегося вернуть Ирэн.

Писатель изображает Англию на рубеже XX века, но в романе порой чувствуются настроения, владеющие автором после войны. В изображении Голсуорси грядущие события как бы отбрасывают сюда свою тень. Это проявляется в сцене столкновения Сомса с участниками уличного карнавального шествия по случаю взятия у буров Мейфкинга. Он предвидит, что эта веселая толпа — «живое отрицание аристократии и форсайтизма» — может когда-нибудь выйти на улицы в ином настроении. «Казалось, он внезапно увидел, как кто-то вырезает договор на право спокойного владения собственностью из законно принадлежащих ему документов; или словно ему показали чудовище, которое подкрадывается, вылезает из будущего... Словно он вдруг обнаружил, что девять десятых населения Англии — чужестранцы. А если это так, тогда можно ждать чего угодно!» В этих мыслях Сомса слышатся отголоски опасений автора, в то же время здесь великолепно дана психология английских собственников, которые считают, что именно они, а не девять десятых населения олицетворяют всю страну.

Осознание автором рубежа, переломного момента в истории современной ему Англии, предчувствие социальных бурь особенно чувствуется в сцене похорон королевы Виктории. В этой сцене проявляется двойственное отношение автора к тому, что он изображает. С одной стороны, остро характеризуется уходящий «золотой век» Форсайтов, эпоха, сделавшая своим богом Маммону и так канонизировавшая фарисейство, что «для того, чтобы быть respectableм, достаточно было казаться им», с другой стороны, в размышлениях Сомса о том, что век уходит, что «со всем этим тред-юнионизмом и с этими лейбористами в парламенте... никогда уже не будет так спокойно, как при доброй старой Викки!..», также можно узнать интонации автора.

В романе «Сдается внаем» предстает уже послевоенная Англия, потрясенная войной, забастовками, экономическим кризисом. Психология собственника в этом смутном мире — вот что с первой же главы показывает нам автор, Сохранение своего бо-

гатства, ограждение его по мере возможности от возросших налогов на капитал — главная забота Сомса. Он склонен утешать себя тем, что цены на землю и картины хоть и колеблются, но все же растут и, следовательно, есть за что держаться в этом мире, где столько нереального. Моментами в нем просыпаются чувства, свойственные собственникам «золотого века» английской буржуазии: «Во всем неустройство, люди спешат, суетятся, но здесь — Лондон на Темзе, вокруг Британская империя, а дальше — край земли... И все, что было в Сомсе бульдожьего, с минуту отражалось во взгляде его серых глаз». В такие моменты мы как будто видим за спиной Сомса фигуру мистера Подснепа, который презирает все неанглийское, считает столицу Англии столицей мира, английскую конституцию — даром провидения процветающей стране.

И в то же время именно через Сомса автор выражает мысль, что класс Форсайтов обречен историей. Дощечка с надписью «сдается в наем», водруженная на доме Джוליона в Робин-Хилле после его смерти, приобретает характер символа в мыслях Сомса, только что похоронившего Тимоти — последнего из старых Форсайтов: «Сдается в наем форсайтский век, форсайтский образ жизни, когда человек был неоспоримым и бесконтрольным владельцем своей души, своих доходов и своей жены». Этот четкий вывод не могут затемнить дальнейшие рассуждения, которыми утешает себя Сомс, — рассуждения о вечно присущем человеческой натуре собственническом инстинкте и, следовательно, вечно-сти собственнического порядка. Эти рассуждения перекликаются с аналогичной мыслью автора в предисловии к «Саге о Форсайтах». Но в том же предисловии автор говорит, что он забальзамировал класс крупной буржуазии (которому, возможно, суждено перейти в небытие), чтобы его могли увидеть посетители музея литературы. Так сложно протекает внутренняя борьба писателя — критика общества с «тем, другим человеком». В романе «Сдается в наем» и во второй трилогии о Форсайтах, «Современная комедия», Голсуорси передает дух послевоенной буржуазной Англии так же верно, как дух позднего викторианства в первых двух романах трилогии. «Гротески» послужили своего рода прелюдией ко всем этим произведениям.

В «Белой обезьяне» Голсуорси критикует главным образом декадентское искусство, бесплодное формалистическое экспериментирование в области живописи, скульптуры, музыки, высмеивает романы, похожие на психоаналитические трактаты. В центре «Серебряной ложки» — критика буржуазного парламентаризма, который Голсуорси разоблачал уже в ранних своих рассказах.

Писатель схватывает характерные черты складывающихся в новой обстановке типов. Перед нами проходят представители «золотой молодежи» — нигилисты и циники, поэты, пишущие «ни о чем», художники, деформирующие мир, музыканты, со-здающие сонаты «со слегка хирургическим оттенком».

Явления, которые Голсуорси улавливает в жизни, он в некоторых случаях выражает в виде символов. В то время, как у декадентов символы — это «знаки», выражение чрезвычайно субъективных и потому трудноуловимых представлений автора, у Гол-

суорси символы — действенное средство истолкования действительности, воплощения ее сущности: они исполнены силы обобщения. Таким обобщающим символом является белая обезьяна на картине китайского художника, которая тоскует и сердится, не находя в апельсине того, что, по ее представлению, там скрыто. В этом образе автор воплотил черты представителей молодого поколения форсайтской Англии, которые, не видя уже смысла в накоплении капитала, не видят смысла и в самом своем существовании; они так же, как и белая обезьяна, съедают плоды жизни и разбрасывают кожуру, жадно стремясь удовлетворить свои желания, но не зная сами, чего хотят.

Эти черты присущи и дочери Сомса Флер, у которой форсайтская цепкость и упорство, унаследованные от отца, сочетаются с душевной пустотой, с сознанием, что цепляться-то, собственно, не за что.

Однако о духовном банкротстве молодежи форсайтской Англии говорят и образы положительных героев Голсуорси. Это Майкл Монт с его филантропическими начинаниями, планами спасения империи путем «фоггартизма» — реакционного проекта о переселении детей английских рабочих в колонии в целях борьбы с безработицей; это Джон, сын Ирэн и Джолиона, который в «Лебединой песне» во время всеобщей забастовки 1926 года вместе с другими представителями форсайтской Англии встает на защиту своего класса, принимая участие в штрейкбрехерской работе.

Вместе с Майклом Монтом писатель ищет путей разрешения острых проблем, назревших в стране, его устами он задает постоянный вопрос: «Так что же у нас неладно?» — и так же, как и Майкл, не находит ответа.

В этой обстановке особое значение приобретает для автора образ Сомса. По сведениям американского литературоведа У. Л. Фелпса, один из читателей Голсуорси после прочтения «Серебряной ложки» спрашивал его в письме, являются ли изменения в характере Сомса результатом определенного авторского плана. Голсуорси ответил, что у него не было определенного плана в этом отношении и он не видит особых изменений в характере Сомса в «Серебряной ложке» сравнительно с романами «Сдается в наем» и «Белая обезьяна», но что вообще Сомс смягчается с годами, главным образом благодаря своей любви к Флер.

Благодаря любви к дочери Сомс действительно смягчается. Эгоист, всегда считавшийся только со своими желаниями, он теперь готов ради нее на жертвы. В этой любви — источник новой его трагедии: Флер не любит его так, как ему бы хотелось. Влияет на его характер и возраст, ослабевает стремление к стяжательству. Но, помимо этих естественных изменений, в Сомсе происходят изменения, не соответствующие логике его образа, в нем появляются такие черты, как склонность к философским раздумьям. Красота, которая раньше не давалась Сомсу, теперь становится ему доступной. Мы чувствуем духовный контакт автора с Сомсом. Он часто говорит его устами, и нам теперь не приходится догадываться, что же подразумевал Голсуорси в предисловии к «Братству», когда он говорил, что чувствует в себе

черты Сомса. Правда, так бывает не всегда, в образе Сомса переплетено несколько линий, и перед нами моментами возникает прежний Сомс, но к концу «Современной комедии» все реже. Образ Сомса во многом служит опорой автору в этом смутном для него мире. Создается впечатление, что протягиваются нити между Сомсом и старым Джолионом при всем различии их образов. Сомс также в глазах автора становится представителем «золотого века».

Но как отрицательные, так и положительные образы «Современной комедии» говорят о том, что форсайтский порядок обречен. В большинстве случаев автор, как художник-реалист, не изменяет своему служению правде. Так, несмотря на то, что, судя по статьям и высказываниям Голсуорси, он придерживался «теории фоггартизма» до конца своей жизни, в «Серебряной ложке» он в соответствии с правдой жизни показал ее несостоятельность.

«Лебединой песней», где показана гибель Сомса, автор заканчивает свою эпопею о Форсайтах. В 1930 году он, однако, издает сборник рассказов «На Форсайтской Бирже», где описаны различные случаи из жизни Форсайтов разных поколений. Наиболее удачные из них представлены в четвертом томе настоящего собрания сочинений. Среди них, в частности, рассказ «Сомс и Англия», действие которого происходит во время первой мировой войны. В нем автор устами Сомса осуждает войну, выражает свое отвращение к шовинизму.

Творчество Голсуорси завершает трилогия «Последняя глава» (романы «Девушка ждет» — 1931, «Пустыня в цвету» — 1932 и «Через реку» — 1933). Он сам рассматривал ее как эпилог своего творчества. По-прежнему озабоченный тяжелым положением страны (в последнем романе трилогии находит отражение мировой экономический кризис), писатель пытается найти опору в новых героях — членах старинной дворянской семьи Черрелей, хранителей, в его глазах, лучших традиций Англии. Но сама идея искать путь спасения Англии в ее прошлом обречена на неудачу. Это особенно ясно в романе «Девушка ждет», где видно, насколько косны, мертвы, реакционны эти «лучшие традиции». В отличие от эпопеи о Форсайтах здесь семейная тема часто дается в отрыве от социальной, хотя многие явления в жизни Англии начала 20-х годов получили отражение в трилогии. Узкому миру клана Черрелей автор часто придает больше значения, чем он того заслуживает. Наиболее удачен роман «Пустыня в цвету», где показан конфликт между истинной человечностью и властью представлений о престиже Британской империи. Последний роман, «Через реку», Голсуорси заканчивал тяжелобольным; книга вышла после его смерти.

В эпилоге, завершающем творческий путь Голсуорси, не нашли проявления самые сильные стороны писателя, но в целом этот большой и сложный путь отмечен славными победами, и, оглядываясь на него, мы можем сказать, что творчество Джона Голсуорси принадлежит к лучшим страницам истории английской литературы XX века.

Д. Жантисева

Сага о
ФОРСАЙТАХ
2

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Название «Сага о Форсайтах» предназначалось в свое время для той ее части, которая известна теперь как «Собственник», и то, что я дал его всей хронике семьи Форсайтов, свидетельствует о чисто форсайтской цепкости, присущей всем нам. Против слова «Сага» можно возражать на том основании, что в нем заключено понятие героизма, а героического на этих страницах мало. Но оно употреблено с подобающей случаю иронией; а кроме того, эта длинная повесть, хоть в ней и говорится о веке процветания и о людях в сюртуках и турнюрах, не лишена страстной борьбы враждебных друг другу сил. Несмотря на гигантский рост и кровожадность, которыми наделяет предание героев древних саг, они по своим собственническим инстинктам были очень сродни Форсайтам и так же беззащитны против набегов красоты и страсти, как Суизин, Сомс и даже молодой Джолион. И хотя в нашем представлении эти герои никогда не бывших времен сильно выделяются среди своего окружения — вещь неприемлемая для Форсайта времен Виктории, — мы можем с уверенностью предположить, что родовой инстинкт и тогда был главной движущей силой и что семья, домашний очаг и собственность играли такую же роль, какую играют сейчас, несмотря на все разговоры, с помощью которых их стараются в последнее время свести на нет.

Столько людей в своих письмах ко мне утверждали, будто прототипами Форсайтов послужили именно их

семьи, что я почти готов поверить в типичность этой разновидности человеческого рода. Нравы меняются, жизнь идет вперед, и «Дом Тимоти на Бэйсуотер-Род» в наше время попросту немыслим во всех отношениях; мы не увидим больше такого дома, не увидим, возможно, и людей подобных Джемсу или старому Джолиону. А между тем отчеты страховых обществ и речи судей изо дня в день убеждают нас в том, что наш земной рай — и теперь еще богатый заповедник, куда украдкой совершают набеги Красота и Страсть, чтобы среди бела дня похитить у нас наше спокойствие. Как собака лает на духовой оркестр, так же все, что есть в человеческой природе от Сомса, неизменно и тревожно восстает против угрозы распада, нависшей над владениями собственности.

«Пусть мертвое прошлое хоронит своих мертвецов» — это изречение было бы убедительнее, если бы прошлое когда-нибудь умирало. Живучесть прошлого — одно из тех трагикомических благ, которые отрицает всякий новый век, когда он выходит на арену и с безграничной самонадеянностью претендует на полную новизну. А в сущности никакой век не бывает совсем новым. В человеческой природе, как бы ни менялось ее обличье, есть и всегда будет очень много от Форсайта, а он, в конце концов, еще далеко не худшее из животных.

Оглядываясь на эпоху Виктории, расцвет, упадок и гибель которой в некотором роде представлены в «Саге о Форсайтах», мы видим, что попали из огня да в полымя. Нелегко было бы доказать, что в 1913 году положение Англии было лучше, чем в 1886 году, когда Форсайты собрались в доме старого Джолиона на празднование помолвки Джун и Филипа Босини. А в 1920 году, когда весь клан снова собрался, чтобы благословить брак Флер с Майклом Монтом, положение Англии стало чересчур расплывчатым и безысходным, точно так же, как в 80-х годах оно было чересчур застывшим и прочным. Будь эта хроника научным исследованием о смене эпох, мы, вероятно, остановились бы на таких факторах, как изобретение велосипеда, автомобиля и самолета; появление дешевой прессы; упадок деревни и рост городов; рождение кино. Дело в том, что люди совершенно неспособны управлять своими изобретениями; в лучшем слу-

чае они лишь приспособляются к новым условиям, которые эти изобретения вызывают к жизни.

Но эта длинная повесть не является научным исследованием какого-то определенного периода; скорее она представляет собой изображение того хаоса, который вносит в жизнь человека Красота.

Образ Ирэн, который, как, вероятно, заметил читатель, дан исключительно через восприятие других персонажей, есть воплощение волнующей Красоты, врывающейся в мир собственников.

Было замечено, что читатели, по мере того как они бредут вперед по соленым водам Саги, все больше проникаются жалостью к Сомсу и воображают, будто это идет вразрез с замыслом автора. Отнюдь нет. Автор и сам жалеет Сомса, трагедия которого — очень простая, но непоправимая трагедия человека, не внушающего любви и притом недостаточно толстокожего для того, чтобы это обстоятельство не дошло до его сознания. Даже Флер не любит Сомса так, как он, по его мнению, того заслуживает. Но, жалея Сомса, читатели, очевидно, склонны проникнуться неприязненным чувством к Ирэн. В конце концов, рассуждают они, это был не такой уж плохой человек, он не виноват, ей следовало простить его и так далее. И они, становясь пристрастными, упускают из виду простую истину, лежащую в основе этой истории, а именно, что если в браке физическое влечение у одной из сторон отсутствует, то ни жалость, ни рассудок, ни чувство долга не преобладают отвращения, заложенного в человеке самой природой. Плохо это или хорошо — не имеет значения; но это так. И когда Ирэн кажется жестокой и черствой — как в Булонском лесу или в галерее Гаупенор, — она лишь проявляет житейскую мудрость: она знает, что малейшая уступка влечет за собой невозможную, немыслимо унижительную капитуляцию.

Говоря о последней части Саги, можно поставить в упрек автору, что Ирэн и Джолион — эти представители бунта против собственности — посягают как на некую собственность на своего сына Джона. Но, право же, это было бы уже чересчур критическим подходом к повести в том виде, в каком она дана читателю. Ни один отец, ни одна мать не позволили бы своему сыну женить-

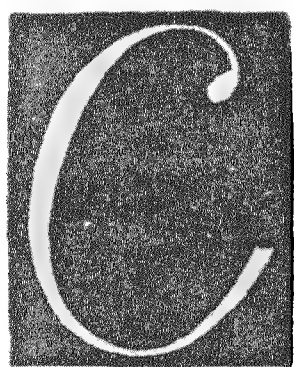
ся на Флер, не рассказав ему всех фактов; и решение Джона определяют именно факты, а не доводы родителей. К тому же Джолион приводит свои доводы не ради себя, а ради Ирэн, а довод самой Ирэн сводится к одному: «Не думай обо мне, думай о себе!» Если Джон, узнав факты, понимает чувства своей матери, это, по совести, едва ли можно считать доказательством того положения, что и она, в сущности, принадлежит к породе Форсайтов.

Однако, хотя главной темой «Саги о Форсайтах» являются набеги Красоты и посягательства Свободы на мир собственников, автор ее не может отвести от себя обвинение в том, что он в некотором роде забальзамировал класс крупной буржуазии. Как в древнем Египте мумии окружали предметами, необходимыми умершим в загробной жизни, так я попытался наделить образы теток Энн, Джули и Эстер, Тимоти и Суизина, старого Джолиона и Джемса и их сыновей тем, что обеспечит им хоть малую толику жизни «будущего века», что явится каплей бальзама в стремительном потоке всерастворяющего «прогресса».

Если крупной буржуазии, так же как и другим классам, суждено перейти в небытие, пусть она останется законсервированной на этих страницах, пусть лежит под стеклом, где на нее могут поглазеть люди, забредшие в огромный и неустроенный музей Литературы. Там она сохраняется в собственном соку, название которому — Чувство Собственности.

Джон Голсуорси

1922 г.



ОБСТВЕННИК

...Ответ мне будет:
Рабы ведь эти наши.

*Шекспир,
«Венецианский купец»*

Перевод
Н. Волжиной.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

ПРИЕМ У СТАРОГО ДЖОЛИОНА

Тем, кто удостоивался приглашения на семейные торжества Форсайтов, являлось очаровательное и поучительное зрелище: представленная во всем блеске семья, принадлежащая к верхушке английской буржуазии. Если же кто-нибудь из этих счастливых обладал даром психологического анализа (талантом, который не имеет денежной ценности и поэтому не пользуется вниманием со стороны Форсайтов), глазам его открывалась картина не только восхитительная сама по себе, но и разъясняющая одну из мудреных загадок человечества. Иными словами, сборище этой семьи,— ни одна ветвь которой не чувствовала расположения к другой, между любыми тремя членами которой не было ничего заслуживающего названия симпатии,— помогало внимательному наблюдателю уловить признаки той загадочной, несокрушимой живучести, которая превращает семью в такое мощное звено общественной жизни, в такое точное воспроизведение целого общества в миниатюре. Этому наблюдателю представлялась возможность прозреть туманные пути развития общества, уяснить себе кое-что о патриархальном быте, о передвижениях первобытных орд, о величии и падении народов. Он уподоблялся тому, кто, следя за ростом молодого деревца, живучесть и обособленное положение которого

помогли ему уцелеть там, где погибли сотни других растений, менее стойких, менее сильных и выносливых, в один прекрасный день видит его в самый разгар цветения, покрытым густой сочной листвой и почти отталкивающим в своей пышности.

Пятнадцатого июня 1886 года случайный наблюдатель, попавший около четырех часов дня в дом старого Джолиона Форсайта на Стэнхоп-Гейт, мог увидеть лучшую пору жизни Форсайтов — пору их цветения.

Прием был устроен в честь помолвки мисс Джун Форсайт — внучки старого Джолиона — с мистером Филипом Босини. Вся семья собралась здесь, щеголяя белыми перчатками, светло-желтыми жилетами, перьями и платьями; приехала даже тетя Энн, которая редко оставляла теперь уголок зеленой гостиной своего брата Тимоти, где она проводила целые дни за книгой и вязаньем, под сенью крашеного ковыля в голубой вазе, окруженная портретами трех поколений Форсайтов. Даже тетя Энн была здесь: негнувшийся стан и спокойное достоинство ее старческого лица воплощали в себе непоколебимый дух собственности, свойственный всей семье.

Когда Форсайт праздновал помолвку, свадьбу или рождение, все Форсайты бывали в сборе; когда Форсайт умирал... но до сих пор с Форсайтами этого не случилось, — они не умирали. Смерть противоречила их принципам, и они принимали против нее все меры предосторожности, инстинктивной предосторожности, как делают очень жизнеспособные люди, восстающие против посягательств на их собственность.

Форсайты, смешавшиеся в этот день с толпой остальных гостей, казались более, чем обычно, парадными и блистательно респектабельными, в их самоуверенности было что-то настороженно-пытливое, они как будто нарядились для того, чтобы бросить кому-то вызов. Обычная презрительная гримаса, застывшая на лице Сомса Форсайта, отражалась и на их лицах: они были начеку.

Наступательная позиция, занятая ими бессознательно, стала некой психологической вехой в истории семьи и сделала прием у старого Джолиона прелюдией к их драме.

Форсайты протестовали против чего-то, и не каждый в отдельности, а всей семьей; этот протест выражался подчеркнутой безукоризненностью туалетов, избытком родственного радушия, преувеличением роли семьи и... презрительной гримасой. Опасность, неминуемо обнажающую основные черты любого общества, группы или индивидуума,— вот что чуяли Форсайты; предчувствие опасности заставило их навести лоск на свои доспехи. Впервые за все время у семьи появилось инстинктивное чувство непосредственной близости чего-то необычного и ненадежного.

Около рояля стоял крупный, осанистый человек, два жилета облекали его широкую грудь — два жилета с рубиновой булавкой вместо одного атласного с булавкой бриллиантовой, что приличествовало менее торжественным случаям; его квадратное бритое лицо цвета пергамента и белесые глаза сияли величием поверх атласного галстука. Это был Суизин Форсайт. У окна, где можно было захватить побольше свежего воздуха, стоял близнец Суизина, Джемс,— «толстый и тощий», прозвал их старый Джолион. Как и Суизин, Джемс был более шести футов роста, но очень худой, словно ему с самого рождения суждено было искупать своей худобой чрезмерную дородность брата. Джемс стоял, как всегда, сгорбившись, и хмуро поглядывал по сторонам; в его серых глазах застыла какая-то тревожная мысль, от которой он время от времени отвлекался и обводил окружающих быстрым, беглым взглядом; запавшие щеки с двумя параллельными складками и выдававшуюся вперед чисто выбритую длинную верхнюю губу обрамляли густые пушистые бакенбарды. В руках он вертел фарфоровую вазу. Немного дальше его единственный сын Сомс, бледный, гладко выбритый, с темными редющими волосами, слушал какую-то даму в коричневом платье, выпятив подбородок, склонив голову набок и скорчив упомянутую выше презрительную гримасу, словно он фыркал на яйцо, зная наверное, что ему не переварить его. Позади Сомса его двоюродный брат, рослый Джордж, сын пятого по счету Форсайта — Роджера, с сардонической усмешкой на мясистом лице обдумывал очередную остроту.

В сегодняшнем событии таилось что-то такое, что задевало их всех.

В ряд, тесно одна к другой, сидели три леди: тети Энн, Эстер (обе — старые девы) и Джули (уменьшительное от Джулии), которая, будучи уже не первой молодости, настолько забылась, что вышла замуж за Септимуса Смолла — человека слабого здоровья. Она пережила его на много лет. Теперь Джули жила вместе со старшей и младшей сестрами на Бэйсуотер-Род в доме Тимоти — своего шестого по счету и самого младшего брата. Все три леди держали в руках по вееру, и каждая из них цветной отделкой на платье, ярким пером или брошью отметила торжественность дня.

Посередине комнаты под люстрой, как и подобало хозяину, стоял глава семьи, сам старый Джолион. Чудесная седая шевелюра, выпуклый лоб, маленькие темно-серые глаза и длинные седые усы, свисавшие намного ниже массивного подбородка, делали этого восьмидесятилетнего старика похожим на патриарха, который, несмотря на худобу щек и запавшие виски, казалось, обладал секретом вечной юности. Он держался очень прямо, а его пронизательные спокойные глаза еще не утратили своего ясного блеска. Все это говорило о том, что старый Джолион — выше людской мелкоты с ее сомнениями и раздорами. Долгие годы он жил своим умом, тем самым закрепив за собой право на превосходство. Ему бы в голову не пришло, что надо выставять напоказ свои сомнения и открыто бросать кому-то вызов.

Между ним и четверьмя остальными братьями, присутствовавшими здесь, — Джемсом, Суизином, Николасом и Роджером, — была и большая разница и большое сходство. В свою очередь, каждый из четырех братьев сильно отличался от остальных, и все-таки они были очень похожи друг на друга.

За разнообразием черт и выражений этих пяти лиц можно было подметить твердость подбородка как основу, поверх которой обозначались лишь несущественные отличия, как печать рода, слишком древнюю, чтобы можно было проследить ее возникновение, слишком знакомую и привычную, чтобы вдаваться в споры о ней, — истинную пробу и залог благосостояния семьи.

Младшее поколение: рослый, массивный Джордж, бледный, подвижной Арчибальд, молодой Николас с его мягкой, неназойливой настойчивостью, напыщенный, фа-

товатый Юстас — все были отмечены этой печатью, может быть, менее явной, но столь же бесспорной и свидетельствующей о том, что было неискоренимо в самом духе семьи.

Несколько раз на всех этих лицах, столь различных и столь схожих между собой, появлялось в тот день выражение недоверия, и объектом этого недоверия несомненно был человек, ради знакомства с которым они собрались здесь.

Всем им было известно, что Филип Босини — молодой человек без всякого состояния, но девушки из семьи Форсайтов и раньше обручались с такими людьми и даже выходили за них замуж. Значит, не это обстоятельство служило главным поводом для недоверия Форсайтов. Они не смогли бы объяснить, откуда взялась эта неприязнь, причины которой терялись где-то в тумане семейных пересудов. Во всяком случае, рассказывалась такая история, будто бы он явился с официальным визитом к тетям Энн, Джули и Эстер в мягкой серой шляпе, к тому же далеко не новой и какой-то бесформенной и пыльной. «Так странно, милочка, такая экстравагантность!» Тетя Эстер (очень близорукая), проходя через маленький неосвещенный холл, хотела согнать шляпу со стула, приняв ее за бродячую кошку, — Томми заводил себе таких сомнительных друзей! Она была сильно озадачена, когда «кошка» не двинулась с места.

Подобно художнику, который старается отыскать какую-нибудь выразительную мелочь, воплощающую в себе все самое характерное в ситуации, месте или человеке, так и Форсайты — бессознательные художники — чисто интуитивно ухватились за эту шляпу. Она-то и была для них той выразительной деталью, мелочью, в которой коренился смысл всего происходящего. Каждый из них задавал себе вопрос: «Ну, а вот, например, я — пошел бы я с таким визитом да в такой шляпе?» И каждый отвечал: «Нет», а некоторые, наделенные бóльшим воображением, добавляли: «Мне бы это и в голову не пришло!»

Джордж, услышав про шляпу, усмехнулся. Совершенно ясно, что Босини хотел пошутить. Джордж был любителем таких шуток.

— Заносчивый юноша, — сказал он, — настоящий пират!

И это mot¹ «пират» передавалось из уст в уста и наконец окончательно закрепилось за Босини.

После случая со шляпой все три тетки накинулись на Джун:

— Как ты позволяешь ему такие выходки, милочка!

Джун не замедлила ответить тем властным тоном, каким всегда говорило это крохотное существо — воплощение воли:

— Ну и что ж такого? Филу совершенно безразлично, что носить!

Никто не поверил столь дикому ответу. Безразлично, что носить? Нет, нет!

Но что же представлял собой этот молодой человек, который сделал столь удачный шаг, обручившись с Джун — наследницей старого Джолиона? Он был архитектор, но ведь это недостаточная причина, чтобы носить такую шляпу. Среди Форсайтов архитекторов не было, но кто-то из них знал двух архитекторов, которые никогда бы не явились с официальным визитом в такой шляпе в самый разгар лондонского сезона. Подозрительно, да, очень подозрительно!

Джун, конечно, ничего особенного в этом не видела, хотя, несмотря на свои неполные девятнадцать лет, она слыла очень придирчивой особой. Разве не она сказала миссис Сомс, которая так прекрасно одевается, что перья вульгарны? И миссис Сомс действительно перестала носить перья. Вот что могла натворить маленькая Джун своей бесцеремонностью.

Однако ни опасения, ни скептицизм, ни самое откровенное недоверие не помешали Форсайтам собраться у старого Джолиона. Приемы на Стэнхоп-Гейт стали большой редкостью; за последние двенадцать лет их не устраивали — да, ни одного приема с тех пор, как умерла старая миссис Джолион.

Никогда еще на Стэнхоп-Гейт не было такого полного сближения. Каким-то таинственным образом сплотившись, несмотря на все свое различие, Форсайты вооружились против общей опасности. Словно стадо, увидевшее на лугу собаку, они стояли голова в голову, плечо к пле-

¹ Удачное слово (франц.).

чу, готовые кинуться и затоптать чужака насмерть. Они пришли сюда также и затем, чтобы разузнать, какие надо готовить подарки. Вопрос о свадебных подарках разрешался обычно так: «Что ты собираешься дарить? Николас дарит ложки». Но ведь от жениха тоже многое зависело. Если жених одет опрятно, даже щеголевато, и по виду состоятельный, ему нужно дарить хорошие вещи, ибо он на это рассчитывает. И в конце концов каждый дарил то, что следовало; список подарков устанавливался всей семьей примерно так же, как устанавливается курс на бирже, а детали разрабатывались на Бэйсуотер-Род в просторном, выходившем окнами в парк кирпичном особняке Тимоти, где жили тети Энн, Джули и Эстер.

Беспокойство Форсайтов вполне объяснялось уже одним упоминанием о шляпе. Какой нелепостью, какой ошибкой было бы для любой семьи, уделяющей столько внимания внешности (что вечно будет служить отличительной чертой могучего класса буржуазии), испытывать в этом случае что-либо, кроме беспокойства!

Виновник всего этого беспокойства стоял у дальней двери и разговаривал с Джун. Его кудрявые волосы были взъерошены — не оттого ли, что все вокруг казалось ему странным? К тому же он словно подсмеивался про себя над чем-то.

Джордж сказал потихоньку своему брату Юстасу:

— Он еще даст отсюда тягу, этот лихой пират!

«Странный молодой человек», как впоследствии назвала Босини миссис Смолл, был среднего роста, крепкого сложения, со смугло-бледным лицом, усами пепельного цвета и резко обозначенными скулами. Покатый лоб, выступающий шишками, напоминал те лбы, что видишь в зоологическом саду в клетках со львами. Его карие глаза принимали порой рассеянное, отсутствующее выражение. Кучер старого Джолиона, возивший как-то Джун и Босини в театр, выразился о нем в разговоре с лакеем так:

— Я что-то не разберусь в нем. Здорово смахивает на полудикого леопарда.

Время от времени кто-нибудь из Форсайтов подходил поближе, описывал около Босини круг и внимательно оглядывал его.

Джун, эта «копна волос плюс характер», как кто-то

сказал про нее, эта крошка с бесстрашным взглядом синих глаз, твердым подбородком, ярким румянцем и золотисто-рыжими волосами, слишком пышными для такого узенького личика и хрупкой фигурки, стояла перед своим женихом, охраняя его от этого праздного любопытства.

Высокая, прекрасно сложенная женщина, которую кто-то из Форсайтов сравнил однажды с языческой богиней, смотрела на эту пару, еле заметно улыбаясь.

Ее руки в серых лайковых перчатках лежали одна на другой, она склонила голову немного набок, и мужчины, стоявшие поблизости, не могли оторвать глаз от этого спокойного, очаровательного лица. Ее тело чуть покачивалось, и казалось, что достаточно движения воздуха, чтобы поколебать его равновесие. В ее щеках чувствовалось тепло, хотя румянца на них не было; большие темные глаза мягко светились. Но мужчины смотрели на ее губы, в которых таился вопрос и ответ, на ее губы с еле заметной улыбкой; они были нежные, чувственные и мягкие; казалось, что от них исходит тепло и благоухание, как исходит тепло и благоухание от цветка.

Молодая пара, находившаяся под таким наблюдением, не замечала этой безмолвной богини. Архитектор, первым обратив на нее внимание, спросил, кто она.

И Джун подвела своего жениха к женщине с прекрасной фигурой.

— Ирэн — мой самый большой друг, — сказала она, — извольте и вы подружиться!

Выслушав приказание молоденькой хозяйки, они улыбнулись, и в эту минуту Сомс Форсайт безмолвно появился позади прекрасно сложенной женщины, которая была его женой, и сказал:

— Познакомь и меня!

Он редко оставлял Ирэн одну в обществе и, даже когда светские обязанности разъединяли их, следил за ней глазами, в которых сквозила странная настороженность и тоска.

У окна отец Сомса, Джемс, все еще разглядывал марку на фарфоровой вазе.

— Удивляюсь, как Джолион разрешил эту помолвку, — обратился он к тете Энн. — Говорят, что свадьба отложена бог знает на сколько. У этого Бóсини (он сде-

лал ударение на первом слоге) ничего нет за душой. Когда Уинифрид выходила за Дарти, я оговорил каждый пенни — и хорошо сделал, а то бы они остались ни с чем!

Тетя Энн взглянула на него из глубины бархатного кресла. На лбу у нее были уложены седые букли — букли, которые, не меняясь десятилетиями, убили у членов семьи всякое ощущение времени. Тетя Энн промолчала, она берегла свой старческий голос и говорила редко, но Джемсу, совесть у которого была беспокойна, ее взгляд сказал больше всяких слов.

— Да,— сказал он,— у Ирэн не было своих средств, но что я мог поделаться? Сомсу не терпелось; он так увивался около нее, что даже похудел.

Сердито поставив вазу на рояль, он перевел взгляд на группу у дверей.

— Впрочем, я думаю,— неожиданно добавил он,— что это к лучшему.

Тетя Энн не попросила разъяснить это странное заявление. Она поняла мысль брата. Если у Ирэн нет своих средств, значит, она не наделает ошибок; потому что ходили слухи... ходили слухи, будто она просит отдельную комнату, но Сомс, конечно, не...

Джемс прервал ее размышления.

— А где же Тимоти? — спросил он.— Разве он не приехал?

Сквозь сжатые губы тети Энн прокралась нежная улыбка.

— Нет, Тимоти решил не ездить; сейчас свирепствует дифтерит, а он так подвержен инфекции.

Джемс ответил:

— Да, он себя бережет. Я вот не имею возможности так беречься.

И трудно сказать, чего было больше в этих словах — восхищения, зависти или презрения.

Тимоти и в самом деле показывался редко. Самый младший в семье, издатель по профессии, он несколько лет назад, когда дела шли как нельзя лучше, почуял возможность застоя, который, правда, еще не наступил, но, по всеобщему мнению, был неминуем, и, продав свою долю в издательстве, выпускавшем преимущественно книги религиозного содержания, поместил весьма солидный капитал в трехпроцентные консоли. Этим поступком он

сразу же поставил себя в обособленное положение, так как ни один Форсайт еще не довольствовался меньшим, чем четыре процента; и эта обособленность медленно, но верно расшатала дух человека, и так уже наделенного чрезмерной осторожностью. Тимоти стал почти мифическим существом—чем-то вроде символа обеспеченного дохода, без которого немыслима форсайтская вселенная. Он не решился на такой неблагоразумный поступок, как женитьба, и ни при каких обстоятельствах не захотел обзаводиться детьми.

Джемс снова заговорил, постукивая пальцем по фарфоровой вазе:

— Не настоящий Вустер. Джолион, наверно, рассказывал тебе про этого молодого человека. Насколько мне известно, у него нет ни дела, ни доходов, ни сколько-нибудь серьезных связей; но я ведь ничего не знаю — мне никогда ничего не рассказывают.

Тетя Энн покачала головой. По ее старческому лицу с орлиным носом и квадратным подбородком пробежала дрожь; она стиснула свои худые паучьи лапки и переплела пальцы, как бы незаметно набираясь силы воли.

Старшая из всех Форсайтов, тетя Энн занимала в семье не совсем обычное положение. Беспринципные эгоисты — впрочем, не в большей степени, чем их ближние, — Форсайты пасовали перед неподкупной тетей Энн, а когда приходилось поступать уж очень беспринципно, им не оставалось ничего другого, как стараться избегать встреч с ней!

Заложив одна за другую свои длинные худые ноги, Джемс, все еще стоявший у окна, снова заговорил:

— Джолион, конечно, сделает по-своему. У него нет детей... — и запнулся, вспомнив о существовании сына Джолиона, молодого Джолиона, отца Джун, который натворил таких дел в прошлом и погубил себя, бросив жену и ребенка ради какой-то гувернантки. — Впрочем, — поторопился добавить Джемс, — пусть делает, как знает, я думаю, он может себе разрешить это. А сколько он даст за ней? Наверно, тысячу в год, ведь у него больше нет наследников.

Он протянул руку щеголеватому, чисто выбритому человеку с почти голым черепом, длинным кривым носом,

полными губами и холодным взглядом серых глаз, смотревших из-под прямых бровей.

— А, Ник,— пробормотал он,— как поживаешь?

Николас Форсайт, подвижной, как птица, и похожий на развитого не по летам школьника (совершенно законным путем он нажил солидный капитал, будучи директором нескольких компаний), вложил в холодную ладонь Джемса кончики своих еще более холодных пальцев и быстро отдернул их.

— Скверно,— с надутым видом сказал он,— последнюю неделю чувствую себя очень скверно; не сплю по ночам. Доктор никак не разберет, в чем дело. Неглупый малый — иначе я не стал бы с ним возиться,— но кроме счетов я от него ничего не вижу.

— Доктора! — с раздражением сказал Джемс.— У меня в доме перебывали все, какие только есть в Лондоне. А проку от них? Наговорят вам с три короба, и только. Вот, например, Суизин. Помогли они ему? Полюбуйтесь, он стал еще толще — настоящая туша. Помогли они ему сбавить вес? Посмотрите на него!

Суизин Форсайт, огромный, широкоплечий, подошел к ним горделивой походкой, выставив вперед высокую, как у зобастого голубя, грудь во всем великолепии ярких жилетов.

— Э-э... здравствуйте,— проговорил он тоном денди,— здравствуйте!

Каждый из братьев смотрел на двух других с неприязнью, зная по опыту, что те постараются преуменьшить его недомогания.

— Мы только что говорили про тебя,— сказал Джемс,— ты совсем не худеешь.

Суизин напряженно прислушивался к его словам, вытаращив бесцветные круглые глаза.

— Не худею? У меня прекрасный вес,— сказал он, наклоняясь немного вперед,— не то что вы — щепки!

Но, вспомнив, что в таком положении его грудь кажется не столь широкой, Суизин откинулся назад и замер в неподвижности, ибо он ничто так не ценил, как внушительную внешность.

Тетя Энн переводила свои старческие глаза с одного на другого. Взгляд ее был и снисходителен и строг. В свою очередь и братья смотрели на Энн. Она сильно сдала за последнее время. Поразительная женщина! Во-

семьдесят седьмой год пошел, и еще проживет, пожалуй, лет десять, а ведь никогда не отличалась крепким здоровьем. Близнецам Суизину и Джемсу — всего-навсего по семьдесят пять. Николас — просто младенец — семьдесят или около того. Все здоровы, и выводы из этого напрашивались самые утешительные. Из всех видов собственности здоровье, конечно, интересовало их больше всего.

— Я чувствую себя неплохо, — продолжал Джемс, — только нервы никуда не годятся. Малейший пустяк выводит меня из равновесия. Придется съездить в Бат.

— Бат! — сказал Николас. — Я испробовал Хэрроугейт. Ничего хорошего. Мне необходим морской воздух. Лучше всего Ярмут. Там я по крайней мере сплю.

— У меня печень пошаливает, — не спеша прервал его Суизин. — Ужасные боли вот тут, — и он положил руку на правый бок.

— Надо побольше двигаться, — пробормотал Джемс, не отрывая глаз от фарфоровой вазы. И поспешно добавил. — У меня там тоже побаливает.

Суизин покраснел и стал похож на индюка.

— Больше двигаться! — сказал он. — Я и так много двигаюсь: никогда не пользуюсь лифтом в клубе.

— Ну, я не знаю, — заторопился Джемс. — Я вообще ничего не знаю: мне никогда ничего не рассказывают.

Суизин посмотрел на него в упор и спросил:

— А что ты принимаешь против этих болей?

Джемс оживился.

— Я, — начал он, — принимаю такую микстуру...

— Как поживаете, дедушка?

И Джун с протянутой рукой остановилась перед Джемсом, решительно глядя на него снизу вверх.

Оживление моментально исчезло с лица Джемса.

— Ну, а ты как? — сказал он, хмуро уставившись на нее. — Уезжаешь завтра в Уэлс, хочешь навестить теток своего жениха? Там сейчас дожди. Это не настоящий Вустер, — он постучал пальцем по вазе. — А вот сервиз, который я подарил твоей матери к свадьбе, был настоящий.

Джун по очереди поздоровалась с двоюродными дедушками и подошла к тете Энн. На лице старой леди появилось умиленное выражение; она поцеловала девушку в щеку с трепетной нежностью.

— Значит, ты уезжаешь на целый месяц, дорогая!

Джун отошла, и тетя Энн долго смотрела вслед ее стройной маленькой фигурке. Круглые, стального цвета глаза старой леди, которые уже заволакивались пеленой, как глаза птиц, с грустью следили за Джун, смешавшейся с суетливой толпой,— гости уже собирались уходить; а кончики ее пальцев сжимались все сильнее и сильнее, помогая ей набраться силы воли перед неизбежным уходом из этого мира.

«Да,— думала тетя Энн,— все так ласковы с ней; так много народу пришло ее поздравить. Она должна быть очень счастлива».

В толпе у двери — хорошо одетой толпе, состоявшей из семей докторов и адвокатов, биржевых дельцов и представителей всех бесчисленных профессий, достойных крупной буржуазии,— Форсайтов было не больше двадцати процентов, но тете Энн все казались Форсайтами—да и разница между теми и другими была невелика—она всюду видела свою собственную плоть и кровь. Эта семья была ее миром, а другого мира она не знала; никогда, вероятно, не знала. Их маленькие тайны, их болезни, помолвки и свадьбы, то, как у них шли дела, как они наживали деньги,— все было ее собственностью, ее усладой, ее жизнью; вне этой жизни простиралась неясная, смутная мгла фактов и лиц, не заслуживающих особого внимания. Все это придется покинуть, когда настанет ее черед умирать,— все, что давало ей сознание собственной значимости, сокровенное чувство собственной значимости, без которого никто из нас не может жить,— и за все это она цеплялась с тоской, с жадностью, растущей день ото дня. Пусть жизнь ускользает от нее, это она сохранит до самого конца.

Тетя Энн вспомнила отца Джун, молодого Джолиона, который ушел к той иностранке. Ах, какой это был удар для его отца, для них всех! Мальчик подавал такие надежды! Какой удар! Хотя, к счастью, все обошлось без особенной огласки, потому что жена Джо не потребовала развода. Давно это было! А когда шесть лет назад мать Джун умерла, молодой Джолион женился на той женщине, и теперь у них, говорят, двое детей. И все-таки он утратил право присутствовать здесь, он украл у нее, у тети Энн, полноту чувства гордости за семью,

отнял принадлежавшую ей когда-то радость видеть и целовать племянника, которым она так гордилась, который подавал такие надежды! Память об этой обиде, нанесенной столько лет назад, отзывалась горечью в ее упрямом старом сердце. Глаза тети Энн увлажнились. Она украдкой вытерла их тончайшим батистовым платком.

— Ну, что скажете, тетя Энн? — слышался чей-то голос позади нее.

Сомс Форсайт, узкий в плечах, узкий в талии, гладко выбритый, с узким лицом, но, несмотря на это, производивший всем своим обликом впечатление чего-то закругленного и замкнутого, смотрел на тетю Энн искоса, как бы стараясь разглядеть ее сквозь препятствие в виде собственного носа.

— Как вы относитесь к этой помолвке? — спросил он.

Глаза тети Энн покоились на нем с гордостью: этот племянник, самый старший с тех пор, как молодой Джолион покинул родное гнездо, стал теперь ее любимцем; тетя Энн видела в нем надежного хранителя духа семьи — духа, который ей уже недолго осталось охранять.

— Очень удачный шаг для молодого человека, — сказала она. — Внешность у него хорошая. Только я не знаю, такой ли жених нужен нашей дорогой Джун.

Сомс потрогал ножку позолоченного канделябра.

— Она его приручит, — сказал он и, лизнув украдкой палец, потер узловатые выпуклости канделябра. — Настоящий старинный лак; теперь такого не делают. У Джобсона¹ за него дали бы хорошую цену. — Сомс смаковал свои слова, как бы чувствуя, что они придают бодрости его старой тетке. Он редко бывал так разговорчив. — Я бы сам не отказался от такой вещи, — добавил он, — старинный лак всегда в цене.

— Ты так хорошо разбираешься во всем этом, — сказала тетя Энн. — А как себя чувствует Ирэн?

Улыбка на губах Сомса сейчас же увяла.

— Ничего, — сказал он. — Жалуется на бессонницу, а сама спит куда лучше меня, — и он посмотрел на жену, разговаривавшую в дверях с Босини.

¹ Аукционный зал.

Тетя Энн вздохнула.

— Может быть,— сказала она,— ей не следует так часто встречаться с Джун. У нашей Джун такой решительный характер!

Сомс вспыхнул; когда он краснел, румянец быстро перебежал у него со щек на переносицу и оставался там как клеймо, выдававшее его душевное смятение.

— Не знаю, что она находит в этой трещотке,— вспыхнул Сомс, но, заметив, что они уже не одни, отвернулся и опять стал разглядывать канделябр.

— Говорят, Джолион купил еще один дом,— услышал он рядом с собой голос отца.— У него, должно быть, уйма денег,— не знает, куда их девать! На Монпельесквер, кажется; около Сомса! А мне ничего не сказали— Ирэн мне никогда ничего не рассказывает!

— Прекрасное место, в двух минутах ходьбы от меня,— слышался голос Суизина,— а я доезжаю до клуба в восемь минут.

Местоположение домов было для Форсайтов вопросом громадной важности, и в этом не было ничего удивительного, ибо дом олицетворял собой самую сущность их жизненных успехов.

Отец их, фермер, приехал в Лондон из Дорсетшира в начале столетия.

«Гордый Доссет Форсайт», как его называли близкие, был по профессии каменщиком, а впоследствии поднялся до положения подрядчика по строительным работам. На склоне лет он перебрался в Лондон, где работал на постройках до самой смерти, и был похоронен на Хайгетском кладбище. После кончины отца десять человек детей получили свыше тридцати тысяч фунтов стерлингов. Старый Джолион, вспоминая о нем, что случалось довольно редко, говорил так: «Упорный был человек, кремень; и не очень отесанный». Второе поколение Форсайтов чувствовало, что такой родитель, пожалуй, не делает им особой чести. Единственная аристократическая черточка, которую они могли уловить в характере «Гордого Доссета», было его пристрастие к мадере.

Тетя Эстер — знаток семейной истории — описывала отца так:

— Я не помню, чтобы он чем-нибудь занимался; по крайней мере в мое время. Он... э-э... у него были

свои дома, милый. Цвет волос приблизительно, как у дяди Суизина; довольно плотного сложения. Высокий ли? Н-нет, не очень. («Гордый Доссет» был пяти футов пяти дюймов роста, лицо в багровых пятнах). Румяный. Помню, он всегда пил мадеру. Впрочем, спроси лучше тетю Энн. Кем был его отец? Он... э-э... у него были какие-то дела с землей в Дорсетшире, на побережье.

Как-то раз Джемс отправился в Дорсетшир посмотреть собственными глазами на то место, откуда все они были родом. Он нашел там две старые фермы, дорогу к мельнице на берегу, глубоко врезавшуюся колеями в розоватую землю; маленькую замшелую церковь с оградой на подпорках и рядом совсем маленькую и совсем замшелую часовню. Речка, приводившая в движение мельницу, разбегалась, журча, на ручейки, а вдоль ее устья бродили свиньи. Легкая дымка застилала все вокруг. Должно быть, первобытные Форсайты веками, воскресенье за воскресеньем, мирно шествовали к церкви по этой ложбине, увязая в грязи и глядя прямо на море.

Лелеял ли Джемс надежду на наследство или думал найти там что-нибудь достопримечательное — неизвестно; он вернулся в Лондон обескураженный и с трогательным упорством постарался хоть как-нибудь смягчить свою неудачу.

— Ничего особенного там нет, — сказал он, — настоящий деревенский уголок, старый, как мир.

Почтенный возраст этого местечка подействовал на всех успокоительно. Старый Джолион, которого иногда обуревала безудержная честность, отзывался о своих предках так: «Иомены — мелкота, должно быть». И все же он повторял слово «иомены», как будто находил в нем утешение.

Форсайты так хорошо повели свои дела, что стали, как говорится, «людьми с положением». Они вкладывали капиталы во всевозможные бумаги, за исключением консолей — не в пример Тимоти, — потому что больше всего на свете их пугали три процента. Кроме того, они коллекционировали картины и состояли в тех благотворительных обществах, которые могли оказаться полезными для их заболевшей прислуги. От отца-строителя Форсайты унаследовали таланты по части кирпича и известки. Предки их были, вероятно, членами какой-нибудь примитивной секты, а теперешние Форсайты, разумеет-

ся, росли в лоне англиканской церкви и следили за тем, чтобы их жены и дети аккуратно посещали самые фешенебельные храмы столицы. Малейшее сомнение в искренности их верований повергло бы Форсайтов в горестное изумление. Некоторые из них платили за постоянные места в церкви, весьма практически выражая этим свое сочувствие учению Христа.

Их жилища, расположенные вокруг Хайд-парка, на определенном расстоянии друг от друга, следили, как стражи, за тем, чтобы прекрасное сердце Лондона — средоточие форсайтских помыслов — не ускользнуло из их цепких объятий, тем самым уронив Форсайтов в их же собственных глазах.

Старый Джолион жил на Стэнхоп-Плейс; Джемс с семьей — на Парк-Лейн, Суизин — в безлюдном великолепии своих оранжево-голубых апартаментов около Хайд-парка (он не женат, нет, благодарю покорно!); Сомс с женой — в своем гнездышке недалеко от Найтсбриджа; Роджер — в Принсез-Гарденс (Роджер был тот самый знаменитый Форсайт, который задумал дать новую профессию своим четырем сыновьям и привел эту мысль в исполнение. «Самое лучшее дело — недвижимость! — говорил он. — Я только этим и занимаюсь!») Затем Хэймены (миссис Хэймен была единственная замужняя сестра Форсайтов) — на вершине Кэмпден-Хилла, в доме, похожем на жирафа, таком высоком, что, глядя на него, можно было свернуть себе шею; Николас с семьей — на Лэдброк-Гров, в просторном особняке, купленном по чрезвычайно сходной цене; и, наконец, Тимоти — на Бэйсуотер-Род, вместе с Энн, Джули и Эстер, жившими под его защитой.

Джемс, до сих пор думавший о чем-то своем, осведомился у хозяина и брата, сколько тот заплатил за дом на Монпелье-сквер. Он сам вот уже два года присматривается к какому-нибудь такому дому, но за них слишком дорого просят!

Старый Джолион рассказал о своей покупке со всеми подробностями.

— Контракт на двадцать два года? — повторил Джемс. — Это тот самый, который я собирался купить. Ты переплатил за него!

Старый Джолион нахмурился.

— Мне он не нужен, — заторопился Джемс, — не под-

ходит по цене. Сомс знает этот дом, он подтвердит, что это слишком дорого,—его мнение чего-нибудь да стоит.

— Очень мне интересно знать его мнение,— сказал старый Джолион.

— Ну, ты всегда делаешь по-своему,— пробормотал Джемс,—а мнение стоящее. Прощай! Мы хотим проехаться в Харлингэм. Я слышал, что Джун уезжает в Уэлс. Тебе будет тоскливо одному. Что ты будешь делать? Приезжай к нам завтра обедать.

Старый Джолион отказался. Он проводил их до дверей и, уже успев забыть свое раздражение, подмигнул, глядя, как они усаживаются в экипаж: лицом к упряжке — миссис Джемс, высокая и величественная, с каштановыми волосами; слева от нее — Ирэн; оба мужа — отец и сын — напротив жен, словно настороже. Старый Джолион смотрел, как они отъезжают в полном молчании, освещенные солнцем, раскачиваясь и подсакивая на пружинных подушках в такт движению экипажа.

Молчание было прервано миссис Джемс.

— Ну и сборище! — сказала она.

Сомс кивнул и, бросив на нее взгляд из-под опущенных век, заметил, как непроницаемые глаза Ирэн скользнули по его лицу. Весьма вероятно, что все члены форсайтской семьи отпускали то же самое замечание, разъезжаясь группами с приема у старого Джолиона.

Четвертый и пятый братья, Николас и Роджер, вышли вместе с последними гостями и направились вдоль Хайд-парка, к станции подземной железной дороги на Прэд-стрит. Как и все Форсайты солидного возраста, они держали собственных лошадей и по мере возможности старались никогда не пользоваться наемными экипажами.

День был ясный, деревья в парке стояли во всем блеске июньской листвы, но братья, видимо, не замечали этих подарков природы, которые все же способствовали приятности прогулки и беседы.

— Да,— сказал Роджер,— у Сомса очаровательная жена. Говорят, они не ладят.

У этого брата был высокий лоб и свежий цвет лица — свежее, чем у остальных Форсайтов. Его светло-серые

глаза рассматривали фасады вдоль тротуара. Время от времени Роджер поднимал зонтик и прикидывал им высоту домов, «засекая их», как он выражался.

— У нее нет собственных средств,— ответил Николас.

Сам он женился на больших деньгах, а так как это произошло в те золотые времена, когда еще не был введен закон об имуществе замужних женщин, то Николасу удалось найти для приданого жены весьма удачное применение.

— Кто был ее отец?

— Фамилия его Эрон; говорят, профессор.

Роджер покачал головой.

— Тут деньгами и не пахнет,— сказал он.

— Говорят, что ее дед со стороны матери торговал цементом.

Лицо Роджера просветлело.

— Но обанкротился,— продолжал Николас.

— А!—воскликнул Роджер.—У Сомса еще будут неприятности из-за нее. Помяни мое слово, у него будут неприятности — в ней есть что-то иностранное.

Николас облизнул губы.

— Хорошенькая женщина,— и он махнул метельщиком, чтобы тот уступил им дорогу.

— Как это он заполучил такую жену? — спросил вдруг Роджер.—Ее туалеты, должно быть, недешево обходятся!

— Энн мне говорила,— ответил Николас,— что Сомс был просто помешан на ней. Она пять раз ему отказывала. По-моему, Джемс спокоен насчет них.

— А!—опять сказал Роджер.—Жаль Джемса, у него было столько хлопот с Дарти.

Его яркий румянец еще сильнее разгорелся от ходьбы, он поднимал зонтик все чаще и чаще. У Николаса было тоже очень довольное выражение лица.

— Слишком бледна, на мой взгляд,— сказал он,— но фигура великолепная!

Роджер промолчал.

— По-моему, у нее очень благородный вид,— сказал он наконец. Эта была самая высшая похвала в словаре Форсайтов.— Из этого юнца Босини вряд ли выйдет что-нибудь путное. У Баркита говорят, что он, видите ли, та-

лант. Задумал улучшить английскую архитектуру; тут деньгами и не пахнет! Хотел бы я послушать, что говорит по этому поводу Тимоти.

Они подошли к кассе.

— Ты каким классом поедешь? Я — вторым.

— Не признаю второго, — сказал Николас, — того и гляди подцепишь что-нибудь.

Он взял билет первого класса до Ноттинг-Хилл-Гейт; Роджер — второго до Саут-Кенсингтон. Через минуту подошел поезд, братья простились и разошлись по разным вагонам. Каждый был обижен, что другой не пожертвовал своей привычкой ради того, чтобы побыть немного дольше в его обществе. Роджер подумал: «Ник — упрямый осел, впрочем, как и всегда!» А Николас мысленно выразился так: «Роджер только и делает, что брюзжит!»

Члены этой семьи не отличались сентиментальностью. Громадный Лондон, завоеванный Форсайтами и поглотивший их всех, — разве он оставлял время для сантиментов?

II

СТАРЫЙ ДЖОЛИОН ЕДЕТ В ОПЕРУ

На следующий день, в пять часов, старый Джолион сидел один, куря сигару; на столике рядом с ним стояла чашка чая. Он чувствовал себя утомленным и, не успев докурить, задремал. На голову ему уселась муха, его верхняя губа оттопыривалась под седыми усами в такт тяжелому дыханию, раздававшемуся в сонной тишине. Сигара выскользнула из морщинистой, со вздувшимися венами руки и, упав в холодный камин, там и дотлела.

Небольшой сумрачный кабинет с окнами из цветного стекла, чтобы не видеть улицу, был заставлен мебелью красного дерева с темно-зеленой бархатной обивкой и сложной резьбой. Старый Джолион не раз говорил про этот гарнитур: когда-нибудь за него дадут большие деньги, и ничего удивительного в этом не будет.

Приятно было думать, что со временем он сможет получить за вещи больше той суммы, которая когда-то была за них уплачена.

На фоне густых коричневых тонов, обычных для не-парадных комнат в жилищах Форсайтов, рембрандтовский эффект его массивной седовласой головы, откинутой на подушку кресла с высокой спинкой, портили только усы, придававшие ему сходство с военным. Старинные часы, которые он приобрел почти полвека назад, еще до женитьбы, своим тиканьем вели ревнивый счет секундам, навсегда ускользавшим от их старого хозяина.

Он никогда не любил этой комнаты и почти не заглядывал сюда, если не считать тех случаев, когда надо было взять сигары из стоявшей в углу японской шкатулки, и комната теперь мстила ему.

Его резко выступавшие виски, его скулы и подбородок — все заострилось во время сна, и на лице старого Джолиона появилось признание, что он стал стариком.

Он проснулся. Джун уехала! Джемс сказал, что ему будет тоскливо одному. Джемс всегда был глуповат. Он с удовлетворением вспомнил о доме, который удалось перехватить у Джемса. Поделом ему — нечего было скуписаться; только о деньгах и думает. А может быть, он действительно переплатил? Нужен большой ремонт. Можно с уверенностью сказать, что ему понадобятся все деньги, какие только есть, пока не кончится эта история с Джун. Не надо было разрешать помолвку. Она познакомилась с этим Босини у Бейнзов — архитекторы Бейнз и Байлдбой. Кажется, Бейнз, с которым он встречался, — тот, что похож на старую бабу, — приходится этому молодому человеку дядей по жене. С тех пор Джун только и знает, что бегать за женихом, а если уж она вбила себе что-нибудь в голову, ее не остановишь. Она постоянно возится с какими-нибудь «несчастненькими». У этого молодого человека нет денег, но ей во что бы то ни стало понадобилось обручиться с безрассудным, непрактичным мальчишкой, который еще не оберется всяческих затруднений в жизни.

Она явилась однажды и, как всегда, с бухты-барахты рассказала ему все; и еще добавила, как будто это могло служить утешением:

— Фил такой замечательный! Он сплошь и рядом по целым неделям сидел на одном какао.

— И он хочет, чтобы ты тоже сидела на одном какао?

— Ну нет, он теперь выбирается на дорогу.

Старый Джолион вынул сигару из-под седых усов,

кончики которых потемнели от кофе, и посмотрел на Джун, на эту пушинку, что так завладела его сердцем. Он-то знал больше об этих «дорогах», чем внучка. Но она обняла его колени и потерлась о них подбородком, мурлыкая, точно котенок. И, стряхнув пепел с сигары, он разразился:

— Все вы одинаковы: не успокойтесь, пока не добьетесь своего. Если тебе суждено хлебнуть горя, ничего не поделаешь. Я умываю руки.

И он действительно умыл руки, поставив условием, что свадьбу отложат до тех пор, пока у Босини не будет по крайней мере четырехсот фунтов в год.

— Я не смогу много дать тебе,— сказал он; эту фразу Джун слышала не в первый раз.— Может быть, у этого — как его там зовут? — хватит на какао?

Он почти не видел ее с тех пор, как это началось. Да, плохо дело. Он не имел ни малейшего намерения дать ей уйму денег и тем самым обеспечить праздную жизнь человеку, о котором он ничего не знал. Ему приходилось наблюдать подобные случаи и раньше: ничего путного из этого не выходило. Хуже всего было то, что у него не оставалось ни малейшей надежды поколебать ее решение: она упряма, как мул, всегда была такая, с самого детства. Он не представлял себе, чем все это кончится. По одежке прогягивай ножки. Он не уступит до тех пор, пока не убедится, что у Босини есть собственные доходы. Ясно как божий день: Джун хватит горя с человеком, который не имеет ни малейшего представления о деньгах. Что же касается ее скоропалительной поездки в Уэлс к теткам Босини, то он твердо уверен, что эти тетки — препротивные старухи, и больше ничего.

И старый Джолион, не двигаясь, смотрел прямо перед собой в стену; если бы не открытые глаза, он казался бы спящим... Подумать только, что этот щенок Сомс может давать ему советы! Он всегда был щенком, всегда задира нос! Скоро того и гляди станет собственником, построит загородный дом! Собственник! Хм! Весь в отца, только и смотрит, как бы обделать дельце поыгоднее, бездушный пройдоха!

Старый Джолион поднялся и, подойдя к шкатулке, размеренными движениями стал наполнять свой портси-

гар из только что присланной пачки. Сигары неплохие, и не так дорого, но по теперешним временам хороших сигар не достанешь, теперешние и в сравнение не идут с прежними. «Сьюперфайнос» от Хэнсона и Бриджера! Вот это были сигары!

Мысль эта, как еле уловимый запах, унесла его в прошлое, к тем чудесным вечерам в Ричмонде, когда он сидел с послеобеденной сигарой на террасе «Короны и скипетра» вместе с Николасом Треффри, Трэкуэром, Джеком Хэрингом и Антони Торнуорси. Какие хорошие сигары тогда были! Бедняга Ник! — умер, и Джек Хэринг умер, и Трэкуэр — жена в могилу свела, а Торнуорси сильно сдал за последнее время (ничего удивительного при таком аппетите).

Из всей компании, кажется, только он один и остался, конечно, если не считать Суизина, а этот до того растолстел, что на него только рукой махнуть.

Трудно поверить, что все это было так давно; он еще чувствует себя молодым! Из всех мыслей, пронесившихся в голове старого Джолиона, пока он стоял, пересчитывая сигары, эта была самая мучительная, самая горькая. Несмотря на свою седую голову и одиночество, он сохранил молодость и свежесть сердца. А те воскресные дни на Хэмстед-Хисе, когда молодой Джолион ходил вместе с ним на прогулку по Спэньярдс-Род на Хайгет, Чайлдс-Хилл и обратно, снова через Хис, обедать в «Замок Джека Соломинки» — какие восхитительные тогда были сигары! А какая погода! С теперешней даже сравнить нельзя.

Когда Джун была пятилетней крошкой и он ходил с ней через воскресенье в зоологический сад, забирая ее у этих добрейших женщин — ее матери и бабушки, — и совал в клетку ее любимцам медведям булки, насаженные на конец зонтика, какие тогда были вкусные сигары!

Сигары! Он до сих пор не утратил своего тончайшего вкуса — прославленного вкуса, который в пятидесятых годах люди считали мерилом и, заговорив о старом Джолионе, восклицали: «Форсайт! Ну, еще бы, в Лондоне не найдется лучшего дегустатора!» Вкус, в некотором смысле принесший состояние своему владельцу и известной чайной фирме «Форсайт и Треффри», чай у которой, как ни у кого другого, имел романтический аромат — совсем особую прелесть настоящего чая. Фирму «Форсайт и

Трефри» в Сити окутывала атмосфера тайны и предприимчивости, эта фирма заключала специальные контракты на специальные корабли, в специальных портах, со специальными восточными купцами.

В свое время он много поработал! Тогда умели работать. Теперешние молокососы вряд ли вникают в смысл этого слова. Он входил во все мелочи, знал все, что делалось в фирме, иногда просиживал за работой целыми ночами. И всегда сам подбирал себе агентов и гордился этим. Умение подбирать людей, как он часто говорил, и было секретом его успеха, а применение этой хитрой науки было единственной частью работы, которая ему действительно нравилась. Не совсем подходящая карьера для человека с его способностями. Даже теперь, когда фирма была преобразована в «Лимитэд компани» и дела ее шли все хуже (он давно разделался со своими акциями), старый Джолион чувствовал острую боль, вспоминая те времена. Насколько лучше можно было прожить жизнь! Из него мог бы выйти блестящий адвокат! Он даже подумывал иногда, не выставить ли свою кандидатуру в парламент. Сколько раз Николас Трефри говорил ему: «Ты мог бы достичь чего угодно, Джо, если бы только не берег себя так!» Старина Ник! Прекрасный человек, но бесшабашная голова! Всем известный Трефри! Он-то себя никогда не берег. Вот и умер. Старый Джолион твердой рукой пересчитал сигары, и в голову ему закралось сомнение: а может быть, он действительно слишком берег себя?

Он положил портсигар во внутренний карман, застегнул сюртук и, тяжело ступая и опираясь рукой на перила, поднялся по высокой лестнице к себе в спальню. Дом слишком велик. Когда Джун выйдет замуж, если только она в конце концов выйдет за этого человека, а этого следует ожидать, он сдаст большой дом в аренду, а сам снимет квартиру. Чего ради держать ораву слуг, которым совершенно нечего делать?

На его звонок пришел лакей — высокий бородатый человек с неслышной поступью и совершенно исключительной способностью молчать. Старый Джолион приказал ему приготовить фрак; он поедет обедать в клуб.

— Когда коляска вернулась с вокзала? В два часа? Тогда велите подать к половине седьмого.

Клуб, куда старый Джолион вошел ровно в семь ча-

сов, был одним из тех политических учреждений крупной буржуазии, которое знавало лучшие времена. Несмотря на то, что сплетники предсказывали ему близкий конец, а может быть, вследствие этих сплетен, клуб проявлял удручающую живучесть. Всем уже наскучило повторять, что «Разлад» находится при последнем издыхании. Старый Джолион тоже говорил это, но относился к самому факту с равнодушием, раздражавшим заправских клубменов.

— Почему ты не уйдешь оттуда? — часто с глубокой досадой спрашивал его Суизин. — Почему бы тебе не перейти в «Полиглот»? Такого вина, как наш Хайдсик, во всем Лондоне не достанешь дешевле двадцати шиллингов за бутылку. — И, понизив голос, добавлял: — Осталось всего-навсего пять тысяч дюжин. Я пью его изо дня в день.

— Я подумаю, — отвечал старый Джолион, но всякий раз, когда он задумывался над этим, перед ним вставал вопрос о пятидесяти гинеех вступительного взноса и о четырех-пяти годах, которые понадобились бы, чтобы пройти в члены. И старый Джолион продолжал думать.

Он был слишком стар, чтобы вдруг стать либералом, давно уже перестал верить в политические доктрины своего клуба, даже называл их, как это было известно, «белибердой», но ему доставляло удовольствие быть членом клуба, принципы которого так расходились с его собственными. Старый Джолион всегда презирал это учреждение и вступил сюда много лет назад, после того как был забаллотирован во «Всякой всячине» под тем предлогом, что он занимался торговлей. Точно он был хуже других! Вполне естественно, что старый Джолион презирал клуб, который принял его. Публика там была средняя, многие из Сити — биржевые маклеры, адвокаты, аукционисты, всякая мелюзга! Как большинство людей сильного характера, но не слишком большой самобытности, старый Джолион был невысокого мнения о классе, к которому принадлежал сам. Он неизменно следовал его законам, как общественным, так и всяким другим, а втайне считал людей своего класса сбродом.

Годы и философические раздумья, которым он отдал дань, стусежали воспоминание о поражении, понесенном во «Всякой всячине», и теперь этот клуб возвышался в его мыслях как лучший из лучших. Он мог бы состоять

там членом все эти годы, но его поручитель Джек Хэринг так небрежно повел все дело, что в клубе просто сами не понимали, какую они совершают ошибку, отводя кандидатуру старого Джолиона. А ведь его сына Джо приняли сразу, и, по всей вероятности, мальчик и до сих пор состоит там членом; он получил от него письмо оттуда восемь лет назад.

Старый Джолион не показывался в своем клубе уже многие месяцы, и за это время здание его подверглось той пестрой отделке, какой люди обычно приукрашивают старые дома и старые корабли, желая сбыть их с рук.

«Курительную комнату покрасили безобразно,—подумал он.—Столовая получилась хорошо».

Ее сумрачный, шоколадный тон, оживленный светло-зеленым, ему понравился.

Старый Джолион заказал обед и сел в том же углу, может быть, за тот же самый столик (в «Разладе», где властвовали принципы чуть ли не радикализма, перемен было мало), за который они с молодым Джолионом садились двадцать пять лет назад перед поездкой в «Друрилейн»¹, куда он часто возил сына во время каникул.

Мальчик очень любил театр, и старый Джолион вспомнил, как Джо садился напротив, тщетно стараясь скрыть свое волнение под маской безразличия.

И он заказал себе тот же самый обед, который всегда выбирал мальчик,—суп, жареные уклейки, котлеты и сладкий пирог. Ах, если бы он сидел сейчас напротив!

Они не встречались четырнадцать лет. И не первый раз за эти четырнадцать лет старый Джолион задумался о том, не сам ли он до некоторой степени виноват в тяжелой истории с сыном. Неудачный роман с дочерью Антони Торнуорси, этой вертушкой Данаей Торнуорси, теперь Данаей Белью, бросил его в объятия матери Джун. Может быть, следовало помешать этому браку: они были слишком молоды. Но после того как уязвимое место Джо обнаружилось, он хотел возможно скорее видеть его женатым. А через четыре года разразилась катастрофа. Оправдать поведение сына во время этой катастрофы было, конечно, невозможно; здравый смысл и воспитание — комбинация всемогущих факторов, заменявших старому Джолиону принципы,—твердили об

¹ Театр в Лондоне.

этой невозможности, но сердце его возмущалось. Суровая неумолимость всей этой истории не знала снисхождения к человеческим сердцам. Осталась Джун — песчинка с пламенеющими волосами, которая завладела им, обвила, оплелась вокруг него — вокруг его сердца, созданного для того, чтобы быть игрушкой и любимым прибежищем крохотных, беспомощных существ. С характерной для него пронизательностью он видел, что надо расстаться или с сыном, или с ней — полумеры здесь не могли помочь. В этом и заключалась трагедия. И крохотное беспомощное существо победило. Он не мог служить двум богам и простился со своим сыном.

Эта разлука длилась до сих пор.

Он предложил молодому Джолиону денежную помощь, несколько меньшую, чем прежде, но сын отказался принять ее, и, может быть, этот отказ оскорбил его больше, чем все остальное, потому что теперь исчезла последняя отдушина для его чувства, не находившего иного выхода, и появилось столь осязаемое, столь реальное доказательство разрыва, какое может дать только контракт на передачу собственности — заключение такого контракта или расторжение его.

Обед показался ему пресным. Шампанское было, как несладкая, горьковатая водичка, — ничего похожего на «Вдову Клико» прежних лет.

За чашкой кофе ему пришла мысль съездить в оперу. Он посмотрел в «Таймсе» программу на сегодняшний вечер — к другим газетам старый Джолион питал недоверие. Давали «Фиделио».

Благодарение богу, что не какая-нибудь новомодная немецкая пантомима этого Вагнера.

Надев старый цилиндр с выпрямившимися от долгой носки полями и объемистой тульей, цилиндр, казавшийся эмблемой прежних лучших времен, и захватив старую пару очень тонких светлых перчаток, распространявших сильный запах кожи вследствие постоянного соседства с портсигаром, лежавшим в кармане его пальто, он уселся в кэб.

Кэб весело загромыхал по улицам, и старый Джолион удивился, заметив на них необычное оживление.

«Отели, вероятно, загребают уйму денег», — подумал он. Несколько лет назад этих отелей и в помине не было.

Он с удовлетворением подумал о земельных участках, имевшихся у него в этих местах. Вероятно, поднимаются в цене с каждым днем. Какое здесь движение!

Но вслед за этим он предался странным, отвлеченным размышлениям, совершенно необычным для Форсайтов, в чем отчасти и заключался секрет его превосходства над ними. Какие все-таки песчинки люди, и сколько их! И что со всеми нами будет?

Он оступился, выходя из кэба, заплатил кэбмену ровно столько, сколько следовало, прошел к кассе за билетом в кресла и остановился, держа кошелек в руке, — он всегда носил деньги в кошельке, не одобряя привычки рассовывать их прямо по карманам, как теперь делает молодежь. Кассир выглянул из окошечка, как старый пес из конуры.

— Кого я вижу! — сказал он удивленным голосом. — Да это мистер Джолион Форсайт! Так и есть! Давненько не видались, сэр. Да! Теперь времена совсем другие! Ведь вы с братом, и мистер Трэкуэр, и мистер Николас Треффри брали у нас шесть или семь кресел на каждый сезон. Как поживаете, сэр? Мы с вами не молодеем!

У старого Джолиона заблестели глаза; он уплатил гинеею. Его еще не забыли. Под звуки увертюры он проследовал в зал, как старый боевой конь на поле битвы.

Сложив цилиндр, он опустился в кресло, привычным жестом вынул из кармана перчатки и поднял к глазам бинокль, чтобы как следует осмотреть весь театр. Опустив наконец бинокль на сложенный цилиндр, он обратил свой взор на занавес. Острее, чем когда-либо, старый Джолион почувствовал, что его песенка спета. Куда девались женщины, красивые женщины, бывало наполнявшие театр? Куда девался тот прежний сердечный трепет, с которым он ждал появления знаменитого певца? Где то чувство опьянения жизнью, опьянения своей способностью наслаждаться ею?

Когда-то он был завзятым театралом! Нет теперь оперы! Этот Вагнер погубил все — ни мелодии, ни голосов. А какие замечательные были певцы! Нет их теперь. Он смотрел на актеров, разыгрывающих старые, знакомые сцены, и чувствовал, как цепенеет его сердце.

Начиная с седого завитка над ухом и кончая лакированными башмаками с резинкой, в старом Джолионе не было и следа старческой неуклюжести и слабости. Та-

кой же прямой — почти такой же, как в те прежние времена, когда он приходил сюда каждый вечер; такое же хорошее зрение — почти такое же хорошее. Но это чувство усталости и разочарования!

Всю свою жизнь он наслаждался всем, даже несовершенным — а несовершенного было много, — и наслаждался умеренно, чтобы не утратить молодости. Но теперь ему изменила и способность наслаждаться жизнью и умение философски смотреть на нее, осталось только ужасное чувство конца. Ни хор узников, ни даже ария Флорестана не были властны рассеять тоскливость его одиночества.

Если бы только Джо был с ним! Мальчику, должно быть, уже стукнуло сорок. Он потерял четырнадцать лет жизни своего единственного сына. Джо теперь уже не пария в обществе. Он женился. Старый Джолион не мог удержаться от того, чтобы не отметить своим одобрением этот поступок, и послал сыну чек на пятьсот фунтов. Чек был возвращен в письме, отправленном из «Всякой всячины» и содержащем следующее:

«Дорогой отец!

Мне было приятно получить Ваш щедрый подарок — он служит доказательством того, что Вы не так плохо думаете обо мне. Я возвращаю чек, но если Вы сочтете возможным передать свой подарок нашему малышу (мы зовем его Джолли), который носит наше имя и фамилию, я буду Вам очень признателен.

Надеюсь от всего сердца, что Вы чувствуете себя так же хорошо, как и прежде.

Любящий Вас сын Джо».

Письмо так похоже на мальчика. Он всегда был такой приветливый. Старый Джолион послал следующий ответ:

«Дорогой Джо!

Сумма (500 ф. ст.) занесена в мои книги на имя твоего сына, Джолиона Форсайта; соответственным образом на нее будут начисляться 5%. Я надеюсь, что дела твои идут хорошо. Мое здоровье в настоящее время неплохо.

Остаюсь любящий тебя отец Джолион Форсайт».

И каждый год первого января он прибавлял к этой сумме сто фунтов плюс проценты. Сумма росла; к следующему новому году там будет тысяча пятьсот фунтов стерлингов с небольшим. И трудно выразить то удовлетворение, какое приносила ему эта ежегодная операция. Но переписка их прекратилась.

Несмотря на любовь к сыну, несмотря на инстинкт, отчасти врожденный, отчасти появившийся у него, как и у сотен людей одного с ним класса, в результате постоянной близости к деловому миру и заставляющий его оценивать поведение людей не с принципиальных позиций, а на основании вытекавших из этого поведения последствий, старый Джолион чувствовал в глубине сердца какое-то беспокойство. Обстоятельства сложились так, что его сын должен был погибнуть; закон этот провозглашался во всех романах, проповедях и пьесах, которые он когда-либо читал, слышал или смотрел.

Когда чек пришел обратно, старому Джолиону показалось, что творится что-то неладное. Почему его сын не погиб? Но кто мог ответить на этот вопрос?

Он слышал, конечно, — вернее, сам постарался разузнать, — что Джо живет в Сент-Джонс-Вуд, где у него есть небольшой дом с садом на Вистария-авеню, что у него с женой свой круг знакомых, по всей вероятности, весьма сомнительных, и что у них двое детей: мальчик Джолли¹ (принимая во внимание все обстоятельства, старый Джолион находил это имя циничным, а он и побаивался и не любил цинизма) и девочка Холли, родившаяся уже после их женитьбы. Кто знает, в каких условиях живет его сын? Он превратил в наличные деньги наследство, полученное от деда со стороны матери, и поступил к Ллойдю страховым агентом; кроме того, занимался живописью — писал акварели. Старому Джолиону было известно это, так как, увидев однажды в витрине подпись своего сына под акварелью, изображавшей Темзу, он стал время от времени тайком покупать их. Он считал акварели плохими и не развешивал их из-за подписи; он держал их в ящике под замком.

Сидя в громадном зале, старый Джолион почувствовал непреодолимое желание повидать сына. Ему вспом-

¹ Jolly — веселый (англ.).

нились те дни, когда он раскачивал на коленях мальчугана в полотняном костюмчике; то время, когда он бегал рядом с пони и учил Джо ездить верхом; тот день, когда он первый раз отвез его в школу. Джо всегда был славный, приветливый мальчик! В Итоне он, может, чуточку переборщил, набираясь хороших манер, которые, как старому Джолиону было известно, только в таких местах и приобретаются, и за большие деньги; но он всегда оставался хорошим товарищем. Всегда хороший товарищ, даже после Кембриджа — быть может, чуточку сдержанный благодаря тем преимуществам, которые ему дало образование! Отношение старого Джолиона к закрытым школам и университетам оставалось неизменным: он трогательно сохранил и уважение и недоверие к воспитательной системе, которая была предназначена для избранных и к которой сам он не удостоился приобщиться... Сейчас, когда Джун уехала и покинула или почти что покинула его, встреча с сыном принесла бы ему утешение. Чувствуя, что он предает свою семью, свои принципы, свой класс, старый Джолион перевел глаза на певицу. Жалкое зрелище! А Флорестан, какое убожество!

Опера кончилась. Как мало нужно теперь, чтобы доставить людям удовольствие!

В толпе на улице он завладел кэбом под самым носом у какого-то солидного, много моложе его самого, джентльмена, который уже считал кэб своим. Путь старого Джолиона лежал через Пэл-Мэл, и на углу кэбмен, вместо того чтобы поехать через Грин-парк, свернул на Сент-Джемс-стрит. Старый Джолион просунул руку в окошечко (он не выносил, когда кто-нибудь нарушал его привычки); оглянувшись, однако, он увидел, что находится напротив «Всякой всячины», и сокровенное желание, не оставлявшее его весь вечер, взяло верх. Он приказал остановиться. Он зайдет и спросит, состоит ли еще Джо членом клуба.

Он вошел. В холле все было по-прежнему, как в те времена, когда он заходил сюда обедать с Джеком Харингом, — ведь здесь держали самого лучшего повара в Лондоне. Старый Джолион обвел стены тем острым прямым взглядом, благодаря которому его всю жизнь обслуживали лучше, чем большинство других людей.

— Мистер Джолион Форсайт все еще состоит членом клуба?

— Да, сэр; он сейчас здесь, сэр. Как прикажете доложить?

Старый Джолион был застигнут врасплох.

— Его отец,— ответил он.

И, сказав это, занял место у камина, повернувшись спиной к огню.

Собираясь уходить из клуба, молодой Джолион надел шляпу и только что хотел пройти в холл, когда к нему подошел швейцар. Джо был уже не молод; в его волосах сквозила седина, лицо — копия отцовского, только чуть поуже, с точно такими же густыми обвислыми усами — носило явные следы усталости. Он побледнел. Встретиться после всех этих лет ужасно, потому что в мире нет ничего ужаснее сцен. Они подошли друг к другу и молча обменялись рукопожатием. Потом, с дрожью в голосе, отец сказал:

— Здравствуй, мой мальчик!

Сын ответил:

— Здравствуйте, папа!

Рука старого Джолиона в светлой тонкой перчатке дрожала.

— Если нам по дороге,— сказал он,— я тебя подвезу.

И, как будто подвозить друг друга домой каждый вечер было для них самым привычным делом, они вышли и сели в кэб.

Старому Джолиону показалось, что сын вырос. «Сильно возмужал»,—решил он про себя. Всегда присущую лицу сына приветливость теперь прикрывала ироническая маска, как будто обстоятельства жизни заставили его надеть непроницаемую броню. Черты лица носили явно форсайтский характер, но в выражении его была созерцательность, больше свойственная лицу ученого или философа. Ему, без сомнения, приходилось много задумываться над самим собой в течение этих пятнадцати лет.

В первую минуту вид отца порастил молодого Джолиона — так он осунулся и постарел. Но в кэбе ему показалось, что отец почти не изменился — тот же спокойный взгляд, который он так хорошо помнил, такой же прямой стан, те же пронизательные глаза.

— Вы хорошо выглядите, папа.

— Посредственно,— ответил старый Джолион.

Его мучила тревога, и он считал себя обязанным выразить ее словами. Раз уж он выбрал такой путь, чтобы вернуть сына, надо узнать, в каком состоянии находятся его финансовые дела.

— Джо,— сказал он,— я бы хотел знать, как ты живешь. У тебя есть долги, должно быть?

Он повел разговор так, чтобы сыну было легче признаться.

Молодой Джолион ответил ироническим тоном:

— Нет. У меня нет долгов.

Старый Джолион понял, что сын рассердился, и коснулся его руки. Он пошел на риск. Но рискнуть стоило; кроме того, Джо никогда на него не сердился раньше. Они доехали до Стэнхоп-Гейт, не говоря ни слова. Старый Джолион пригласил сына зайти, но молодой Джолион покачал головой.

— Джун нет дома,— поторопился сказать отец,— уехала сегодня в гости. Ты, вероятно, знаешь, что она помолвлена?

— Уже? — пробормотал молодой Джолион.

Старый Джолион вышел из кареты и, расплачиваясь с кэбменом, в первый раз в жизни дал по ошибке совершен вместо шиллинга.

Сунув монету в рот, кэбмен исподтишка стегнул лошадь по брюху и поторопился уехать.

Старый Джолион тихо повернул ключ в замке, открыл дверь и кивнул сыну. Молодой Джолион смотрел, как отец вешает пальто: степенно и все же с таким видом, словно он мальчишка, который собирается красть вишни.

Дверь в столовую была отворена; газ низко прикручен, на чайном подносе шипела спиртовка, рядом, на столе, с совершенно беззастенчивым видом спала кошка. Старый Джолион сейчас же согнал ее оттуда. Этот инцидент принес ему облегчение; он постучал цилиндром ей вслед.

— У нее блохи,— сказал он, выпроваживая кошку из комнаты. Остановившись в дверях, которые вели из холла в подвальный этаж, он несколько раз крикнул «брысь», точно подгоняя кошку, и как раз в эту минуту

внизу лестницы по странному стечению обстоятельств появился лакей.

— Можете ложиться спать, Парфит,— сказал старый Джолион.— Я сам запру дверь и потушу свет.

Когда он снова вошел в столовую, кошка как на грех выступала впереди него, задрав хвост и показывая всем своим видом, что она с самого начала поняла эту уловку, с помощью которой ему удалось избавиться от лакея.

Какой-то рок преследовал все домашние хитрости старого Джолиона.

Молодой Джолион не мог удержаться от улыбки. Он был далеко не чужд иронии, а в этот вечер, как ему казалось, все имело иронический оттенок. Эпизод с кошкой; известие о помолвке его собственной дочери. Значит, старый Джолион так же не властен над ней, как и над кошкой! И поэтическая справедливость всего этого нашла отклик у него в сердце.

— Расскажите про Джун, какая она теперь стала?— спросил он.

— Маленького роста,—ответил старый Джолион,— говорят, есть сходство со мной, но это вздор. Она больше похожа на твою мать — те же глаза и волосы.

— Вот как! Хорошенькая?

Старый Джолион был слишком Форсайт, чтобы откровенно похвалить что-нибудь; в особенности то, чем он искренно восхищался.

— Недурненькая, настоящий форсайтский подбородок. Мне будет очень тоскливо, когда она уйдет, Джо.

Выражение его лица снова поразило молодого Джолиона, как и в первую минуту встречи.

— Что же вы теперь будете делать один, отец? Она, наверное, только о нем и думает?

— Что я буду делать? — повторил старый Джолион, и в голосе его послышались сердитые нотки.— Да, унылое занятие—жить здесь в одиночестве. Я не знаю, чем это кончится. Я бы хотел...—он оборвал себя на полуслове и потом добавил:— Весь вопрос в том, как мне поступить с домом.

Молодой Джолион оглядел комнату. Она была большая и мрачная, по стенам висели громадные натюрморты, которые он помнил еще с детства: собаки, спавшие, уткнув носы в пучки моркови, по соседству с лежавшими

тут же в кротком изумлении связками лука и винограда. Дом был явной обузой, но он не мог представить себе отца живущим в маленьком доме; и это только подчеркивало иронию, которую он видел сегодня во всем.

В большом кресле с подставкой для книги сидит старый Джолион — эмблема своей семьи, класса, верований: седая голова и выпуклый лоб — воплощение умеренности, порядка и любви к собственности. Самый одинокий старик во всем Лондоне.

Так он сидит, окруженный унылым комфортом, марионетка в руках великих сил, которые не знают снисхождения ни к семье, ни к классу, ни к верованиям и, как автоматы, грозно движутся вперед к таинственной цели. Вот что увидел молодой Джолион, умевший отвлеченно смотреть на жизнь.

Бедный старик отец! Вот, значит, ради чего он прожил жизнь с такой поразительной умеренностью? Остаться одиноким и стареть все больше и больше, тоскуя по живому человеческому голосу!

И старый Джолион, в свою очередь, тоже смотрел на сына. Ему хотелось поговорить с ним о многом, о чем приходилось молчать все эти годы. Нельзя же было, в самом деле, посвящать Джун в свои соображения о том, что земельные участки в районе Сохо должны подняться в цене; рассказывать ей о той тревоге, которую ему причиняет зловещее молчание Пиппина, управляющего «Новой угольной компанией», где он так давно председателем; о своем неудовольствии по поводу неуклонного падения акций «Американской Голгофы»; нельзя же обсуждать с ней вопрос о том, каким образом лучше всего обойти выплату налога на наследство после его смерти. Однако под влиянием чая, который он рассеянно помещивал ложечкой, старый Джолион наконец заговорил. Ему открылись новые жизненные просторы, земля обетованная, где можно говорить, можно укрыться в тихой пристани от бури предчувствий и сожалений; успокоить душу опиумом всяческих уловок, направленных на то, чтобы округлить свое состояние и увековечить единственное, что останется жить после него.

Молодой Джолион умел слушать: это всегда было его большим достоинством. Он не сводил глаз с отца, время от времени вставляя вопрос.

Пробило час, а старый Джолион еще не успел сказать всего, но вместе с боем часов к нему вернулись его принципы. Он с удивленным видом вынул карманные часы.

— Мне пора спать, Джо.

Молодой Джолион поднялся и протянул руку, помогая отцу встать. Это старческое лицо снова показалось ему утомленным и осунувшимся: глаза отца упорно смотрели в сторону.

— Прощай, мой мальчик; береги себя.

Прошла минута, и, повернувшись на каблуках, молодой Джолион зашагал к двери. Он почти ничего не видел перед собой; его улыбающиеся губы дрожали. Ни разу за все пятнадцать лет, пробежавшие с тех пор, как он впервые понял, что жизнь не простая штука, не казалась она ему такой сложной.

III

ОБЕД У СУИЗИНА

Круглый стол в оранжево-голубой столовой Суизина, выходившей окнами в парк, был накрыт на двенадцать персон.

Хрустальная люстра с зажженными свечами свешивалась над столом, как громадный сталактит, озаряя большие зеркала в золоченых рамах, мраморные доски столиков вдоль стен и громоздкие позолоченные стулья, расшитые шерстью. Каждая вещь говорила о любви к красивому, так глубоко коренящейся во всех семьях, которые пробивают себе дорогу в изысканное общество из самых недр естественного бытия. Суизин не признавал простоты и очень любил позолоченную бронзу, что всегда выделяло его среди остальных членов семьи как человека с большим, хотя и несколько причудливым вкусом, и сознание того, что всякий входящий в его комнаты сразу же видит в нем человека со средствами, неизменно доставляло ему такую радость, какую он вряд ли мог почерпнуть из других обстоятельств своей жизни.

Покончив с агентством по продаже домов — профессией, по его понятиям, весьма предосудительной, особен-

но в той ее части, которая касалась аукционов,— он всецело отдался своим аристократическим вкусам.

Роскошь, в которой он жил последние годы, засосала его, как патока муху; а в мозгу Суизина, ничем не занятом с раннего утра и до позднего вечера, странным образом сочетались два противоположных чувства: издавна укрепившееся удовлетворение тем, что он сам пробил себе дорогу и нажил состояние, и уверенность, что такому человеку, как он, никогда не следовало бы утруждать свою голову работой.

Суизин в белом жилете на крупных пуговицах из оникса в золотой оправе стоял около буфета и смотрел, как лакей втискивает три бутылки шампанского в ведро со льдом. Между уголками стоячего воротничка, фасон которого Суизин не согласился бы изменить ни за какие деньги, хотя воротник и мешал ему поворачивать голову, покоились дряблые складки его двойного подбородка. Глаза Суизина перебегали с одной бутылки на другую. Он соображал что-то, и в голове у него возникали такие доводы: Джолион выпьет один бокал, ну два, он ведь так бережет себя. Джемс теперь не может пить, Николас и Фанни будут тянуть стаканами воду, с них это стается. Сомс не идет в счет: эта молодежь — племянники (Сомсу был тридцать один год) — не умеет пить! А Босини? Почуяв в имени этого мало знакомого человека что-то находившееся за пределами его разума, Суизин запнулся. В нем зародилось недоверие. Трудно сказать! Джун еще девочка, к тому же влюбленная! Эмили (миссис Джемс) любит выпить бокал хорошего шампанского. Джули оно покажется чересчур сухим: старушка совсем не разбирается в винах. Что же касается Хэтти Чесмен... Мысль о старой приятельнице затуманила облаком кристальную ясность его взора; Хэтти, чего доброго, одна выпьет полбутылки!

Но когда Суизин вспомнил о своей последней гостье, старческое лицо его стало похожим на мордочку кошки, которая собирается замурлыкать: миссис Сомс! Может быть, она и не станет много пить, но то, что выпьет, оценить сумеет: просто удовольствие угостить ее хорошим вином! Красивая женщина, и так расположена к нему!

Мысль о ней и то действует, как шампанское!

Просто удовольствие угощать дорогим вином молодую женщину, которая так хороша собой, так умеет одеться, так прекрасно держится, в которой столько благородства — просто удовольствие беседовать с ней. Тут Суизин в первый раз за весь вечер осторожно повел головой, ощущая при этом, как острые уголки воротничка впиваются ему в шею.

— Адольф! — сказал он. — Заморозьте еще одну бутылку.

Что касается его самого, то он может выпить много, этот рецепт Блайта замечательно помог ему, к тому же он предусмотрительно воздержался от завтрака. Давно уж у него не было такого прекрасного самочувствия. Выпятив нижнюю губу, Суизин давал последние наставления:

— Адольф, самую чуточку кабуля, когда займетесь ветчиной.

Пройдя в гостиную, он сел на кончик кресла, раздвинул колени, и его высокую массивную фигуру сразу же сковала странная, первобытная неподвижность ожидания. Он готов был в любую минуту встать. Званные обеды в его доме не давались уже несколько месяцев. Сначала Суизин думал, что возня с этим приемом в честь помолвки Джун будет очень нудной (Форсайты свято соблюдали обычай торжественно праздновать помолвки), но с тех пор как хлопоты по рассылке приглашений и выбору меню кончились, он чувствовал приятное оживление.

Так он сидел с часами в руках — тучный, лоснящийся, как приплюснутый шар золотистого масла, — и ни о чем не думал.

Долговязый человек в бакенбардах, который служил когда-то у Суизина, а впоследствии открыл зеленую лавку, вошел в гостиную и провозгласил:

— Миссис Чесмен, миссис Септимус Смолл!

Появились две леди. Та, которая шла впереди, была одета во все красное, на щеках ее лежали широкие ровные пятна того же цвета, глаза смотрели жестко и вызывающе. Она направилась прямо к Суизину, протягивая ему руку, затянутую в длинную светло-желтую перчатку.

— Здравствуйте, Суизин, — сказала она, — целую веч-

ность вас не видела. Как поживаете? Дорогой мой, как вы пополнели!

Только напряженный взгляд Суизина выдал его чувства. Глухой клокочущий гнев стеснял ему дыхание. Полнота вульгарна, и вульгарно говорить о том, что человек полнеет; у него широкая грудь, только и всего. Повернувшись к сестре, он сжал ей руку и сказал повелительным тоном:

— Здравствуй, Джули!

Миссис Септимус Смолл была самая высокая из четырех сестер; унылое выражение не сходило с ее добродушного круглого лица; кислая гримаса прочно застыла на нем, словно миссис Смолл вплоть до самого вечера просидела в проволоочной маске, которая собрала ее неподатливую кожу в мелкие складочки. Даже взгляд у нее был кислый. Все это служило для того, чтобы свидетельствовать о ее неизменном горе по поводу утраты Септимуса Смолла.

Она славилась тем, что всегда говорила что-нибудь несуразное и с упорством, характерным для всего ее племени, держалась за свои слова, подбавляя еще что-нибудь невпопад, и так без конца. Со смертью мужа форсайтская цепкость, форсайтская деловитость окостенели в ней. Любительница поболтать, когда только ей представлялась такая возможность, она могла говорить часами без всякого оживления, рассказывая с эпической монотонностью о тех бесчисленных ударах, которые ей пришлось принять от судьбы; и ей никогда не приходило в голову, что слушатели становятся на сторону судьбы,—сердце у Джули было доброе.

Долгие годы, проведенные у постели Смолла (человека слабого здоровья), сделали из нее сиделку, а таких случаев, когда бедняжке приходилось подолгу просиживать у постели больных — и детей и взрослых, — было множество, и она никак не могла расстаться с мыслью, что в мире слишком много неблагодарных людей. Воскресенье за воскресеньем Джули благоговейно слушала преподобного Томаса Скоулза — блестящего проповедника, который имел на нее большое влияние; но ей удалось убедить всех, что даже в этом было ее несчастье. Она вошла в пословицу в семье, и если кто-нибудь начинал хандрить, его называли «настоящая Джули». Та-

кие склонности были способны умирить к сорока годам любого человека, только не Форсайта; но Джули уже стукнуло семьдесят два, а так хорошо, как сейчас, она никогда не выглядела. Казалось, что Джули еще не утратила дара наслаждаться жизнью и наступит время, когда она сумеет доказать это. У нее были три канарейки, кот Томми и половина попугая — второй половиной владела ее сестра Эстер; и эти существа (которых всячески старались убрать с глаз Тимоти: он не переносил животных), в противоположность людям, признавали за своей хозяйкой право на хандру и были страстно привязаны к ней.

В этот вечер она выглядела торжественно и пышно в черном бомбазиновом платье со скромной треугольной вставкой сиреневого цвета и бархаткой, повязанной вокруг тощей шеи; черное и сиреневое считалось чуть ли не у всех Форсайтов самыми строгими тонами для вечерних туалетов.

Надув губы, она сказала Суизину:

— Энн про тебя спрашивала. Ты не был у нас целую вечность!

Суизин засунул большие пальцы за проймы жилета и ответил:

— Энн сильно сдала за последнее время; ей надо посоветоваться с врачами!

— Мистер и миссис Николас Форсайт!

Николас Форсайт вошел, улыбаясь и высоко подняв свои прямые брови. Днем ему посчастливилось провести план использования на Цейлонских золотых приисках одного племени из Верхней Индии—заветный план, который удалось наконец протащить, несмотря на все трудности, так что теперь он чувствовал вполне заслуженное удовлетворение. Добыча на его приисках удвоится, а опыт показывает, как Николас постоянно твердил, что каждый человек должен умереть, и умрет ли он дряхлым стариком у себя на родине или молодым от сырости на дне рудника в чужой стране, это, конечно, не имеет большого значения, принимая во внимание тот факт, что перемена в его образе жизни пойдет на пользу Британской империи.

В способностях Николаса никто не сомневался. Поводя своим орлиным носом, он сообщал слушателям:

— Из-за недостатка двух-трех сотен таких вот людей мы уже несколько лет не выплачиваем дивидендов, а вы посмотрите, во что ценятся наши акции. Я не в состоянии заработать на них и десяти шиллингов.

Николас ездил недавно в Ярмут и, вернувшись оттуда, чувствовал, что к его жизни прибавится теперь по крайней мере десяток лет. Он сжал Суизину руку, весело крикнув:

— Ну вот, мы снова пожаловали!

Миссис Николас, болезненного вида женщина, улыбнулась за его спиной не то испуганной, не то радостной улыбкой.

— Мистер и миссис Джемс Форсайт! Мистер и миссис Сомс Форсайт!

Суизин щелкнул каблуками, его осанка была просто неподражаема.

— А, Джемс, Эмили! Как поживаешь, Сомс? Здравствуйте!

Он взял руку Ирэн и вытаращил глаза. Какая прелестная женщина — пожалуй, слишком бледна, но фигура, глаза, зубы! Слишком хороша для этого Сомса!

Боги дали Ирэн темно-карие глаза и золотые волосы — своеобразное сочетание оттенков, которое привлекает взоры мужчин и, как говорят, свидетельствует о слабости характера. А ровная, мягкая белизна шеи и плеч, обрамленных золотистым платьем, придавала ей какую-то необычайную прелесть.

Сомс стоял позади жены, не сводя глаз с ее шеи. Стрелки на часах, которые Суизин все еще держал в руке открытыми, миновали восемь; обычно он обедал на полчаса раньше, а сегодня и завтрака не было — какое-то странное, первобытное нетерпение поднималось в нем.

— Джолион запаздывает, это на него не похоже! — сказал он Ирэн, не сдержав досады. — Наверное, Джун там копается!

— Влюбленные всегда опаздывают, — ответила она.

Суизин уставился на Ирэн; на щеках у него проступил кирпичный румянец.

— Напрасно. Это все новомодные штучки!

Казалось, что в этой вспышке невнятно кипит и бормочет ярость первобытных поколений.

— Как вам нравится моя новая звезда, дядя Суизин? — мягко проговорила Ирэн.

Среди кружев у нее на груди мерцала пятиконечная звезда из одиннадцати бриллиантов.

Суизин посмотрел на звезду. Он хорошо разобрался в драгоценных камнях; никаким другим вопросом нельзя было так искусно отвлечь его внимание.

— Кто это вам подарил? — спросил он.

— Сомс.

Выражение лица Ирэн осталось прежним, но беле-
сые глаза Суизина выкатились, словно его внезапно
осенило даром прозрения.

— Вам, наверное, скучно дома, — сказал он. — Я
жду вас к обеду в любой день, угощу таким шампан-
ским, лучше которого вы не сыщете в Лондоне.

— Мисс Джун Форсайт, мистер Джолион Форсайт!..
Мистер Босэнни!..

Суизин поднял руку и сказал раскатистым голосом:

— Ну, теперь обедать, обедать!

Он подал руку Ирэн, заявив, что не сидел с ней ря-
дом с тех пор, как она была невестой. Джун повел Бо-
сини; его усадили между ней и Ирэн. По другую сторо-
ну Джун сели Джемс и миссис Николас, дальше — ста-
рый Джолион с миссис Джемс, Николас и Хэтти Чесмен,
Сомс и миссис Смолл, круг замыкал Суизин.

Семейные обеды Форсайтов следуют определенным
традициям. Так, например, на них не полагается пода-
вать закуски. Почему — неизвестно. Теория, существу-
ющая среди молодого поколения, объясняет эту традицию
безбожной ценой на устрицы; но гораздо более веро-
ятно, что запрет этот вызван желанием подойти сразу
к сути дела и трезвостью взглядов, несовместимой с та-
ким вздором, как закуски. Только семья Джемса не смо-
гла противиться обычаю, установленному почти всюду на
Парк-Лейн, и время от времени нарушала его.

Безмолвное, чуть ли не угрюмое невнимание друг к
другу начинает ощущаться вслед за тем, как все опу-
скаются на свои места; оно длится до появления перво-
го блюда, изредка прерываемое такого рода замечания-
ми: «Том опять нездоров; не пойму, что с ним такое!» —
«Энн, вероятно, не выходит по утрам к завтраку?» —
«Как фамилия твоего врача, Фанни? Стабс? Он шарла-

тан!»—«Уинифрид! У нее слишком много детей. Четверо, кажется? Она худа как щепка!» — «Сколько ты платишь за херес, Суизин? По-моему, он слишком сухой».

После второго бокала шампанского над столом поднимается жужжание, которое, если отместить от него случайные призывы и восстановить его основную сущность, оказывается не чем иным, как голосом Джемса, рассказывающего какую-то историю. Жужжание долго не умолкает, а иногда даже захватывает ту часть обеда, которая должна быть единогласно признана самой торжественной минутой форсайтского пиршества и наступает с появлением «седла барашка».

Ни один Форсайт не давал еще обеда без седла барашка. В этом сочном, плотном блюде есть что-то такое, что делает его весьма подходящей едой для людей «с известным положением». Оно питательно и вкусно; раз попробовав такое блюдо, его обычно не забывают. У седла барашка есть прошлое и будущее, как у денежной суммы, положенной в банк; кроме того, о нем можно поспорить.

Каждая ветвь семьи восхваляла баранину только из одной определенной местности: старый Джолион превозносил Дартмур, Джемс—Уэлс, Суизин—Саусдаун, Николас утверждал, что люди могут говорить все что угодно, но лучше новозеландской ничего не найдешь. Что касается Роджера, самого большого «оригинала» среди братьев, то ему пришлось отыскать совсем особое место, и с изобретательностью, достойной человека, придумавшего новую профессию для своих сыновей, он раскопал лавку, где торговали бараниной, привезенной из Германии; в ответ на протестующие голоса Роджер вытащил счет и доказал, что он платит своему мяснику больше, чем все остальные. По этому поводу старый Джолион, которому вдруг захотелось пофилософствовать, заметил, повернувшись к Джун:

— Форсайты — большие чудачки, со временем ты сама в этом убедишься.

Один Тимоти обычно не принимал участия в спорах; правда, он ел седло барашка с удовольствием, но, по его собственным словам, побаивался этого блюда.

Для тех, кто интересуется Форсайтами с психологической точки зрения, седло барашка — факт первостепен-

ной важности: он не только иллюстрирует цепкость всей семьи и каждого ее члена в отдельности, но и подчеркивает, что Форсайты всем своим существом, всеми инстинктами принадлежат к тому великому классу, который верует в питательную, вкусную пищу и чужд сентиментального стремления к красоте.

Более молодые члены семьи прекрасно обошлись бы и без барашка, предпочитая ему цесарку или салат из омаров—вообще то, что действует на воображение и не имеет таких питательных свойств. Но это были женщины, а если не женщины, так те, кого испортили жены или матери, вынужденные есть седло барашка в продолжение всей своей замужней жизни и вселившие тайную ненависть к нему в плоть и кровь своих сыновей.

Когда великий спор о седле барашка подошел к концу, приступили к тьюксберийской ветчине, приправленной «чуточкой» кабуля. Суизин так долго возился с этим блюдом, что задержал мирное течение обеда. Для того чтобы всей душой отдаться ветчине, он даже прервал разговор.

Сомс внимательно разглядывал гостей со своего места рядом с миссис Септимус Смолл. У него были основания наблюдать за Босини, основания, связанные с давно взлелеянным планом одной постройки. Этот архитектор, пожалуй, годится для его целей. Глядя на Босини, который сидел, откинувшись на спинку стула, и задумчиво катал шарики из хлебного мякиша, Сомс решил, что он выглядит неглупым. Сомс заметил, что костюм на Босини сидит хорошо, но узок, как будто сшит много лет назад.

Сомс видел, как Босини повернулся к Ирэн и сказал ей что-то, а ее лицо засветилось, как оно часто светилось в разговорах с другими и никогда в разговоре с ним. Он старался разобрать их слова, но ему помешала тетя Джули.

Разве это не кажется Сомсу удивительным? В прошлое воскресенье мистер Скоулз—милейший человек!—прочел такую блестящую, такую язвительную проповедь. «Ибо,—спросил он,—что обрящет человек, если он спасет душу свою, но потеряет свое состояние? Вот,—сказал мистер Скоулз,—девиз нашего класса». Так что он хотел этим выразить? Конечно, может быть, наш класс в

это и верит—она не знает; что думает по этому поводу Сомс?

Он ответил рассеянно:

— Откуда я знаю? Впрочем, этот Скоулз, кажется, шарлатан!

В это время Босини обвел глазами стол, как бы подмечая особенности каждого гостя, и Сомсу было интересно, что он говорит. Судя по улыбке Ирэн, она соглашалась с его замечаниями. Она всегда соглашается с другими.

Ее взгляд упал на Сомса; Сомс сразу же опустил глаза. Улыбка на ее губах исчезла.

Шарлатан? То есть как это? Если мистер Скоулз, духовное лицо, шарлатан, то что же тогда все остальные? Это ужасно!

— Да все шарлатаны! — сказал Сомс.

Секунда испуганного молчания тети Джули дала ему возможность поймать слова Ирэн; он услышал что-то вроде: «Оставь надежду всяк сюда входящий!»

Но Суизин уже покончил со своей ветчиной.

— Где вы берете грибы? — заговорил он с Ирэн тоном изысканного царедворца.— Пошлите к Снилибобу—у него всегда бывают свежие. А эта мелкота не желает возиться со свежим товаром!

Ирэн повернулась к нему, и Сомс увидел, что Босини наблюдает за ней с затаенной улыбкой. Странная улыбка была у этого человека. Простая, как у ребенка, получившего удовольствие. Что касается прозвища, данного Джорджем, то ничего «пиратского» в нем не было. И глядя, как Босини повернулся к Джун, Сомс тоже улыбнулся, но насмешливо: он недолюбливал Джун, а вид у нее сейчас был не совсем довольный.

И ничего удивительного: Джун только что имела следующий разговор с Джемсом:

— Дядя Джемс, на обратном пути я видела у реки замечательное место для дома.

Джемс, который имел привычку есть медленно и основательно, прекратил процесс жевания.

— Что? — сказал он.— А где это?

— У самого Пэнгборна.

Джемс отправил в рот кусок ветчины, Джун ждала.

— Ты, наверно, не имеешь понятия о том, прода-

ются эти участки в пожизненную собственность или нет? — спросил он наконец. — Ты не поинтересовалась узнать, какие там цены на землю?

— Нет, поинтересовалась, — сказала Джун, — я навела справки. — Ее решительное личико подозрительно пылало и светилось нетерпением под копной золотисторыжих волос.

Джемс оглядел ее инквизиторским взглядом.

— Что? Неужели ты собираешься покупать землю? — воскликнул он, роняя вилку.

Проявленный им интерес подбодрил Джун. Она уже давно носилась с планом, согласно которому ее дяди должны были облагодетельствовать себя и Босини постройкой загородных домов.

— Конечно, нет, — сказала она. — Я подумала, какое замечательное место! Вот бы где выстроить дом — вам или кому-нибудь еще!

Джемс покосился на нее и сунул в рот второй кусок ветчины.

— Там, должно быть, очень дорогие участки, — сказал он.

То, что Джун приняла за личную заинтересованность, было лишь привычным возбуждением, которое испытывает каждый Форсайт, опасаясь, как бы хорошие вещи не уплыли у него из рук. Но она не хотела признать свое поражение и продолжала настаивать:

— Вам надо перебраться за город, дядя Джемс. Будь у меня много денег, я бы и дня не осталась в Лондоне.

Джемс был взволнован до самых глубин своего длинного, тощего тела; он и не подозревал, что его племянница придерживается таких крайних взглядов.

— Почему вы не переберетесь за город? — повторила Джун. — Это было бы вам очень полезно!

— Почему? — взволнованно начал Джемс. — Зачем мне покупать землю? Что это мне даст, если я стану покупать землю и строить дома? Я и четырех процентов не получу за свои деньги!

— Ну и что же? Зато будете жить на свежем воздухе.

— Свежий воздух! — воскликнул Джемс. — На что мне свежий воздух?

— Я думала, что каждому приятно жить на свежем воздухе,— презрительно сказала Джун.

Джемс размашистым жестом вытер рот салфеткой.

— Ты не знаешь цены деньгам,— сказал он, избегая ее взгляда.

— Не знаю! И, надеюсь, никогда не буду знать! — и, закусив губы от невыразимого огорчения, бедная Джун замолчала.

Почему ее родственники такие богачи, а у Фила нет даже уверенности, будут у него завтра деньги на табак или нет? Неужели они ничего не могут для него сделать? Все такие эгоисты. Почему они не хотят строить загородные дома? Джун была полна того наивного догматизма, который так трогателен и иногда приводит к таким большим результатам. Босини, к которому она повернулась после своего поражения, разговаривал с Ирэн, и Джун почувствовала холодок в сердце. Гнев придал ее взгляду решительность; такой взгляд бывал у старого Джолиона, когда его воля встречала какие-нибудь препятствия на своем пути.

Джемсу тоже было не по себе. Ему казалось, что кто-то покушается на его право помещать деньги под пять процентов. Джолион избаловал ее. Ни одна из его дочерей не позволила бы себе такой выходки. Джемс никогда ничего не жалел для своих детей, и это заставило его еще глубже почувствовать дерзость Джун. Он задумчиво поковырял ложкой клубнику, затем утопил ее в сливках и быстро съел: уж клубнику-то он во всяком случае не упустит.

Не было ничего удивительного в том, что Джемс так разволновался. Посвятив пятьдесят четыре года жизни (он получил звание поверенного сразу же, как только достиг возраста, установленного законом) хлопотам по закладным, помещению капиталов своих доверителей под самые высокие и верные проценты, ведению дел по принципу извлечения наибольшей выгоды из других людей, но, разумеется, без всякого риска для своих клиентов и для себя, подставляя под все жизненные отношения их точную денежную стоимость, Джемс кончил тем, что привык смотреть на мир исключительно с точки зрения денег. Деньги стали для него светочем жизни, средством восприятия мира, чем-то таким, без чего он не мог

познавать действительность; и выслушать брошенную прямо в лицо фразу: «Надеюсь, я никогда не буду знать цену деньгам!»—ему было больно и досадно. Он знал, что все это глупости, иначе такие слова просто испугали бы его. Куда мы идем! Вспомнив, однако, историю с молодым Джолионом, Джемс почувствовал некоторое успокоение: чего можно ждать от дочери такого человека! А затем мысли его пошли по другому, еще менее приятному руслу. Что это за болтовня про Сомса и Ирэн?

Как и у всякой уважающей себя семьи, у Форсайтов существовало нечто вроде торжища, где производился обмен семейными тайнами и котиrowались семейные акции. На Форсайтской Бирже было известно, что Ирэн недовольна своим замужеством. Ее недовольство осуждали. Она должна была знать, что делает; порядочным женщинам не полагается совершать такие ошибки.

Джемс с раздражением думал, что у них хороший дом (правда, маленький) на прекрасной улице, детей нет, денежных затруднений тоже. Сомс неохотно говорит о своих делах, но, по всей вероятности, он человек состоятельный. У него прекрасные доходы. Сомс, так же как и отец, работал в известной адвокатской конторе «Форсайт, Бастард и Форсайт» — он всегда очень осторожен в делах. Недавно проделал чрезвычайно удачную операцию по ипотекам: воспользовался просроченными платежами — на редкость удачно!

У Ирэн все основания быть счастливой, а говорят, что она требует отдельную комнату. Он-то знает, чем все это кончается. Если бы еще Сомс пил!

Джемс посмотрел на свою невестку. Взгляд его, никем не замеченный, был холоден и недоверчив. В нем смешались укор и страх и чувство личной обиды. Почему это он должен волноваться? Очень возможно, что все это глупости; женщины такой странный народ! Так преувеличивают, что не знаешь, когда им верить, когда нет, и, кроме того, ему никогда ничего не рассказывают, приходится самому до всего докапываться. И Джемс снова украдкой взглянул на Ирэн, а с нее перевел взгляд на Сомса. Последний, разговаривая с тетей Джули, посматривал исподлобья в сторону Босини.

«Сомс любит ее, я знаю,— подумал Джемс.— Взять хотя бы то, что он постоянно делает ей подарки»,

И чудовищная нелепость ее отношения к мужу поразила Джемса с удвоенной силой. Как это грустно! Такая милая женщина! Он, Джемс, сам мог бы привязаться к ней, если б только она позволила. За последнее время она подружилась с Джун: это нехорошо, это очень нехорошо. У нее появляются собственные мнения. Он не может понять, зачем это ей понадобилось? У нее прекрасный дом, она ни в чем не встречает отказа. Джемс пришел к убеждению, что кто-то должен позаботиться о выборе друзей для Ирэн. Иначе дело может принять опасный оборот.

Джун с ее склонностью опекать несчастных действительно вырвала у Ирэн признание и в ответ на него провозгласила необходимость пойти на что угодно и, если понадобится, требовать развода. Но, слушая ее доводы, Ирэн задумчиво молчала, словно ей была страшна самая мысль о предстоящей хладнокровной, расчетливой борьбе. Он ни за что не отпустит ее, сказала она Джун.

— Ну и что же из этого? — воскликнула Джун. — Пусть делает все что угодно, вы только не сдавайтесь! — И она не постеснялась рассказать кое-что у Тимоти; услышав об этом, Джемс почувствовал совершенно естественное негодование и ужас.

Что если Ирэн — даже страшно подумать! — действительно решит уйти от Сомса? Мысль эта была так невыносима, что Джемс сразу же отбросил ее; она вызвала в воображении смутные картины, в ушах у него уже стояло бормотание форсайтских языков. Джемса охватывал ужас перед тем, что гласность так близко коснется его жизни, жизни его сына! Счастье, что у нее нет собственных средств — какие-то нищенские пятьдесят фунтов в год. И он с пренебрежением вспомнил покойного Эрона, который ничего не оставил ей. Насупившись над бокалом вина, скрестив под столом свои длинные ноги, Джемс даже забыл встать, когда дамы покидали столовую. Придется поговорить с Сомсом, придется предостеречь его; после всего, что случилось, так продолжаться не может. И он с раздражением заметил, что Джун не прикоснулась к вину.

«Все зло в этой девчонке, — размышлял он. — Ирэн сама никогда бы до этого не додумалась». Джемс был человек с богатым воображением.

Его размышления прервал голос Суизина.

— Я заплатил за нее четыреста фунтов,— говорил он.— Это настоящее произведение искусства.

— Четыреста фунтов! Уйма денег! — отозвался Николас.

Вещь, о которой шла речь,— замысловатая скульптурная группа итальянского мрамора, поставленная на высокий постамент (тоже из мрамора),— распространяла в комнате атмосферу утонченной культуры. Затейливой работы нижние фигурки обнаженных женщин в количестве шести штук указывали на центральную, тоже обнаженную и тоже женскую фигуру, которая в свою очередь указывала на себя; все в целом создавало у зрителя весьма приятную уверенность в исключительной ценности этой неизвестной особы. Тетя Джули, весь вечер сидевшая напротив нее, прилагала большие усилия, чтобы не смотреть в том направлении.

Заговорил старый Джолион; он и начал весь спор.

— Четыреста фунтов! Ты заплатил за это четыреста фунтов?

Тут Суизин во второй раз за вечер осторожно повел головой, ощущая при этом, как острые уголки воротничка впиваются ему в шею.

— Четыре сотни фунтов английскими деньгами, ни фартингом меньше. И не раскаиваюсь. Это не наша работа, это современная итальянская скульптура!

Сомс улыбнулся уголками губ и взглянул на Босини. Архитектор усмехался, плавая в облаках папиросного дыма. Вот теперь действительно в нем есть что-то пиратское.

— Сложная работа! — поторопился сказать Джемс, на которого размеры группы произвели большое впечатление.— Хорошо пошла бы у Джобсона.

— Этот итальяшка, который ее сделал,— продолжал Суизин,— запросил с меня пятьсот фунтов — я дал четыреста. А вещь стоит все восемьсот. У бедняги был такой вид, будто он умирает с голоду!

— А! — откликнулся вдруг Николас.— Все эти артисты такие жалкие, просто не понимаю, как они живут. Например, этот Флажолетти, которого Фанни и девочки постоянно приглашают поиграть; дай бог, чтобы он зарабатывал сотню в год!

Джемс покачал головой.

— Да-а! — сказал он. — Я понятия не имею, на что они живут!

Старый Джолион встал и, не вынимая сигары изо рта, подошел к группе, чтобы как следует рассмотреть ее.

— Двухсот бы не дал! — заявил он наконец.

Сомс посмотрел на отца и Николаса, испуганно переглянувшихся, и на сидевшего рядом с Суизином Босини, все еще окутанного дымом.

«Интересно бы узнать его мнение», — подумал Сомс, прекрасно знавший, что группа эта безнадежно *vieux jeu*¹, устарела по крайней мере на целое поколение. У Джобсона такие вещи уже давно не идут.

Наконец раздался ответ Суизина:

— Ты ничего не смыслишь в скульптуре. Твое дело картины — и только!

Старый Джолион вернулся на место, попыхивая сигарой. Он, конечно, не станет затевать спор с этим тупоголовым Суизином, упрямым как осел, не умеющим отличить статую от соломенной шляпы.

— Гипс! — вот все, что он сказал.

Долгое время Суизин просто не мог открыть рот; он стукнул кулаком по столу.

— Гипс! Пойщи-ка у себя в доме хоть что-нибудь подобное этой вещи!

И в его словах снова послышалась клокочущая ярость первобытных поколений.

Спас положение Джемс.

— Ну, а вы что скажете, мистер Босини? Вы архитектор, вам ведь полагается знать толк во всяких статуях и тому подобных вещах!

Взоры всех обратились к архитектору; все ждали ответа Босини, настороженно и недоверчиво поглядывая на него.

И Сомс, в первый раз вмешавшись в разговор, спросил:

— В самом деле, Босини, что вы скажете?

Босини спокойно ответил:

— Вещь замечательная.

¹ Старомодная (франц.).

Он обращался к Суизину, а глаза его хитро улыбались старому Джолиону; один Сомс остался неудовлетворенным.

— Замечательная? Чем?

— Своей наивностью.

Наступило выразительное молчание; только один Суизин не был окончательно уверен в том, следует ли это понимать как комплимент или нет.

IV

ПРОЕКТ НОВОГО ДОМА

Через три дня после обеда у Суизина Сомс Форсайт, выйдя на улицу, затворил за собой выкрашенную в зеленую краску парадную дверь своего дома и, оглянувшись с середины сквера, окончательно убедился, что дом необходимо окрасить заново.

Он оставил жену в гостиной — она сидела на диване, сложив руки на коленях, и, очевидно, ждала, когда он уйдет. В этом не было ничего необычного. В сущности говоря, так случалось ежедневно.

Он не мог понять, почему Ирэн так плохо относится к нему. Ведь он как будто не пьяница! Разве он влез в долги, играет в карты, несдержан на язык, груб; разве он заводит предосудительные знакомства; проводит ночи вне дома? Совсем наоборот!

Глубоко затаенная неприязнь, которую Сомс чувствовал в Ирэн по отношению к себе, оставалась для него загадкой и служила источником сильнейшего раздражения. То, что ее замужество было ошибкой и она не любила его, Сомса, старалась полюбить и не смогла, — все это, разумеется, не причина.

Тот, кто способен представить себе такую нелепую причину для объяснения ее натянутых отношений с мужем, не может называться Форсайтом.

И поэтому Сомсу приходилось во всем винить жену. Никогда в жизни не встречал он женщины, которая бы так влекла к себе. Где бы они ни появлялись вместе, Сомс неизменно замечал, как все мужчины тянулись к Ирэн: взгляды, движения, голос выдавали их; окру-

женная таким вниманием, она держалась безукоризненно. Мысль о том, что Ирэн была одной из тех женщин, не часто встречающихся в англосаксонской расе, которые рождены любить и быть любимыми, для которых без любви нет жизни, разумеется, ни разу не пришла ему в голову. Он смотрел на ее обаяние как на часть той ценности, которую она собой представляла, будучи его вещью, но это наводило на мысль, что Ирэн могла не только получать, но и дарить; а ему она ничего не дарила! «Но зачем же тогда было выходить за меня замуж?» — непрестанно думал Сомс. Он уже забыл время своего сватовства — те полтора года, когда он осаждал и преследовал Ирэн, измышляя всяческие способы, чтобы развлечь ее, поднося подарки, раз за разом делая ей предложение и отваживая других поклонников своим постоянным присутствием. Он уже забыл тот день, когда, умело воспользовавшись приступом отвращения, которое вызывала у нее домашняя обстановка, он увенчал свои старания успехом. Если Сомс и помнил что-нибудь, так только ту капризную грацию, с которой золотоволосая темноглазая девушка обращалась с ним. И, разумеется, он не помнил выражения ее лица — выражения отчужденности, покорности и мольбы, — когда в один прекрасный день она сдалась и сказала, что будет его женой.

Это было то настоящее пылкое поклонение, столь превозносимое и писателями и простыми смертными, когда влюбленный, сумев, наконец, сделать металл податливым, получает награду за свои труды и вступает в жизнь — счастливую, как звон свадебных колоколов.

Сомс повернул в восточном направлении, упорно держась теневой стороны улицы.

Дом необходимо отремонтировать или надо строить-ся за городом и переезжать туда.

В сотый раз за последний месяц он принялся обдумывать этот план. Никогда не следует торопиться! Средства есть, доходы вырастают до трех тысяч фунтов в год; правда, капитал у него не такой солидный, как считает отец, — Джемс был склонен преувеличивать состояние своих детей. «Тысяч восемь я легко могу потратить, — соображал Сомс, — и не надо будет обращаться к Робертсону или к Николлу».

Он остановился у одной из витрин, где были выставлены картины. Сомс был «любителем» живописи: небольшая комната в доме № 62 на Монпелье-сквер была заполнена холстами, стоявшими вдоль стен, так как их негде было вешать. Он привозил картины домой, возвращаясь из Сити обычно уже в сумерках, а по воскресеньям заходил в эту комнату и целыми часами поворачивал картины к свету, изучал надписи на обороте и время от времени отмечал что-то в записной книжке.

По большей части это были пейзажи с фигурами на переднем плане — символ какого-то тайного протеста против Лондона с его высокими домами и бесконечными улицами, где протекала его жизнь и жизнь людей его племени и класса. Иногда Сомс брал одну-две картины и, отправляясь в Сити, останавливался кэб у Джобсона.

Он редко показывал кому-нибудь свою коллекцию. Ирэн, мнение которой он втайне уважал и, вероятно, поэтому никогда о нем не спрашивался, бывала здесь очень редко — только в тех случаях, когда ее призывал долг хозяйки. Ей не предлагали посмотреть картины, и она не смотрела их. Для Сомса это было еще одним поводом для обиды. Он ненавидел эту гордость и втайне боялся ее.

С зеркального стекла витрины на Сомса смотрело его собственное отражение.

На гладких волосах, видневшихся из-под полей цилиндра, лежал такой же глянец, как и на самом цилиндре; бледное узкое лицо, линия чисто выбритых губ, твердый подбородок со стальным отливом от бритья и строгость застегнутой на все пуговицы черной визитки придавали ему замкнутый и непроницаемый вид, пронызывали весь облик невозмутимым, подчеркнутым самообладанием; только глаза — холодные, серые, напряженные, с залегшей между бровями складкой — глядели на Сомса печально, словно знали его тайную слабость.

Он рассмотрел картины, подписи художников, прикинул, сколько эти вещи могут стоить, не испытывая удовлетворения, которое обычно доставляла ему такая мысленная оценка, и пошел дальше.

В доме № 62 можно прожить еще с год, если решиться строить новый. Время для постройки самое подхо-

дящее: деньги уже давно не были так дороги; а лучше того места, которое он присмотрел в Робин-Хилле весной, когда ездил туда по делу Николла, ничего и быть не может! Двенадцать миль от Хайд-парка, цены на землю наверняка поднимутся, всегда можно будет получить больше, чем заплатил; такой дом, если его выстроить в хорошем стиле,— верные деньги.

Сознание, что он единственный в семье будет обладателем загородного дома, не имело особенного значения для Сомса; истый Форсайт считает всякие сентименты, даже сентименты, связанные с общественным положением, роскошью, о которой можно думать только после того, как аппетиты будут утолены другими, более существенными вещами.

Увезти Ирэн из Лондона, лишить ее возможности встречаться с людьми, увезти от друзей и от тех, кто сбивает ее с толку! Вот что самое главное! Она слишком подружилась с Джун! Джун его не любит. Он отвечает ей тем же. Они ведь одной крови!

Увезти Ирэн за город — в этом все. Дом ей понравится, она с удовольствием возьмет на себя хлопоты по мебелировке — ведь у нее такая художественная натура!

Дом нужно выстроить в хорошем стиле, чтобы стоимость его сразу бросалась в глаза,— что-нибудь единственное в своем роде, как дом Паркса с башней; но Паркс сам рассказывал, что архитектор разорил его. От этих людей всего можно ждать: если архитектор с именем, он втравит в такие расходы, что только держись, да еще заставит считаться со своими причудами.

Брат же рядового архитектора не стоит — башня Паркса исключала всякую возможность приглашения рядового архитектора.

Вот почему Сомс подумал о Босини. После обеда у Суизина он навел справки, в результате которых получил скудные, но вместе с тем утешительные сведения: «архитектор новой школы».

— Талантливый?

— Безусловно талантливый, только немножко... немножко витает в облаках!

Сомсу так и не удалось разузнать, какие дома Босини уже построил и сколько он берет. Впечатление же создалось такое, что можно будет поставить свои усло-

вия. Чем больше Сомс думал об этом плане, тем больше он ему нравился. Все будет обделано в семейном кругу, к чему Форсайты стремятся почти инстинктивно; кроме того, Сомс сможет «приобрести» архитектора, если и не совсем по дешевке, то с «пониженной пошлиной», а это только справедливо, принимая во внимание, что Босини будет предоставлена возможность обнаружить свои таланты, так как дом Сомса не должен быть заурядным домом.

Мысль о том, что эта работа принесет молодому человеку другие заказы, доставляла ему удовольствие. Сомс, как и все Форсайты, обладал непоколебимым оптимизмом, когда из оптимизма можно было извлечь выгоду.

Контора Босини помещается на Слоун-стрит, совсем под рукой, можно будет следить за разработкой проекта.

К тому же Ирэн вряд ли станет возражать против переезда за город, если при этом условии жених ее лучшей подруги получит работу. Может быть, от этого будет зависеть счастье Джун. Ирэн не захочет мешать ее счастью; ни в коем случае не захочет, ведь он ее знает. И Джун останется довольна; а в этом есть известная выгода.

Босини на вид очень толковый малый, но, помимо всего прочего, у него есть одна черта, чрезвычайно привлекательная: в деловом отношении он несомненный протачок — денежный вопрос с ним будет нетрудно уладить. Сомс пришел к этому выводу без всякого намерения надуть Босини: таков был образ мышления у него, как у всякого хорошего дельца — у тысячи хороших дельцов, сквозь толпы которых он пробирался по Лэдгейт-Хилл.

И, с удовлетворением размышляя о том, что с Босини будет нетрудно уладить денежный вопрос, Сомс подчинялся сокровенным законам великого класса, к которому он принадлежал, — законам самой природы.

Пробираясь сквозь толпу, Сомс, обычно смотревший себе под ноги во время ходьбы, поднял глаза на собор св. Павла. Старый собор чем-то притягивал его к себе, и Сомс не один, а два и три раза в неделю заходил сюда во время своих дневных странствований и по пять, по десять минут стоял в боковых приделах, читая имена и эпитафии на гробницах. Трудно сказать, чем при-

влекал Сомса этот величественный храм, разве только тем, что здесь ему было легче собраться с мыслями о деловом дне. Если голова его была занята каким-нибудь особенно важным или требующим особенной проницательности делом, он всякий раз заглядывал сюда и неслышно, как мышь, бродил от одной гробницы к другой. Потом, так же бесшумно выйдя на улицу, он твердыми шагами шел по Чипсайд, и в походе его чувствовалось еще большее упорство, как будто он шел с твердым намерением купить вещь, которая только что привлекла к себе его внимание.

Сомс зашел в собор и в это утро, но, вместо того чтобы бродить от эпитафии к эпитафии, перевел глаза на колонны и пролеты стен и замер в неподвижности.

Под громадными сводами собора его запрокинутое лицо, благоговейное и задумчивое, какими становятся все лица в церкви, казалось белым от падавшего на него мелового отсвета. Руки в перчатках сжимали зонтик, который он держал прямо перед собой. Сомс поднял их. Может быть, на него снизошло святое вдохновение.

«Да,— мысленно сказал Сомс,— надо же когда-нибудь развесить картины».

В тот же вечер, возвращаясь из Сити, он зашел к Босини. Архитектор сидел без пиджака, с трубкой в зубах, и чертил какой-то план. Сомс отказался от вина и сразу перешел к делу:

— Если в воскресенье у вас не предвидится ничего более интересного, давайте съездим в Робин-Хилл, я хочу посоветоваться с вами относительно одного участка для постройки.

— Вы думаете строиться?

— Может быть,— сказал Сомс,— только никому не рассказывайте об этом. Я просто хочу посоветоваться с вами.

— Понимаю,— сказал архитектор.

Сомс оглядел комнату.

— Высоко вы забрались! — заметил он.

Все подробности о характере и размерах работы Босини, которые ему удастся подметить, могут пригодиться в будущем.

— Пока что мне здесь удобно,— ответил Босини.— Вы просто привыкли к роскоши.

Он выбил трубку и, пустую, опять сунул ее в рот,— так, вероятно, ему было легче разговаривать. Сомс заметил, что щеки у Босини впалые, должно быть, от постоянного сосания трубки.

— Сколько вы платите за такое помещение? — спросил он.

— Пятьдесят, и не плачу, а переплачиваю,— ответил Босини.

Ответ произвел на Сомса благоприятное впечатление.

— Да, дороговато,— сказал он.— Я заеду за вами в воскресенье часов в одиннадцать.

И в следующее воскресенье он заехал за Босини в кабриолете и повез его на вокзал. На станции в Робин-Хилле лошадей не оказалось, и они прошли полторы мили до участка пешком.

Было первое августа — прекрасный жаркий день, в небе ни облака. Их башмаки поднимали желтую пыль на прямой узкой дороге, взбегавшей на вершину холма.

— Гравий,— заметил Сомс и поглядел искоса на пальто Босини. Из карманов этого пальто торчали связки бумаг, под мышкой архитектор нес какую-то замысловатую палку. Сомс заметил эти, а также и еще кое-какие подробности.

Только талантливый человек или действительно «пират» мог позволить себе такую небрежность в костюме; и хотя эксцентричность Босини возмущала Сомса, до некоторой степени он даже остался доволен ею как признаком известных качеств, суливших ему самому выгоду. Если этот малый умеет строить дома, стоит ли обращать внимание на его костюм?

— Я уже говорил вам, что пока держу постройку в секрете,— сказал Сомс,— и вы тоже никому не рассказывайте. Я никогда не говорю о своих делах, пока они не закончены.

Босини мотнул головой.

— Только заикнись женщине о своих планах,— продолжал Сомс,— конца не увидишь болтовне.

— Да-а! — сказал Босини.— Уж эти женщины!

В глубине души Сомс давно пришел к такому же заключению; правда, он никогда не высказывал этой мысли вслух.





— А! — пробормотал Сомс. — Значит, вы уже начинаете... — он запнулся, но не сдержал себя и закончил с раздражением: — Джун тоже с характером — всегда этим отличалась.

— Характер не такая уж плохая вещь для ангела. Сомс никогда не называл Ирэн ангелом. Он не мог насиловать свою натуру, раскрывая посторонним ценность жены и тем самым выдавая себя. Пришлось промолчать.

Запущенная дорога вывела их на пустырь. Колеи заворачивали под прямым углом к разработкам гравия, за которыми, среди кучки деревьев на опушке густого леса, поднимались трубы коттеджа. Пучки пушистой травы покрывали сухую землю, и жаворонки взлетали из ее зарослей прямо в сияющее небо. Вдали, на горизонте, за бесконечной вереницей изгородей и полей, вставала линия холмов.

Сомс провел Босини в крайний угол пустыря и остановился. Выбранный участок был здесь; но теперь, когда приходилось показывать его другому, Сомс пришел в замешательство.

— Агент живет вон в том коттедже, он даст нам позавтракать, давайте сначала поедим, а потом уже приступим к делу, — сказал Сомс.

Он снова пошел первым к коттеджу, где их встретил агент Оливер, высокий человек с мясистым лицом и седеющей бородой. За завтраком Сомс почти ничего не ел, разглядывал Босини и раза два украдкой вытер лоб шелковым носовым платком. Наконец завтрак кончился, и Босини встал.

— Вам, вероятно, надо переговорить о делах, — сказал он, — а я пока что пойду осмотрюсь немного. — И, не дожидаясь ответа, вышел.

Сомс (он был поверенным владельца имения) провел в обществе агента около часа, рассматривая планы участков и обсуждая закладные Николла и других своих доверителей; и в конце, как будто вспомнив вдруг об интересующем его деле, перевел разговор на другую тему.

— Ваши хозяева, — сказал он, — должны уступить мне подешевле, ведь я первый начинаю здесь строиться.

Оливер покачал головой.

— Участок, который вы себе присмотрели, сэр,— сказал он,— считается у нас самым дешевым. Те, что на вершине холма, будут подороже.

— Имейте в виду,— сказал Сомс,— что я еще не решил окончательно; весьма возможно, что я раздумаю строиться. Налоги чересчур высоки.

— Что ж, мистер Форсайт, очень жаль, если вы раздумаете; по-моему, это будет ошибкой с вашей стороны, сэр. Разве вы найдете под Лондоном другой участок с таким прекрасным видом и за такую цену? Нам стоит только дать публикацию — отбоя не будет от покупателей.

Они взглянули друг на друга. На их лицах было ясно написано: «Я уважаю вас как делового человека, но не надеюсь, что я поверю хоть одному вашему слову».

— Ну что ж,— повторил Сомс,— я окончательно не решаю, очень возможно, что ничего не выйдет! — С этими словами он взял зонтик, сунул агенту свои холодные пальцы и, отдернув их без малейшего рукопожатия, вышел на солнце.

Погрузившись в глубокое раздумье, он медленно шел к облюбованному участку. Инстинкт подсказывал ему, что агент говорил правду. Участок дешевый. Но самая прелесть была в том, что агент, как Сомс был уверен, в действительности не считал участок дешевым — значит, его собственная интуиция взяла верх над интуицией агента.

«Дешево или дорого, я все равно куплю», — думал Сомс.

Жаворонки взлетали у него прямо из-под ног, в воздухе порхали бабочки, от густой травы шел нежный запах. Из леса, где, спрятавшись в зарослях, ворковали голуби, тянуло папоротником, и теплый ветер нес изда- лека мерный перезвон колоколов.

Сомс шел, опустив глаза, губы его то сжимались, то разжимались, словно в предвкушении лакомого кусочка. Но, дойдя до места, он не нашел там Босини. Подождав несколько минут, Сомс пересек пустырь, ведущий к склону холма. Он хотел было крикнуть, но побоялся звука собственного голоса.

На лугу было пустынно, как в прериях, тишину на-

рушала только беготня кроликов, прятавшихся по своим норкам, и песнь жаворонка.

Сомса — вожака головного отряда великой армии Форсайтов, несущих цивилизацию в эту глушь, — угнетали тишина луга, пение незримых жаворонков и душный, пряный воздух. Он повернул было назад, но в эту минуту увидел Босини.

Архитектор лежал, растянувшись под громадным старым дубом, поднимавшим над самым откосом свои могучие ветви с густой листвой.

Сомсу пришлось тронуть Босини за плечо, чтобы тот заметил его.

— Алло, Форсайт! — сказал архитектор. — Я нашел самое подходящее место для вашего дома. Посмотрите!

Сомс постоял, посмотрел, потом сказал холодно:

— Может быть, ваш выбор и неплох, но этот участок обойдется мне в полтора раза дороже.

— Плюньте на цену. Полюбуйтесь, какой вид!

Почти около самых ног у них расстиралось золотистое поле, кончавшееся небольшой темной рощей. Луга и изгороди уходили к далеким серо-голубым холмам. Вдали справа серебряной полоской поблескивала река.

Небо было такое синее, солнце такое горячее, — казалось, что лето царит здесь вечно. Пушинка чертополоха проплыла мимо них, упоенная безмятежностью воздуха. Над полем дрожал зной, все кругом было пронизано нежным, еле уловимым жужжанием, словно мгновения радости, в буйном веселье пронесившиеся между землей и небом, шептали что-то друг другу.

Сомс продолжал смотреть. Против воли что-то ширилось у него в груди. Жить здесь и видеть перед собой этот простор, показывать его знакомым, говорить о нем, владеть им! Щеки его вспыхнули. Тепло, блеск, сияние захватили Сомса так же, как четыре года назад его захватила красота Ирэн. Он взглянул украдкой на Босини, глаза которого — глаза «полудикого леопарда», как его называл кучер старого Джолиона, — с жадностью блуждали по ландшафту. Яркое солнце еще сильнее подчеркивало резкие черты его лица, выдающиеся скулы, подбородок, вертикальные складки на лбу; и Сомс с не-

прияженным чувством глядел на это суровое, вдохновенное, бездумное лицо.

Мягкая волна зыби прошла по полю, и ветер тепло пахнул на них.

— Какой дом я бы вам здесь построил! — сказал Босини, прервав наконец молчание.

— Ну еще бы! — сухо ответил Сомс. — Ведь вам не придется платить за него.

— Тысяч так за восемь я выстрою вам дворец.

Сомс побледнел — он боролся с собой. Потом опустил глаза и сказал упрямо:

— Мне это не по средствам.

И направил свои медленные, осторожные шаги обратно на первый участок.

Они пробыли там еще некоторое время, обсуждая детали будущего дома, а затем Сомс вернулся в коттедж к агенту.

Через полчаса он вышел и вместе с Босини отправился на станцию.

— Так вот, — сказал Сомс, еле разжимая губы, — я все-таки остановился на вашем участке.

И снова замолчал, недоумевая, каким образом этот человек, которого он не мог не презирать, заставил его, Сомса, изменить свое решение.

V

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ ФОРСАЙТА

Как и вся просвещенная верхушка лондонцев одного с ним класса и поколения, уже утратившая веру в красную плюшевую мебель и понимавшая, что итальянские мраморные группы современной работы — просто *vieux jeu*, Сомс Форсайт жил в таком доме, который мог сам постоять за себя. На входной его двери висел медный молоток, выполненный по специальному заказу, оконные рамы были переделаны и открывались наружу, в подвесных цветочных ящиках росла фуксия, а за домом (немаловажная деталь) был маленький дворик, вымощенный зелеными плитами и уставленный по краям розовыми гортензиями в ярко-синих горшках. Здесь, под

японским тентом цвета пергамента, закрывавшим часть двора, обитатели дома и гости, защищенные от любопытных взоров, пили чай и разглядывали на досуге последние новинки из коллекции табакерок Сомса.

Внутреннее убранство комнат отдавало дань стилю ампир и Уильяму Моррису. Дом был хоть и небольшой, но довольно вместительный, с множеством уютных уголков, напоминавших птичьи гнездышки, и множеством серебряных безделушек, которые лежали в этих гнездышках, как яички.

На общем фоне этого совершенства вели борьбу два различных вида изысканности. Здесь жила хозяйка, которая могла бы окружить себя изяществом даже на необитаемом острове, и хозяин, утонченность которого была, в сущности говоря, капиталом, одним из средств для достижения жизненных успехов в полном соответствии с законами конкуренции. Эта утонченность, продиктованная законами конкуренции, вынуждала Сомса еще в школе в Молборо первым надевать зимой вельветовый жилет, а летом — белый, не позволяла появляться в обществе с криво сидящим галстуком и однажды заставила его смахнуть пыль с лакированных ботинок на виду у всей публики, собравшейся в день акта слушать, как он будет декламировать Мольера.

Безупречность приросла к Сомсу и к многим другим лондонцам, как кожа: немыслимо вообразить его с растрепанными волосами, с галстуком, отклонившимся от перпендикуляра на одну восьмую дюйма, с воротничком, не сияющим белизной! Никакими силами нельзя было заставить его обойтись без ванны — ванны тогда входили в моду; и какое глубочайшее презрение питал он к тем, кто пренебрегал ежедневной ванной!

А Ирэн могла бы купаться в придорожном ручье, как нимфа, которая рада прохладе и любит свое прекрасное тело.

В этом поединке, который велся в стенах дома, женщине пришлось уступить. Так и в борьбе между англосаксонским и кельтским духом, все еще не затихающей внутри нации, более впечатлительному и податливому темпераменту пришлось примириться с навязанным ему грузом условностей.

И дом Сомса приобрел очень близкое сходство с сот-

нями других домов, олицетворявших столь же возвышенные стремления, и стал тем, о чем говорили: «Очаровательный домик у Сомса Форсайта, такой оригинальный, милочка, по-настоящему эlegantный!»

Подставьте вместо Сомса Форсайта Джемса Пибоди, Томаса Аткинса, Эммануила Спаньоветти или любого англичанина из лондонской буржуазии, выказывающего претензии на хороший вкус, и пусть убранство их домов будет несколько различным — оценка эта применима к ним всем.

Восьмого августа, через неделю после поездки в Робин-Хилл, в столовой этого дома — «такого оригинального, милочка, по-настоящему эlegantного» — Сомс и Ирэн сидели вечером за обеденным столом. Горячий обед по воскресным дням был изысканно-эlegantной черточкой, свойственной и этому и многим другим домам.

Вскоре после женитьбы Сомс издал рескрипт: «Прислуга должна позаботиться о горячем обеде по воскресеньям — все равно бездельничают, играют с утра до вечера на концертине».

Это нововведение не вызвало революции. Слуги — Сомса это всегда коробило — обожали Ирэн, которая, наперекор всем здравым традициям, признавала за ними право на слабости, свойственные человеческой природе.

Счастливая пара восседала за красивым столом палисандрового дерева не *vis-à-vis*, а наискось друг от друга; они обедали без скатерти — еще одна изысканно-эlegantная черточка — и до сих пор еще не обменялись ни словом.

За обедом Сомс любил поговорить о делах, о своих покупках, и, пока он говорил, молчание Ирэн не смущало его. Но в этот вечер говорить было трудно. Решение о постройке нового дома целую неделю не выходило у Сомса из головы, и сегодня, наконец, он собрался поделиться этим с Ирэн.

Волнение, которое он испытывал, готовясь сообщить свою новость, бесило его самого: зачем она ставит его в такое положение — ведь муж и жена едины. За весь обед она даже ни разу не взглянула на него; и Сомс не мог понять, о чем она думает все это время. Тяжело, когда человек трудится так, как трудится он, добывает

для нее деньги,— да, для нее, и с болью в сердце! — а она сидит здесь и смотрит, смотрит, как будто ждет, что эти стены того и гляди придавят ее. От одного этого можно встать из-за стола и уйти из комнаты.

Свет лампы, затененной розовым абажуром, падал ей на шею и руки — Сомс любил, чтобы Ирэн выходила к обеду декольтированной: это давало ему неизъяснимое чувство превосходства над большинством знакомых, жены которых, обедая дома, ограничивались домашними платьями или закрытыми вечерними туалетами. В розовом свете лампы янтарные волосы и белая кожа Ирэн так странно подчеркивали ее темно-карие глаза.

Разве может человек обладать чем-нибудь более прекрасным, чем этот обеденный стол глубоких, сочных тонов, эти нежные лепестки роз, мерцающих, точно звезды, бокалы, отливающие рубином, и изысканное серебро сервировки; разве может человек обладать чем-нибудь более прекрасным, чем эта женщина, которая сидит за его столом? Чувство благодарности не входило в список форсайтских добродетелей — в Форсайтах слишком много здравого смысла и духа соперничества, чтобы ощущать потребность в этом чувстве,— и Сомс испытывал только граничащее с болью раздражение при мысли, что ему не дано обладать ею так, как полагалось бы по праву, что он не может протянуть к ней руку, как к этой розе, взять ее и вдохнуть в себя весь сокровенный аромат ее сердца.

Все, что принадлежало ему: серебро, картины, дома, деньги,— все это было свое, близкое; но ее близости он не чувствовал.

В его доме пророческие строки горели на каждой стене. Деловитая натура Сомса восставала против темного предсказания, что Ирэн предназначена не для него. Он женился на этой женщине, завоевал ее, сделал своей собственностью, и то, что теперь ему не дано ничего другого, как только владеть ее телом (да владел ли он им? Теперь и это начинало казаться сомнительным), шло вразрез с самым основным законом, законом собственности. Спроси кто-нибудь Сомса, хочет ли он владеть ее душой, вопрос показался бы ему и смешным и сентиментальным. На самом же деле он хотел этого, а про-

рочество гласило, что ему никогда не добиться такой власти.

Она всегда была молчалива, пассивна, всегда относилась к нему с грациозной сдержанностью, словно боясь, что он может истолковать какое-нибудь ее слово, жест или знак как проявление любви. И Сомс задавал себе вопрос: неужели это никогда не кончится?

Взгляды Сомса, как и взгляды многих его сверстников, складывались не без влияния литературы (а Сомс был большим любителем романов); он твердо верил, что время может сгладить все. В конце концов мужья всегда завоевывают любовь своих жен. Даже в тех случаях, которые кончались трагически — такие книги Сомс недолюбливал, — жена всегда умирала со словами горького раскаяния на устах, а если умирал муж — весьма неприятно! — она бросалась на его труп, обливаясь горькими слезами.

Сомс часто возил Ирэн в театр, бессознательно выбирая современные пьесы из великосветской жизни, трактующие современную проблему брака в таком плане, который, по счастью, не имеет ничего общего с действительностью. Сомс видел, что и у этих пьес конец всегда одинаков, даже если на сцене появляется любовник. Следя за ходом спектакля, Сомс часто сочувствовал любовнику; но, не успев даже доехать с Ирэн до дому, он приходил к заключению, что был неправ, и радовался, что пьеса кончилась так, как ей и следовало кончиться. В те дни на сцене фигурировал тип мужа, входивший тогда в моду: тип властного, грубоватого, но исключительно здравомыслящего мужчины, который к концу пьесы всегда одерживал полную победу; такой персонаж не вызывал у Сомса симпатий, и, сложись его семейная жизнь по-иному, он не преминул бы высказать, какое отвращение вызывают у него подобные субъекты. Но Сомс так ясно ощущал необходимость быть победоносным и даже «властным» мужем, что никогда не высказывал своего отвращения, которое природа окольными путями вывела, быть может, из таившейся в нем самой жестокости.

Однако в этот вечер Ирэн была особенно молчалива. Он никогда еще не видел такого выражения на ее лице. И так как необычное всегда тревожит, Сомс встревожился. Он кончил есть маслины и поторопил горничную,

сметавшую серебряной щеточкой крошки со стола. Когда она вышла, Сомс налил себе вина и сказал:

— Был кто-нибудь сегодня?

— Джун.

— Что ей понадобилось? — Форсайты считают за неприложную истину, что люди приходят только тогда, когда им что-нибудь нужно. — Наверно, приходила поболтать о женихе?

Ирэн молчала.

— Мне кажется, — продолжал Сомс, — что Джун влюблена в Босини гораздо больше, чем он в нее. Она ему проходу не дает.

Он почувствовал себя неловко под взглядом Ирэн.

— Ты не имеешь права так говорить! — воскликнула она.

— Почему? Это все замечают.

— Неправда. А если кто-нибудь и замечает, стыдно говорить такие вещи.

Самообладание покинуло Сомса.

— Нечего сказать, хорошая у меня жена! — воскликнул он, но втайне удивился ее горячности: это было не похоже на Ирэн. — Ты помешалась на своей Джун! Могу сказать только одно: с тех пор как она взяла на буксир этого «пирата», ей стало не до тебя, скоро ты сама в этом убедишься. Правда, теперь вам не придется часто видеть друг друга: мы будем жить за городом.

Сомс был рад, что случай позволил ему сообщить эту новость под прикрытием раздражения. Он ждал вспышки с ее стороны; молчание, которым были встречены его слова, обеспокоило его.

— Тебе, кажется, все равно? — пришлось ему добавить.

— Я уже знаю об этом.

Он быстро взглянул на нее.

— Кто тебе сказал?

— Джун.

— А она откуда знает?

Ирэн ничего не ответила. Сбитый с толку, смущенный, он сказал:

— Прекрасная работа для Босини; он сделает на ней имя. Джун все тебе рассказала?

— Да.

Снова наступило молчание, затем Сомс спросил:

— Тебе, наверное, не хочется переезжать?

Ирэн молчала.

— Ну, я не знаю, чего ты хочешь. Здесь тебе тоже не по душе.

— Разве мои желания что-нибудь значат?

Она взяла вазу с розами и вышла из комнаты. Сомс остался за столом. И ради этого он подписал контракт на постройку дома? Ради этого он готов выбросить десять тысяч фунтов? И ему вспомнились слова Босини: «Уж эти женщины!»

Но вскоре Сомс успокоился. Могло быть и хуже. Она могла вспылить. Он ожидал большего. В конце концов получилось даже удачно, что Джун первая пробила брешь. Она, должно быть, вытянула признание у Босини; этого следовало ждать.

Он закурил папиросу. В конце концов, Ирэн не устроила ему сцены. Все обойдется — это самая хорошая черта в ее характере: она холодна, зато никогда не дуется. И, пустив дымом в божью коровку, севшую на полированный стол, он погрузился в мечты о доме. Не стоит волноваться; он пойдет сейчас к ней — и все уладится. Она сидит там во дворике, под японским тентом, в руках у нее вязанье. Сумерки, прекрасный теплый вечер...

Джун действительно явилась в то утро с сияющими глазами и выпалила:

— Сомс молодец! Это именно то, что Филу нужно!

И, глядя на непонимающее, озадаченное лицо Ирэн, она пояснила:

— Да ваш новый дом в Робин-Хилле. Как? Вы ничего не знаете?

Ирэн ничего не знала.

— А! Мне, должно быть, не следовало рассказывать! — И, нетерпеливо взглянув на свою приятельницу, Джун добавила: — Неужели вам все равно? Ведь я только этого и добивалась, Фил только и ждал, когда ему представится такая возможность. Теперь вы увидите, на что он способен. — И вслед за этим она выложила все.

Став невестой, Джун как будто уже меньше интере-

совалась делами своей приятельницы; часы, которые они проводили вместе, посвящались теперь разговорам о ее собственных делах; и временами, несмотря на горячее сочувствие к Ирэн, в улыбке Джун проскальзывали жалость и презрение к этой женщине, которая совершила такую ошибку в жизни — такую громадную, нелепую ошибку.

— И отделку дома он ему тоже поручает — полная свобода. Замечательно! — Джун расхохоталась, ее маленькая фигурка дрожала от радостного волнения; она подняла руку и хлопнула ею по муслиновой занавеске. — Знаете, я просила даже дядю Джемса... — Но неприятные воспоминания об этом разговоре заставили ее замолчать; почувствовав, что Ирэн не отзывается на ее радость, Джун скоро ушла. Выйдя на улицу, она оглянулась: Ирэн все еще стояла в дверях. В ответ на прощальный жест Джун она приложила руку ко лбу и, медленно повернувшись, затворила за собой дверь...

Сомс прошел в гостиную и украдкой выглянул из окна.

Во дворике, в тени японского тента, тихо сидела Ирэн; кружево на ее белых плечах чуть заметно шевелилось вместе с дыханием, поднимавшим ее грудь.

Но в этой молчаливой женщине, неподвижно сидевшей в сумерках, чувствовалось тепло, чувствовался затаенный трепет, словно вся она была охвачена волнением, словно что-то новое рождалось в самых глубинах ее существа.

Он прокрался обратно в столовую незамеченным.

VI

ДЖЕМС ВО ВЕСЬ РОСТ

Не много времени понадобилось на то, чтобы слух о решении Сомса облетел всю семью и вызвал среди родственников то волнение, которое неизменно охватывает Форсайтов при всяком известии о каких-либо переменах, связанных с имущественным положением одного из них.

Сомс тут был ни при чем, он твердо решил никому не говорить о постройке дома. Джун от избытка радости сообщила новость миссис Смолл, позволив ей рассказать об этом только тете Энн,— она рассчитывала, что это подбодрит старушку! Тетя Энн уже много дней не покидала своей комнаты.

Миссис Смолл сразу же поделилась новостью с тетей Энн, а та улыбнулась, не поднимая головы от подушки, и проговорила дрожащим внятным голосом:

— Как это хорошо для Джун; но все-таки надо быть очень осторожным — это так рискованно!

Когда тетю Энн снова оставили одну, лицо ее омрачилось тревогой, словно облаком, предвещающим дождливое утро.

Лежа столько дней у себя в комнате, она ни на одну минуту не переставала набираться силы воли; этот процесс отражался и на ее лице — легкие складки то и дело залегали в уголках ее губ.

Горничная Смизер, поступившая в услужение к тете Энн еще совсем молоденькой,— та самая Смизер, о которой говорили: «Хорошая девушка, но такая нерасторопная»,— каждое утро с необычайной пунктуальностью добавляла последний, завершающий штрих к издревле заведенной церемонии облачения тети Энн. Вынув из недр сияющей белизной картонки плоские седые букли — знак личного достоинства тети Энн, Смизер передавала их из рук в руки своей хозяйке и поворачивалась к ней спиной.

И каждый день тетя Джули и тетя Эстер должны были являться к Энн с докладом о Тимоти, о том, что слышно у Николаса, удалось ли Джун уговорить Джолиона не откладывать свадьбу на долгий срок, раз мистер Босини строит теперь дом для Сомса, правда ли, что жена молодого Роджера в ожидании, как чувствует себя Арчи после операции и что Суизин решил делать с домом на Уигмор-стрит, арендатор которого разорился и так нехорошо поступил с Суизином; но больше всего — о Сомсе; неужели Ирэн все еще... настаивает на отдельной комнате? И каждое утро Смизер говорилось одно и то же: «Я сойду сегодня вниз, Смизер, так часа в два. Мне потребуется ваша помощь — я совсем отвыкла ходить!»

Сообщив новость тете Энн, миссис Смолл под величайшим секретом рассказала о постройке дома миссис Николас, которая, в свою очередь, спросила Уинифрид Дарти, правда ли это, полагая, конечно, что сестра Сомса должна быть в курсе дела. От Уинифрид, как того и следовало ожидать, новость дошла и до ушей Джемса. Он взволновался.

— Мне никогда ничего не рассказывают, — заявил Джемс. И, вместо того чтобы пойти прямо к Сомсу, молчаливость которого его всегда отпугивала, он взял зонтик и отправился к Тимоти.

Миссис Септимус и Эстер (ей тоже рассказали — она человек надежный, быстро утомляется от излишних разговоров) с готовностью и даже с большой охотой принялись обсуждать новость. Как мило со стороны Сомса дать работу мистеру Босини! Правда, это очень рискованный поступок. Как это Джордж его прозвал? «Пират»! Забавно! Джордж всегда придумает что-нибудь забавное! Во всяком случае, все будет сделано в семейном кругу — они полагают, что Босини уже можно считать членом семьи, хотя это так странно.

Тут Джемс прервал их:

— Об этом молодом человеке никто ничего не знает. Не понимаю, зачем Сомсу понадобилось связываться с ним. Уж, наверное, дело не обошлось без вмешательства Ирэн. Я поговорю с...

— Сомс просил мистера Босини молчать об этом, — вмешалась тетя Джули. — Я уверена, что ему будет неприятно, если пойдут разговоры; только бы Тимоти ничего не узнал, а то он очень расстроится, я...

Джемс приложил ладонь к уху.

— Что? — спросил он. — Я окончательно глухну. Ни слова не слышу. У Эмили опять приступ подагры. Едва ли нам удастся поехать в Уэлс раньше конца месяца. Вечно что-нибудь стрясется! — И, разузнав все, что ему было нужно, он взял шляпу и удалился.

День был чудесный, и Джемс пошел пешком через Хайд-парк к Сомсу, где он собирался пообедать, так как Эмили лежала из-за подагры в постели, а Рэчел и Сисили гостили за городом. Он пересек Роу¹ и направился

¹ Дорожка для верховой езды в Хайд-парке

к Найтсбридж-Гейт через коротко подстриженную, спаленную солнцем лужайку, где бродили овцы, сидели влюбленные парочки и прямо на траве ничком, как тела на поле, над которым только что пронеслась битва, лежали бездомные бродяги.

Джемс шел быстро, опустив голову, не глядя по сторонам. Вид парка — центрального места того поля битвы, на котором сам он сражался всю свою жизнь, — не вызывал у него ни дум, ни размышлений. Эти тела, выброшенные сюда сумятицей и напором борьбы, эти влюбленные, которые сидели здесь, тесно прижавшись друг к другу, урвав у тягостной монотонности дня какой-нибудь час безмятежного райского блаженства, не будили мечтаний в голове Джемса; он давно пережил такую мечтательность; его нос, как нос овцы, был устремлен вниз, на пастбище, на котором он пасся.

Один из его съемщиков с некоторых пор перестал торопиться со взносом квартирной платы, и перед Джемсом вставал серьезный вопрос — не выкинуть ли его ни минуты не медля, хотя бы и рискуя остаться до рождества без арендатора. Суизин уже нарвался на такую историю, и поделом ему — нечего было тянуть.

Поглощенный своими мыслями, Джемс твердым шагом шел вперед, аккуратно держа зонтик чуть пониже ручки, так, чтобы шелк не потрепался посередине и кончик зонта не доходил до земли. Высоко подняв худые плечи, он быстро, с точностью механизма переступал своими длинными ногами, и его шествие через парк, залитый ярким солнцем, светившим над безмятежностью лужайки, над людьми, вырвавшимися из жестокой битвы Собственности, бушевавшей там, за оградой, напоминало полет птицы, покинувшей привычную землю и внезапно очутившейся над морем.

Выйдя на Алберт-Гейт, он почувствовал, как кто-то тронул его за рукав.

Это был Сомс: возвращаясь домой из конторы, он перешел с теневой стороны Пикадилли на солнечную и зашагал рядом с отцом.

— Мама лежит, — сказал Джемс, — я как раз шел к тебе; впрочем, может быть, я помешаю?

С внешней стороны отношения между Джемсом и сыном отличались полным отсутствием сентиментальности,

как и у всех истых Форсайтов, однако отнюдь нельзя сказать, чтобы отец и сын не чувствовали взаимной привязанности. Возможно, что они смотрели друг на друга как на капитал, вложенный в солидное предприятие: каждый из них заботился о благосостоянии другого и испытывал удовольствие от его общества. Но они ни разу в жизни не перекинулись словом с более интимных вопросах, ни разу не обнаружили и в присутствии друг друга какое-нибудь глубокое чувство.

Их связывало что-то такое, что было сильнее слов, что таилось в самой сущности нации, семьи,— ведь кровь не вода, а ни того, ни другого нельзя было назвать человеком холодной крови. Для Джемса любовь к детям стала теперь основным стимулом жизни. Сознание, что дети — часть его самого, что им он может передать свои сбережения,— вот что лежало в основе его тяги к наживе; а в семьдесят пять лет какое еще удовольствие мог он получить от жизни, кроме наживы? И основной смысл существования заключался для Джемса в сбережении денег для детей.

Во всем Лондоне, где у Джемса было столько владений, в Лондоне, который он любил молчаливой любовью, как вместилище своих удач, не было человека, несмотря на всю его мнительность, более здравомыслящего, чем Джемс Форсайт (если основным признаком здравого ума считать инстинкт самосохранения, хотя Тимоти бесспорно в этом отношении хватил через край). Джемс был наделен поразительным инстинктивным здравомыслием, присущим всему его классу. В нем больше, чем в Джолионе с его твердой волей и минутными порывами нежности и философских раздумий, больше, чем в Суизине, оказавшемся в плену у собственных причуд, Николасе, жертве своих способностей, и Роджере, мученике предприимчивости, бесперебойно пульсировал инстинкт приспособления; из всех братьев он был наименее примечателен как по уму, так и по индивидуальности и именно поэтому имел все шансы на бессмертие.

Джемс больше остальных братьев ценил и любил семью. В его отношении к жизни всегда было что-то примитивное и «домашнее»; он любил семейный очаг,

любил посудачить, любил поворчать. Для того чтобы прийти к какому-нибудь решению, он снимал пенки мудрости со своей семьи, а через ее посредство и с множества других семей подобного же склада. Год за годом, неделю за неделей ходил он к Тимоти и сидел в гостиной брата, скрестив свои длинные ноги, худой, высокий, с седыми бакенбардами, обрамлявшими его чисто выбритый подбородок, следил, как набегает пенка в закипающем семейном горшке, и уходил оттуда приголубленный, освеженный, утешенный, с неизъяснимым чувством душевного покоя.

Под несокрушимым инстинктом самосохранения в Джемсе таилась неподдельная мягкость; визит к Тимоти действовал на него, как час, проведенный у материнских колен. Острая потребность чувствовать над собой защиту семейного крылышка влияла в свою очередь и на его отношение к детям; он не мог без ужаса думать о том, что состояние, репутация, здоровье его детей будут в какой-либо мере зависеть от постороннего мира. Узнав, что сын его старого друга Джона Стрита вступил добровольцем в экспедиционный корпус, он сердито покачал головой, удивляясь, как это Джон Стрит допустил такую вещь; а когда молодой человек был убит туземцами, Джемс так близко принял это к сердцу, что обошел всех знакомых только для того, чтобы объявить всюду: «Так я и знал, ну что с такими людьми поделаешь!»

Когда его зять, Дарти, потерпел финансовый крах в результате спекуляции акциями нефтяной компании, Джемс заболел от расстройства; в этой катастрофе ему почудился похоронный звон, провожающий в могилу всяческое благосостояние. Для того чтобы оправиться от такого удара, понадобились три месяца и поездка в Баден-Баден; он приходил в ужас при одной мысли, что, если бы не его, Джемса, деньги, имя Дарти попало бы в список банкротов.

Организм Джемса был настолько крепок, что при малейшей боли в ухе он уже готовился к смерти, а болезни жены и детей воспринимал как личное несчастье, специально ниспосланное провидением, чтобы нарушить его душевный покой. Но в недомогания других людей, не входивших в круг его семьи, он просто не верил, ут-

верждая, что все это происходит оттого, что люди не заботятся о своей печени.

Во всех таких случаях слова его были неизменны: «На что они рассчитывают? И у меня бывает то же самое, если я не слежу за собой!»

Идя в тот вечер к Сомсу, он чувствовал, что жизнь обращается с ним жестоко; у Эмили разыгралась подагра, Рэчел вздумала укатить в гости за город; никто ему не сочувствует; Энн больна — вряд ли протянет лето; он три раза заезжал к ней, и все три раза она не могла его принять. А тут еще Сомс с постройкой дома, этим надо заняться как следует! Что же касается неприятностей с Ирэн, он просто не знает, чем это кончится, — всего можно ожидать!

Джемс вошел в дом № 62 на Монпелье-сквер с твердым намерением показать, какой он несчастный человек.

Было уже половина восьмого, и Ирэн, одетая к обеду, сидела в гостиной. На ней было золотистое платье, в котором она уже показывалась на званом обеде, на вечере и на балу, — теперь его можно было носить только дома; на груди платье было отделано волной кружев, на которые Джемс уставился сразу, как только вошел.

— Где вы все это покупаете? — сердито спросил он. — Рэчел и Сисили никогда не бывают так хорошо одеты. Это настоящие кружева? Да нет, не может быть!

Ирэн подошла ближе, чтобы доказать Джемсу, что он ошибается.

И, независимо от своей воли, Джемс размяк от такой предупредительности со стороны Ирэн, от тонкого соблазнительного запаха ее духов. Но ни один уважающий себя Форсайт не сдастся с первого удара; и он сказал:

— Не знаю, не знаю, вы, должно быть, тратите уйму денег на наряды.

Зазвенел гонг, и, подав Джемсу свою ослепительно белую руку, Ирэн повела его в столовую. Она посадила его на место Сомса, слева от себя. Свет здесь падал мягче, сгущавшиеся сумерки не будут его беспокоить; и она принялась говорить с Джемсом о его делах.

В Джемсе сразу же произошла перемена, как будто солнце согрело плод, медленно зреющий на ветке; он чувствовал, что его нежат, хвалят, ласкают, а между тем

в ее словах не было ни прямой ласки, ни похвалы. Ему казалось, что именно такой обед и нужен для его желудка; дома этого ощущения не бывало; он уже не мог припомнить, когда бокал шампанского доставлял ему такое удовольствие, как сейчас, потом, осведомившись о марке и цене, удивился, что это то же самое вино, которое он держит у себя, но не может пить, и сразу решил заявить своему поставщику, что тот его надувает.

Подняв глаза от тарелки, он сказал:

— У вас так много красивых вещей. Сколько, например, вы заплатили за эту сахарницу? Должно быть, немалые деньги?

Особенное удовольствие доставила ему висевшая напротив картина, которую он сам подарил им.

— Я и не подозревал, что она так хороша! — сказал он.

Встав из-за стола, они направились в гостиную, и Джемс шел за Ирэн по пятам.

— Вот это называется хорошо пообедать, — довольным голосом пробормотал он, дыша ей в плечо, — ничего тяжелого и без всяких французских штучек. Дома я не могу добиться таких обедов. Плачу поварихе шестьдесят фунтов в год, но разве она когда-нибудь кормит меня так!

До сих пор о постройке дома не было сказано ни слова; Джемс не заговорил об этом и тогда, когда Сомс, сославшись на дела, ушел наверх, в комнату, где он держал свои картины.

Джемс остался наедине с невесткой. Тепло, разлившееся по всему телу от вина и превосходного ликера, все еще не покидало его. Он чувствовал нежность к Ирэн. В самом деле, в ней столько обаяния; она слушает вас и как будто понимает все, что вы говорите, и, продолжая разговор, Джемс не переставал внимательно разглядывать ее всю, начиная с туфель цвета бронзы и кончая волнистым золотом волос. Она откинулась в кресле, ее плечи приходились вровень со спинкой — тело, прямое, гибкое, послушное, словно отдавалось объятиям любовника. Губы ее улыбались, глаза были полужакрыты.

Возможно, что Джемсу почудилась опасность в самом очаровании ее позы, возможно, что виной тут был

пищеварительный процесс, но он вдруг умолк. Если память ему не изменяет, он еще никогда не оставался наедине с Ирэн. И, глядя на нее, Джемс испытывал странное чувство, словно ему пришлось столкнуться с чем-то необычным и чуждым.

О чем она думает, откинувшись вот так в кресле?

И когда Джемс заговорил, слова его прозвучали резко, словно кто-то прервал его приятные сновидения.

— Что вы тут делаете одна по целым дням? — сказал он. — Почему бы вам не заглянуть когда-нибудь на Парк-Лейн?

Ирэн придумала какую-то отговорку. Джемс выслушал ответ, не глядя на нее. Ему не хотелось верить, что она на самом деле избегает его семьи, — это было бы уж слишком.

— Наверно, вам просто некогда, — сказал он, — ведь вы вечно с Джун. Ей это очень кстати. Вы, должно быть, всюду сопровождаете ее с женихом. Говорят, она совсем не бывает дома; дяде Джолиону, наверно, это не по душе, приходится сидеть одному. Говорят, она по пятам ходит за этим Босини. Он каждый день бывает у вас? Ну, а как вы к нему относитесь? Как, по-вашему, он положительный человек? На мой взгляд — ничтожество. Она будет держать его под каблучком!

Щеки Ирэн залились краской. Джемс подозрительно посмотрел на нее.

— Боюсь, что вы не совсем разобрались в мистере Босини, — сказала она.

— Не разобрался! — выпалил Джемс. — Это почему же? Сразу видно, что он, как это называется... «художественная натура». Говорят, талантливый, но они все себя считают талантами. Впрочем, вам лучше знать, — добавил он и снова кинул на нее подозрительный взгляд.

— Он работает над проектом дома для Сомса, — мягко сказала Ирэн, явно стараясь успокоить его.

— Вот как раз об этом я и хотел поговорить, — подхватил Джемс. — Не понимаю, зачем Сомсу понадобилось связываться с этим юнцом; почему он не обратился к первоклассному архитектору?

— А может быть, мистер Босини тоже первоклассный архитектор?

Джемс встал и прошелся по комнате, низко опустив голову.

— Ну, конечно,— сказал он,— вы, молодежь, горой стоите друг за друга; думаете, что умнее вас никого нет!

Длинная, тощая фигура Джемса остановилась перед ней, он угрожающе поднял палец, словно произнося приговор красоте Ирэн.

— Я могу сказать только одно: все эти «таланты», или как они там себя называют, самые ненадежные люди; послушайте моего совета: держитесь от него подальше!

Ирэн улыбнулась, и в изгибе ее рта был какой-то вызов. Вся ее предупредительность к Джемсу исчезла. Казалось, что затаенный гнев волнует ее грудь; она подняла руки, сомкнула кончики пальцев; непроницаемый взгляд ее темных глаз остановился на Джемсе.

Он сумрачно уставился себе под ноги.

— Я вам прямо скажу,— проговорил он,— очень жаль, что у вас нет ребенка, вам нечего делать, не о ком заботиться!

Лицо Ирэн сразу омрачилось, и даже Джемс почувствовал, какое напряжение сковало ее тело под мягким покровом шелка и кружев.

Эффект, произведенный этими словами, испугал его самого, и, как большинство людей не храброго десятка, он сразу же, для большей убедительности, перешел в наступление.

— Вы вечно сидите дома. Почему бы, например, вам не проехаться с нами в Харлингэм? Или не сходить в театр? В ваши годы надо всем интересоваться. Вы же молодая женщина!

Лицо Ирэн еще более омрачилось; Джемсу стало совсем не по себе.

— Впрочем, кто вас знает,— сказал он,— мне никогда ничего не рассказывают. Сомс должен сам о себе позаботиться. А если не может, пусть на меня не рассчитывает — вот и все.

Прикусив кончик указательного пальца, он бросил на невестку холодный, испытующий взгляд.

Ее глаза, темные и глубокие, так твердо смотрели на него, что он запнулся и почувствовал легкую испарину.

— Ну, мне надо идти, — сказал он после короткой паузы и секундой позже поднялся с удивленным видом, словно ждал, что его будут удерживать. Он протянул Ирэн руку и позволил проводить себя до дверей и выпустить на улицу. Нет, не нужно звать кэб, он прогуляется пешком, пусть Ирэн передаст привет Сомсу, а если ей захочется немного развлечься, что ж, он в любой день поедет с ней в Ричмонд.

Джемс пришел домой и, поднявшись к себе, разбудил Эмили, впервые за сутки забывшуюся сном, чтобы сказать ей, что семейные дела Сомса, кажется, идут неважно; обсуждение этой темы заняло у Джемса полчаса, а затем, заявив, что не сможет сомкнуть глаз всю ночь, он повернулся на другой бок и сейчас же захрапел.

В доме на Монпелье-сквер Сомс, выйдя из верхней комнаты, стоял незамеченный на лестнице и смотрел, как Ирэн разбирает письма, полученные с последней почтой. Она вернулась в гостиную, но сейчас же вышла оттуда и остановилась в дверях, словно прислушиваясь к чему-то. Затем стала тихо подниматься по лестнице, держа на руках котенка. Он видел ее лицо, склонившееся над котенком, который с мурлыканьем терся об ее шею. Почему она никогда не смотрит так на него?

Вдруг она заметила Сомса, и выражение ее лица сейчас же изменилось.

— Есть для меня письма? — спросил он.

— Три.

Сомс посторонился, а Ирэн прошла в спальню, не сказав больше ни слова.

VII

ПРЕГРЕШЕНИЕ СТАРОГО ДЖОЛИОНА

В тот же самый день старый Джолион ушел с крикетного матча с твердым намерением отправиться домой. Но, не дойдя и до Гамильтон-Террес, раздумал и, позвав кэб, велел отвезти себя на Вистариа-авеню. В голове у него созрело решение.

Последнюю неделю Джун почти не бывала дома; она уже давно не баловала его своим обществом, точнее

говоря, с того самого дня, как состоялась ее помолвка с Босини. Старый Джолион не просил Джун побыть с ним. Не в его привычках просить людей о чем-нибудь! Голова ее была занята только Босини и его делами. Старый Джолион остался один с оравой слуг в громадном доме — и ни души рядом, с кем можно бы перекинуться словом за весь долгий день. Клуб его был временно закрыт; правления компаний, где он состоял директором, не заседали на каникулах, поэтому в Сити делать было нечего. Джун настаивала, чтобы он уехал из города; сама же ехать не хотела, потому что Босини оставался в Лондоне.

Но куда он денется без нее? Не ехать же одному за границу; море он не переносит из-за печени; об отелях противно и думать. Роджер ездит на воды, но он не намерен на старости лет заниматься такими глупостями: все эти новомодные курорты — чистейшая ерунда!

Таковыми изречениями старый Джолион прикрывал свое угнетенное состояние духа, прячась от самого себя; морщины около его рта залегли глубже, в глазах с каждым днем все больше и больше сквозила печаль, так несвойственная лицу, в котором прежде было столько воли и спокойствия.

Итак, в этот день он отправился в Сент-Джонс-Вуд, где золотые брызги света дрожали на зеленых шапках акаций перед скромными домиками, где летнее солнце, словно в буйном веселье, заливало маленькие сады; старый Джолион с интересом смотрел по сторонам — он находился в той части города, куда Форсайты заходят, не скрывая своего неодобрения, но с тайным любопытством.

Кэб остановился перед маленьким домиком, судя по его неопределенно бурому цвету, давно не знавшим ремонта. Вход с улицы был через калитку, как у деревенских коттеджей.

Старый Джолион вышел из кэба с чрезвычайно спокойным видом; его массивная голова с длинными усами, с прядью седых волос, видневшейся из-под полей очень высокого цилиндра, была гордо поднята; взгляд твердый, немного сердитый. Вот до чего его довели!

— Миссис Джолион Форсайт дома?

— Дома, сэр. Как прикажете доложить, сэр?

Старый Джолион не вытерпел и подмигнул маленькой служанке, говоря ей свое имя. «Ну и лягушонок!» — пронеслось у него в голове.

Он прошел за ней через темную переднюю в небольшую гостиную, где стояла мебель в ситцевых чехлах; служанка предложила ему кресло.

— Они в саду, сэр; присядьте, пожалуйста, я сейчас доложу.

Старый Джолион сел в кресло, покрытое ситцевым чехлом, и оглядел комнату. Все здесь казалось жалким, как он выразился про себя; на всем лежал особый отпечаток — он затруднялся определить, какой именно, — какой-то оттенок убожества, вернее, старания свести концы с концами. Насколько можно было судить, ни одна вещь в гостиной не стоила и пяти фунтов. На стенах, давным-давно выцветших, висели акварельные эскизы; поперек потолка шла длинная трещина.

Все эти домишки — старая рухлядь; надо надеяться, что платят за такую конуру меньше сотни в год; старому Джолиону трудно было бы выразить словами ту боль, которую он испытывал при одной мысли, что Фортсайт — его родной сын — живет в таком доме.

Служанка вернулась. Не угодно ли ему пройти в сад?

Старый Джолион вышел через стеклянную дверь. Спускаясь с крылечка, он подумал, что его давно следовало бы покрасить.

Молодой Джолион, его жена, двое детей и пес Балтазар сидели в саду под грушевым деревом.

Старый Джолион направился к ним, и это был самый мужественный поступок в его жизни; но ни один мускул не дрогнул на его лице, ни одно движение не выдало его. Он шел, устремив твердый взгляд прямо на врага.

В эти две минуты старый Джолион блистательно продемонстрировал бессознательную здравость ума, выдержку и жизнеспособность — все то, что делало его и многих других людей одного с ним класса ядром нации. В манере вести свои дела без лишнего шума и с полным пренебрежением ко всему остальному миру эти люди воплощают самую сущность британского индивидуализма — результата естественной обособленности всей страны.

Пес Балтазар обнюхал его брюки; благосклонно настроенный и несколько циничный пес — незаконное детище пуделя и фокстерьера — чуял необычное безошибочно.

После натянутых приветствий старый Джолион сел в плетеное кресло, внучата его стали по бокам и молча уставились на деда, первый раз в жизни видя перед собой такого старого человека.

Дети были совсем непохожи друг на друга, как будто и здесь сказалась разница обстоятельств, сопутствовавших их рождению. Джолли — плод греха, толстощекий, с форсайтскими глазами, с зачесанной кверху светлой, как лен, шевелюрой, с ямочкой на подбородке — смотрел приветливо и твердо; маленькая Холли — плод брачного союза — была смуглая, серьезная особа с глазами матери — серыми и задумчивыми.

Пес Балтазар обошел три маленькие клумбы, всем своим видом показывая полнейшее презрение к окружающему миру, затем уселся напротив старого Джолиона и, повиливая хвостиком, которому самой природой указано было лежать крендельком на спине, смотрел, не мигая, прямо перед собой.

Общее впечатление убожества преследовало старого Джолиона даже здесь, в саду; плетеное кресло поскрипывало под его тяжестью; клумбы жалкие; у потемневшей каменной ограды — тропинка, протоптанная кошками.

Пока дед и внуки внимательно разглядывали друг друга с тем любопытством и доверием, которые всегда возникают между очень юными и очень старыми людьми, молодой Джолион наблюдал за женой.

Ее худое продолговатое лицо с большими серыми глазами, смотревшими из-под прямых бровей, вспыхнуло. Волосы, высоко зачесанные со лба, уже начинали седеть, как и у него, и эта седина с щемящей сердце трогательностью только подчеркивала румянец, внезапно загоревшийся у нее на щеках.

Это лицо — такое, каким он никогда не знал его раньше, какое она всегда прятала от него, — было полно долго таймой враждебности, тоски и страха. В глазах, под тревожно подергивающимися бровями, была боль. Она молчала.

Разговор поддерживал один Джолли; у него было много сокровищ, и этот новый друг с длинными усами и голубыми жилками на руках, сидевший, положив ногу на ногу, как папа (Джолли давно уже старался научиться сидеть так), должен был узнать об этих сокровищах; но, будучи истым Форсайтом, хотя всего-навсего восьми лет от роду, он не обмолвился ни словом о самом дорогом его сердцу — об оловянных солдатиках в витрине игрушечного магазина, которые отец обещал подарить ему. Эта вещь казалась Джолли бесценной; лучше даже не заикаться о ней, чтобы не искушать судьбу.

Солнце, пробравшись сквозь листву, играло на эгой маленькой группе, на представителях трех поколений, спокойно сидевших под грушевым деревом, которое уже давно не приносило плодов.

Морщинистое лицо старого Джолиона покраснело пятнами, как краснеют на солнце лица стариков. Он взял Джолли за руку; мальчик вскарабкался ему на колени; и маленькая Холли, зачарованная этим зрелищем, подобралась к ним поближе; пес, Балтазар принялся ритмически почесывать себе спину.

Вдруг миссис Джолион встала и быстро пошла к дому; минутой позже муж пробормотал какое-то извинение и ушел за ней. Старый Джолион остался один с внуками.

И природа со свойственной ей тонкой иронией принялась за старого Джолиона, испытывая на его сердце свой закон циклического чередования. Та нежность к детям, та страстная любовь к росткам жизни, которая заставила его однажды бросить сына и пойти за Джун, теперь заставляла его бросить Джун и пойти за этими совсем крохотными существами. Молодость незатухающим пламенем горела в сердце старого Джолиона, и к молодости он потянулся, к пухлым ручонкам, таким шаловливым и требующим такой заботы о себе, к пухлым личикам — то важным, то веселым, к звонким голосам, громкому, захлебывающемуся смеху, к настойчивым цепким пальцам, к этим крошкам, копошившимся у его ног, ко всему, что было молодо, молодо и еще раз молодо. В его глазах появилась нежность, нежным стал голос и худые, со вздутыми венами руки, нежность затепли-

лась у него в сердце. И малыши сразу же нашли здесь убежище для своих забав, убежище, где их никто не тронет, где можно и поболтать, и посмеяться, и поиграть; и вскоре плетеное кресло и те, кто сидел в нем, стали, как солнце, излучать радость, царившую во всех трех сердцах.

Но молодой Джолион, последовавший за женой в комнаты, чувствовал себя по-иному.

Он нашел жену в кресле перед зеркалом; она сидела, закрыв лицо руками.

Плечи ее вздрагивали от рыданий. Эта способность так легко поддаваться горю всегда была непонятна молодому Джолиону. Сотни раз приходилось ему быть свидетелем таких вспышек отчаяния; он и сам не знал, как удавалось переносить их, ибо ему не верилось, что это всего лишь вспышки, что последний час их совместной жизни еще не пробил.

А ночью она обхватит его шею руками и скажет: «Зачем я тебя мучаю, Джо!» — как бывало уже сотни раз.

Он протянул руку и незаметно спрятал в карман футляр с бритвой.

«Я не могу здесь оставаться, — думал молодой Джолион, — надо идти туда!» Не говоря ни слова, он вышел из комнаты в сад.

Старый Джолион усадил Холли на колени; она завладела его часами; Джоли, весь побагровевший, пытался показать, что умеет стоять на голове. Пес Балтазар сидел вплотную у стола, не сводя глаз с печенья.

Молодой Джолион почувствовал недоброе желание нарушить эту идиллию.

Зачем отец явился сюда и так взволновал его жену?

После всех этих лет — такое потрясение! Он должен был сам догадаться; должен был предупредить их; но разве Форсайту придет когда-нибудь в голову, что его поведение может причинить неприятность другим! Молодой Джолион был несправедлив к отцу.

Он резко заговорил с детьми, послав их пить чай в комнаты. Удивленные его резкостью — отец никогда еще не разговаривал с ними таким тоном, — они пошли, взявшись за руки, и, уходя, Холли несколько раз оглянулась через плечо.

Молодой Джолион налил себе и отцу чаю.

— Жена немного нездорова сегодня,— сказал он, от- лично зная, что отцу понятна причина ее внезапного ухо- да, и почти ненавидя старика за то, что тот сидит с та- ким невозмутимым видом.

— У тебя славный домик,— сказал старый Джоли- он, пристально глядя на сына.— Ты снимаешь его?

Молодой Джолион кивнул.

— Хотя самый район мне не нравится,— сказал ста- рый Джолион,— очень убогий.

Молодой Джолион ответил:

— Да, у нас убого.

Теперь молчание прерывал только пес Балтазар, по- чесывавший себе спину.

Старый Джолион сказал просто:

— Я, должно быть, напрасно пришел, Джо, но мне так тоскливо одному!

В ответ на эти слова молодой Джолион встал и по- ложил руку отцу на плечо.

В соседнем доме кто-то бесконечно наигрывал на рас- строенном рояле «*La donna é mobile*»; на садик спусти- лась тень, солнце доходило теперь только до задней сте- ны, на которой, греясь в последних лучах, пристрои- лась кошка; ее желтые глаза сонно поглядывали вниз на Балтазара. Издалека доносился глухой шум улично- го движения; увитые плющом стены сада скрывали все, кроме неба, дома и грушевого дерева, верхушку которого все еще золотило солнце.

Некоторое время они сидели, изредка перекидываясь словами. Потом старый Джолион собрался уходить, и о его дальнейших посещениях ничего сказано не было.

Он вышел от сына с горечью на сердце. Какой жал- кий домишко! И он вспомнил о большом пустынном до- ме на Стэнхоп-Гейт, достойной резиденции для Форсай- та, с громадной бильярдной и гостиной, куда по целым неделям никто не заходил.

Эта женщина, лицо которой ему даже понравилось, какая она чувствительная! Джолиону, должно быть, очень трудно с ней ладить. А дети, что за прелесть! Как это все тяжело и нелепо!

Он пошел по направлению к Эджуэр-Род между дву- мя рядами маленьких домиков, вызывавших у него мысли

(ничем, конечно, не оправданные, но предрассудки Форсайтов священные) о всевозможных неприглядных историях.

Так называемое общество — болтливые мегеры и всякий сброд — произнесло приговор его плоти и крови! Старые бабы! Он стукнул по тротуару зонтиком, точно хотел вогнать его в самое сердце жалкого общества, осмелившегося отвергнуть его сына и сына его сына, в котором он мог бы снова жить на старости лет.

Старый Джолион гневно стукнул зонтиком; но ведь он сам вот уже пятнадцать лет следовал законам этого общества и только сегодня изменил им!

Он вспомнил Джун, ее покойную мать и всю катастрофу, и прежняя горечь поднялась в нем. Тяжелая история!

Путь до Стэнхоп-Гейт был долгий, потому что, словно назло самому себе, старый Джолион, чувствуя сильную усталость, шел всю дорогу пешком.

Вымыв внизу руки, старый Джолион пошел в ожидании обеда в столовую — единственную комнату, где он проводил время, когда Джун не бывало дома: здесь не так тоскливо одному. Вечерняя газета еще не пришла; «Таймс» он уже просмотрел, значит, делать было решительно нечего.

Окна столовой выходили на спокойную улицу, и в комнате было очень тихо. Старый Джолион не любил собак, но сейчас он обрадовался бы и такому обществу. Его взгляд, блуждающий по стенам, остановился на картине «Голландские рыбацьи лодки на закате» — гордость всей его коллекции. Сейчас она не доставила ему никакого удовольствия. Он закрыл глаза. Тоскливо одному! Жаловаться бесполезно, он прекрасно знает это, но трудно сдержаться. Жалкий старик, всегда был жалким — хватки не было в жизни! Такие мысли бродили в голове старого Джолиона.

Лакей пришел накрыть на стол и, решив, что хозяин спит, старался двигаться с величайшей осторожностью. Этот бородач носил также и усы, что вызывало большие сомнения у многих членов семьи, особенно у тех, кто, подобно Сомсу, кончил закрытую школу и с сугубой щепетильностью разбирался в таких вопросах. В самом деле, разве он похож на лакея? Игриво настроенные умы

называли его «дядин сектант». Джордж, известный остряк, прозвал его «миссионером».

Лакей с неподражаемой мягкостью бесшумно двигался между большим полированным буфетом и большим полированным столом.

Старый Джолион наблюдал за ним, притворившись спящим. Низкая душонка — он всегда считал его таким — только и думает, как бы отделаться поскорей и удрать на скачки, или к своей даме, или черт его знает куда! Тунеядец! А как разжирел! И ни малейшего чувства привязанности к своему хозяину!

Но тут против его собственной воли старым Джолионом вдруг завладела обычная склонность пофилософствовать, которая так сильно выделяла его из среды остальных Форсайтов.

В конце концов, разве лакей обязан чувствовать привязанность к хозяину? Ведь за это не платят, значит, нечего с него и требовать. В этом мире нельзя надеяться на бескорыстные чувства. В другом, может быть, все пойдет по-иному, кто знает, кто может угадать? И он снова закрыл глаза.

Упорно продолжая заниматься своим делом, лакей бесшумно доставал посуду из разных отделений буфета. Он ни разу не повернулся к старому Джолиону лицом, вероятно, стараясь скрыть неприглядность своих манипуляций, заключавшуюся в том, что они совершались в присутствии хозяина; время от времени он дышал украдкой на серебро и протирал его кусочком замши. Можно было подумать, что лакей размышляет, достаточно ли вина в графинах, которые он осторожно нес к столу, высоко держа их в руках и заботливо прикрывая сверху бородой. Кончив приготовления, он с минуту глядел на хозяина, и в его зеленоватых глазах было презрение.

В конце концов, хозяин у него старая развалина, совсем сдал старик!

Тихо, как кошка, он прошел через комнату к звонку. Было приказано: «обед в семь». Хозяин спит. Ну что ж, он его живо разбудит; успеет выспаться за ночь! Надо и о себе подумать: в половине девятого его ждут в клубе.

В ответ на звонок в столовую вошел мальчик с серебряной суповой миской. Лакей принял от него миску и поставил на стол, потом остановился в дверях и, словно

обращаясь к большому обществу, провозгласил торжественным голосом:

— Кушать подано, сэр!

Старый Джолион медленно поднялся с кресла и перешел к столу обедать.

VIII

ПРОЕКТ ДОМА ГОТОВ

Все Форсайты, как это общеизвестно, живут в раковинах, подобно тому чрезвычайно полезному моллюску, который идет в пищу как величайший деликатес; другими словами, в натуральном виде Форсайты никогда не встречаются, а если и встречаются, то никто их не узнает без этой оболочки, сотканной из различных обстоятельств их жизни, их имущества, знакомств и жен, без всего того, что на каждом шагу сопутствует им в этом мире, кишашем тысячами других Форсайтов, заправятных в такие же оболочки. Представить себе Форсайта без раковины немыслимо, в таком случае он уподобился бы роману без интриги, что, как известно, явление противоестественное.

На взгляд Форсайтов, Босини жил без такой оболочки; по-видимому, он принадлежал к тому редкостному и незадачливому типу мужчин, которые шествуют по своему пути в окружении обстоятельств чужой жизни, чужого имущества, чужих знакомых и чужих жен.

Его квартира в верхнем этаже дома на Слоун-стрит, с дощечкой на дверях, на которой было написано «Архитектор Филип Бейнз Босини», не имела ничего общего с жилищами Форсайтов. Гостиной у Босини не было, а такие необходимые в обиходе вещи, как диван, кресло, трубки, винный погребец, книги и домашние туфли, хранились в большой нише, отгороженной от рабочей комнаты ширмой. Мебель в деловой половине его квартиры была самая обычная: бюро с множеством ящичков, круглый дубовый стол, складной умывальник, несколько стульев и еще один стол очень больших размеров, заваленный рисунками и чертежами. Джун два раза пила здесь чай под охраной тетки Босини.

Предполагалось, что позади рабочей комнаты имеется спальня.

Насколько семье Форсайтов удалось выяснить, доходы Босини сводились к сорока фунтам в год за консультацию в двух строительных конторах, случайным приработкам и — что заслуживало большего внимания — ежегодной ренте в сто пятьдесят фунтов, предусмотренной в завещании его отца.

В сведениях, которые удалось получить об отце, утешительного было мало. Деревенский врач, родом из Корнуэлса, практиковал в Линкольншире, байронические замашки, эксцентричная внешность — весьма видная фигура в своих местах. Бейнз — контора «Бейнз и Байлдой» — дядя Босини с материнской стороны, Форсайт по духу, хоть и не по имени, мало что мог рассказать о своем девере такого, что бы заслуживало внимания.

— Чудак человек! — говорил Бейнз. — О своих трех старших сыновьях отзывался так: «Хорошие ребята, только нудные». Они сейчас в Индии и прекрасно устроены! Филип был его любимцем. Станные вещи приходилось от него выслушивать; как-то раз заявил мне: «Друг мой, никогда не делитесь с женой своими мыслями!» Но я его совета не послушался; слуга покорный! Чудак был! Постоянно вразумлял Фила: «Жизнь можно прожить как угодно, дружок, но умереть ты обязан, как джентльмен!» — и сам лежал в гробу в парадном сюртуке и шелковом галстуке с бриллиантовой булавкой. Большой был оригинал!

О самом Босини Бейнз отзывался тепло, но с некоторым состраданием:

— Байронизм он унаследовал от отца. Да вот посудите сами: отказался от работы у меня в конторе, где столько возможностей; бродил шесть месяцев с мешком за плечами, а зачем? Изучал иностранную архитектуру; иностранную, видите ли! На что он рассчитывал? И вот вам: талантливый молодой человек, а не может заработать и сотни в год! Лучше этой помолвки для него ничего не придумаешь, это его подтянет: ведь он принадлежит к тому сорту людей, которые спят днем, а работают ночью, и только потому, что не приучены к порядку; но ничего дурного в нем нет — реши-

тельно ничего дурного. Старик Форсайт очень богатый человек!

Мистер Бейнз был чрезвычайно любезен с Джун, которая в те дни часто бывала у него на Лаундес-сквер.

— Постройка мистера Сомса — какой у него блестящий, деловой ум! — так вот, эта постройка — именно то, что Филу нужно, — говорил он Джун. — Теперь уж вам не придется так часто видаться с ним, милая барышня. Уважительные причины, весьма уважительные. Молодому человеку надо пробивать себе дорогу в жизни. В его годы я работал не покладая рук. Бывало, жена говорит мне: «Бобби, ты совсем заработался, подумай о своем здоровье», — но я себя не жалел!

Джун жаловалась, что жених не может урвать время, чтобы заглянуть на Стэнхоп-Гейт.

Когда Босини впервые после долгого перерыва пришел к Джун, они не побыли вдвоем и четверти часа, как приехала миссис Септимус Смолл — великая мастерица на такие случайные совпадения. Босини сейчас же встал и, согласно предварительному уговору, перешел в маленький кабинет, чтобы там переждать миссис Смолл.

— Ах, милочка, — начала тетя Джули, — он так похудел! Мне часто приходилось замечать это за женихами; ты последи за ним. Есть такой мясной экстракт Барлоу; дяде Суизину он прекрасно помог.

Джун, с сердито подергивающимся личиком, вытянулась во весь свой крохотный рост перед камином — она рассматривала несвоевременный приезд тетки как личное оскорбление — и ответила презрительно:

— Это потому, что он много работает; люди, которые способны на что-нибудь дельное, никогда не бывают толстыми!

Тетя Джули надула губы; сама она всегда отличалась худобой, и единственным удовольствием, которое ей удавалось извлекать из этого обстоятельства, была возможность страстно мечтать о полноте.

— По-моему, — грустно сказала она, — ты не должна позволять, чтобы его звали «пиратом», это может показаться странным, ведь он будет строить дом для Сомса. Я надеюсь, что он отнесется к своей работе со вниманием; это так важно для него, ведь у Сомса прекрасный вкус!





— Вкус!—воскликнула Джун, вспыхнув.—Нет у него никакого вкуса — ни у него, ни у кого другого в нашей семье!

Миссис Смолл остолбенела.

— У дяди Суизина,— сказала она,— всегда был прекрасный вкус! И у самого Сомса очаровательный домик; ты же не станешь отрицать это!

— Гм! — вырвалось у Джун.— Только потому, что там Ирэн!

Тетя Джули попыталась сказать что-нибудь приятное:

— А Ирэн довольна, что они переезжают за город?

Джун смотрела так пристально, как будто из глаз ее вдруг глянула совесть; потом это прошло, и взгляд Джун стал еще более пристальным, словно ей удалось смутить свою совесть. Она ответила высокомерно:

— Конечно довольна, а почему бы нет?

Миссис Смолл забеспокоилась.

— Не знаю,— сказала она,— может быть, Ирэн не захочется покидать своих друзей. Дядя Джемс говорит, что у нее мало интереса к жизни. Мы считаем, то есть Тимоти считает, что ей надо побольше выезжать. Ты, наверное, будешь скучать без нее!

Джун завела руки за голову.

— Мне бы очень хотелось,— крикнула она,— чтобы дядя Тимоти поменьше говорил о том, что его совершенно не касается!

Тетя Джули вытянулась во весь рост.

— Он никогда не говорит о том, что его не касается,— ответила она.

Джун сразу же почувствовала угрызение совести, подбежала к тетке и расцеловала ее.

— Простите меня, тетечка; только оставьте вы Ирэн в покое.

Тетя Джули не смогла больше придумать ничего такого, что можно было бы сказать на эту тему, и умолкла; собравшись уходить, она застегнула на груди черную шелковую пелеринку и взяла свой зеленый ридикюль.

— А как себя чувствует дедушка? — спросила она уже в холле.— Ему, должно быть, тоскливо одному, ты ведь теперь все время с мистером Босини.— Она нагну-

лась к внучке, с жадностью поцеловала ее и удалилась мелкими, семенящими шажками.

На глазах у Джун выступили слезы: она убежала в маленький кабинет, где Босини сидел у стола, рисуя на конверте каких-то птиц, и бросилась в кресло со словами:

— Ох, Фил, как это тяжело!

Сердце ее горело тем же огнем, что и копна золоти-сто-рыжих волос.

В следующее воскресенье утром, когда Сомс брился, ему доложили, что мистер Босини дожидается внизу и хочет его видеть. Приотворив дверь в комнату жены, он сказал:

— Там пришел Босини. Займи его, пока я бреюсь. Я сейчас приду. Он, должно быть, хочет поговорить о проекте.

Ирэн молча взглянула на него, закончила свой туалет и сошла вниз.

Сомс все еще не знал, как она относится к постройке дома. Возражений с ее стороны он не слышал, а что касается Босини, то к нему она, кажется, относилась дружелюбно.

Из окна Сомсу было видно, что Ирэн и Босини разговаривают внизу в маленьком дворике.

Он заторопился и в двух местах порезал подбородок. Потом, услышав их смех, подумал: «Ну, им, кажется, не скучно вдвоем!»

Как он и предполагал, Босини зашел за ним, чтобы показать планы.

Сомс взял шляпу, и они вышли на улицу.

Планы были разложены в комнате архитектора на дубовом столе; и Сомс, бледный, внимательный, внешне совершенно невозмутимый, нагнувшись над ними, долгое время не говорил ни слова.

Наконец он сказал недоуменно:

— Станный дом!

Двухэтажное здание, обведенное по второму этажу галереей, охватывало двор с четырех сторон. Двор этот был покрыт стеклянной крышей на восьми колоннах.

Действительно, на взгляд Форсайта, дом был странный.

— Много места пропадает зря,— продолжал Сомс.

Босини заходил по комнате, и выражение его лица не понравилось Сомсу.

— Проект делался с тем расчетом,— сказал архитектор,—чтобы хозяину было где повернуться в собственном доме, как и подобает джентльмену.

Сомс растопырил большой и указательный пальцы, словно измеряя степень уважения, которое он заслужит, выстроив такой дом, и ответил:

— Да, да! Я понимаю.

То своеобразное выражение, которым отличалось лицо Босини, когда он загорался чем-нибудь, появилось и сейчас.

— Я хотел выстроить вам дом, который обладал бы... ну, чувством собственного достоинства, что ли! Если вам не нравится, скажите прямо. Обычно мало кто думает об этом — кого интересует чувство собственного достоинства в доме, если можно втиснуть в план лишнюю уборную? — Он ткнул пальцем в левую часть чертежа.— Здесь есть где размахнуться. Вот тут помещение для ваших картин, отделяется от двора портьерами; отдерните их, и у вас будет пространство пятьдесят один на двадцать три и шесть десятых. Вот здесь, в середине, печь — выходит одной стороной во двор, другой — в картинную галерею; эта стена сплошь из стекла, выходит на юго-восток, а со двора будет литься северный свет. Часть картин можно развесить в верхней галерее или в других комнатах. В архитектуре,— продолжал он, глядя на собеседника, но словно не видя его, что коробило Сомса,— в архитектуре, так же как и в жизни, без правильности линий не может быть чувства собственного достоинства. Вам скажут, что это старомодно. Странная вещь! Мы никогда не заботимся о том, чтобы сделать наши жилища воплощением основных принципов жизни; мы загромождаем дома обстановкой, всякой мишурой, устраиваем в комнатах какие-то ниши — что угодно, лишь бы развлекало глаз. Глаз должен отдыхать; сумеете добиться эффекта двумя-тремя смелыми линиями. Все дело в правильности линий, без нее вам не добиться чувства собственного достоинства.

Сомс с бессознательной иронией посмотрел на его галстук, лежавший отнюдь не перпендикулярно; Босини был к тому же небрит, и костюм его не отличался иде-

альным порядком. Архитектура, по-видимому, поглотила все стремления Босини к правильности линий.

— Не будет ли это смахивать на казармы? — спросил Сомс.

Ответ он получил не сразу.

— Теперь я понимаю, — сказал Босини, — вам нужен Литлмастер. У вас будет хорошенький уютный домик, прислугу загоните на чердак, а входную дверь опустите на несколько ступенек, чтобы было откуда подниматься. Ради бога, обратитесь к Литлмастеру, он вас очарует, я-то его давно знаю!

Сомс заволновался. В действительности план ему очень нравился, и свое удовлетворение он прятал просто инстинктивно. На комплименты Сомс всегда был скуп. Люди, щедрые на похвалу, вызывали у него чувство презрения.

Сейчас он очутился в затруднительном положении человека, который должен сказать комплимент или пойти на риск и потерять хорошую вещь. Босини способен на все — чего доброго, разорвет планы и откажется от работы. Взрослый ребенок!

Однако эта ребячливость, на которую Сомс смотрел с высоты собственного величия, возымела на него странное, почти магическое действие; ведь сам он был совершенно чужд таким настроениям.

— Что ж, — выдавил он из себя наконец, — во всяком случае, это... это оригинально!

Сомс питал такое недоверие и даже тайную ненависть к слову «оригинально», что сейчас, как ему показалось, это замечание никак не выдало его истинных чувств.

Босини, по-видимому, остался доволен. Как раз то, что надо подобному субъекту. Успех приободрил Сомса.

— Места здесь много, — сказал он.

— Простор, воздух, свет, — донеслись до него невнятные слова Босини. — Литлмастер строит не для джентльменов, он работает на фабрикантов.

Сомс сделал протестующий жест; его причислили к джентльменам — теперь уж он ни за какие деньги не согласится, чтобы его поставили на одну доску с фабрикантами. Но врожденная недоверчивость взяла верх.

Кому нужна эта болтовня о правильности линий и достоинстве? Как бы не замерзнуть в этом доме.

— Ирэн не выносит холода,— сказал он.

— А! — насмешливо ответил Босини.— Ваша жена? Не выносит холода? Я об этом позабочусь; ей не придется мерзнуть. Смотрите! — Он показал четыре значка на стенах дворика, расположенные на равном расстоянии друг от друга.— Вот здесь я поставлю радиаторы за алюминиевой решеткой; для решетки можно заказать прекрасный рисунок.

Сомс недоверчиво посмотрел на значки.

— Все это прекрасно,— сказал он,— но во что это мне обойдется?

Архитектор вынул из кармана листок бумаги.

— Дом, конечно, следовало бы построить целиком из камня, но вы вряд ли на это пойдете, и я примирюсь на каменной облицовке. Крыша должна быть из меди, но я ставлю зеленую черепицу. Все вместе, включая металлическую отделку, обойдется вам в восемь тысяч пятисот фунтов.

— Восемь тысяч пятисот? — сказал Сомс.— Как же так, ведь моей предельной цифрой было восемь тысяч!

— Дешевле ничего не выйдет,— холодно ответил Босини.— Выбирайте.

Вероятно, с Сомсом только так и можно было вести дело. Он был ошарашен. Рассудок подсказывал бросить эту затею. Но проект был хорош, он отлично понимал это,— в нем чувствовалась законченность и благородство замысла; и помещение для прислуги прекрасное. Такой дом поднимет его в глазах общества — в нем столько своеобразия, а вместе с тем и комфорт не упущен из виду.

Сомс продолжал внимательно изучать проект, пока Босини брился и переодевался у себя в спальне.

Затем они молча пошли на Монпелье-сквер, и Сомс всю дорогу уголком глаза поглядывал на Босини. «Пират» очень недурен собой,— думал Сомс,— если приоденется как следует».

Ирэн поливала цветы, когда они вошли в дом.

Она предложила послать за Джун.

— Нет, нет,— сказал Сомс,— нам еще надо поговорить о делах!

За завтраком он был почти радушен и усиленно угощал Босини. Ему нравилось, что архитектор так оживлен. Оставив его после завтрака с Ирэн, Сомс ушел к своим картинам, с которыми он всегда проводил воскресные дни. К чаю Сомс опять сошел в гостиную и увидел, что Ирэн и Босини все еще говорят, «точно заведенные», как он мысленно выразился.

Остановившись в дверях, не замеченный ими, он поздравил себя с благоприятным оборотом дела. Хорошо, что Ирэн ладит с Босини; кажется, она начинает увлекаться идеей постройки дома.

Спокойно поразмыслив среди картин, Сомс решил пойти на лишние пятьсот фунтов, если понадобится; впрочем, он надеялся, что после приятно проведенного дня Босини будет сговорчивее. Ведь, собственно говоря, все зависит исключительно от него; он может найти тысячи способов удешевить стройку без всякого ущерба для общего плана.

Сомс дождался подходящего момента, когда Ирэн передавала архитектору первую чашку чая. Солнечный луч, пробравшись сквозь кружево занавесок, коснулся ее щек своим теплом, зажег золотистые волосы и мягкие глаза. Быть может, тот же луч зарумянил лицо Босини, зажег и его глаза тревогой.

Сомс, не переносивший солнца, встал и задернул занавески. Затем взял чашку из рук жены и сказал более холодно, чем намеревался:

— Может быть, вы все-таки устроите так, чтобы смета не превышала восьми тысяч? Ведь можно сократить за счет всяких мелочей.

Босини одним глотком выпил чай, поставил чашку и ответил:

— Нельзя!

Сомс понял, что его слова задела архитектора за живое.

— Хорошо,— сказал он с мрачной покорностью,— придется предоставить вам свободу.

Через несколько минут Босини встал, и Сомс пошел проводить его. Архитектор был в состоянии ничем необъяснимого радостного волнения. Посмотрев вслед размашисто шагавшему Босини, Сомс, насупившись, вернулся в гостиную, где Ирэн убирала ноты с рояля

и, повинуюсь непреодолимому чувству любопытства, спросил:

— Ну, что ты думаешь об этом «пирате»?

Он смотрел себе под ноги, дожидаясь ответа, и ждать ему пришлось довольно долго.

— Не знаю,— сказала наконец Ирэн.

— По-твоему, он красивый?

Ирэн улыбнулась. И в ее улыбке Сомс почувствовал насмешку.

— Да,— ответила она,— очень!

IX

СМЕРТЬ ТЕТИ ЭНН

Наступил день в конце сентября, когда тетя Энн уже не смогла принять из рук Смизер знаки своего личного достоинства. Бросив взгляд на ее старческое лицо, спешно вызванный доктор возвестил, что мисс Форсайт скончалась во время сна.

Тети Джули и Эстер были сражены этим ударом. Они не мыслили себе такого конца. Да и вообще сомнительно, постигали ли они, что конец неизбежен. В глубине души сестрам казалось, что Энн поступила безрассудно, уйдя от них без единого слова, без малейшей борьбы. Это было так непохоже на нее.

Возможно, что более всего их поразила самая мысль о том, что и Форсайту суждено выпустить жизнь из своих цепких рук. Если суждено одной, значит и всем!

Прошел час, прежде чем они решились сообщить горестную весть Тимоти. Если бы только можно было скрыть это от него! Если бы только его можно было подготовить постепенно!

И долго еще сестры перешептывались, стоя у дверей его комнаты. А когда миссия их была выполнена, они снова пошептались между собой.

Джули и Эстер опасались, что в дальнейшем Тимоти почувствует горе более. Но пока что он принял известие лучше, чем можно было ожидать. Он, конечно, останется в постели. Они разошлись, тихо плача.

Тетя Джули сидела у себя в комнате, совершенно потрясенная таким ударом. Кожа на ее покрасневшем от слез лице собралась в мелкие припухлые складочки. Она не могла представить себе дальнейшую жизнь без Энн, которая прожила с ней семьдесят три года, если не считать короткого замужества Джули, казавшегося ей теперь чем-то совершенно нереальным. Время от времени она подходила к комоду и доставала из надушенного лавандой саше чистый носовой платок. Ее теплое сердце не хотело смириться с мыслью, что Энн лежит у себя в комнате холодная, застывшая.

Тетя Эстер — молчаливица, воплощение кротости, тихая заводь, где спокойно отстаивалась энергия, бушевавшая в других членах семьи, — сидела в гостиной, окна которой были задернуты шторами; она тоже всплакнула сначала, но спокойные слезы не оставили следов на ее лице. Даже в горе она осталась верна своему основному принципу, не позволявшему ей зря расходовать энергию. Хрупкая, неподвижная, в черном шелковом платье, она сидела, вперив взгляд в каминную решетку, сложив на коленях руки. Вряд ли ее оставят в покое, впереди столько хлопот. Как будто от этого станет легче! Энн уже не вернешь! Зачем же беспокоить себя понапрасну?

К пяти часам приехали братья: Джолион, Джемс и Суизин. Николас был в Ярмуте, Роджер лежал с подагрой. Миссис Хэймен приезжала днем одна и, выйдя из комнаты Энн, сейчас же уехала, попросив передать Тимоти — ему так и не передали, — что следовало бы известить ее пораньше. В сущности говоря, остальным тоже казалось, что их не потрудились известить вовремя и что из-за этой оплошности они упустили что-то. Джемс заметил:

— Так я и знал: я же говорил, что она не протянет до осени.

Тетя Эстер промолчала; на дворе был почти октябрь месяц, но что пользы спорить: есть такие люди, на которых ничем не угодишь.

Она послала сказать сестре, что братья приехали. Миссис Смолл сейчас же вышла к ним. Перед тем как сойти вниз, она вымыла лицо, все еще опухшее, и, хотя взгляд ее, брошенный на светло-синие брюки Суизина,

был суров — Суизин приехал прямо из клуба, как только узнал о смерти Энн, — все же Джули казалась бодрее обычного: так силен в ней был инстинкт, всегда заставлявший ее делать не то, что нужно.

Немного погодя все пятеро пошли взглянуть на умершую. Под белоснежной простыней было постелено стеганое одеяло, потому что теперь, больше чем когда-либо, тетя Энн нуждалась в тепле; подушки были убраны, и ее голова покоилась на одном уровне с туловищем, таким же прямым, каким оно было всю ее долгую жизнь; чепец, закрывавший ей лоб, спускался и на уши; и лицо Энн, видневшееся между краями чепца и простыней — почти такое же белое, — смотрело закрытыми глазами на братьев и сестер. Невыразимый покой делал это лицо еще более властным, чем при жизни; желтоватая, чуть тронутая морщинами кожа обтягивала квадратные челюсти и подбородок, скулы, лоб с запавшими висками, заострившийся нос. Лицо Энн казалось теперь твердой непобедимого духа, уступившего смерти и тщившегося даже в слепоте своей вновь обрести непобедимость, вновь стать на сторожевой пост, только что оставленный им.

Суизин взглянул в лицо сестры и сейчас же вышел из комнаты; это зрелище, как он после рассказывал, странно взволновало его. Он спустился по лестнице, сотрясая весь дом, схватил шляпу и сел в кабриолет, даже не сказав кучеру, куда ехать. Его отвезли домой, где он весь вечер и просидел в кресле не шелохнувшись.

За обедом он прикоснулся только к куропатке, запив ее бутылкой отменного шампанского.

Старый Джолион стал в ногах кровати, сложив руки на груди. Он единственный из всех находившихся в комнате помнил смерть матери, о ней он и думал, глядя на Энн. Энн была совсем дряхлая, и смерть наконец пришла за ней — смерть приходит за всеми! Лицо Джолиона было неподвижно, взгляд его блуждал где-то очень далеко.

Тетя Эстер стала рядом с ним. Она уже не плакала сейчас, слез больше не было — ее организм отказывался расточать столько сил. Эстер сжимала руки и смотрела не на Энн, а по сторонам, ища способа уйти от необходимости осознать смерть сестры.

Из всех присутствующих здесь братьев и сестер один Джемс проявил внешние признаки горя. Слезы сбегали по морщинам его худого лица. К кому он пойдет теперь со своими бедами? От Джули толку мало, Эстер уж совсем никуда не годится! Смерть Энн опечалила его больше, чем он сам ожидал. От такого удара не оправившись и в несколько недель!

Вскоре тетя Эстер вышла, а тетя Джули принялась ходить по комнате, «приводя все в порядок», и дважды налетела на мебель. Старый Джолион очнулся от своих дум о давнем, давнем прошлом, строго взглянул на нее и вышел. Джемс один остался у постели; бросив по сторонам беглый взгляд и убедившись, что никто за ним не наблюдает, он согнул свое длинное туловище, запечатлел поцелуй на мертвом лбу и тоже торопливо вышел из комнаты. Встретив в холле Смизер, он расспросил ее о похоронах и, убедившись, что ей ничего не известно, сказал с горечью: если никто об этом не позаботится вовремя, все будет сделано кое-как. Пусть она пошлет за мистером Сомсом — он знает, как это делается; сам хозяин, должно быть, очень расстроен — за ним нужен уход; что касается хозяек, с них нечего и спрашивать — они в таких делах ничего не смыслят! Еще сами расхвораются чего доброго. Пусть она пошлет за доктором; никогда не надо запускать болезни. Вряд ли у Энн был хороший доктор; следовало обратиться к Блэнку — она бы и сейчас была жива. Если Смизер понадобится что-нибудь, пусть сейчас же посылает на Парк-Лейн. Его карета, конечно, в их полном распоряжении в день похорон. Вряд ли у Смизер найдется стакан красного вина и кусочек бисквита, но он не завтракал сегодня!

Дни перед похоронами прошли спокойно. Давно уже было известно, что тетя Энн завещала свое небольшое состояние Тимоти. Следовательно, поводов для волнения не могло и быть. Сомс — единственный душеприказчик тети Энн — взял на себя заботы о похоронах и в соответствующий день разослал мужской половине семьи следующее извещение:

«Просим Вас почтить своим присутствием погребение мисс Энн Форсайт, имеющее быть 1 октября с. г.

на Хайгетском кладбище. Съезд на Бэйсуотер-Род к 10.45. Просьба венков не возлагать. R. S. V. P.¹».

Утро похорон выдалось холодное; лондонское небо серело высоко над городом. В половине одиннадцатого подъехала первая карета — Джемса. В ней сидел сам Джемс и его зять Дарти, коренастый мужчина с широкой грудью, затянутой в плотно облегающий сюртук, с темными холеными усами на бледном обрюзгшем лице и явным намеком на бакенбарды, которые, ускользая от самых тщательных попыток бриться, кажутся печатью чего-то неискоренимого в натуре их обладателя — печатью, особенно ярко выраженной в людях, занимающихся биржевыми спекуляциями.

Приезжающих в качестве душеприказчика встречал Сомс, так как Тимоти все еще лежал в постели — он встанет только после похорон, а тетки Джули и Эстер сойдут вниз, когда все будет кончено и для тех, кто пожелает заехать на обратном пути, будет подан завтрак. Вслед за Джемсом, все еще прихрамывая после приступа подагры, появился Роджер в окружении трех сыновей — молодого Роджера, Юстаса и Томаса. Четвертый сын, Джордж, подъехал в кабриолете почти следом за ними и, задержавшись в холле, спросил Сомса, хорошо ли оплачивается его новая профессия гробовщика.

Они не любили друг друга.

Затем в полном молчании появились двое Хэйменов — Джайлс и Джесс, прекрасно одетые, с аккуратно заглаженными складками на парадных брюках. За ними старый Джолион — один. Потом Николас, румяный, старательно прячущий веселость, прорывающуюся у него в каждом движении головы и тела. За ним кротко и послушно следовал один из сыновей. Суизин Форсайт и Босини подъехали одновременно и, столкнувшись у входа, все извинялись и старались пропустить один другого вперед, но, когда дверь отворилась, оба протиснулись в нее вместе; в холле они возобновили свои извинения, затем Суизин поправил галстук, съехавший несколько набок во время суетни в дверях, и медленно поднялся по лестнице. Прибыл третий Хэймен; двое женатых сы-

¹ Répondez s'il vous plaît — просьба ответить (франц.).

новой Николаса вместе с Туитименом, Спендером и Уорри, мужьями форсайтских и хэйменских дочерей. Общество было в сборе — двадцать один человек. Мужская половина семьи Форсайтов была представлена полностью, если не считать отсутствующих Тимоти и молодого Джолиона.

Войдя в красную с зеленым гостиную, на фоне которой таким разительным контрастом выступали их необычные костюмы, каждый поторопился поскорее усесться на стул, чтобы как-нибудь скрыть бросающиеся в глаза черные брюки. В черных брюках и перчатках, казалось, была какая-то непристойность, какое-то показное преувеличение чувства, и многие из Форсайтов бросали возмущенные, но втайне завистливые взгляды на «пирата», сидевшего без перчаток и в серых брюках. Вскоре в гостиной раздалось приглушенное жужжание разговора; об усопшей не было упомянуто ни словом, но все осведомлялись друг у друга о здоровье, отдавая этим дань событию, ради которого они собрались здесь.

Немного погодя Джемс сказал:

— Ну что ж, пора, я думаю.

Все спустились по лестнице и в строгой последовательности, как было указано заранее, парами разместились по каретам.

Катафалк медленно двинулся; кареты последовали за ним. В первой ехали старый Джолион и Николас; во второй — близнецы Суизин и Джемс; в третьей — Роджер и молодой Роджер; Сомс, молодой Николас, Джордж и Босини ехали в четвертой. В остальных каретах (всех их было восемь) по трое и четверо разместились другие члены семьи; за ними двигался экипаж доктора, затем, на приличном расстоянии, — кэбы с клерками и прислугой; и в самом хвосте — пустая карета, которая участвовала в похоронной процессии только для того, чтобы общее число экипажей равнялось тринадцати.

По Бэйсуотер-Род процессия двигалась шагом, но, свернув на менее людные улицы, перешла на рысцу и так и продолжала трусить до самого кладбища, замедляя шаг только в фешенебельных кварталах. В первой карете старый Джолион и Николас беседовали о своих завещаниях. Во второй — близнецы после единственной

попытки завязать разговор замолчали надолго: оба были глуховаты и не пожелали напрягать слух, чтобы слышать друг друга. Джемс только раз прервал молчание:

— Надо присмотреть себе место на кладбище. Ты уже сделал какие-нибудь распоряжения на этот счет?

И Суизин, в ужасе уставившись на него, ответил:

— Не говори мне о таких вещах!

В четвертой карете разговаривали, время от времени выглядывая из окна, чтобы определить, долго ли еще осталось ехать. Джордж заявил: «Старушке уже давно пора было отправиться на тот свет». Он считал, что переваливать за седьмой десяток не стоит. Молодой Николас кротко заметил, что это правило как будто не распространяется на Форсайтов. Джордж сказал, что покончит самоубийством в шестьдесят лет. Молодой Николас улыбнулся, поглаживая свой длинный подбородок, и позволил себе усомниться в том, что его отцу понравится подобная теория: он нажил большое состояние уже после шестидесяти лет. Хорошо, сказал Джордж, семьдесят — это предел: самое время умереть и оставить деньги детям. Тут в разговор вмешался Сомс, который до сих пор молчал; он не забыл еще «гробовщика» и теперь, еле приподняв веки, заявил, что так могут говорить люди, у которых, собственно, денег никогда и не водилось. Сам он намерен прожить как можно дольше. Это был намек на Джорджа, денежные дела которого находились в очень скверном состоянии. Босини пробормотал рассеянно: «Браво, браво!» Джордж зевнул, и разговор прекратился.

Катафалк подъехал к кладбищу; гроб понесли к часовне, и провожающие парами последовали за ним. Эта стража, связанная с умершей узами родства, представляла собой внушительное, примечательное зрелище на фоне громадного Лондона с его ошеломляющим многообразием жизни, его бесчисленными делами, радостями, обязанностями, с его ужасающей черствостью и эгоизмом.

Форсайты собрались, чтобы восторжествовать над всем этим, показать свою цепкость и свою сплоченность, блестящим образом продемонстрировать закон собственности, в который уходило корнями их семейное древо,

широко раскинувшее свои ветви,— закон, питающий соками это древо, достигшее зрелости в положенный час. Дух старой женщины, покоившейся вечным сном, взывал к ним. Это был ее последний призыв к сплоченности, в которой коренилась их мощь; умерев в тот миг, когда древо было еще в полном расцвете, она в последний раз восторжествовала над жизнью.

Жизнь уберегла ее. Энн не суждено было видеть, как ветви этого древа поникнут под собственной тяжестью. Она не могла знать, что происходит в сердцах людей, провожающих ее. Тот же самый закон, повинаясь которому из прямой тоненькой девушки она стала женщиной, взрослой и сильной, из взрослой женщины — старухой, костлявой, дряхлой, похожей на колдунью,— старухой, чья индивидуальность с каждым годом проявлялась все резче и резче, как будто мало-помалу с нее спадал тот лоск, который наводит на нас общение с внешним миром,— тот же самый закон действовал всегда, он действовал и сейчас в семье, за ростом которой она следила, как мать.

Она знала ее молодой, набирающей силы, она знала ее окрепшей, сильной, и прежде чем глазам Энн суждено было увидеть иное, она умерла. Энн напрягла бы всю свою волю, и, кто знает, может быть, ее старческим пальцам и трепетным поцелуям удалось бы продлить молодость и поддержать мощь семьи, хотя бы ненадолго. Увы, даже тетя Энн не могла бороться с Природой.

«На пороге гибели стоит гордость!» И согласно этому изречению — такова злая ирония Природы — семья Форсайтов выстроилась на последний торжественный парад, предшествующий ее гибели. Их лица — тюремщики мыслей — большей частью были бесстрастно обращены вниз; но время от времени кто-нибудь поднимал голову и хмурил брови, будто следя за каким-то тревожным видением, промелькнувшим на стенах часовни, будто прислушиваясь к звукам, таившим какую-то угрозу. И слова молитвы, произносимые невнятным голосами, в которых слышалась одна и та же нотка, придававшая всем им неуловимое семейное сходство, звучали странно, словно кто-то один торопливо бормотал их, повторяя каждое слово по нескольку раз подряд.

Служба в часовне кончилась, и провожающие сно-

ва выстроились в ряды, охраняя путь умершей к могиле. Склеп был открыт, и вокруг него стояли люди, одетые во все черное.

Отсюда, с этого священного поля, где нашли последний покой многие сыны и дочери великого класса буржуазии, глаза Форсайтов устремились вдаль, поверх стада могил. Там, растянувшись на необозримое пространство, под сумрачным небом лежал Лондон, скорбящий о потере своей дочери, скорбящий вместе с этими людьми, столь дорогими ее сердцу, о потере той, кто была для них матерью и защитницей. Тысячи шпилей и домов, смутно видневшихся сквозь серую мглу, затянувшую паутиной эту твердыню собственности, благоговейно склонялись перед могилой, где лежала старейшая представительница рода Форсайтов.

Несколько слов, горстка земли; гроб поставлен на место — и тетя Энн обрела последнее успокоение.

Склонив седые головы, вокруг склепа стали пятеро братьев, пятеро опекунов усопшей; они позаботятся, чтобы Энн было хорошо там, куда она ушла. Ее небольшое состояние пусть останется здесь с ними, но все то, что должно сделать, будет сделано.

Затем они отошли один за другим и, надев цилиндры, повернулись к новой надписи на мраморной доске семейного склепа:

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЭНН ФОРСАЙТ,

*дочери погребенных здесь Джолиона и Энн Форсайт,
усопшей сентября 27-го 1886 года в возрасте
восемидесяти семи лет и четырех дней.*

Скоро, может быть, понадобится еще одна надпись. Странной и мучительной казалась эта мысль, потому что они как-то не задумывались над тем, что Форсайты могут умирать. И всем им захотелось оставить позади эту боль, этот обряд, напоминавший о том, о чем невыносимо думать, — поскорее оставить все позади, вернуться к своим делам и забыть.

К тому же было прохладно; ветер, проносившийся над могилами, словно медленно разъединяющая Форсайтов сила, дохнул в лицо холодом; они разбились на группы и стали торопливо рассаживаться по каретам, ожидавшим у выхода.

Суизин сказал, что поедет завтракать к Тимоти, и предложил подвезти кого-нибудь. Привилегия ехать с Суизином в его маленьком экипаже показалась весьма сомнительной; никто не воспользовался этим предложением, и он уехал один. Джемс и Роджер двинулись следом — они тоже заедут позавтракать. Постепенно разъезжались и остальные; старый Джолион захватил троих племянников: он чувствовал потребность видеть перед собой молодые лица.

Сомс, которому нужно было сделать кое-какие распоряжения в кладбищенской конторе, отправился вместе с Босини. Ему хотелось поговорить с ним, и, покончив дела на кладбище, они пошли пешком на Хэмстед, позавтракали в «Спэньярдс-Инн» и занялись обсуждением деталей постройки дома; затем оба сели в трамвай и доехали до Мраморной арки, где Босини распрощался и пошел на Стэнхоп-Гейт навестить Джун.

Сомс вернулся домой в прекрасном настроении и за обедом сообщил Ирэн о своем разговоре с Босини, который, оказывается, на самом деле толковый человек; кроме того, они отлично прогулялись, а это хорошо действует на печень — Сомс мало двигался за последнее время, — и вообще день прошел прекрасно. Если бы не смерть тети Энн, он повез бы Ирэн в театр; но ничего не поделаешь, придется провести вечер дома.

— «Пират» несколько раз спрашивал о тебе, — вдруг сказал Сомс. И, повинувшись какому-то безотчетному желанию утвердить свое право собственности, он встал с кресла и запечатлел поцелуй на плече жены.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

ДОМ СТРОИТСЯ

Зима выдалась бесснежная. В делах особой спешки не было, и, поразмыслив, прежде чем прийти к окончательному решению, Сомс понял, что сейчас самое подходящее время для стройки. Таким образом, к концу апреля остов дома в Робин-Хилле был готов.

Теперь, когда деньги его принимали видимую форму, Сомс ездил в Робин-Хилл один, два, а то и три раза в неделю и часами бродил по участку, стараясь не запачкаться, безмолвно проходил сквозь рамки будущих дверей, кружил на дворе у колонн.

Возле колонн Сомс застаивался по несколько минут, словно стараясь прощупать взглядом их добротность.

На тридцатое апреля у него с Босини была назначена проверка счетов, и за пять минут до условленного времени Сомс вошел в палатку, которую архитектор разбил для себя возле старого дуба.

Счета были уже разложены на складном столе, и Сомс, молча кивнув, углубился в них. Прошло довольно много времени, прежде чем он поднял голову.

— Ничего не понимаю, — сказал он наконец. — Тут же перерасходовано чуть ли не семьсот фунтов!

Бросив взгляд на лицо Босини, он быстро добавил:

— Надо быть потверже с этим народом, сдерживайте их. Если не присматривать, они будут драть без вся-

кого стеснения. Сбрасывайте на круг процентов десять. Я не буду возражать, если вы перерасходуете какую-нибудь сотню фунтов!

Босини покачал головой.

— Я сократил все, что мог, до последнего фартинга!

Сомс раздраженно толкнул стол, так что все счета разлетелись по земле.

— Ну, знаете,— взволнованно сказал он,— натворили вы дел!

— Я вам сто раз говорил,— резко ответил архитектор,— что расходы сверх сметы неизбежны. Я же предупреждал вас об этом!

— Знаю,— буркнул Сомс,— и я бы не стал спорить из-за каких-нибудь десяти фунтов. Но кто мог предположить, что ваше «сверх сметы» вырастет в семь сотен?

Это далеко не пустяковое столкновение обострялось характерными особенностями их обоих. Увлечение своей идеей, образом дома, который он создал и мысленно видел осуществленным, заставляло Босини нервничать при мысли, что его остановят на середине работы или заставят пойти на компромисс; не менее искреннее и горячее желание Сомса получить за свои деньги все самое лучшее лишало его способности понять, почему вещи стоимостью в тринадцать шиллингов нельзя купить за двенадцать.

— Не надо мне было связываться с вашим домом,— сказал вдруг Босини.— Вы не даете мне ни минуты покоя. Вам хочется получить за свои деньги ровно вдвое больше, чем получил бы на вашем месте другой, а теперь, когда я выстроил вам дом, равного которому не будет во всем графстве, вы отказываетесь платить за него. Если вам хочется расторгнуть договор, я найду средства покрыть перерасход, но будь я проклят, если хоть пальцем шевельну для вашего дома!

Сомс взял себя в руки. Зная, что у Босини нет денег, он счел его угрозу нелепой. Кроме того, он понимал, что постройка дома, захватившая его целиком, оттянется на неопределенное время и как раз в тот критический момент, когда личное наблюдение архитектора решает все дело. Уж не говоря о том, что надо подумать и об Ирэн! Она очень странно держится последнее время.

Сомс был убежден, что Ирэн примирилась с мыслью о новом доме только из расположения к Босини. Не стоит идти на открытую ссору с ней.

— Вы напрасно злитесь,— сказал он.— Уж если я как-то мирюсь с этим, то вам нечего выходить из себя. Я только хотел сказать, что, раз вы называете мне определенную сумму, я хочу... я хочу наконец составить себе ясную картину.

— Послушайте меня,— сказал Босини, и Сомса неприятно поразила злоба, горевшая в его глазах.— Вы купили мои знания баснословно дешево. За те труды и за то количество времени, которые я вкладываю в эту постройку, вам пришлось бы уплатить Литлмастеру или какому-нибудь другому болвану в четыре раза больше. В сущности говоря, вы ищете первосортного архитектора за третьесортный гонорар, и вы нашли как раз то, что вам нужно!

Сомс понял, что Босини не шутит, и, несмотря на все свое раздражение, живо представил себе последствия ссоры. Постройка не закончена, жена взбунтовалась, сам он — всеобщее посмешище.

— Давайте посмотрим счета как следует,— угрюмо сказал он,— и выясним, куда ушли деньги.

— Хорошо,— согласился Босини,— только не будем затягивать. Мне еще надо заехать за Джун перед театром.

Сомс покосился на него и спросил:

— Где вы встретитесь с Джун, у нас?

Босини вечно торчал на Монпелье-сквер!

Накануне ночью был дождь — весенний дождь, и от земли шел сочный запах трав. Теплый, мягкий ветер шевелил листья и золотистый цвет на старом дубе, черные дрозды, пригретые солнцем, высвистывали сердце до дна.

Был один из тех дней, когда весна вдруг вдохнет в человека смутное томление, сладкую тоску, негу, и он станет недвижно, смотрит на листья, цветы и протягивает руки навстречу сам не зная чему. Земля дышала слабым теплом, украдкой пробивавшимся сквозь холодные покровы, в которые ее укутала зима. Своей долгой лаской земля манила людей лечь в ее объятия,

прикинуться к ней всем телом, прижать губы к ее груди.

В такой же день Сомс добился от Ирэн слова, которого ему пришлось так долго ждать. Сидя на стволе упавшего дерева, он в двадцатый раз повторял ей, что, если брак их окажется неудачным, она получит свободу, полную свободу!

— Поклянитесь! — сказала тогда Ирэн.

Несколько дней назад она напомнила ему об этой клятве. Он ответил:

— Глупости! Я не мог обещать подобный вздор!

И, как нарочно, сейчас Сомс вспомнил об этом. Чего только влюбленный не наобещает женщине! Тогда он готов был поклясться в чем угодно, лишь бы завоевать ее! Он повторил бы свою клятву и сейчас, если б этим можно было расшевелить Ирэн, но ее ничем не расшевелишь, у нее ледяная кровь!

И вместе со сладкой свежестью весеннего ветра на Сомса нахлынули воспоминания — воспоминания о его сватовстве.

Весной 1881 года он гостил у своего школьного товарища и клиента Джорджа Ливерседжа, который, решив заняться разработкой лесных участков, имевшихся у него по соседству с Борнмутом, поручил Сомсу образовать компанию из подходящих людей для проведения этих планов в жизнь. Миссис Ливерседж, полагая, что такая затея будет вполне уместна, устроила в честь Сомса музыкальный вечер. Когда развлечение это, от которого Сомс — человек не музыкальный — ничего, кроме скуки, не испытывал, подходило к концу, взгляд его остановился на девушке в трауре, стоявшей поодаль от других гостей. Черное платье из легкой, облегающей материи обрисовывало линии ее стройного, еще совсем хуленького тела, руки в черных перчатках были сложены, губы слегка улыбались, большие темные глаза блуждали с одного лица на другое. Ее волосы, собранные в узел низко на затылке, поблескивали над черным воротником, словно кольца отполированного металла. И пока Сомс глядел на нее, им незаметно овладело то чувство, которое рано или поздно настигает многих людей, — чувство какого-то странного удовлетворения, какой-то странной полноты; словом, то, что романисты и пожилые дамы

называют любовью с первого взгляда. Продолжая украдкой наблюдать за девушкой, Сомс подошел к хозяйке и, став рядом, стал упрямо ждать, когда кончится музыка.

— Кто эта блондинка с темными глазами? — спросил он.

— А, это мисс Эрон. Ее отец, профессор Эрон, умер в этом году. Она живет у мачехи. Славная девушка, хорошенькая, но совсем без денег!

— Представьте меня, пожалуйста, — сказал Сомс. Тем для беседы с ней у Сомса нашлось не много, да и это немногое не помогло ей разговориться. Но Сомс уехал с твердым намерением снова повидать ее. Он достиг своей цели случайно, встретив Ирэн как-то на набережной в обществе мачехи, которая обычно прогуливалась здесь между двенадцатью и часом дня. Сомс не замедлил познакомиться с этой дамой и вскоре же распознал в ней ту союзницу, которая и была ему нужна. Безошибочное чутье к материальной подоплеке семейной жизни быстро помогло ему разобраться в том, что Ирэн стоила мачехе гораздо больше тех пятидесяти фунтов в год, которые оставил ей отец; кроме того, он понял, что миссис Эрон — женщина в расцвете лет — мечтает о вторичном замужестве. Необычная расцветающая красота падчерицы мешала осуществлению этих мечтаний. И Сомс, вкрадчивый и упорный, как и всегда, составил себе план действий.

Он уехал из Борнмута, ничем не выдав своих чувств, но через месяц вернулся и на этот раз повел разговор не с самой девушкой, а с мачехой. Он пришел к окончательному решению, он согласен ждать сколько угодно. И Сомсу пришлось ждать долго, а тем временем Ирэн расцветала, смягчались линии ее девической фигуры, молодая кровь зажигала ее глаза, согревала теплом матовые щеки; и, встречаясь с Ирэн, Сомс всякий раз делал ей предложение и после каждой встречи с тяжестью на сердце, но по-прежнему настойчивый и безмолвный, как могила, уезжал обратно в Лондон, увозя с собой ее отказ. Он пытался уяснить себе тайные причины ее упорства, но проблеск истины мелькнул перед ним только раз. Это было на одном из тех танцевальных вечеров, которые служат единственной отдушиной для темпера-

мента курортной публики. Сомс сидел рядом с Ирэн в нише окна, взволнованный вальсом, который только что протанцевал с ней. Она взглянула на него поверх медленно колыхавшегося веера, и Сомс потерял голову. Схватив ее руку, он прижался к ней губами повыше кисти. Ирэн содрогнулась — до сих пор он не может забыть ни той дрожи, ни того неудержимого отвращения, которое было в ее глазах.

Спустя год она уступила. Что побудило ее к этому, Сомс так и не мог узнать; он не добился объяснений и от миссис Эрон — женщины, не лишенной дипломатических талантов. Как-то раз, уже после свадьбы, он спросил Ирэн: «Почему ты столько раз отказывала мне?» Она ответила молчанием. Загадка с первого же дня встречи — она осталась неразгаданной и до сих пор...

Босини стоял в дверях палатки; на его красивом, резко очерченном лице мелькало какое-то странное, и тоскливое и радостное, выражение, словно он тоже ждал, что весеннее небо пошлет ему блаженство, и чуял близость счастья в весеннем воздухе. Сомс смотрел на архитектора. Почему у него такой счастливый вид? Что значат эти улыбающиеся губы и глаза? Чего он ждет? Сомс не понимал, чего может ждать Босини, вдыхая всей грудью ветер, несущий запах цветов. И снова Сомс почувствовал неловкость в присутствии этого человека, которого привык презирать. Он быстро пошел к дому.

— Единственный подходящий цвет для изразцов, — услышал Сомс, — красный с сероватым отливом, это даст впечатление прозрачности. Мне бы хотелось посоветоваться с Ирэн. Я заказал лиловые кожаные портьеры для дверей во внутренний двор; а если стены в гостиной покрыть легким слоем кремовой краски, то впечатление прозрачности еще усилится. Надо добиться, чтобы вся внутренняя отделка была пронизана тем, что я бы назвал обаянием.

— Вы хотите сказать, что у моей жены есть обаяние? Босини уклонился от ответа.

— В центре двора нужно посадить ирисы.

Сомс высокомерно улыбнулся.

— Я загляну как-нибудь к Бичу, — сказал он, — посмотрим, что у него найдется.

Больше говорить было не о чем, но по дороге на станцию Сомс спросил:

— Вы, вероятно, очень высокого мнения о вкусе Ирэн?

— Да.

В этом резком ответе ясно послышалось: «Если вам хочется поговорить о ней, найдите себе другого собеседника!»

И угрюмая тихая злоба, не оставлявшая Сомса все это утро, разгорелась в нем еще сильнее.

Дальше они шли молча, и только у самой станции Сомс спросил:

— Когда вы думаете кончить?

— К концу июня, если вы действительно хотите поручить мне и отделку.

Сомс кивнул.

— Но вы, конечно, сами понимаете, — сказал он, — что дом обходится мне гораздо дороже, чем я рассчитывал. Не мешает вам также знать, что я мог бы отказаться от постройки, но не в моих правилах бросать начатое дело!

Босини промолчал. И Сомс покосился на него с выражением какой-то собачьей злости в глазах, ибо, несмотря на всю его утонченность и высокомерную выдержку денди, квадратная челюсть и линия рта придавали ему сходство с бульдогом.

Когда в тот же вечер Джун приехала к семи часам на Монпелье-сквер, горничная Билсон сказала ей, что мистер Босини в гостиной, миссис Сомс одевается и сейчас сойдет. Она доложит ей, что мисс Джун приехала.

Но Джун остановила ее.

— Ничего, Билсон, — сказала она. — Я пройду в комнаты. Не торопите миссис Сомс.

Джун сняла пальто, а Билсон, даже не открыв перед ней дверь в гостиную, с понимающим видом убежала вниз, в кухню.

Джун задержалась на секунду перед небольшим старинным зеркалом в серебряной раме, висевшим над дубовым сундучком, — стройная, горделивая фигурка, решительное личико, белое платье, вырезанное полумеся-

цем вокруг шеи, слишком тоненькой для такой копны золотисто-рыжих вьющихся волос.

Она тихонько открыла дверь в гостиную, чтобы захватить Босини врасплох. В комнате плавал сладкий, душистый запах цветущих азалий.

Джун глубоко вдохнула аромат и услышала его голос не в самой комнате, а где-то совсем близко:

— Мне так хотелось поговорить с вами, а теперь уже нет времени!

Голос Ирэн ответил:

— А за обедом?

— Как можно говорить, когда...

Первой мыслью Джун было уйти, но вместо этого она прошла через всю комнату к стеклянной двери, выходящей во дворик. Запах азалий шел оттуда, и спиной к Джун, низко склонясь над золотисто-розовыми цветами, стояли ее жених и Ирэн.

Молча, но не чувствуя ни малейшего стыда, с пылающим лицом и горящими гневом глазами девушка смотрела на них.

— Приезжайте в воскресенье одна, я покажу вам дом.

Джун видела, как Ирэн взглянула на него поверх азалий. Это не был взгляд кокетки — нет, Джун уловила в нем нечто худшее для себя: так могла смотреть только женщина, боявшаяся сказать своим взглядом слишком много.

— Я обещала поехать кататься с дядей...

— С тем толстым? Пусть привезет вас в Робин-Хилл; каких-нибудь десять миль — и лошади его промнутя.

— Бедный дядя Суизин!

Запах азалий повеял Джун в лицо; она почувствовала дурноту и головокружение.

— Приезжайте! Я прошу вас!

— Зачем?

— Мне нужно, чтобы вы приехали, я думал, что вы хотите помочь мне.

Девушке показалось, что ответ прозвучал так мягко, словно это затрепетали цветы:

— Я и хочу помочь!

Джун шагнула в открытую дверь.

— Как здесь душно! — сказала она. — Я задыхаюсь от этого запаха!

Ее глаза, гневные, смелые, смотрели им прямо в лицо.

— Вы говорили о доме? Я его еще не видела, давайте поедем в воскресенье!

Румянец сбежал с лица Ирэн.

— В воскресенье я поеду кататься с дядей Суизином, — ответила она.

— С дядей Суизином! Вот еще! Его можно отставить!

— Нет, это не в моих привычках!

Раздались шаги. Джун обернулась и увидела Сомса.

— Ну что ж, все ждут обеда, — сказала Ирэн, со странной улыбкой переводя взгляд с одного лица на другое, — а обед ждет нас.

II

ПРАЗДНИК ДЖУН

Обед начался в молчании; Джун сидела напротив Ирэн, Босини — напротив Сомса.

В молчании был съеден суп — прекрасный, хотя чутьточку и густоватый; подали рыбу. В молчании разложили ее по тарелкам.

Босини отважился:

— Сегодня первый весенний день.

Ирэн тихо отозвалась:

— Да, первый весенний день.

— Какая это весна! — сказала Джун. — Дышать нечем!

Никто не возразил ей.

Рыбу унесли — чудесную дуврскую камбалу. И Билсон подала бутылку шампанского, закутанную вокруг горлышка белой салфеткой.

Сомс сказал:

— Шампанское сухое.

Подали отбивные котлеты, украшенные розовой гофрированной бумагой. Джун отказалась от них, и снова наступило молчание.

Сомс сказал:

— Советую тебе съесть котлету, Джун. Больше ничего не будет.

Но Джун снова отказалась, и котлеты унесли.

Ирэн спросила:

— Фил, вы слышали моего дрозда?

Босини ответил:

— Как же! Он теперь заливается по-весеннему. Я еще в сквере его слышал, когда шел сюда.

— Он такая прелесть!

— Прикажете салату, сэр?

Унесли и жареных цыплят.

Заговорил Сомс:

— Спаржа неважная. Босини, стаканчик хереса к сладкому? Джун, ты совсем ничего не пьешь!

Джун сказала:

— Ты же знаешь, что я никогда не пью. Вино — гадость!

Подали яблочную шарлотку на серебряном блюде. И, улыбаясь, Ирэн сказала:

— Азалии в этом году необыкновенные!

Босини пробормотал в ответ:

— Необыкновенные! Совершенно изумительный запах!

Джун сказала:

— Не понимаю, как можно восхищаться этим запахом! Билсон, дайте мне сахару, пожалуйста.

Ей подали сахар, и Сомс заметил:

— Шарлотка удалась!

Шарлотку унесли. Наступило долгое молчание. Ирэн подозвала Билсон и сказала:

— Уберите азалии. Мисс Джун не нравится их запах.

— Нет, пусть стоят, — сказала Джун.

По маленьким тарелочкам разложили французские маслины и русскую икру. И Сомс спросил:

— Почему у нас не бывает испанских маслин?

Но никто не ответил ему.

Маслины убрали. Подняв бокал, Джун попросила:

— Налейте мне воды, пожалуйста.

Ей налили. Принесли серебряный поднос с немецкими сливами. Долгая пауза. Все мирно занялись едой.

Босини пересчитал косточки:

— Нынче — завтра — сбудется...

Ирэн dokonчила мягко:

— Нет... Какой сегодня красивый закат! Небо красное, как рубин.

Он ответил:

— А сверху тьма.

Глаза их встретились, и Джун воскликнула презрительным тоном:

— Лондонский закат!

Подали египетские сигареты в серебряном ящичке. Взяв одну, Сомс спросил:

— Когда начало спектакля?

Никто не ответил; подали турецкий кофе в эмалевых чашечках.

Ирэн сказала, спокойно улыбаясь:

— Если бы...

— Если бы что? — спросила Джун.

— Если бы всегда была весна!

Подали коньяк; коньяк был старый, почти бесцветный. Сомс сказал:

— Босини, наливайте себе.

Босини выпил рюмку коньяку; все поднялись из-за стола.

— Позвать кэб? — спросил Сомс.

Джун ответила:

— Нет. Принесите мне пальто, Билсон.

Пальто принесли.

Ирэн подошла к окну и тихо сказала:

— Какой чудесный вечер! Вон уж и звезды.

Сомс прибавил:

— Ну, желаю вам хорошо провести время.

Джун ответила с порога:

— Благодарю. Пойдемте, Фил.

Босини отозвался:

— Иду.

Сомс улыбнулся язвительной улыбкой и сказал:

— Всего хорошего!

Стоя в дверях, Ирэн провожала их взглядом.

Босини крикнул:

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи! — мягко ответила Ирэн.

Джун потащила жениха на империал омнибуса, ска-

зав, что ей хочется подышать воздухом, и всю дорогу просидела молча, подставив лицо ветру.

Кучер оглянулся на них разок-другой, собираясь пуститься в разговор, но передумал. Не очень-то веселая парочка! Весна хозяйничала и у него в крови. Ему не терпелось поболтать, он причмокивал губами, размахивал кнутом, подгоняя лошадей, и даже они, бедняжки, учуяли весну и целых полчаса весело цокали копытами по мостовой.

Весь город ожил в этот вечер; ветви в уборе молодой листвы, тянувшиеся к небу, ждали, что ветерок принесет им какой-то дар. Недавно зажженные фонари мало-помалу разгоняли сумрак, и человеческие лица казались бледными под их светом, а наверху большие белые облака быстро и легко летели по пурпурному небу.

Мужчины во фраках шли, распахнув пальто, бойко взбегали по ступенькам клубов; рабочий люд бродил по улицам; и женщины — те женщины, которые гуляют одиночками в этот час, одиночками движутся против течения, — медленной, выжидающей походкой проходили по тротуару, мечтая о хорошем вине, хорошем ужине да изредка, урывками, о поцелуях, не оплаченных деньгами.

Эти люди, бесконечной вереницей проходившие в свете уличных фонарей, под небом, затянутым бегущими облаками, все как один несли с собой будоражащую радость, которую вселило в них пробуждение весны. Все до одного, как те мужчины в пальто нараспашку, они сбросили с себя броню касты, верований, привычек и лихо заломленной шляпой, походкой, смехом и даже молчанием раскрывали то, что единило их всех под этим пылающим страстью небом.

Босини и Джун молча вошли в театр и поднялись на свои места в ложе верхнего яруса. Пьеса уже началась, и полутемный зал с правильными рядами людей, смотрящих в одном направлении, напоминал огромный сад, полный цветов, которые повернули головки к солнцу.

Джун еще ни разу в жизни не была в верхнем ярусе. С тех пор как ей исполнилось пятнадцать лет, она всегда ходила с дедушкой в партер, и не просто в партер, а на самые лучшие места — в середину третьего ряда кресел, — которые старый Джолион задолго до спектакля заказывал у Грогэна и Бойнза по дороге домой из Сити;

билеты клались во внутренний карман пальто, туда, где лежал портсигар и неизменная пара кожаных перчаток, а потом передавались Джун, с тем чтобы она держала их у себя до дня спектакля. И в этих креслах они терпеливо высиживали любую пьесу — высокий, прямой старик с величаво-спокойной седой головой и миниатюрная девушка, подвижная, возбужденная, с золотисто-рыжей головкой, — а на обратном пути Джолион неизменно говорил об актере, исполнявшем главную роль:

— Э-э, какое убожество! Ты бы посмотрела Бобсона!

Джун предвкушала много радости от этого вечера: они пошли в театр, никому не сказавшись, без провожатых; на Стэнхоп-Гейт и не подозревали об этом — там считалось, что Джун уехала к Сомсу. Джун надеялась получить вознаграждение за эту маленькую хитрость, на которую она пошла ради жениха: она надеялась, что сегодняшней вечер разгонит плотное холодное облако, и их отношения — такие странные, такие мучительные за последнее время — станут снова простыми и радостными, как это было до зимы. Она пришла сюда с твердым намерением добиться определенности и теперь смотрела на сцену, сдвинув брови, ничего не видя перед собой, крепко стиснув руки. Ревнивые подозрения терзали и терзали ее сердце.

Может быть, Босини и догадывался о том, что происходит с ней, но виду он не показывал.

Опустился занавес. Первый акт кончился.

— Здесь страшно жарко! — сказала девушка. — Мне хочется на воздух.

Она была очень бледна, и она прекрасно знала — нервы ее были напряжены, и ничто не могло ускользнуть от ее внимания, — что Босини и неловко и мучительно с ней.

В глубине театра был балкон, выходивший на улицу; Джун завладела им и, облокотившись на балюстраду, молча ждала, когда Босини заговорит.

Наконец она не выдержала:

— Я хотела поговорить с вами, Фил.

— Да?

Настороженная нотка в его голосе заставила ее вспыхнуть, слова сами слетели с губ:

— Вы не позволяете мне быть ласковой с вами; вот уже сколько времени я...

Босини пристально смотрел на улицу. Он молчал.

Джун горячо продолжала:

— Вы же знаете, ради вас я готова на все — я хочу быть всем для вас...

С улицы донесся шум, и, смешавшись с ним, пронзительный звонок возвестил о конце антракта. Джун не шевельнулась. В ее душе происходила отчаянная борьба. Поставить все на карту? Бросить вызов тому влиянию, той притягательной силе, которые отнимают у нее Босини? Не в ее характере было отступить, и она сказала:

— Фил, возьмите меня в Робин-Хилл в воскресенье!

Улыбаясь робкой улыбкой, то и дело сбегавшей с ее губ, прилагая все старания — какие старания! — к тому, чтобы он не заметил пытливости ее взгляда, Джун впиалась глазами в его лицо, увидела, как оно дрогнуло в нерешительности, увидела беспокойную складку, залегшую между бровями, румянец, заливший его щеки. Он ответил:

— Только не в это воскресенье, дорогая, как-нибудь в другой раз.

— Почему не в это? Я не помешаю вам.

Он сделал над собой видимое усилие и сказал:

— Я буду занят.

— Вы поедете с...

Глаза Босини загорелись гневом; он пожал плечами и ответил:

— Я буду занят и не смогу показать вам дом!

Джун до крови закусил губу; она пошла обратно в зал, не сказав больше ни слова, но не смогла сдержать слезы гнева, залившие ей лицо. К счастью, огни были уже потушены, и никто не видел ее горя.

Но в мире Форсайтов ни один человек не может считать себя застрахованным от посторонних взглядов.

Из третьего ряда за ними следили Юфимия — младшая дочь Николаса — и ее замужняя сестра, миссис Тутимен.

Они рассказали у Тимоти, что видели в театре Джун и ее жениха.

— В партере?

— Нет, не в...

— А! В амфитеатре. У молодежи теперь считается очень модным ходить в амфитеатр!

— Да нет, не совсем... Они были в... Вообще вся эта история ненадолго. Маленькая Джун просто метала гром и молнии!

Со слезами восторга они рассказали, как Джун, возвращаясь на свое место посредине действия, отшвырнула ногой чей-то цилиндр и каким взглядом ответил на это хозяин цилиндра. Юфимия имела привычку закатываться беззвучным смехом, в конце неожиданно переходившим в визг, и когда миссис Смолл всплеснула руками, сказав: «Господи боже! Отшвырнула цилиндр?» — Юфимия начала так взвизгивать, что пришлось приводить ее в чувство нюхательными солями. Выйдя от тетушек, она сказала миссис Туитимен:

— Отшвырнула цилиндр! О-о! Я больше не могу!

Для «маленькой Джун» этот вечер, задуманный как праздник, был самым тяжелым за всю ее жизнь. Видит бог, она делала все, чтобы задушить свою гордость, свои подозрения, свою ревность!

Прощаясь с женихом у дверей дома, Джун все еще крепилась; сознание, что Босини нужно отвоевать во что бы то ни стало, поддерживало ее, и, только прислушиваясь к его удаляющимся шагам, она поняла, как велико ее несчастье.

Безмолвный «миссионер» открыл ей дверь. Она хотела проскользнуть незамеченной к себе в комнату, но старый Джолион, услышав ее шаги, вышел из столовой.

— Зайди выпить молока, — сказал он. — Тебе оставили горячее. Как ты поздно! Где ты была?

Джун стала у камина в той самой позе, в какой стоял ее дед, вернувшись в тот июньский вечер из оперы: поставив одну ногу на решетку, опершись рукой о каминную доску. Каждую минуту готовая разрыдаться, она не заботилась о своих словах.

— Мы обедали у Сомса.

— Гм! У этого собственника! Кто там был? Его жена, Босини?

— Да.

От глаз старого Джолиона, прикованных к внучке, было так трудно скрыть что-нибудь; но в эту минуту

Джун не смотрела на деда, а когда она повернулась к нему, старый Джолион сейчас же опустил глаза. Того, что он видел, было достаточно, вполне достаточно. Старый Джолион нагнулся к камину достать молоко и, отвернувшись, проворчал:

— Не надо так поздно засиживаться в гостях: ты совсем расклеилась.

Он закрылся газетой, сердито зашуршав страницами; но когда Джун подошла поцеловать его, старый Джолион сказал «Спокойной ночи, родная!» таким взволнованным, таким необычным для него голосом, что девушке не оставалось ничего другого, как поскорее выйти из комнаты, чтобы не разразиться при нем рыданиями, и они стихли в ее спальне только поздно ночью.

Когда дверь за Джун затворилась, старый Джолион бросил газету и уставился прямо перед собой долгим, тревожным взглядом.

«Негодяй! — думал он. — Я так и знал, что она хлебнет с ним горя!»

Тревожные мысли и подозрения, тем более мучительные, что он чувствовал себя бессильным остановить или повернуть по-своему ход событий, надвинулись на старого Джолиона со всех сторон.

Уж не собирается ли этот субъект играть ею? Ему хотелось пойти и крикнуть: «Эй вы, сэр! Уж не собираетесь ли вы играть моей внучкой?» Но разве это возможно? Зная мало, вернее, ничего не зная, он все же с безошибочной проницательностью чувствовал что-то неладное. Он подозревал, что Босини слишком зачастил на Монпелье-сквер.

«Может быть, он и не мерзавец, — думал старый Джолион. — У него хорошее лицо, но что-то странное в нем есть. Я не понимаю этого человека! И никогда не пойму! Говорят, он работает, как вол, но ничего путного из этого пока что не получается. Он совершенно непрактичный, беспорядочный. Приходит сюда и сидит, как сыч. Спросишь, каким вином его угостить, отвечает: «Благодарю вас! Все равно!» Предложишь сигару — он курит ее с таким видом, словно это дешевая немецкая гадость. Я никогда не замечал, чтобы он смотрел на Джун так, как ему полагалось бы смотреть; а между тем он не гонится за ее деньгами. Достаточно одного ее знака,

и он сейчас же вернет ей слово. Но она никогда не пойдёт на это, никогда! Будет цепляться за него! Упорная как рок! Она от него не отступится!»

Глубоко вздохнув, старый Джолион взялся за газету; может быть, хоть здесь он найдет утешение.

А Джун сидела у себя в комнате, и весенний ветерок, набушевавшись вволю в парке, врывался в открытое окно, охлаждая ее пылающие щеки и сжигая ей сердце.

III

ПОЕЗДКА С СУИЗИНОМ

В одном всем известном старинном сборнике школьных песен есть такие строки:

Смотрите! пуговицы в ряд на синем фраке как горят!
Поет, свистит он, точно дрозд,— тра-ля-ля-ля-тра-ля-ля-ля!

Не то чтобы Суизин пел и свистал, как дрозд, но, выйдя из дому и осмотрев свой выезд, остановившийся у крыльца, он был близок к тому, чтобы промурлыкать себе под нос какой-нибудь мотивчик.

Утро было теплое, как в июне. Подтверждая слова старинной песенки, Суизин нарядился в синий фрак и решил обойтись без пальто, предварительно сгоняв Адольфа три раза подряд на улицу, чтобы окончательно убедиться, что сегодня нет ни малейшего намека на восточный ветер; синий фрак так плотно облегал его внушительную фигуру, что, вздумай пуговицы действительно гореть и сиять на нем, это было бы простительно с их стороны. Огромный и величественный, он стоял на панели, натягивая лайковые перчатки; высокий, похожий на колокол цилиндр и величавость осанки придавали облику Суизина первобытность, пожалуй, чрезмерную для Форсайта. От его густых, совершенно белых волос, которые Адольф слегка напмадил, шел аромат опопанакса и сигар — тех самых сигар по сто сорок шиллингов сотня, о которых старый Джолион так пренебрежительно отзывался, заявив, что не стал бы курить их и даром; для таких сигар надо иметь лошадиный желудок!..

— Адольф!

— Сэр!

— Дайте новый плед!

Никакими силами не добьешься, чтобы у этого бездельника был элегантный вид; а у миссис Сомс на этот счет глаз, наверное, наметан!

— Откиньте верх у фаэтона; я еду... кататься... с дамой!

Хорошенькой женщине непременно захочется показать свой наряд. Да, он едет с дамой! Словно опять вернулись прежние золотые денечки.

Вот уже целая вечность, как Суизин не катался с женщиной! Последний раз, если память ему не изменяет, это была Джули; несчастная старушенция волновалась всю дорогу, как кошка, и до такой степени вывела его из себя, что, высадив ее на Бэйсуотер-Род, Суизин заявил: «Чтобы я еще раз повез тебя кататься?! Да никогда в жизни!» И так и не возил, нет, слуга покорный!

Подойдя к лошадям, Суизин внимательно осмотрел удила: вряд ли, впрочем, он понимал что-нибудь в удилах — не за тем он платит кучеру шестьдесят фунтов в год, чтобы брать на себя чужую работу, это не в его принципах. В сущности говоря, его репутация знатока лошадей покоилась главным образом на том факте, что однажды на дерби он попался на удочку мошенникам. Но кто-то из товарищей по клубу, увидев, как Суизин подкатил к дверям на своей серой упряжке — он всегда держал серых лошадей, деньги те же, а элегантности больше, — прозвал Суизина «Форсайт четверкой». Прозвище дошло до ушей Суизина благодаря Николасу Трефри, покойному компаньону старого Джолиона — любителю лошадей, славившемуся чуть ли не самым большим во всем королевстве количеством несчастных случаев во время езды по улицам, — и Суизин счел себя обязанным не снижать репутации. Прозвище поразило его воображение не потому, что он действительно правил или собирался когда-нибудь править четверкой, но в самом звуке этих слов ему чудилось какое-то благородство: «Форсайт четверкой!» Недурно! Родившись на свет слишком рано, Суизин не мог должным образом развить свои склонности. Появись он в Лондоне двадцатью годами позже, его не миновала бы профессия маклера, но в то время, когда Суизин должен был сделать окончатель-

ный выбор, эта великая профессия еще не успела увенчать славой класс крупной буржуазии. Суизину просто не оставалось ничего другого, как заняться аукционами.

Усевшись в фаэтон, он взял вожжи и, щурясь от яркого солнца, бившего ему прямо в бледное старческое лицо, медленно осмотрелся по сторонам. Адольф уже занял свое место позади; грум с кокардой на фуражке держал лошадей под уздцы, готовый каждую минуту отскочить в сторону; все дожидалось знака Суизина, и он подал этот знак. Экипаж рванулся вперед и в мгновение ока с грохотом подкатил к дому Сомса.

Ирэн не заставила себя ждать и села в фаэтон, как Суизин рассказывал потом у Тимоти, «с легкостью... э-э... с легкостью Тальони, без всякой суетни, без всяких этих «ах! мне неудобно, ах! мне тесно!», а главное — Суизин особенно напирал на это, глядя на миссис Смолл, которая не знала, куда деваться от смущения, — без всяких дурацких страхов!» Тете Эстер он описал шляпу Ирэн так:

— Ничего похожего на теперешние лопухи, которые собирают на себя всю пыль, — маленькая, аккуратненькая, — он описал рукой круг, — с белой вуалеткой, столько вкуса!

— А из чего она? — спросила тетя Эстер, с томным воодушевлением встречавшая всякое упоминание о нарядах.

— Из чего? — переспросил Суизин. — Ну почему я знаю? — и погрузился в такое глубокое молчание, что тетя Эстер начала побаиваться, не столбняк ли у него. Она не пыталась растолкать Суизина, это было не в ее обычаях.

«Хоть бы пришел кто-нибудь, — думала тетя Эстер, — не нравится мне его вид!»

Но вдруг Суизин очнулся.

— Из чего? — протянул он хрипло. — Из чего же она была сделана?..

Не успели проехать и четырех миль, как Суизин окончательно уверился, что Ирэн довольна поездкой. Ее лицо было так нежно под белой вуалью, темные глаза так сияли на весеннем солнце, а когда Суизин говорил что-нибудь, она взглядывала на него и улыбалась.

В субботу утром Сомс застал Ирэн за письмом к Суи-

зину, в котором она отказывалась от поездки. Почему ей вдруг понадобилось отказывать дяде Суизину, спросил Сомс. Пусть отказывает своей родне, но его родственникам он не позволит отказывать.

Она пристально посмотрела на Сомса, разорвала записку и сказала:

— Хорошо!

И начала писать другую. Он случайно заглянул ей через плечо и увидел, что записка адресована Босини.

— О чем ты ему пишешь? — спросил Сомс.

Ирэн посмотрела на него все тем же пристальным взглядом и спокойно ответила:

— Он просил меня кое-что сделать для него.

— Гм! — сказал Сомс. — Комиссии! В таком случае тебе скоро придется забросить все свои дела! — и замолчал.

Суизин вытаращил глаза, услышав о Робин-Хилле; для его лошадей это был солидный конец, и он привык обедать в половине восьмого, до того, как в клубе наберется народ; новый шеф внимательнее относится к ранним обедам — ленивая бестия!

Однако Суизину хотелось взглянуть на постройку. Такая вещь, как дом, способна заинтересовать любого Форсайта, в особенности Форсайта, работавшего когда-то по части аукционов. В конце концов расстояние — пустяки. В молодые годы он снимал комнаты в Ричмонде, держал экипаж и пару лошадей и каждый божий день ездил по делам в город. Недаром ему дали прозвище «Форсайт четверкой»! Его кабриолет и лошадей хорошо знали между Хайд-парком и «Звездой и подвязкой». Герцог Z. хотел купить у него выезд, давал двойную цену, но он не продал; он сам умеет отличить плохое от хорошего, так ведь? Квадратное, чисто выбритое старческое лицо Суизина озарилось горделивым торжеством, он повел головой между уголками стоячего воротничка, охорашиваясь, как индюк.

Какая очаровательная женщина! Он подробно описал ее платье тете Джули, которая только всплескивала руками, приходя в ужас от его выражений.

Облегающее, как перчатка, ни одной морщинки, как на барабане; вот это ему нравится, не то что теперешние общипанные пугала! Он уставился на миссис Септимус

Смолл, которая была копией Джемса — такая же длинная и тощая.

— В ней чувствуешь стиль,— продолжал Суизин,— такая под стать самому королю! И вместе с тем как спокойно держится!

— Она, кажется, совсем тебя покорила,— протянула из своего угла тетя Эстер.

Когда кто-нибудь нападал на Суизина, он прекрасно все слышал.

— Что такое? Я сумею... отличить... хорошенькую... женщину от дурнушки и заявляю, что среди нашей молодежи для нее нет достойного человека; может быть... ты знаешь такого... ну... может... ты знаешь?

— А,— протянула тетя Эстер,— спроси Джули!..

Однако еще задолго до Робин-Хилла Суизин, не привыкший к таким прогулкам, почувствовал неодолимую сонливость; он правил с закрытыми глазами, и только благодаря многолетней выдержке его высокая статная фигура не клонилась набок.

Босини, поджидавший их, вышел навстречу, и все трое направились к дому. Суизин впереди, поигрывая тяжелой тростью с золотым набалдашником, которую Адольф сунул ему напоследок, ибо езда в экипаже сказывалась на коленях Суизина. Он надел меховое пальто, предвидя, что в недостроенном доме будут гулять сквозняки.

Лестница великолепная! Как во дворце! Не мешало бы здесь поставить какую-нибудь статую! Он остановился как вкопанный между колоннами внутреннего двора и с недоумевающим видом поднял трость.

— А здесь что будет, в этом вестибюле, или как это называется? — Суизин взглянул на стеклянный потолок, и вдруг его осенило: — А-а! Бильярдная!

Услышав, что здесь будет мощный двор с клумбой посередине, он повернулся к Ирэн:

— Загубить столько места под цветы? Послушайтесь моего совета и поставьте здесь бильярд!

Ирэн улыбнулась. Она подняла вуаль, повязав ее вокруг лба, как монашескую косынку, и темные глаза, улыбавшиеся из-под белой вуали, показались Суизину еще более очаровательными. Он кивнул. Он знает, что Ирэн последует его совету.

Мало что найдя сказать о гостиной и столовой, Суизин отметил лишь, что комнаты эти «поместительные», зато пришел в восторг — насколько ему позволяло чувство собственного достоинства — от винного погреба, куда он спустился по каменным ступенькам вслед за Босини, освещавшим путь фонарем.

— Здесь хватит места для шести-семисот дюжин, — сказал Суизин, — солидный погребок!

Босини выразил желание показать им дом с опушки рощицы под откосом, но Суизин остановился.

— Отсюда тоже прекрасный вид, — сказал он, — у вас тут найдется что-нибудь вроде стула?

Стул принесли из палатки Босини.

— Вы ступайте, — кротко сказал он, — ступайте вдвоем! А я посижу здесь, полюбуюсь видом.

Суизин сел под дубом, на солнышке: квадратный, прямой, он вытянул одну руку, опирающуюся на трость, другую положил на колени; меховое пальто нараспашку, плоские поля цилиндра, как кровля, нависшая над бледным квадратом его лица; взгляд неподвижный, пустой, устремленный на расстилавшийся перед ним вид.

Суизин закивал головой, глядя, как они идут полем внизу. В сущности говоря, нечего жалеть, что его оставили одного посидеть спокойно и подумать. Воздух был мягкий, на солнце не очень припекало, вид отсюда прекрасный, замеча... Его голова склонилась немного набок. Он встрепнулся и подумал: «Странно! Я, кажется...» Они машут ему снизу! Он поднял руку и тоже помахал им. «Вон куда забрались, вид заме...» Голова у него склонилась влево; он снова встрепнулся; голова склонилась вправо и так и осталась: он спал.

И спящий Суизин, страж на вершине холма, царил над этим видом — замечательным! — как некое изваяние, высеченное художником в далекие языческие времена по заказу первобытного Форсайта в знак торжества духа над материей!

И все его бесчисленные предки, которые по воскресным дням выходили, бывало, подбоченясь, окинуть свои поля взглядом серых, неподвижных глаз, таивших захватнический инстинкт, инстинкт обладания, исключавший все интересы, кроме своих собственных, — все эти

бесчисленные поколения, казалось, собрались вокруг Суизина на вершине холма.

Но жадный форсайтский дух Суизина бодрствовал; он пустился в далекое странствование по неведомым чащам фантазии, вслед за теми двумя, посмотреть, что они делают в роще — в той роще, которую Весна наполнила запахом земли и набухающих почек, пением птиц без числа, полчищем колокольчиков и нежной молодой травы, золотом солнца, разлившимся по верхушкам деревьев; посмотреть, как те двое идут рядом, плечо к плечу, по узкой тропинке, идут так близко, что то и дело касаются друг друга; заглянуть в темные глаза Ирэн, от которых Весна, словно от воришек, не уберегла своего сердца. И дух его, как незримый страж, останавливался вместе с ними взглянуть на мертвый пушистый комочек крота, серебристую шкурку которого еще не тронули ни роса, ни дождь; посмотреть на склоненную голову Ирэн, на ее мягкие, подернувшиеся грустью глаза; на молодого человека, не сводившего с нее пристального, странного взгляда. Дух Суизина шел с ними дальше, через вырубку, расчищенную топором дровосека, по смятому ковру колокольчиков, мимо срубленного дерева, лежавшего рядом с зияющим раной пнем. Вместе с ними перелез через упавший ствол и отправился дальше, к опушке, откуда открывалась неведомая страна, издавека славшая им свое «ку-ку! ку-ку!»

Молча стоит он рядом с ними, встревоженный их молчанием! Очень странно, очень подозрительно!

Потом назад, словно виноватый, через рожицу, назад к вырубке, все еще молча, среди пения птиц, не затихавших ни на минуту, среди буйных запахов... гм! чем это пахнет? Похоже на ту травку, которую кладут в... Назад к стволу, лежавшему поперек тропинки.

И дух Суизина — невидимый, тревожный — носится, стараясь прошуметь крыльями у них над головой, видит, как она встает на упавшее дерево. ее прекрасное тело чуть покачивается, она улыбается молодому человеку, а он смотрит на нее странными, сияющими глазами; вот она скользит — а! падает ему на грудь — а-ах! ее мягкое теплое тело в его объятиях, лицо прячется от его губ; поцелуй; она отпрянула назад; возглас: «Вы же знаете, я люблю вас!» Она знает — вот как? Любовь! Ха!

Суизин проснулся, чувствуя себя совершенно разбитым. Во рту неприятный вкус. Где это он?

Ах черт! Заснул!

Ему снился какой-то новый суп, пахнувший мятой.

Где эти двое? Куда они забрались? Левая нога у него затекла.

— Адольф!

Этого бездельника тоже нет; бездельник спит где-нибудь!

Он вытянулся во весь рост, квадратный, массивный, в меховом пальто, тревожно посмотрел вниз, на поле, и вскоре увидел их.

Ирэн шла впереди; этот молодчик — как его прозвали: «пират»? — с унылым видом плелся сзади: ему, должно быть, здорово влетело. Поделом! Нечего было таскать ее бог знает куда, чтобы посмотреть на дом! На любой дом лучше всего смотреть с лужайки.

Они заметили его. Он поднял руку и судорожно замахал им. Но они остановились. Зачем остановились? О чем они говорят, говорят без конца? Вот опять пошли. Она, должно быть, отчитывает его, у Суизина нет на этот счет никаких сомнений: за такой дом следует отчитать — экая уродина, он таких домов и не видывал.

Суизин воззрился на их лица белесыми неподвижными глазами. У этого молодчика очень странный вид!

— Ничего хорошего у вас не получится! — брюзгливо сказал он, показывая на дом. — Слишком новомодно!

Босини посмотрел на Суизина, как будто не слыша его слов. И Суизин впоследствии описал его тете Эстер так: «Экстравагантная личность! Весьма странная манера смотреть на своего собеседника... Корявый субъект!»

Что дало ему повод к таким психологическим прозрениям, Суизин не сказал; возможно, виной тому были крутой лоб, выдающиеся скулы и подбородок Босини или какое-то голодное выражение его лица, что в корне расходилось с представлением Суизина о той спокойной сытости, которая является неотъемлемым качеством истого джентльмена.

Он оживился при упоминании о чае. Правда, чай — презренный напиток — Джолион торговал чаем и нажил на нем большие деньги, — но теперь, чувствуя жажду и неприятный вкус во рту, Суизин был готов пить все что

угодно. Ему очень хотелось рассказать Ирэн, какой у него неприятный вкус во рту — она всегда ему сочувствует, — но говорить на такие темы не принято; он провел языком по деснам и легонько прищелкнул им о небо.

В углу палатки Адольф возился с чайником, склонив над ним свои кошачьи усы. Как только они вошли, он оставил чайник и занялся бутылкой шампанского. Суизин улыбнулся и, кивнув в сторону Босини, сказал: — Да вы настоящий Монте-Кристо!

Этот знаменитый роман, одна из пяти-шести книг, прочитанных Суизином, произвел на него неизгладимое впечатление.

Взяв со стола бокал, Суизин отставил руку, разглядывая вино на свет: хоть он и чувствует сильную жажду, но всякую бурду пить не станет! Затем, поднеся бокал к губам, сделал глоток.

— Недурно, — сказал он наконец, водя бокалом перед самым носом, — но далеко до моего Хайдсика!

В эту минуту у него и мелькнула мысль, которую позднее, уже у Тимоти, он изложил так:

— Ни капельки бы не удивился, если бы мне сказали, что этот архитектор равнодушен к миссис Сомс!

И с этих пор его белесые круглые глаза уже не покидало выражение любопытства, рожденного таким интересным открытием.

— Он смотрел на нее, как собачонка, — рассказывал Суизин миссис Смолл. — Корявый субъект. И ничего удивительного — она очаровательная женщина и, надо отдать ей должное, скромна, как полевой цветок! — Смутное воспоминание об аромате, исходившем от Ирэн, как от цветка, который прикрывает лепестками свое благоухающее сердце, исторгло из Суизина этот образ. — Но я не был окончательно уверен в этом, пока не заметил, как он поднял ее платок.

Глаза миссис Смолл загорелись от волнения.

— И отдал ей? — спросила она.

— Отдал?! — сказал Суизин. — Так и присосался к нему — воображал, что я ничего не вижу.

У миссис Смолл перехватило дыхание — она лишилась дара речи от любопытства.

— Но с ее стороны не чувствовалось ни малейшего

поощрения...— начал было Суизин, но запнулся и минуты две молча таращил глаза, опять приведя тетю Эстер в замешательство: он вдруг вспомнил, что, уже сидя в фаэтоне, Ирэн вторично подала руку Босини и к тому же долго не отнимала ее... Тогда Суизин лихо стегнул лошадей, не желая ни с кем делиться обществом Ирэн. Но она оглянулась и даже не ответила на его первый вопрос; и лица ее Суизин не мог рассмотреть — она опустила голову.

Есть где-то картина (Суизин ее, конечно, не видел), на которой изображен человек, сидящий на скале, а рядом с ним, омываемая тихой зеленой волной, положив руку на обнаженную грудь, лежит морская нимфа. Легкая улыбка блуждает на ее губах — улыбка, которая говорит о полной покорности и о затаенном счастье. Может быть, и Ирэн улыбалась той же улыбкой, сидя рядом с Суизином.

Разомлев от шампанского, чувствуя, что теперь уж он завладел Ирэн полностью, Суизин поделился с ней всеми своими горестями: глухим раздражением, которое вызывал у него новый шеф в клубе; беспокойством по поводу дома на Уигмор-стрит, съемщик которого разорился, подлец, помогая своему зятю — заботился бы лучше о своих собственных делах; пожаловался и на глухоту и на боль в правом боку. Она слушала, и в ее полузакрытых глазах стояли слезы. Суизин решил, что его горести повергли Ирэн в глубокое раздумье, и ему стало ужасно жалко самого себя. И вместе с тем меховое пальто на шелковых шнурах через всю грудь, цилиндр, сдвинутый набекрень, и красивая женщина, сидевшая в его фаэтоне, придавали ему такую элегантность, какой он не чувствовал в себе еще никогда в жизни.

Но какой-то лавочник, выехавший со своей девицей на воскресное катанье, был о себе, по-видимому, столь же высокого мнения. Этот субъект разогнал своего ослика в галоп рядом с фаэтоном Суизина и восседал в таратайке, прямой и неподвижный, словно восковая кукла, величественно уткнув подбородок в красный шарф точь-в-точь, как Суизин свой — в пышный галстук; а девица с развевающимся по ветру потрепанным боа корчила из себя светскую даму. Ее кавалер помахивал палкой с обрывком веревки на конце, с поразительной точ-

ностью воспроизводя взмахи кнута Суизина, и, пяля глаза на свою даму, становился до странности похожим на Суизина с его первобытно-неподвижным взглядом.

Сначала Суизин не обращал внимания на это ничтожество, но мало-помалу пришел к убеждению, что его передразнивают. Он стегнул лошадей. Однако оба экипажа, как нарочно, продолжали катиться рядом. Желтое одутловатое лицо Суизина покраснело; он замахнулся кнутом, чтобы вытянуть лавочника, и только вмешательство провидения уберегло его от недостойного поступка: навстречу из ворот выехала повозка, фаэтон и таратайка столкнулись, задели друг друга колесами, и более легкий экипаж опрокинулся.

Суизин даже не оглянулся. Ни за что на свете не станет он останавливать лошадей и помогать этому негодю. Сломал шею — и поделом.

Но он не мог бы остановить экипаж, даже если б захотел помочь. Лошади понесли. Фаэтон бросало из стороны в сторону, прохожие поворачивали испуганные лица вслед мчавшимся лошадям. Толстые руки Суизина, вытянутые во всю длину, изо всех сил натягивали вожжи. Щеки его надулись, губы были сжаты, одутловатое лицо побагровело от гнева.

Ирэн держалась за поручни и при каждом толчке крепко сжимала их рукой. Суизин расслышал ее голос:

— Мы разобьемся, дядя Суизин?

Он ответил, еле переводя дух:

— Пустяки, горячатся немного!

— Я первый раз такое испытываю.

— Не шевелитесь! — Он покосился на нее. Она улыбалась и была абсолютно спокойна. — Сидите смирно! — повторил он. — Не бойтесь, я доставлю вас домой.

И в этот момент, когда Суизин напрягал все усилия, чтобы остановить лошадей, его поразили слова Ирэн, произнесенные голосом, непохожим на ее обычный голос:

— Мне все равно, попаду я домой или нет!

Фаэтон так тряхнуло, что возглас удивления застрял у Суизина в горле. Подъем лошади взяли уже тише, перешли на рысь и, наконец, остановились сами.

— Когда я их остановил, — рассказывал Суизин у

Тимоти,— она сидела такая же спокойная, как я сам. Черт возьми! Точно ей было совершенно безразлично, сломает она себе шею или не сломает! Как это она сказала? «Мне все равно, попаду я домой или нет!» — Наклонясь над своей тростью, он прохрипел к величайшему ужасу миссис Смолл: — И ничего удивительного — с такой деревяшкой вместо мужа, как ваш Сомс!

Суизин не задумался над тем, что делал Босини, оставшись один после их отъезда,— пошел ли он бродить, как собачонка, с которой Суизин сравнил его; бродить в роще, где все еще бушевала весна, все еще слышался издалека зов кукушки; прижимал ли он к губам платок Ирэн, вдыхая его аромат вместе с запахом мяты и тмина. Бродил ли с болью в сердце, такой острой, такой невыносимой, что вот еще немного и роща услышит его рыдания. В самом деле, что он делал там один? Откровенно говоря, по дороге к Тимоти Суизин успел окончательно забыть о Босини.

IV

ДЖЕМС РЕШИЛ УБЕДИТЬСЯ СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗАМИ

Люди, не имеющие представления о Форсайтской Бирже, наверное, не смогли бы предугадать то волнение, которое вызвала среди Форсайтов поездка Ирэн в Робин-Хилл.

После того как Суизин сделал у Тимоти полный отчет об этом памятном дне, рассказ его, уже с едва уловимым оттенком любопытства, не без легкого коварства, но с искренним желанием сделать добро, был передан Джун.

— Ты только подумай, милочка, какой ужас! — закончила тетя Джули. — Заявить, что ей не хочется ехать домой! Что это значит?

Рассказ тетки порастил Джун. Она выслушала его, мучительно краснея, и вдруг поднялась, быстро пожала тете Джули руку и ушла.

— Она прямо-таки груба! — сказала миссис Смолл тете Эстер после ухода внучки.

То, как Джун восприняла эту новость, получило соответствующее истолкование. Она взволновалась. Зна-

чит, там происходит что-то неладное. Странно! Ведь они с Ирэн были такими друзьями!

Все это слишком хорошо подтверждало те намеки и слухи, которые циркулировали последнее время. Вспоминался рассказ Юфимии о театре... Мистер Босини постоянно бывает у Сомса? Вот как? Впрочем, конечно, что ж тут удивительного — ведь он строит дом! Обо всем говорилось обиняками. Необходимость говорить открыто возникала на Форсайтской Бирже только в крайних, совершенно исключительных случаях. Аппарат этот был слишком хорошо налажен: малейшего намека, выраженного мимоходом сожаления или недоверия было достаточно, чтобы душа семьи — такая отзывчивая — заволновалась. Никто из Форсайтов не хотел, чтобы это волнение причинило кому-нибудь неприятность — совсем нет; они действовали с самыми лучшими намерениями в твердой уверенности, что каждый из них связан крепкими узами с душой семьи.

И в основе всех пересудов лежала доброта; она проскальзывала в визитах, которые наносились с целью проявить участие, согласно лучшим обычаям общества, оказать истинное благодеяние страждущим, а заодно утешиться мыслью, что люди страдают от того, от чего не страдаю я сам. В сущности говоря, только потребность «провентилировать вопрос», потребность, на которой держится и наша пресса, привела, например, Джемса к миссис Септимус, миссис Септимус к детям Николаса, детей Николаса к кому-то еще и так далее, и так далее. Великий класс, принявший Форсайтов в свое лоно как полноправных членов, требовал от них большой прямоты и еще большей сдержанности. Такое сочетание обеспечивало им право на участие в жизни этого великого класса.

Форсайтская молодежь, как и следовало ожидать, в большинстве случаев восставала против контроля над собой, часто заявляя об этом совершенно открыто; но не приметный для глаза магнетический ток семейных пересудов обладал такой силой, что они просто не могли не знать друг о друге всей подноготной. Оставалось только махнуть рукой и подчиниться.

Один из них (молодой Роджер) сделал героическую попытку высвободить молодое поколение из-под ига и

назвал Тимоти «старым хрычом». Отдача после такого выстрела дала себя почувствовать немедленно же: слова его в самой деликатной форме были переданы тете Джули, которая возмущенным голосом повторила их миссис Роджер, и отсюда уже они вернулись к молодому Роджеру.

И ведь в конце концов страдания выпадали только на долю тех, кто поступал дурно: например, на долю Джорджа, проигравшего такие деньги на бильярде, или того же молодого Роджера, который чуть не женился на девушке, по слухам, уже связанной с ним узами естества, или опять же на долю Ирэн, которая, как все думали, хоть и не произносили этого вслух, ступила на опасный путь.

Семейные толки приносили с собой не только удовольствие, но и пользу. Столько часов пробежало незаметно в доме Тимоти на Бэйсуотер-Род — часов, которые могли бы показаться и пустыми и долгими для троих его обитателей, а в необъятном Лондоне дом Тимоти был всего-навсего одним из сотен домов, где живут нейтральные представители обеспеченного класса, те, что уже не участвуют в битвах и ищут оправдания своей жизни в интересе к битвам других людей.

Тоскливым было бы существование на Бэйсуотер-Род, если бы лишить его сладости семейных сплетен. Слухи и толки, пересуды, предположения наполняли дом жизнью, были дороги и милы сердцу, как те малютки, лепета которых не хватало брату и сестрам на их жизненном пути. Разговоры ближе всего подводили к обладанию этими детьми и внуками, к которым страстно тянулись их добрые сердца. Правда, вряд ли сердце Тимоти тянулось так уж страстно, но достоверно известно, что появление на свет новых Форсайтов совершенно выводило его из равновесия.

Напрасно молодой Роджер говорит: «Старый хрыч!», напрасно Юфимия всплескивает руками: «Ох, уж эта тройца!», заливается беззвучным смехом и взвизгивает. Напрасно, и не так уж хорошо с их стороны.

Положение, создавшееся к этому времени, могло показаться, особенно на взгляд Форсайтов, странным, чтобы не сказать «немыслимым», однако, учитывая некото-

рые факты, придется признать, что ничего странного в нем не было.

Кое-что Форсайты упускали из виду.

И прежде всего, привыкнув к степенности благополучных браков, они забывали, что Любовь не тепличный цветок, а свободное растение, рожденное сырой ночью, рожденное мигом солнечного тепла, поднявшееся из свободного семени, брошенного возле дороги свободным ветром. Свободное растение, которое мы зовем цветком, если волей случая оно распускается у нас в саду, зовем плевелом, если оно распускается на воле; но цветок это или плевел — в запахе его и красках всегда свобода!

Кроме того, — факты и цифры, из которых складывалась жизнь Форсайтов, мешали им осознать эту истину, — они не всегда понимали, что стоит только подняться этому свободному растению, как люди, словно мошки, летят на бледный язычок его пламени.

История с молодым Джолионом отошла далеко в прошлое: они снова были готовы считать, что люди их круга не выходят за ограду, чтобы сорвать этот цветок; что любовь — это нечто вроде кори, настигающей человека в положенное время, с тем чтобы он отделался от нее раз и навсегда и, излечившись от любви, как от кори, целительной смесью из масла и меда, обрел спокойствие в брачном союзе.

Странные слухи, ходившие о Босини и миссис Сомс, никого так не волновали, как Джемса. Джемс забыл то время, когда, худой, с рыжеватыми бакенбардами, обрамлявшими его бледное лицо, он неотступно следовал за Эмили в дни своего сватовства. Забыл и маленький домик около Мейфера¹, где он провел первые дни после женитьбы, точнее, забыл первые дни, но не домик — Форсайт никогда не забудет дома; впоследствии Джемс продал его с прибылью в четыреста фунтов чистых.

Джемс давно забыл то время, полное надежд, и страхов, и сомнений относительно благоразумия такого брака (у хорошенькой Эмили не было денег, а сам он зарабатывал² какую-нибудь тысячу в год), и то странное,

¹ Фешенебельный квартал лондонского Вест-Энда.

непреодолимое чувство, которое овладело им с такой силой, что ему не оставалось ничего другого, как умереть или жениться на этой девушке с прекрасными волосами, собранными на затылке жгутом, прекрасными плечами, выступавшими над плотно облегающим ее грудь корсажем, прекрасной фигуркой, запрятанной в клетку кринолина необъятной ширины.

В свое время Джемс прошел сквозь горнило любви, но он прошел и сквозь поток долгих лет, потушивших огонь в этом горниле, он принял от жизни самый печальный дар ее — забыл, что такое любовь.

Забыл! Забыл так основательно, что забыл и то, что все уже забыто.

И вдруг до него дошли слухи, слухи о жене сына. Смутные, они пронеслись тенью среди осязаемого, понятного мира вещей; странные, неуловимые, они казались призраками и, подобно призракам, вселяли необъяснимый страх.

Джемс пытался разобраться в этих слухах, но с таким же успехом он мог бы применить к себе одну из тех житейских драм, которые ежедневно попадают в вечерних газетах. Он просто был не в состоянии понять, в чем тут дело. Все это пустяки. Все это глупые выдумки. У нее не такие гладкие отношения с Сомсом, какие могли бы быть, но она милая, славная женщина — милая, славная!

Подобно значительному большинству людей, Джемс любил посмаковать скандальные истории, и нередко можно было услышать, как он, облизнув губы, деловито отпускал такое замечание: «Да-да, она с молодым Дайсоном; говорят, их видели в Монте-Карло!»

Но над подлинным значением таких историй — над тем, как они начинаются, как протекают и что ждет их в будущем, — он никогда не задумывался; он не знал, что таилось под ними, из каких мук и восторгов они складывались, какой медлительный грозный рок вырастал за этими иногда неприглядными в своей наготе, но большей частью пикантными фактами, которые открывались его взору. Он не порицал, не хвалил таких историй, не делал из них каких-либо выводов или обобщающих заключений, а просто жадно прислушивался к ним и повторял то, что слышал, получая от этих пересудов

большое удовольствие, как от предобеденной рюмки хереса или английской горькой.

Теперь же, когда самого Джемса коснулось нечто подобное, вернее — какой-то слух, легчайшие намеки, он почувствовал себя, точно в тумане, который наполняет рот чем-то тошнотворным и липким и мешает дышать.

Скандал! Это грозит скандалом!

Только повторяя это слово, мог Джемс сосредоточиться на нем, вникнуть в его смысл. Он забыл уже те ощущения, без которых нельзя понять развития, судьбы и сущности подобных событий, ему уже не дано было знать, что люди могут идти на риск ради страсти.

Одно предположение, будто среди его знакомых, тех, что изо дня в день ходят в Сити и вершат там свои дела, а в свободное время покупают акции, дома, обедают, может быть, даже играют в карты, одно предположение, что среди них найдется человек, способный рисковать ради такой туманной, такой условной вещи, как страсть, показалось бы ему просто нелепым.

Страсть! Действительно, он кое-что слышал о ней, и такие правила, как «Никогда нельзя оставлять вдвоем молодого мужчину и молодую женщину», залегли у него в мозгу, точно параллели на географической карте (когда дело касается «основы основ», Форсайты обнаруживают подлинный вкус в реалистическом подходе к жизни), но все, что начиналось дальше, Джемс воспринимал только через магическое слово «скандал».

Да нет! Это неправда, этого не может быть. Он и не думает тревожиться. Ирэн — славная, милая женщина. Но стоит только подпустить к себе такие мысли — и кончено! Характер у Джемса был беспокойный — он принадлежал к тому типу людей, которым нелегко отделаться от раз запавшего в голову подозрения и которые мучаются тревожными предчувствиями и собственной нерешительностью. Боясь выпустить из рук что-то такое, что можно было бы удержать, действуя иным способом, Джемс просто физически не мог прийти к определенному решению без твердой веры в то, что всякий иной путь привел бы его к потерям.

Однако в жизни Джемса было много таких случаев, когда окончательное решение зависело не от него. Так случилось и на этот раз.

Что предпринять? Поговорить с Сомсом? Но этим только испортишь дело. Да в конце концов все это пустяки, он уверен, что пустяки.

Всему причиной дом. Эта затея не нравилась ему с самого начала. Зачем Сомсу понадобилось перебираться за город? Наконец, если ему так уж хочется швырять деньги на постройку дома, почему не пригласить первого-классного архитектора вместо этого Босини, о котором никто ничего не знает толком? Он ведь предупреждал. Вот теперь говорят, что постройка обойдется Сомсу куда дороже, чем он рассчитывал.

Последнее обстоятельство больше всего остального и помогло Джемсу уяснить всю опасность положения. С этими «талантами» всегда так; разумному человеку не стоит с ними и связываться. Он ведь и Ирэн предостерегал. Вот смотрите теперь, что получилось!

И вдруг Джемса осенило: надо поехать в Робин-Хилл и убедиться во всем собственными глазами. Мысль, что можно самому взглянуть на этот дом, рассеяла тревогу, обволакивавшую Джемса, как туман, и почему-то доставила ему удовольствие. Душевный покой принесло, вероятно, само решение предпринять что-то — точнее, съездить и посмотреть какой-то дом.

Джемсу казалось, что, всматриваясь в здание из кирпича и известки, из камня и дерева — в то самое здание, которое выстроила эта подозрительная личность, он проникнет в тайну слухов, ходивших вокруг имени Ирэн.

И, не сказав никому ни слова, Джемс отправился в кэбе на вокзал, доехал поездом до Робин-Хилла и, не найдя на станции лошадей, как это и полагалось в здешних местах, был вынужден пойти дальше пешком.

Он медленно поднимался в гору, сутулясь, с трудом сгибая свои острые колени, опустив голову, но все такой же опрятный, в сверкающем чистотой цилиндре и пальто, всегда находившихся дома под тщательным наблюдением. За вещами Джемса следила Эмили; то есть сама она, конечно, не следила — женщины с положением не следят за тем, пришиты ли у членов их семьи пуговицы, а Эмили была женщина с положением — она следила за тем, чтобы следил лакей.

Джемсу пришлось трижды спросить дорогу; и ка-

ждый раз он повторял полученные указания, затем просил снова повторить их и повторял сам еще раз; Джемс был человек разговорчивый, а кроме того, когда идешь по незнакомым местам, излишняя осторожность делу не повредит.

Всем попадавшимся на пути Джемс внушал, что ищет *новый* дом; только тогда, когда ему показали крышу, видневшуюся из-за деревьев, он окончательно убедился, что его посылают по правильной дороге.

Низкие облака, застилавшие небо, казалось, нависали над землей, как покрытый сероватой известью потолок. В воздухе не чувствовалось ни свежести, ни запаха травы. В такой день даже английские рабочие делали только то, что с них требовалось, и на постройке не было слышно обычного гула разговоров, под которые быстрее пробегают часы труда.

По недостроенному дому не спеша ходили люди, слышалось то постукивание молотка, то грохот железа или звон пилы, то тачка катилась по деревянному настилу; собака десятника, привязанная к дубовой балке, время от времени начинала тихо скулить, выводя голосом нотки, напоминавшие пение закипающей в чайнике воды.

Только что вставленные и замазанные мелом стекла смотрели на Джемса, как глаза слепого пса.

Звуки стройки поднимались к сероватому небу, сливаясь в хор, нестройный и унылый. Но дрозды, искавшие червей в только что разрытой земле, молчали.

Джемс пробрался между кучами гравия — к дому уже прокладывалась дорога — и подошел к подъезду. Здесь он остановился и поднял глаза. С этого места не так уж много можно было увидеть, и это немного Джемс сразу же окинул взором; но в таком положении он простоял не одну минуту, и кто знает, какие мысли бродили у него в голове.

Светло-голубые глаза Джемса, смотревшие из-под седых, похожих на маленькие рожки бровей, не двигались; выдававшаяся вперед длинная верхняя губа, обрамленная пышными седыми бакенбардами, дрогнула раз-другой; глядя на сосредоточенное выражение его лица, нетрудно было догадаться, от кого Сомс унаследовал свой угрюмый вид. Джемс словно повторял про себя: «Да, сложная штука — жизнь!»

В таком положении застал его Босини.

Джемс перевел взгляд с заоблачных высот на лицо Босини, который посматривал на него с насмешливо-презрительным видом.

— Здравствуйте, мистер Форсайт! Приехали убедиться собственными глазами?

Как мы уже знаем, Джемс именно за этим и приехал, и ему сразу стало не по себе. Тем не менее он протянул руку и сказал: «Здравствуйте!» — не глядя на Босини.

Босини с насмешливой улыбкой пропустил его вперед.

Эта любезность заставила Джемса насторожиться.

— Давайте сначала обойдем кругом, — сказал он, — посмотрим, что у вас тут происходит!

Терраса, выложенная тесаным камнем, с бордюром в три-четыре дюйма высотой, огибала дом с юго-востока и юго-запада, спускаясь по краям к свежевзрыхленной земле, приготовленной под газон. Джемс пошел вдоль террасы.

— Во сколько же все это обошлось? — осведомился он, увидев, что терраса заворачивает за угол дома.

— Как вы думаете? — спросил Босини.

— Понятия не имею! — ответил Джемс, слегка озадаченный. — Фунтов двести — триста, наверно!

— Совершенно правильно!

Джемс испытующе взглянул на архитектора, но тот даже глазом не моргнул, и Джемс решил, что не расслышал ответа.

У входа в сад он остановился и посмотрел на открывавшийся перед ним вид.

— Это надо срубить, — сказал он, показывая на старый дуб.

— Вот как? Вам кажется, что за свои деньги вы недостаточно пользуетесь видом из-за этого дерева?

Джемс снова недоверчиво посмотрел на Босини — странный подход к вещам у этого молодого человека.

— Не понимаю, — сказал он растерянным, взволнованным голосом, — зачем вам понадобилось это дерево.

— Завтра же оно будет срублено, — сказал Босини. Джемс испугался.

— Не вздумайте сказать, что это я велел срубить. Я тут совершенно ни при чем!

— Да?

Джемс взволнованно продолжал:

— При чем здесь я? Какое это имеет ко мне отношение? Делайте все под свою ответственность.

— Вы позволите сослаться на вас?

Джемс окончательно перепугался.

— Не понимаю, зачем вам понадобилось ссылаться на меня,— пробормотал он,— и вообще оставьте дерево в покое. Это не ваше дерево!

Он вынул шелковый носовой платок и вытер лоб. Они вошли в дом. Внутренний двор поразил Джемса не меньше, чем Суизина.

— Вы, должно быть, посадили сюда уйму денег,— сказал он после долгого созерцания колонн и галерей.— Во что, например, обошлись эти колонны?

— Не могу вам точно сказать,— задумчиво ответил Босини,— но действительно сюда высажена уйма денег!

— Ну еще бы,— сказал Джемс.— Еще бы...

Он поймал на себе взгляд архитектора и осекся. И в дальнейшем, собираясь спросить, сколько стоила та или другая вещь, Джемс каждый раз старался подавить свое любопытство.

Босини, по-видимому, решил показать ему все, и, будь Джемс менее наблюдательным, архитектор обвел бы его вокруг дома во второй раз. Кроме того, Босини проявлял такую готовность отвечать на любые вопросы, что Джемс все время был настороже. Он начал уже уставать от прогулки, ибо, несмотря на то, что поджарое тело его отличалось выносливостью, все-таки семьдесят пять лет давали себя чувствовать.

Джемс приуныл; все оставалось по-прежнему, осмотр дома не принес ему облегчения, на которое он смутно надеялся. Появились только еще более сильная неприязнь и недоверие к этому молодому человеку, утомившему его своей вежливостью, сквозь которую явно проскальзывало издевательство.

Этот молодчик был умнее, чем он думал, и красивее, чем ему хотелось бы. Джемса, который меньше всего на свете мирился с готовностью некоторых людей идти на риск, коробил беззаботно-небрежный тон Босини. И улыбка у него тоже непростая, появляется, когда ее меньше всего ожидаешь, и глаза какие-то странные. Бо-

сини напоминал Джемсу, как он потом выразился, голодную кошку. Точнее он не мог передать Эмили своего впечатления от той сдержанной злобы, вкрадчивости и насмешки, из которых складывалась повадка Босини.

Наконец, осмотрев решительно все до мелочей, Джемс снова прошел в ту дверь, через которую попал в дом, и, чувствуя, что время, силы и деньги потрачены понапрасну, призвал на помощь все свое форсайтское мужество и, пристально глядя на Босини, спросил:

— Вы, кажется, часто встречаетесь с моей невесткой. Ну как, ей нравится дом? Впрочем, она, должно быть, еще не видела его?

Он спрашивал, прекрасно зная о поездке Ирэн; разумеется, ничего дурного в самой поездке не было, если не считать этих странных слов: «Мне все равно, попаду я домой или нет», — и того, как отнеслась ко всему этому Джун.

Джемс, как он мысленно сказал себе, решил испытать Босини этим вопросом.

Архитектор ответил не сразу и долго смотрел на Джемса, смущая его пристальностью своего взгляда.

— Она видела дом, но я не знаю ее мнения.

Взволнованный, сбитый с толку, Джемс уже органически не мог остановиться.

— А! — сказал он. — Видела? Значит она была здесь с Сомсом?

Босини ответил с улыбкой:

— Нет, не с ним!

— Как? Она приезжала одна?

— Нет, не одна.

— Так с кем же тогда?

— Вряд ли мне следует рассказывать, с кем она приезжала.

Джемсу, прекрасно знавшему, что Ирэн приезжала с Суизином, такой ответ показался совершенно непонятным.

— Как так! — забормотал он. — Вы же знаете, что... — И запнулся, почувствовав вдруг, что становится на опасный путь.

— Ну что ж, — сказал он, — не хотите говорить, не надо. Мне никогда ничего не рассказывают.

К его удивлению, архитектор задал ему вопрос.

— Кстати,— сказал он,— кто-нибудь еще из ваших собирается приехать сюда? Я бы хотел быть на месте в это время!

— Кто-нибудь еще? — повторил Джемс, совершенно ошеломленный.— Кто же сюда поедет? Я ничего не знаю. До свидания!

Он протянул руку, не поднимая глаз, сунул свою ладонь в ладонь Босини и, взяв зонтик чуть повыше шелка, зашагал по террасе.

Заворачивая за угол, Джемс оглянулся и увидел, что Босини медленно идет за ним следом — «крадется вдоль стены,— мелькнуло у него,— точно кошка». Джемс не ответил архитектору, когда тот приподнял шляпу.

Выйдя на дорогу и скрывшись из виду у Босини, Джемс совсем замедлил шаги. Сгорбившись больше обычного, худой, голодный, обескураженный, побрел он на станцию.

Глядя на его печальное возвращение, «пират», быть может, пожалел, что так круто обошелся со стариком.

V

СОМС И БОСИНИ ПЕРЕПИСЫВАЮТСЯ

Джемс ничего не сказал сыну о своей поездке; но, зайдя однажды утром к Тимоти по поводу канализации, которую городские власти заставили провести в доме на Бэйсуотер-Род, он упомянул о постройке в Робин-Хилле.

Дом, по словам Джемса, был неплохой. Из него может кое-что получиться. Этот Босини по-своему толковый малый, но во что влетит Сомсу такая постройка, вот в чем вопрос!

Юфимия Форсайт, бывшая тут же,— она приехала к теткам за последним романом почтенного мистера Скоулза «Страсть и смирение», который пользовался таким успехом,— вмешалась в разговор:

— Я видела вчера Ирэн в универсальном магазине; она очень мило разговаривала с мистером Босини в колониальном отделе.

Такими невинными, в сущности, словами Юфимия описала сцену, которая на самом деле произвела на нее

глубокое и очень сложное впечатление. Она торопилась в отдел шелковых тканей при магазине церковно-экономического общества — учреждении, идеальная система организации которого, основанная на подборе солидной клиентуры, оплачивающей покупки до получения их на дом, заслуживала всяческого доверия со стороны Форсайтов, — чтобы подобрать по образчику шелк для матери, ожидавшей ее в экипаже.

Проходя через колониальный отдел, Юфимия с некоторым неудовольствием заметила прекрасную фигуру какой-то дамы, стоявшей спиной к ней. Незнакомка была так идеально сложена, так изящна, так хорошо одета, что Юфимия инстинктивно почувствовала во всем этом какое-то нарушение благопристойности: такая внешность, как подсказывала ей скорее интуиция, чем опыт, редко сочетается с добродетелью — по крайней мере в представлении самой Юфимии, спина которой всегда доставляла много хлопот портнихам.

Ее подозрения оправдались. Молодой человек, появившийся из аптекарского отдела, поспешно снял шляпу и подошел к этой неизвестной даме.

И тут Юфимия узнала обоих: дама, несомненно, была миссис Сомс, молодой человек — мистер Босини. Спешно занявшись покупкой тунисских фиников — неудобно же, в самом деле, показываться знакомым нагруженной свертками, да еще в такой ранний час, — Юфимия стала невольной, но весьма заинтересованной свидетельницей их короткой встречи.

Лицо миссис Сомс, обычно бледное, покрылось нежным румянцем; мистер Босини держался как-то странно, хотя был очень интересен. (Юфимия находила, что у него благородная внешность, а кличка «пират», которой его наградила Джордж, казалась ей чрезвычайно романтичной — просто очаровательной.) Босини точно просил о чем-то. Они так увлеклись своим разговором — вернее, Босини увлекся, потому что миссис Сомс больше молчала, — что загородили дорогу другим. Какому-то старенькому генералу, пробиравшемуся в табачное отделение, пришлось обойти их, но, взглянув на миссис Сомс, этот старый дуралей снял шляпу! Как это похоже на мужчин!

Но больше всего заинтриговали Юфимию глаза миссис Сомс. Она ни разу не взглянула на мистера Босини во время разговора, но когда он уходил, посмотрела ему вслед. Боже, какими глазами!

Взгляд Ирэн Юфимия долго не могла забыть. Не будет преувеличением, если мы скажем, что ее поразила тоска и нежность, светившиеся в этих глазах, словно она хотела вернуть его и взять обратно свои слова.

Впрочем, где уж тут заниматься наблюдениями, когда надо идти покупать шелк, но Юфимия была «ужасно заинтригована, ужасно!» Юфимия кивнула миссис Сомс, чтобы та знала, что ее видели; и, рассказывая после об этой встрече своей приятельнице Фрэнси (дочери Роджера), добавила: «Она так смутилась!..»

Джемс, не хотевший сразу же поверить в это новое доказательство правильности своих опасений, прервал Юфимию:

— Они, вероятно, выбирали обои.

Юфимия улыбнулась.

— В колониальном отделе? — мягко сказала она и, взяв со стола книгу, спросила: — Значит, вы разрешаете почитать ее, тетечка? До свидания! — и вышла из комнаты.

Джемс встал почти следом за ней; он и так засиделся.

Зайдя в контору «Форсайт, Бастард и Форсайт», он застал сына за составлением протеста по судебному делу. Сомс сдержанно поздоровался с отцом и, вынув из кармана письмо, сказал:

— Посмотрите, вас это должно заинтересовать.

Джемс прочел следующее:

«Слоун-стрит, 309 Д.
15 мая.

Дорогой Форсайт!

Постройка Вашего дома закончена, и я считаю свои обязанности выполненными. Но прежде чем продолжать внутреннюю отделку, которую я взял на себя по Вашей просьбе, мне бы хотелось предупредить Вас, что я согласен работать только в том случае, если мне будет предоставлена полная свобода действий.

Приезжая на стройку, Вы всякий раз привозите с собой новые предложения, которые идут вразрез

с моими планами. У меня имеются три Ваших письма, в каждом из них Вы настаиваете на какой-нибудь детали, которая мне самому и в голову бы не пришла. Вчера днем на постройку приезжал Ваш отец и сделал целый ряд не менее ценных замечаний.

Я еще раз прошу Вас обдумать, намерены ли Вы поручить мне отделку дома или нет. Что касается меня, то я предпочел бы последнее.

Но имейте в виду, что, взяв на себя эту работу, я буду действовать совершенно самостоятельно и не потерплю никакого вмешательства.

Если я возьмусь за дело, я выполню его как следует, но мне нужна полная свобода действий.

Готовый к услугам *Филип Босини*».

Трудно сказать, почему Босини написал такое письмо,— не исключена возможность, что одним из поводов был протест, внезапно вспыхнувший в нем против взаимоотношений с Сомсом — извечных взаимоотношений между Искусством и Собственностью, выраженных на многих необходимейших приспособлениях нашего века с предельным лаконизмом, который не уступит лаконизму лучших строк Тацита:

*Томас Т. Сорроу, изобретатель,
Берт М. Пэдленд, владелец изобретения.*

— Что же ты думаешь ответить? — спросил Джемс. Сомс даже не повернул головы.

— Я еще не решил, — сказал он и снова занялся составлением протеста.

Один из его клиентов застроил чужой участок и совершенно неожиданно получил неприятное уведомление о необходимости снести все постройки. Внимательно изучив обстоятельства дела, Сомс, однако, усмотрел за своим клиентом так называемое право добросовестного владения, и хотя участок, несомненно, принадлежал кому-то другому, застройщик имел все основания не выпускать его из рук и должен был этими основаниями воспользоваться; дав такой совет, Сомс следовал теперь морской команде: «Так держать».

Дельные указания Сомса создали ему прекрасную

репутацию; о нем говорили: «Обратитесь к молодому Форсайту — толковый малый!» И Сомс ценил такую репутацию превыше всего.

Природная молчаливость чрезвычайно помогала ему; ничто другое не могло в такой же степени внушить клиентам, в особенности клиентам состоятельным (а других у Сомса не было), абсолютной уверенности, что они имеют дело с надежным человеком. Да он и был надежный. Традиции, привычки, воспитание, унаследованные склонности, природная осторожность — все это вместе складывалось в профессиональную честность, не поддающуюся никаким соблазнам уже по одному тому, что в основе ее лежало врожденное отвращение к риску. Как мог он пасть, если душа его восставала против всего того, что ведет к падению! Человек, стоящий обеими ногами на полу, не может упасть.

И все те бесчисленные Форсайты, которым приходилось пользоваться услугами надежного человека для ведения нескончаемых дел, касающихся того или иного вида собственности (начиная с жен и кончая правом пользования водными источниками), находили, что обращаться к Сомсу можно без всякого риска и с выгодой для себя. Надменный вид и умение выискивать всевозможные прецеденты тоже шли ему на пользу — ни с того, ни с сего человек не станет держаться так надменно!

Сомс был фактически главой фирмы, хотя Джемс досих пор чуть ли не ежедневно заходил в контору убедиться собственными глазами, все ли тут в порядке; правда, выражалось это в том, что он садился в кресло, скрестив под столом ноги, слегка путал уже решенные вопросы и вскоре уходил; на третьего же компаньона — Бастарда, человека ничтожного, вваливали груды дел, но с мнением его никогда не считались.

Итак, Сомс упорно работал над составлением протеста. Однако из этого не следует, что он был совершенно спокоен. Вот уже сколько дней его мучило предчувствие неминуемой беды. Он пытался объяснить свое состояние нездоровьем — печень пошаливает, — но знал, что это неправда.

Сомс посмотрел на часы. Через пятнадцать минут надо быть на общем собрании акционеров «Новой уголь-

ной компании», возглавляемой дядей Джолионом; там он увидится с дядей и поговорит относительно Босини; что именно будет сказано, Сомс еще не решил, но во всяком случае до разговора с дядей Джолионом он не станет отвечать на это письмо. Сомс встал и спрятал черновик протеста в ящик стола. Пройдя в маленькую темную уборную, он зажег свет, вымыл руки коричневым виндзорским мылом и насухо вытер их полотенцем. Затем причесал волосы, стараясь не спутать пробора, потушил свет, взял шляпу и, сказав, что вернется к половине третьего, вышел на Полтри.

До конторы «Новой угольной компании» было недалеко: она находилась на Айронмонгер-Лейн. Там,— а не в «Кэннон-стрит отеле», облюбованном другими компаниями, ставившими дело на более широкую ногу,— и происходили общие собрания пайщиков «Новой угольной». Старый Джолион с самого начала взбунтовался против репортеров. Какое кому дело до его компаний, говорил он.

Сомс пришел минута в минуту и занял свое место среди членов правления, сидевших в ряд против акционеров, каждый за своей чернильницей.

В самом центре ряда бросались в глаза черный наглухо застегнутый сюртук и седые усы старого Джолиона, который сидел, откинувшись на спинку кресла и сомкнув кончики пальцев над отчетом правления.

По правую руку от Джолиона восседал всегда казавшийся чуточку неправдоподобным секретарь Хэммингс Похоронное Бюро; в его красивых глазах светилась глубокая-преглубокая печаль; за седеющей бородой, траурной, как и весь Хэммингс, угадывалось присутствие черного-пречерного галстука.

Повод для созыва собрания был действительно печальный: не прошло и шести недель с тех пор, как эксперт Скорьер, уехавший на рудники со специальным заданием, прислал телеграмму, извещавшую «Новую угольную» о том, что управляющий рудниками Пиппин покончил жизнь самоубийством, собравшись после двухлетнего молчания написать письмо в Лондон. Письмо это лежало сейчас на столе; его прочитают акционерам, которые безусловно должны быть посвящены во все обстоятельства дела.

Стоя спиной к камину и раздвинув фалды сюртука, Хэммингс не раз говорил Сомсу:

— То, чего наши акционеры не знают, и не стоит знать. Поверьте мне, мистер Сомс.

Сомс вспомнил, как во время одного из таких разговоров, при котором присутствовал старый Джолион, произошла маленькая неприятность. Дядя сердито взглянул на секретаря и сказал:

— Не говорите глупостей, Хэммингс! Не стоит знать то, что они знают,— вы, вероятно, это и хотели сказать! Старый Джолион не любил слушать вздор.

Злобно сверкнув глазами и заулыбавшись, как дрессированный пудель, Хэммингс разразился нарочито бурными аплодисментами и ответил:

— Вот это я понимаю! Хорошо сказано, сэр, прекрасно сказано. Ваш дядя, мистер Сомс, не упустит случая сострить!

В следующую встречу с Сомсом он воспользовался первой свободной минутой, чтобы сказать:

— Наш председатель сильно постарел за последнее время — трудно с ним; невероятно упрям, но чего же и ждать от человека с таким подбородком?

Сомс кивнул.

Все знали, что подбородок этот говорит об очень многом. Сегодня дядя Джолион казался встревоженным, несмотря на грозный вид, который он напускал на себя в дни общих собраний; Сомс окончательно решил поговорить с ним о Босини.

Слева от старого Джолиона сидел маленький мистер Букер. Этот тоже с грозным видом поглядывал по сторонам, словно выискивая среди присутствующих самого придирчивого акционера. Рядом с ним хмурился глухой член правления, а сзади глухого с кроткой миной сидел старый мистер Блидхэм, исполненный чувства собственной добродетели — вполне оправданного чувства, так как мистер Блидхэм твердо знал, что некий сверток, сопровождающий его на всех заседаниях, надежно спрятан за цилиндром (одним из тех цилиндров с прямыми полями, которые неизменно связываются в нашем представлении с пышным бантом галстука, чисто выбритыми щеками, ярким румянцем и седыми, аккуратно подстриженными бачками).

Сомс всегда посещал общие собрания; его присутствие считалось весьма желательным на тот случай, если вдруг «возникнет какое-нибудь недоразумение». С надменным, непроницаемым видом он осматривал комнату, на стенах которой висели планы рудника и гавани и большая фотография ствола шахты, оказавшейся на редкость нерентабельной. Эта фотография — свидетельство извечной иронии, таящейся во всех коммерческих начинаниях, — все еще сохраняла свое место на стене как изображение нежно любимого, но мертвого детища директоров.

И вот старый Джолион встал, чтобы огласить собравшимся свой отчет.

Пряча под олимпийским спокойствием вечную вражду, глубоко сидящую в груди каждого члена правления по отношению к акционерам, он спокойно смотрел на них. Смотрел на них и Сомс. Почти всех он знал в лицо. Вот, пристроив на коленях громадный цилиндр с низкой тульей, сидит Скрабсоул — поставщик дегтя, который, по выражению Хэммингса, является на собрания, только чтобы «устроить какую-нибудь гадость», сварливый старик с красным лицом и массивной челюстью. Дальше — его преподобие мистер Бомз, всегда предлагающий вынести благодарность председателю, в которой неизменно выражается надежда, что правление не забывает о воспитании христианского духа в своих служащих. У мистера Бомза был благой обычай ловить кого-нибудь из членов после собрания и выпрашивать, каковы перспективы на будущий год; в зависимости от ответа мистер Бомз в ближайшие же две недели покупал или продавал парочку акций.

Был среди присутствующих и майор О'Бэлли, который обычно не мог удержаться от коротенькой речи, хотя бы смысл ее заключался только в том, чтобы поддержать переизбрание контролера, и частенько внушал страх своей способностью перехватывать тосты — вернее, пожелания — у тех, кому в виде особой чести поручалось огласить эти пожелания, заранее записанные на маленьком листке бумаги.

Группа собравшихся ограничивалась этими да еще пятью-шестью солидными молчаливыми акционерами, к которым Сомс относился довольно сочувственно: хоро-

шие дельцы, любят сами присмотреть за делами без лишней суетни — солидные, почтенные люди, ежедневно бывают в Сити и возвращаются вечером домой к солидным, почтенным женам.

Солидные, почтенные жены! Мысль эта снова разбудила в Сомсе какое-то неясное беспокойство.

Что сказать дяде? Как ответить на это письмо?..

— Если кто-нибудь из акционеров желает задать вопрос, я готов ответить.

Мягкий стук. Старый Джолион бросил отчет на стол и замолчал, поворачивая большим и указательным пальцами очки в черепаховой оправе.

На губах Сомса промелькнула улыбка. Пусть поторопятся со своими вопросами! Он прекрасно знал, что дядя сейчас же скажет (идеальный метод): «В таком случае предлагаю считать отчет утвержденным!» Не надо давать им возможность прицепиться к чему-нибудь — акционеры народ медлительный.

Поднялся высокий седобородый человек с изможденным, недовольным лицом.

— Господин председатель, мне кажется, я имею право задать вопрос относительно указанной в отчете суммы в пять тысяч фунтов стерлингов «Вдове и семье (он сердито посмотрел по сторонам) покойного управляющего», который совершил такой... э-э... неблагоприятный (я подчеркиваю: неблагоприятный) поступок, покончив с собой в то время, когда компания так нуждалась в нем. Вы сказали, что договор, так злополучно расторгнутый им же самим, был подписан на пять лет, из которых истек только один год, и я...

Старый Джолион сделал нетерпеливый жест.

— Господин председатель, мне кажется, я имею право... я хотел бы знать, рассматривает ли правление выданную или назначенную к выдаче сумму как вознаграждение... э-э... покойному за те услуги, которые он мог бы оказать компании, если бы не покончил с собой, или нет?

— За прошлые услуги, которые, как известно всем нам и вам в том числе, очень ценились правлением.

— В таком случае, сэр, я должен сказать, что, поскольку услуги нашего управляющего—дело прошлое, я считаю такую сумму чрезмерной.

Акционер сел на место.

Старый Джолион переждал минуту и начал:

— Предлагаю считать...

Акционер снова встал:

— Осмелюсь спросить, отдают ли члены правления себе отчет в том, что они распоряжаются не своими... я не побоюсь сказать, что будь это их деньги...

Второй акционер, круглолицый, упрямый на вид — Сомс узнал в нем зятя покойного управляющего, — встал и заявил с жаром:

— Я считаю сумму недостаточной, сэр!

Тогда поднялся его преподобие мистер Бомз.

— Осмеливаясь высказать свое мнение, — начал он, — я должен отметить, что наш достойнейший председатель учитывает — по всей вероятности, учитывает — самый факт самоубийства, совершенного... э-э... покойным управляющим. Я не сомневаюсь, что председатель принял этот факт во внимание, так как — я говорю от своего имени, думаю, и от имени всех присутствующих («Браво, браво») — он пользуется нашим глубочайшим доверием. Никто из нас не откажется, надеюсь, совершить акт милосердия. Но я уверен, — он строго посмотрел на зятя покойного управляющего, — что наш председатель сумеет как-нибудь отметить, занесением ли в протокол или, быть может, лучше уплатой несколько меньшей суммы, наше глубочайшее сожаление, что столь нужный и ценный человек столь неблагочестивым путем покинул ту сферу, в которой дальнейшая его деятельность была бы в интересах как его самого, так и, смею сказать, в наших собственных. Мы не должны — нет, мы не можем! — поощрять такое пренебрежение долгом по отношению к человечеству и всевышнему.

Его преподобие мистер Бомз опустил на место. Зять покойного управляющего снова встал.

— Я настаиваю на своих словах, — сказал он, — сумма недостаточна!

Заговорил первый акционер:

— Я оспариваю законность такой выплаты. Я считаю ее незаконной. Здесь присутствует поверенный компании: полагаю, что я вправе осведомиться у него.

Взоры всех обратились на Сомса. Недоразумение возникло!

Он встал, сжав губы; от всей его фигуры веяло холодом, нервы были натянуты, он наконец-то оторвался от созерцания облака, которое смутно маячило у него в мозгу.

— Вопрос отнюдь не ясен,— сказал он тихим, тонким голосом.— И поскольку дальнейшее расследование этого дела не представляется возможным, законность такой выплаты вызывает большие сомнения. Если это признают желательным, дело можно передать в суд.

Зять управляющего нахмурился и сказал значительным тоном:

— Мы не сомневаемся, что дело может быть передано в суд. Могу я узнать фамилию джентльмена, давшего нам такую полезную справку? Мистер Сомс Форсайт? Ах вот как!

Он перевел выразительный взгляд с Сомса на старого Джолиона.

Бледные щеки Сомса вспыхнули, но надменность его осталась непоколебленной. Старый Джолион пристально посмотрел на говорившего.

— Если,— начал он,— зять покойного управляющего не имеет ничего сказать больше, я предлагаю считать отчет правления...

Но в эту минуту встал один из тех пяти молчаливых солидных акционеров, которые внушали симпатию Сомсу. Акционер сказал:

— Я категорически возражаю против этого пункта. Нам предлагают сделать пожертвование в пользу жены и детей этого человека, которых, как говорят, он содержал. Возможно, что так оно и было; но меня это совершенно не касается. Я возражаю с принципиальной точки зрения. Пора, наконец, покончить с этой сентиментальной филантропией. Она губит страну. Я не желаю, чтобы мои деньги попадали к людям, о которых мне ничего не известно, которые никак не заслужили этих денег. Я протестую *in toto*¹; это не деловая постановка вопроса. Предлагаю отложить утверждение отчета и изъять из него этот пункт.

Старый Джолион стоя выслушал речь солидного молчаливого акционера. Она нашла отклик в сердцах

¹ Целиком, с начала до конца (латинский юридический термин).

присутствующих—в ней звучал культ солидного человека, протест против великодушной щедрости, уже возникавший в те времена у здравых умов общества.

Слова «это не деловая постановка вопроса» нашли отклик даже среди членов правления; в глубине души каждый чувствовал, что так оно и есть на самом деле. Но все они знали властный характер и упрямство председателя. А он, вероятно, тоже понимал, что это не деловая постановка вопроса, но чувствовал себя связанным. Откажется он от своего предложения? Весьма сомнительно.

Все с интересом ждали, что будет дальше. Старый Джолион поднял руку; зажатые между большим и указательным пальцем очки в темной оправе угрожающе дрогнули.

Он обратился к солидному молчаливому акционеру: — Зная заслуги нашего покойного управляющего во время взрыва на рудниках, сэр, вы все-таки с полной серьезностью предлагаете изъять эту сумму из отчета?

— Да.

Старый Джолион поставил вопрос на голосование.

— Кто поддерживает это предложение? — спросил он, спокойно оглядывая акционеров.

И в эту минуту, глядя на дядю Джолиона, Сомс понял, какой силой воли обладает этот старик. Никто не шелохнулся. Не сводя глаз с молчаливого солидного акционера, старый Джолион сказал:

— Предлагаю считать отчет правления за тысяча восемьсот семьдесят шестой год принятым. Поддерживаете? Кто за? Кто против? Никого. Принято. Следующий вопрос, джентльмены...

Сомс улыбнулся. Дядя Джолион умеет поставить на своем!

Но тут внимание Сомса опять переключилось на Босини. Как странно, что мысли об этом человеке преследуют его даже в часы работы!

Поездка Ирэн в Робин-Хилл... ничего особенного тут нет, хотя она могла бы все-таки сказать ему об этом; но ведь она никогда ничего не рассказывает. С каждым днем Ирэн становится все молчаливее, все неприветливее. Поскорее бы достроить дом, переехать туда, разделиться с Лондоном! Ей не годится жить в городе; у нее

не такие уж крепкие нервы. Опять начались глупые разговоры об отдельной комнате!

Акционеры стали расходиться. Стоя под фотографией злосчастной шахты, его преподобие мистер Бомз дожимал Хэммингса разговорами. Сердито улыбаясь и морща лохматые брови, маленький мистер Букер сцепился на прощание с дряхлым Скрабсоулом. Они не терпели друг друга. Неприязнь эта возникла из-за договора на поставку дегтя, который правление заключило с племянником маленького мистера Букера, обойдя старика Скрабсоула. Сомс знал об этом от Хэммингса, любившего посплетничать, в особенности на счет членов правления, исключая, конечно, старого Джолиона, которого он побаивался.

Сомс выждал подходящий момент. Когда последний акционер скрылся за дверью, он подошел к дяде, который уже взялся за цилиндр.

— Мне нужно поговорить с вами, дядя Джолион.

Трудно сказать, каких результатов он ждал от этого разговора.

Несмотря на то мистическое благоговение, которое все Форсайты питали к старому Джолиону, побаиваясь его философских наклонностей или, может быть, его подбородка, как сказал бы Хэммингс, между дядей и племянником всегда чувствовалась какая-то враждебность. Она сквозила в том холодке, с которым они здоровались, в той уклончивости, с которой они отзывались друг о друге, и, вероятно, возникла потому, что старый Джолион ощущал спокойное упорство (он называл это упрямством) племянника и втайне сомневался, сумеет ли он выйти победителем в случае столкновения с Сомсом.

Эти два Форсайта при всей их подчас полярной противоположности обладали, каждый по-своему,— в значительно большей степени, чем остальные члены семьи,— способностью твердо и разумно подходить к делам, что является наивысшим достоинством великого класса собственников. И тот и другой при удачно сложившихся обстоятельствах могли бы сделать прекрасную карьеру; и тот и другой могли бы стать хорошими предпринимателями, государственными деятелями,— впрочем, старый Джолион, поддавшись настроению,— под влиянием сигары или красивого ландшафта,— был

бы способен если не пренебречь своими успехами, то во всяком случае усомниться в них, тогда как Сомс, не куривший сигар, был застрахован от этого.

Кроме того, старый Джолион не мог отделаться от ощущения боли при мысли, что сын Джемса — Джемса, которого он всегда считал глуповатым, — преуспевает в жизни, а его собственный сын...

И большую роль во всем этом играли те зловещие, неясные, но тем не менее тревожные слухи о Босини, которые докатились и до него: семейные сплетни не миновали старого Джолиона, как и остальных Форсайтов, и старик чувствовал себя уязвленным до глубины души.

Но характерная вещь: его раздражение было направлено не против Ирэн, а против Сомса. Мысль о том, что жена племянника (неужели он не может присмотреть за ней? О несправедливость! Как будто Сомс и так недостаточно присматривал!) отнимает жениха у его внучки, была невыносимо унижительна. И, видя надвигающуюся опасность, старый Джолион не старался укрыться от нее за нервозностью, как это делал Джемс, но сознавал своим ясным, спокойным умом, что такая вещь вполне правдоподобна: в Ирэн есть что-то очень привлекательное!

Выйдя из конторы компании на шумный, суетливый Чипсайд, старый Джолион уже предчувствовал, о чем будет говорить Сомс. Некоторое время оба молчали; племянник семенил осторожными шажками, дядя держался очень прямо и устало опирался на зонтик, как на трость.

Вскоре они свернули на сравнительно спокойную улицу, так как путь старого Джолиона лежал в направлении Мургэйт-стрит, где помещалась контора другой компании.

Сомс заговорил, не поднимая глаз:

— Я получил письмо от Босини. Прочтите; мне думается, что вас следует поставить в известность. Я истратил на этот дом гораздо больше, чем предполагал, и хотел бы выяснить положение.

Старый Джолион нехотя пробежал письмо.

— Тут все ясно, — сказал он.

— Он говорит о «свободе действий», — ответил Сомс. Старый Джолион взглянул на него. Долго сдержи-

ваемый гнев и неприязнь к этому молокососу, который начинает впутывать его в свои дела, подымались в нем.

— Если ты не доверяешь Босини, зачем же было приглашать его?

Сомс покосился на дядю.

— Теперь уже поздно сожалеть об этом,— сказал он.— Мне бы хотелось только иметь твердую уверенность, что он не заведет меня бог знает куда, если я предоставляю ему свободу действий. Может быть, вы согласитесь поговорить с ним, вас он послушает!

— Нет,— отрезал старый Джолион,— я не желаю вмешиваться в это дело!

В словах дяди и племянника чувствовался затаенный смысл, делавший их разговор гораздо более значительным, чем это могло показаться. И взгляд, которым они обменялись, свидетельствовал о том, что они знают это.

— Хорошо,— сказал Сомс,— я считал, что мне надо поговорить с вами хотя бы ради Джун; имейте в виду, я не потерплю никаких глупостей!

— Какое мне до этого дело! — оборвал его старый Джолион.

— Ну, не знаю,— сказал Сомс и, смущенный взглядом дяди, не мог продолжать.— Только не пеняйте потом, что я не предупредил вас,— хмуро добавил он, овладев собой.

— Не предупредил? Не понимаю, что ты хочешь сказать этим. Пристаешь ко мне со всякой ерундой! Я знать не хочу о твоих делах; улаживай их сам!

— Хорошо,— невозмутимо ответил Сомс,— так я и сделаю!

— До свидания,— сказал старый Джолион, и они расстались.

Сомс повернул обратно и, зайдя в один прославленный ресторан, заказал себе копченую семгу и стакан шабли; обычно среди дня он ел мало, большей частью закусывал прямо у буфета, находя, что стоячее положение полезно для его печени, которая была в совершенном порядке, но казалась Сомсу причиной всех его горестей.

Позавтракав, он медленно пошел в контору, опустив голову, не замечая людей, тысячами кишевших на улице, и эти люди, в свою очередь, тоже не замечали Сомса.

С вечерней почтой Босини получил следующий ответ на свое письмо:

«Форсайт, Бастард и Форсайт.
Поверенные в делах.
Полтри. Бранч-Лейн, 2001.
17 мая 1887 г.

Дорогой Босини!

Ваше письмо немало удивило меня. Мне казалось, что Вы всегда пользовались абсолютной «свободой действий», так как я не помню ни одного случая, чтобы те соображения, которые я имел несчастье высказывать, были бы приняты Вами во внимание. Предоставляя Вам, согласно Вашей просьбе, «полную свободу действий», я бы хотел, чтобы Вы уяснили себе, что общая стоимость дома со всей отделкой, включая Ваше вознаграждение (согласно нашей договоренности), не должна превышать двенадцати тысяч фунтов (£ 12 000). Эта сумма дает Вам очень широкие возможности и, как Вы знаете, сильно превышает мои первоначальные расчеты.

Всегда готовый к услугам Сомс Форсайт».

На следующий день он получил от Босини коротенькое письмо:

«Филип Бейнз Босини.
Архитектор.
Слоун-стрит, 309 Д.
18 мая.

Дорогой Форсайт!

Если Вам кажется, что в таком сложном вопросе, как отделка дома, я могу связать себя определенной суммой, то Вы ошибаетесь. Я вижу, что Вы тяготитесь нашим договором и мной самим, и поэтому предпочитаю отказаться.

Ваш Филип Бейнз Босини».

Сомс долго и мучительно обдумывал ответ и поздно вечером, когда Ирэн уже ушла спать, написал в столовой следующее письмо:

«Монпелье-сквер, 62.
19 мая 1887 г.

Дорогой Босини!

Я думаю, что в наших обоюдных интересах было бы крайне нежелательно бросать дело на данной

стадии. Я вовсе не хотел сказать, что перерасход суммы, указанной в моем письме, на десять, двадцать и даже пятьдесят фунтов послужит поводом для каких-либо недоразумений между нами. Поэтому прошу Вас подумать еще, прежде чем отказываться. Вам предоставлена «полная свобода действий» в пределах, указанных в нашей переписке, и я надеюсь, что при этих условиях Вы сумеете закончить отделку дома, которую, как я знаю, трудно ограничить определенной суммой.

Готовый к услугам Сомс Форсайт».

Босини ответил на следующий день:

«20 мая.

Дорогой Форсайт!

Согласен.

Ф. Босини».

VI

СТАРЫЙ ДЖОЛИОН В ЗООЛОГИЧЕСКОМ САДУ

Со вторым совещанием старый Джолион покончил быстро — присутствовали только члены правления. Он держался таким диктатором, что после его ухода все взбунтовались против самоуправства старика Форсайта, которое, как было сказано, просто нет сил сносить дальше.

Старый Джолион проехал подземной дорогой до остановки на Портлэнд-Род и оттуда нанял кэб до Зоологического сада.

Там у него было назначено свидание, одно из тех свиданий, которые за последнее время назначались все чаще и чаще и на которые его толкало беспокойство по поводу Джун и «перемены в ней», как он выражался.

Она пряталась, заметно худела; если он задавал какой-нибудь вопрос, она отмалчивалась, или отвечала резко, или готова была разрыдаться. Она невероятно изменилась, и все из-за этого Босини. Хоть бы рассказала, что с ней творится, — да нет, куда там!

И дома он не раз сидел в тяжелом раздумье за непрочитанной газетой, зажав в зубах потухшую сигару.

Каким товарищем она была для него еще трехлетней крошкой! И как он любил ее!

Силы, не считавшиеся ни с семьей, ни с классом, ни с обычаями, врывались в его жизнь; надвигавшиеся события, отворотить которые он был не властен, отбрасывали тень на его голову. И в старом Джолионе, привыкшем все делать по-своему, закипал гнев — он и сам не знал, против кого.

Досадуя на медленную езду, старый Джолион добрался наконец до ворот сада; и здоровый инстинкт, позволявший ему находить радость везде, где был хоть малейший намек на нее, прогнал его раздражение, пока он шел к условленному месту встречи.

Увидев старого Джолиона с каменной террасы, окружавшей ров с медведями, сын и внучата заторопились ему навстречу и повели его ко львам. Малыши прильнули к деду с обеих сторон, взяли его за руки, причем Джолли — испорченный мальчишка, весь в отца — волочил дедушкин зонтик по земле с таким расчетом, чтобы ручкой цеплять прохожих за ноги.

Молодой Джолион шел сзади.

Забавно было видеть отца и детей вместе, но это забавное зрелище вызывало у него улыбку сквозь слезы. Старик, гуляющий с двумя маленькими детьми, не такая уж редкость; однако молодому Джолиону казалось, что, глядя на отца в обществе Джолли и Холли, он проникает взором в то сокровенное, что таится в глубине наших сердец. Полная покорность, с которой старик отдавал всего себя этим малышам, уцепившим его за руки, была так трогательна, что молодой Джолион, быстро реагирующий на все явления жизни, шел сзади, бормоча себе под нос какие-то весьма выразительные словечки. Это зрелище действовало на него так, как оно не могло бы действовать на истого Форсайта, которого можно обвинить в чем угодно, только не в экспансивности.

Так они дошли до клетки со львами.

В тот день в Ботаническом саду было праздничное гулянье, и множество Форс... то есть хорошо одетых людей, которые держат собственные выезды, заполнило и Зоологический сад, чтобы как можно больше насмотреться всего за собственные деньги, прежде чем уехать обратно на Рэтленд-Гейт или Брайанстон-сквер.

— Давайте заедем в Зоологический! — говорили они друг другу. — Там очень забавно!

Вход стоил шиллинг, значит, простого народа там не бывало.

Они выстроились перед длинным рядом клеток и смотрели, как кровожадные рыжие звери мечутся за решеткой в ожидании единственного удовольствия, выпадающего им за сутки. Чем голоднее зверь, тем интереснее. Но почему это зрелище привлекало их — потому ли, что они завидовали такому аппетиту или проявляли более гуманные чувства и радовались, глядя, как быстро звери утоляют голод, — молодой Джолион не знал. До его слуха доносились обрывки разговоров: «Какой страшный тигр!» «Ну что за прелесть! Посмотри, какой у него ротик». «Да, славный зверь! Мама, не подходи так близко!»

И время от времени то один, то другой оглядывался по сторонам и похлопывал себя легонько по карманам, словно опасаясь, как бы молодой Джолион или кто-нибудь еще не покусился на их содержимое, предварительно напустив на себя безразличный вид.

Какой-то толстяк в белом жилете процедил сквозь зубы:

— Жадность — и больше ничего, не голодные же они в самом деле: сидят без движения.

В это время тигр схватил кусок кровавой печенки, и толстяк рассмеялся. Его жена в нарядном парижском туалете и в пенсне с золотой оправой возмутилась:

— Что тут смешного, Гарри! Ужасное зрелище!

Молодой Джолион нахмурился.

Обстоятельства его жизни — правда, теперь он смотрел на них уже с большим хладнокровием — сплошь и рядом вызывали у него вспышки презрения к окружающим; и свой сарказм молодой Джолион чаще всего изливал на представителей одного с ним класса — класса, который держит собственные выезды.

Засадить льва или тигра в клетку — самое настоящее варварство. Однако ни один цивилизованный человек не признает этого.

Отцу, например, вряд ли когда приходило в голову, что держать диких зверей за решеткой — варварство; он принадлежал к старой школе, считавшей, что павиа-

ны и пантеры, посаженные в клетку, являют собой весьма возвышенное и поучительное зрелище, вдобавок животные эти могут умереть от тоски и горя и заставить общество позаботиться о покупке новых зверей. В глазах отца, как и в глазах всех Форсайтов, удовольствие, которое они испытывали, глядя на прекрасных животных, сидевших в заточении, перевешивало все неудобства этого заточения для самих животных, коим бог столь неосмотрительно повелел жить на свободе. Им же самым лучше — клетка оберегает от бесчисленных опасностей, что подстерегают их на воле, дает возможность спокойно существовать в надежном, отгороженном от остального мира уголке! Да и вообще сомнительно, чтобы у диких зверей было какое-нибудь другое назначение, кроме как сидеть за решеткой!

Но так как беспристрастие было не чуждо молодому Джолиону, то он пришел к выводу, что называть варварством то, что есть лишь отсутствие воображения, — несправедливо: ведь никому из них не приходилось очутиться на месте зверя, посаженного в клетку, и напрасно было бы ждать, что эти люди поймут ощущения животного, лишенного свободы.

Они вышли из сада — Джолли и Холли в состоянии блаженного исступления, — и только тогда старому Джолиону представился случай поговорить с сыном о том, что лежало у него на сердце.

— Просто теряюсь, — сказал он, — если так будет продолжаться, я не знаю, чем она кончит. Просил ее позвать доктора — не желает. Ничего в ней нет моего. Вся в бабушку. Упряма как мул! Уж если заартачится, так кончено дело!

Молодой Джолион улыбнулся; глаза его скользнули по подбородку отца. «Оба хороши!» — подумал он, но промолчал.

— А тут еще этот Босини, — продолжал старый Джолион. — Меня так и подбивает всыпать этому молодчику как следует, но я не могу, а вот почему бы тебе не попробовать? — добавил он с сомнением в голосе.

— Что же он, собственно, сделал? По-моему, пусть лучше расходятся, если не могут поладить.

Старый Джолион взглянул на него. Затронув вопрос, касающийся взаимоотношений между полами, он сра-

зу же почувствовал недоверие к сыну. Джо, наверное, придерживается на этот счет весьма сомнительных взглядов.

— Не знаю, как ты на это смотришь,— сказал он.— Мне кажется, ты становишься на его сторону. Что ж, это не удивительно, но я считаю, что Босини ведет себя безобразно, и если он попадется мне когда-нибудь, я ему так и скажу.

Старый Джолион замолчал.

Невозможно обсуждать с сыном всю недопустимость поведения Босини. Разве сам он не совершил такого же (даже худшего) поступка пятнадцать лет назад? И последствиям этого безумия не видно конца!

Молодой Джолион тоже молчал; он сразу же понял мысли отца, так как, будучи свергнутым с тех высот, откуда все кажется слишком простым и очевидным, он поневоле приобрел проницательность и чуткость.

Его взгляды на вопросы пола, сложившиеся пятнадцать лет назад, в корне расходились со взглядами отца. Этой пропасти не перешагнешь.

Он сказал холодно:

— Босини, верно, увлекся другой?

Старый Джолион недоверчиво посмотрел на него.

— Не знаю,— сказал он,— говорят.

— Должно быть, так оно и есть,— неожиданно ответил сын.— Вам, вероятно, сказали, кто она?

— Да,— проговорил старый Джолион.— Жена Сомса.

Молодой Джолион не свистнул от изумления. Жизнь отучила его свистать в подобных случаях; он посмотрел на отца с еле заметной усмешкой.

Может быть, старый Джолион и заметил эту усмешку, но не показал вида.

— Они с Джун были такими друзьями! — пробормотал он.

— Бедная девочка! — мягко сказал молодой Джолион.

В его представлении Джун все еще была трехлетним ребенком.

Старый Джолион вдруг остановился.

— Я не верю ни одному слову в этой истории,— ска-

зал он,— сплетни старых баб! Позови мне кэб, Джо, я смертельно устал!

Они остановились на углу, поджидая свободный кэб, а мимо них одна за другой проезжали кареты, уносящие из Зоологического сада Форсайтов всех родов и оттенков. Упряжь, ливреи, начищенные крупы лошадей сверкали и поблескивали на майском солнце, и каждый экипаж, ландо, кабриолет, карета, шарабан, фаэтон, казалось, горделиво отстукивал колесами:

Я сам, и лошади мои, и кучер —
Да, черт возьми, весь выезд — стоим уйму денег,
Но деньги плачены не даром. Полюбуйтесь
На нашего хозяина, хозяйку!
Полны достоинства! Вот у кого учиться!

И эти слова, как известно каждому, служат весьма достойным аккомпанементом к поездкам, которые совершают Форсайты.

Один кабриолет, запряженный парой светло-гнедых лошадей, мчался быстрее других. Кузов его подпрыгивал на высоких рессорах, и четверо седоков раскачивались в кабриолете, как в колыбели.

Экипаж этот привлек внимание молодого Джолиона; и вдруг в одном из сидевших лицом к лошадям он узнал дядю Джемса. Бакенбарды у дяди поседали еще больше, но не узнать его было невозможно. Напротив с раскрытыми зонтиками в руках, в нарядных туалетах, высокомерно подняв головы, точно те птицы, которых они только что видели в Зоологическом саду, восседали Рэчел Форсайт и ее старшая замужняя сестра Уинифрид Дарти; а рядом с Джемсом, откинувшись на спинку, сидел сам Дарти в новом с иголочки сюртуке, с тщательно выпущенной из-под обшлагов широкой полоской манжет.

Неуловимый блеск лежал на этом экипаже; казалось, по нему лишний раз прошли самой лучшей краской или лаком; он выделялся из всех остальных, словно какая-то чрезвычайно удачная экстравагантная черточка, подобная той, которая отличает настоящее «произведение искусства» от обыкновенной «картины», помогла ему стать символической колесницей Форсайтов — трон, воздвигнутым в их царстве.

Старый Джолион не видел кабриолета: он был занят бедняжкой Холли, уставшей от прогулки, но те, кто си-

дел в кабриолете, заметили эту маленькую группу; дамы вздернули головы и поспешно загородились зонтиками; Джемс простодушно вытянул шею и стал похож на долговязую птицу; рот его медленно приоткрылся. Круглые щиты-зонтики становились все меньше, меньше и наконец исчезли.

Молодой Джолион понял, что его узнала даже Уинифрид, а ей было не больше пятнадцати лет, когда он потерял право называться Форсайтом.

Они-то мало изменились за это время! Молодой Джолион помнил, как выглядел когда-то их выезд: лошади, кучер, экипаж уже другие, конечно, но на всем лежит тот же отпечаток, что и пятнадцать лет назад; тот же опрятный вид, то же точно выверенное высокомерие — полны достоинства! Как и прежде, покачиваются на рессорах, как и прежде, держат зонтики, прежний дух сквозит во всех мелочах.

А залитые солнцем экипажи катились один за другим, кивая надменными щитами зонтиков.

— Вон проехал дядя Джемс со своими дамами, — сказал молодой Джолион.

Отец помрачнел.

— Он видел нас? Да? Гм! Что ему здесь понадобилось?

В эту минуту показался свободный кэб, и старый Джолион остановил его.

— До скорого свидания, мой мальчик! — сказал он. — Не думай о Босини — я не верю ни одному слову в этой истории!

Поцеловав детей, которые не хотели отпускать его, старый Джолион сел в кэб и уехал.

Взяв Холли на руки, молодой Джолион неподвижно стоял на углу и смотрел вслед удаляющемуся экипажу.

VII

СЪЕЗД У ТИМОТИ

Если бы старый Джолион, садясь в кэб, сказал: «Я не хочу верить ни одному слову», — он выразил бы свои чувства более точно.

Мысль о том, что Джемс со своим курятником видел его в обществе сына, разбудила в старом Джолионе не только раздражение против того, что становилось помехой на его пути, но и столь понятную между братьями скрытую вражду, корни которой — детское соперничество — с течением жизни нередко крепнут, уходят в глубину и, скрытые от глаз, питают дерево, приносящее в свое время горькие плоды.

До сих пор между шестью братьями нельзя было заметить ничего более серьезного, чем недружелюбие, которое объяснялось скрытым, но вполне естественным опасением, что кто-то из пяти богаче меня, шестого; чувство это начинало переходить в любопытство в связи с близостью смерти — конца всякого соперничества — и упорным «отмалчиванием» их поверенного, который, будучи человеком предусмотрительным, уверял Николаса, что не знает доходов Джемса, Джемсу говорил то же самое о старом Джолионе, Джолиону — о Роджере, Роджеру — о Суизине, а Суизину, к его великому неудовольствию, заявлял, что Николас, вероятно, очень богатый человек. Один Тимоти оставался в стороне со своими консолями.

Но теперь, по крайней мере между этими двумя братьями, замешалось новое чувство обиды. С той минуты, как Джемс имел наглость сунуть нос не в свое дело, по выражению старого Джолиона, он отказался верить рассказам о Босини. Кто-то из членов семьи «этого Джемса» посмел не посчитаться с его внучкой! Старый Джолион решил, что Босини просто оклеветали. Причина его поведения кроется в чем-то другом.

Наверно, Джун повздорила с ним; ее вспыльчивость всем известна!

Он не станет церемониться с Тимоти, тогда посмотрим, прекратятся эти намеки или нет! И нечего откладывать в долгий ящик, надо ехать сейчас же и действовать решительно, чтобы не пришлось ездить второй раз за тем же самым.

Подступ к дому Тимоти загораживал экипаж Джемса. И тут пролезли раньше всех — уже судачат, наверно, на его счет! А чуть дальше от подъезда стояли серые Суизина и, повернувшись мордами к гнедым Джем-

са, словно переговаривались о форсайтских делах, и кучера тоже переговаривались с высоты своих козел.

Старый Джолион положил цилиндр на стул в том самом маленьком холле, где когда-то шляпу Босини приняли за кошку, усталым движением провел худой рукой по лицу и длинным усам, словно стирая малейшие признаки волнения, и поднялся по лестнице.

В большой гостиной было тесно. Она казалась тесной и в лучшие минуты своей жизни, когда в ней не было ни единого гостя, так как Тимоти и сестры, следуя традициям своего поколения, считали, что комната будет «неуютной», если ее не обставить «как следует». Поэтому в гостиной стояли одиннадцать кресел, диван, три столика, две этажерки, заставленные бесконечным количеством безделушек, и часть рояля. И теперь, когда здесь собрались миссис Смолл, тетя Эстер, Суизин, Джемс, Рэчел, Унифрид, Юфимия, которая заехала вернуть роман «Страсть и смирение», прочитанный за завтраком, и ее приятельница Фрэнсис — дочь Роджера (единственная музыкантша среди Форсайтов — сочинительница романсов), в гостиной оставалось только одно незанятое кресло, конечно, за исключением тех двух, куда никто не садился, а единственное свободное местечко посередине пола было занято кошкой, на которую старый Джолион не замедлил наступить.

В те дни такие съезды у Тимоти происходили довольно часто. Члены семьи, все до одного, питали глубокое уважение к тете Энн, и теперь, когда ее не стало, они заезжали на Бэйсуотер-Род гораздо чаще и оставались там подолгу.

Суизин приехал первым; неподвижно возвышаясь в красном шелковом кресле с золоченой спинкой, он всем своим видом говорил, что намерен пересидеть остальных. Оправдывая своим одутловатым, чисто выбритым лицом, густыми, совершенно белыми волосами и всей своей массивной фигурой прозвище, которое дал ему Босини («толстяк!»), Суизин казался в этой загроможденной мебелью комнате еще более первобытным, чем всегда.

Как это постоянно случалось теперь, он сразу же заговорил об Ирэн и, не теряя даром ни минуты, изложил тете Джули и тете Эстер свое мнение относительно тех

слухов, которые, как ему известно, начали носиться за последнее время. Нет, нет, говорил Суизин, ей, вероятно, захотелось поразвлечься, надо же хорошенькой женщине пользоваться жизнью; но он уверен, что это не серьезно. Все в границах приличий; она слишком умна, слишком ценит свое положение, свою семью, чтобы поступиться ими. Не может быть и речи о публичном ск... Суизин чуть было не выпалил «скандале», но самая мысль показалась ему такой чудовищной, что он только махнул рукой, словно говоря: «Ну, довольно об этом!»

Допустим, что Суизин придерживался холостяцкой точки зрения на этот вопрос, но, в самом деле, чем только нельзя поступиться ради этой семьи, многие представители которой сумели так выдвинуться, достичь такого положения? Если Суизину и доводилось переживать безнадежно мрачные минуты в жизни, когда слова «йомен» и «мелкота» употреблялись в связи с его происхождением, то верил ли он этим словам?

Нет, он втайне лелеял и с трогательной нежностью хранил в своем сердце теорию, по которой следовало, что в жилах его отдаленных предков текла благородная кровь.

— Я уверен в этом,— сказал он как-то молодому Джолиону еще до того, как тот сошел с пути истинного.— Посмотри, как мы процветаем. Я уверен, что в нас есть благородная кровь.

Суизин очень любил молодого Джолиона; в Кембридже мальчик вращался в хорошем обществе, был знаком с сыновьями этого старого шалопая сэра Чарлза Фиста — правда, один из них впоследствии оказался порядочным мерзавцем; в мальчике было что-то изысканное — какая жалость, что он ушел к этой иностранке, к какой-то бонне! Если уж на то пошло, неужели нельзя было сделать выбора, который не унизил бы их всех! И что он теперь? Страховой агент у Ллойда; говорят даже, пишет картины — картины! Черт знает что! Мог бы стать сэром Джолионом Форсайтом, баронетом, прошел бы в парламент, имел бы поместье!

Повинуясь импульсу, который рано или поздно овладевает кем-нибудь из представителей каждой большой семьи, Суизин отправился как-то в Геральдическое управление, где его всячески заверили, что он является

потомком известных Форситов, носивших в гербе «три червлённые пряжки на черном поле вправо»; в управлении, очевидно, надеялись, что он не откажется от герба.

Однако Суизин отказался, но, убедившись, что клейнод¹ составлен из «натурального цвета фазана» и девиза «За Форситов», он посадил натурального цвета фазана на дверцы кареты и на пуговицы кучера, а клейнод и девиз — на почтовую бумагу.

Самый же герб Суизин смаковал только мысленно, отчасти потому, что не уплатил за него и считал, что на карете он покажется слишком кричащим, а Суизин не любил ничего кричащего, отчасти же потому, что, как и всякий практический англичанин, он втайне недолюбливал и презирал вещи, казавшиеся непонятными: Суизину, да и не одному ему, трудно было одолеть «три червлённые пряжки на черном поле вправо».

Однако Суизин не забыл, что стоит только уплатить за герб, и он будет иметь на него полное право, и это, еще более укрепило его веру в себя как в джентльмена. Мало-помалу и остальные члены семьи обзавелись «натурального цвета фазаном», а кое-кто посерьезнее присовокупил к нему и девиз; старый Джолион отверг девиз, сказав, что, по его мнению, это чепуха, полнейшая бессмыслица.

Старшее поколение, очевидно, догадывалось, какому великому историческому событию они обязаны своим клейнодом; и если кто-нибудь уж очень донимал их вопросами, они не отваживались лгать — у Форсайтов ложь была не в ходу, им казалось, что лгут только французы и русские — и торопились заявить, что обо всем этом надо справиться у Суизина.

Молодое поколение обходило этот предмет «натуральным» молчанием. Они не хотели оскорблять чувства старших, не хотели казаться смешными и попросту пользовались одним клейнодом...

Нет, говорил Суизин, он сам все видел и должен сказать, что Ирэн обращалась с этим «пиратом», или Босини, или как его там зовут, точно так же, как с ним самим; откровенно говоря, он даже... но, к несчастью, появление Фрэнсис и Юфимии заставило его прекратить

¹ Верхняя часть герба, венчающая щит (обычно — корона).
14. Джон Голсуорси. Т. I, 209

этот разговор, так как обсуждать подобную тему в присутствии молодых девушек не полагается.

Суизин остался несколько недоволен тем, что его прервали как раз в ту минуту, когда он собирался сказать нечто очень значительное, но благодушное настроение вскоре вернулось к нему. Фрэнсис, или, как ее звали в семье, Фрэнси, ему нравилась. Она была очень элегантна и, по слухам, зарабатывала своими романсами приличные деньги на мелкие расходы; Суизин называл ее толковой девушкой.

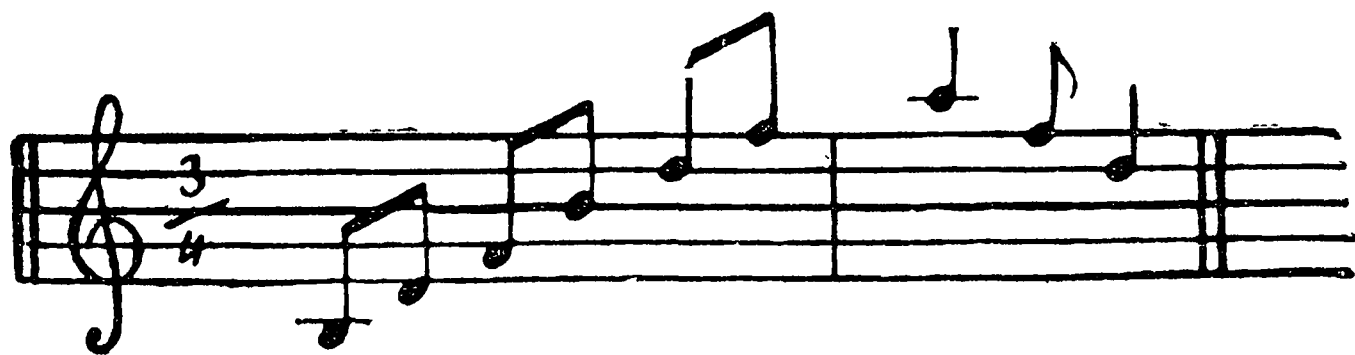
Он всегда гордился своим свободомыслием в отношении женщин—пожалуйста! Пусть рисуют, сочиняют романсы, даже пишут книги, раз уж на то пошло, особенно если этим можно заработать кое-что. Меньше будут думать о всяких глупостях! Ведь это не мужчины.

«Маленькая Фрэнси», как ее с добродушным презрением звали родственники, была особой весьма значительной, хотя бы потому, что в ней воплощалось отношение Форсайтов к искусству. Фрэнси была далеко не «маленькая», а высокая девушка, с довольно темной для Форсайтов шевелюрой, что в сочетании с серыми глазами придавало ее внешности «что-то кельтское».

Она сочиняла романсы вроде «Трепетные вздохи» или «Последний поцелуй» с рефреном, звучавшим, как церковное песнопение:

Унесу с собою, ма-ама,
Твой последний поцелуй!
Твой последний, о-о! последний —
Твой последний поце-е-луй!

Слова к этим романсам, а также и другие стихи Фрэнси писала сама. В более легкомысленные минуты она сочиняла вальсы, и один из них — «Кенсингтонское гулянье» — своей мелодичностью чуть ли не заслужил славу национального гимна Кенсингтона. Он начинался так:



Очень оригинальный вальс. Кроме того, у Фрэнси были «Песенки для малышей» — весьма нравоучительные и в то же время не лишенные остроумия. Особенно славились «Бабушкины рыбки» и еще одна, почти пророчески возвещавшая дух грядущего империализма: «Что там думать, целься в глаз!»

От них не отказался бы любой издатель, а такие журналы, как «Высший свет» или «Спутник модных дам», захлебывались от восторга по поводу «новых песенок талантливой мисс Фрэнси Форсайт, полных веселья и чувства. Слушая их, мы не могли удержаться от слез и смеха. У мисс Форсайт большое будущее».

С безошибочным инстинктом, свойственным всей ее породе, Фрэнси заводила знакомства с нужными людьми — с теми, кто будет писать о ней, говорить о ней, а также и с людьми из высшего света; составив в уме точный список тех мест, где следовало пускать в ход свое очарование, она не пренебрегала и неуклонно растущими гонорарами, в которых, по ее понятиям, и заключалось будущее. Этим Фрэнси заслужила всеобщее уважение.

Однажды, когда чувство влюбленности подхлестнуло все ее эмоции — весь уклад жизни Роджера, целиком подчиненный идее доходного дома, способствовал тому, что единственная дочь его выросла девушкой с весьма чувствительным сердцем, — Фрэнси углубилась в большую настоящую работу, избрав для нее форму скрипичной сонаты. Это было единственное ее произведение, которое Форсайты встретили с недоверием. Они сразу почувствовали, что сонату продать не удастся.

Роджер, очень довольный своей умной дочкой и не упускавший случая упомянуть о карманных деньгах, которые она зарабатывала собственными трудами, был просто удручен этим.

— Чепуха! — сказал он про сонату.

Фрэнси на один вечер заняла у Юфимии Флажолетти, и он исполнил ее произведение в гостиной на Принсез-Гарденс.

В сущности говоря, Роджер оказался прав. Это и была чепуха, но — вот в чем горе! — чепуха того сорта, которая не имеет сбыта. Как известно каждому Форсай-

ту, чепуха, которая имеет сбыт, вовсе не чепуха — отнюдь нет.

И все-таки, несмотря на здравый смысл, заставлявший их оценивать произведение искусства сообразно его стоимости, кое-кто из Форсайтов — например, тетя Эстер, любившая музыку, — всегда сожалел, что романсы Фрэнси были не «классического содержания»; то же относилось и к ее стихам. Впрочем, говорила тетя Эстер, теперешняя поэзия — это все «легковесные пустячки». Теперь уже никто не напишет таких поэм, как «Потерянный рай» или «Чайльд Гарольд»; после них, по крайней мере, что-то остается в голове. Конечно, это очень хорошо, что Фрэнси есть чем себя занять: другие девушки транжирят деньги по магазинам, а она сама зарабатывает! Тетя Эстер и тетя Джули всегда были рады послушать рассказы о том, как Фрэнси удалось добиться повышения гонорара.

Они внимали ей и сейчас, вместе с Суизином, который делал вид, что не прислушивается к разговору, потому что молодежь теперь так быстро и так невнятно говорит, что у них ни слова не разберешь!

— Просто не могу себе представить, — сказала миссис Смолл, — как это ты решилась. У меня бы не хватило смелости!

Фрэнси весело улыбнулась.

— Я всегда предпочитаю иметь дело с мужчинами. Женщины такие злюки!

— Ну что ты, милая! — воскликнула миссис Смолл. — Какие же мы злюки?

Юфимия залилась беззвучным смехом и, взвизгнув, проговорила сдавленным голосом, будто ее душили:

— О-о! Вы меня когда-нибудь уморите, тетечка!

Суизин не видел в этом ничего забавного; он терпеть не мог, когда люди смеялись, а ему самому не было смешно. Да, откровенно говоря, он просто не переносил Юфимии и отзывался о ней так: «Дочь Ника, как ее там зовут — бледная такая». Он чуть не сделался ее крестным отцом — собственно, он сделался бы им неизбежно, если бы не восстал так решительно против ее иностранного имени: Суизину совсем не улыбалось стать крестным отцом. Повернувшись к Фрэнси, он с достоинством сказал:

— Прекрасная погода... э-э... для мая месяца.

Но Юфимия, зная, что дядя Суизин не захотел сделать ее своей крестницей, повернулась к тете Эстер и начала рассказывать о встрече с Ирэн — миссис Сомс — в магазине церковно-экономического общества.

— И Сомс тоже там был? — спросила тетя Эстер, которой миссис Смолл еще не удосужилась ничего рассказать

— Сомс? Конечно, нет!

— Неужели она поехала по магазинам одна?

— Не-ет! С ней был мистер Босини. Она изумительно одета.

Но Суизин, услышав имя Ирэн, строго взглянул на Юфимию, которая, по правде говоря, всегда выглядела непрезентабельно, во всяком случае в платье, и сказал:

— Одетая как и подобает изящной леди. На нее всегда приятно посмотреть.

В эту минуту доложили о приезде Джемса с дочерьми. Дарти, захотевший выпить, слез у Мраморной арки, заявив, что ему надо быть у дантиста, взял кэб и к этому времени уже восседал у окна своего клуба на Пикадилли.

Жена, сообщил Дарти своим приятелям, собиралась потащить его с визитами. Но он этого терпеть не может — благодарю покорно. Ха!

Кликнув лакея, Дарти послал его в холл узнать результаты заезда в 4.30. Устал как собака, продолжал Дарти; таскался с женой все утро. Хватит с него. В конце концов, есть же у человека личная жизнь.

Взглянув в эту минуту в окно, около которого он всегда садился, чтобы видеть прохожих, Дарти, к несчастью, а может быть, и к счастью, заметил Сомса, осторожно переходившего улицу со стороны Грин-парка с очевидным намерением зайти в «Айсиум», членом которого он тоже состоял.

Дарти вскочил с места; схватив стакан, он пробормотал что-то насчет «этого заезда в 4.30» и поспешно скрылся в комнату для карточной игры, куда Сомс никогда не заглядывал. Сидя там в полутьме, в полном уединении, он наслаждался личной жизнью до половины восьмого, зная, что к этому времени Сомс наверняка уйдет из клуба.

Нечего и думать, повторял Дарти, чувствуя, что его одолевает соблазн присоединиться к разговорам у окна, — просто нечего и думать идти на риск и ссориться с Уинифридом сейчас, когда его финансы в таком плачевном состоянии, а «старик» (Джемс) все еще дуется после той истории с нефтяными акциями, в которой Дарти совершенно не виноват.

Если Сомс увидит его в клубе, до Уинифрида обязательно дойдут слухи, что Дарти не был у дантиста. Дарти не знал другой семьи, где бы слухи «доходили» с такой быстротой. Лакированные ботинки Дарти поблескивали в сумерках, он сидел посреди зеленых ломберных столиков с хмурой гримасой на оливковом лице и, скрестив ноги в клетчатых брюках, покусывал палец и ломал себе голову, где же раздобыть деньги, если «Эрос» не выиграет Ланкаширского кубка.

Его мрачные мысли обратились к Форсайтам. Что за народ! Ничего из них не выжмешь — во всяком случае, сколько надо труда на это ухлопать. В денежных делах — выжиги; и хоть бы один спортсмен среди них нашелся, разве только Джордж, больше никого. Взять этого Сомса, например: попробуй занять у него десятку, да его удар хватит, а нет, так он подарит тебя такой надменной улыбочкой, как будто конченный ты человек, раз уж решился просить займы.

А жена этого Сомса! Рот Дарти непроизвольно наполнился слюной. Он пробовал подружиться с ней, вполне естественно, что человеку хочется дружить с хорошенькой свойственницей, но будь он проклят, если у этой (мысленно Дарти употребил очень грубое выражение) нашлось для него хоть единое словечко: смотрит, как будто перед ней так, мразь какая-то, а между тем она способна на многое — Дарти готов об заклад биться. Уж он-то знает женщин; такие мягкие глаза, такая фигура что-нибудь да значат, и Сомс в этом очень скоро убедится, если в слухах, которые ходят относительно «лихого пирата», есть хоть доля правды.

Встав с кресла, Дарти сделал круг по комнате и остановился у мраморного камина перед зеркалом; он простоял там довольно долго, созерцая собственное отражение. Как и у многих мужчин его типа, лицо Дарти с темными нафабранными усами и благообразными бач-

ками казалось пропитанным льняным маслом. С озабоченным видом потрогав свой довольно толстый нос, Дарти почувствовал там намек на будущий прыщик.

Тем временем старый Джолион нашел единственное свободное кресло в поместительной гостиной Тимоти. Своим приходом он, по-видимому, помешал какому-то разговору, все чувствовали явную неловкость. Тетя Джули, известная своей добротой, поторопилась прийти на выручку.

— Знаешь, Джолион,— сказала она,— мы как раз вспоминали, что ты давно уже у нас не показывался; впрочем, ничего удивительного в этом нет. Ты, должно быть, занят? Вот Джемс говорит, что сейчас такое горячее время...

— Да?— Старый Джолион пристально посмотрел на Джемса.— Не такое уж горячее время, надо только поменьше совать нос в чужие дела.

Джемс, с угрюмым видом сидевший в таком низеньком кресле, что колени его углом торчали кверху, беспокойно задвигал ногами и наступил на кошку, неосмотрительно спрятавшуюся здесь от старого Джолиона.

— Тут, кажется, кошка,— проворчал он обиженным тоном, почувствовав, что нога его попала во что-то мягкое и пушистое.

— И не одна,— сказал старый Джолион, оглядывая всех присутствующих,— я только что наступил на какую-то.

Последовало молчание.

Миссис Смолл сплела пальцы и, переводя свой трогательно безмятежный взгляд с одного лица на другое, спросила:

— А как поживает наша Джун?

В суровых глазах старого Джолиона промелькнула усмешка. Поразительная женщина эта Джули! Второй такой не найдешь — всегда ухитрится сказать что-нибудь некстати!

— Плохо! — ответил он.— Лондон ей вреден—слишком много народа кругом, слишком много всяких пересудов и болтовни!

Он подчеркнул эти слова и посмотрел на Джемса. Снова наступило молчание.

Все чувствовали, что предпринять сейчас какой-нибудь шаг или отважиться на какое-нибудь замечание слишком опасно. Ощущение неотвратимости рока, знакомое зрителям греческой трагедии, нависло и в этой загроможденной мебелью комнате, где собрались седовласые старики, нарядно одетые женщины — все люди одной крови, люди, объединенные неуловимым семейным сходством.

Они не признавали этой неотвратимости — роковое, холодное дыхание ее можно только чувствовать.

Суизин встал. Он-то не намерен оставаться здесь, он никому не позволит себя запугивать! И, с подчеркнутой величавостью пройдясь по комнате, он каждому по очереди пожал руку.

— Передайте Тимоти, — сказал Суизин, — что он напрасно так носится с собой! — затем, повернувшись к Фрэнси, которую считал «элегантной», прибавил: — А с тобой мы как-нибудь на днях поедем кататься, — и сейчас же перед ним встала картина той знаменательной поездки, о которой шло столько разговоров за последнее время, и он замер на месте, глядя прямо перед собой остекленевшими глазами, словно стараясь осмыслить всю важность своих же собственных слов; затем, вспомнив вдруг, что ему «решительно все равно», повернулся к старому Джолиону: — До свидания, Джолион! Напрасно ты ходишь без пальто — схватишь ишиас или еще какую-нибудь гадость!

И, легонько подтолкнув кошку узким носком лакированного башмака, Суизин величественно выплыл из гостиной.

После его ухода все тайком переглянулись, стараясь проверить друг на друге впечатление от слова «кататься», которое уже получило известность в семье, приобрело глубочайший смысл, будучи единственным, так сказать, достоверным фактом, имевшим непосредственное отношение к тому, что порождало столько неясных, зловещих толков.

Юфимия не сдержалась и заговорила с коротким смешком:

— Как хорошо, что дядя Суизин не приглашает меня кататься!

Желая утешить ее и сгладить неловкость, которую мог

вызвать разговор на подобные темы, миссис Смолл ответила:

— Милочка, дядя Суизин любит катать элегантных женщин, ему приятно немного покрасоваться в их обществе. Никогда не забуду своей поездки с ним. Как я трусила!

На мгновение пухлое старческое лицо тети Джули расплылось от удовольствия, затем сморщилось, и на глазах у нее навернулись слезы. Она вспомнила одну свою давнишнюю поездку в обществе Септимуса Смолла.

Джемс, с мрачным видом сидевший в низеньком кресле, вдруг очнулся.

— Чудак Суизин,— сказал он вяло.

Молчаливость старого Джолиона и его суровый взгляд держали всех в состоянии, близком к параличу. Старый Джолион и сам был смущен впечатлением, создавшимся после его слов,— оно только подчеркивало всю серьезность слухов, которые он пришел опровергнуть; но гнев все еще не покидал его.

Он не кончил — нет, нет,— он еще проучит их как следует!

Старый Джолион не хотел «учить» племянниц, он с ними не ссорился—молодые хорошенькие женщины всегда могли рассчитывать на его милосердие,— но этот Джемс и остальная публика—правда, в меньшей степени — заслужили хороший урок. И старый Джолион тоже справился о Тимоти.

Словно почувствовав опасность, грозившую младшему брату, миссис Смолл предложила Джолиону чаю.

— Правда, он совсем остыл, пока ты сидишь тут,— сказала она,— но Смизер заварит свежий.

Старый Джолион встал.

— Благодарю,— ответил он, в упор глядя на Джемса,— мне некогда пить чай, разводить сплетни и тому подобное! Пора домой! До свидания, Джули, до свидания, Эстер, до свидания, Уинифрид!

И без дальнейших церемоний вышел из комнаты.

В кэбе гнев его испарился. Так бывало всегда: стоило ему только дать волю своему гневу — и он исчезал. Старому Джолиону стало грустно. Может быть, он и заткнул им рты, но какой ценой! Старый Джолион знал теперь, что в слухах, которым он отказывался верить,

была правда. Джун брошена, и брошена ради жены сына Джемса! Он чувствовал, что все это правда, и упрямо решил считать эту правду вздором; а боль, которая таилась под таким решением, медленно, но верно переходила в слепую злобу против Джемса и его сына.

Шесть женщин и один мужчина, оставшиеся в комнате, занялись разговором, насколько разговор мог удасться после всего, что произошло; каждый считал себя совершенно непричастным к сплетням, но был твердо уверен, что остальные шестеро сплетнями не гнушаются; поэтому все сидели злые и растерянные. Один только Джемс сохранял молчание, взволнованный до глубины души.

Фрэнси сказала:

— По-моему, дядя Джолион ужасно изменился за последний год. Правда, тетя Эстер?

Тетя Эстер съежилась.

— Ах, спроси тетю Джули! — сказала она. — Я не знаю.

Остальные не побоялись подтвердить слова Фрэнси, а Джемс мрачно пробормотал, не поднимая глаз от пола:

— Ничего прежнего в нем не осталось.

— Я уже давно это заметила, — продолжала Фрэнси, — он ужасно постарел.

Тетя Джули покачала головой; лицо ее превратилось в сплошную гримасу сострадания.

— Бедный Джолион! — сказала она. — За ним нужен уход!

Снова наступило молчание; затем все пятеро гостей встали сразу, словно каждый из них боялся задержаться здесь дольше других, и простились.

Миссис Смолл, тетя Эстер и кошка снова остались одни; вдалеке хлопнула дверь, возвещающая о приближении Тимоти.

В тот же вечер, когда тетя Эстер только что задремала у себя в спальне, которая принадлежала тете Джули до того, как тетя Джули перебралась в спальню тети Энн, дверь приотворилась и вошла миссис Смолл в розовом чепце и со свечой в руках.

— Эстер! — сказала она. — Эстер!

Тетя Эстер слабо зашевелилась под одеялом.

— Эстер, — повторила тетя Джули, желая убедить-

ся, что сестра проснулась,— я так беспокоюсь о бедном Джолионе. *Как ему помочь?* — Она сделала ударение на этом слове.— *Что ты посоветуешь?*

Тетя Эстер снова завозилась под одеялом, в голосе ее послышались умоляющие нотки:

— *Как помочь? Откуда же я знаю?*

Тетя Джули вышла из комнаты вполне удовлетворенная и с удвоенной осторожностью притворила за собой дверь, чтобы не беспокоить Эстер, но ручка выскользнула у нее из пальцев и дверь захлопнулась с грохотом.

Вернувшись к себе, тетя Джули остановилась у окна и сквозь щелку между кисейными занавесками, плотно задернутыми, чтобы с улицы ничего не было видно, стала смотреть на луну, показавшуюся над деревьями парка. И, стоя там в розовом чепчике, обрамлявшем ее круглое, печально сморщившееся лицо, она пролиwała слезы и думала о «бедном Джолионе» — старом, одиноком, и о том, что она могла бы помочь ему и он привязался бы к ней и любил бы ее так, как ее никто не любил после... после смерти бедного Септимуса.

VIII

БАЛ У РОДЖЕРА

Дом Роджера на Принсез-Гарденс был ярко освещен. Множество восковых свечей горело в хрустальных канделябрах, и паркет длинного зала отражал эти созвездия. Впечатление простора достигалось тем, что вся мебель была вынесена наверх и в комнате остались только причудливые продукты цивилизации, известные под названием «мебели для раутов».

В самом дальнем углу, осененное пальмами, стояло пианино с раскрытым на пюпитре вальсом «Кенсингтонское гулянье».

Роджер не захотел пригласить оркестр. Он не мог понять, зачем нужен оркестр; он не согласен на такой расход — и кончено. Фрэнси (ее мать, давно уже доведенная Роджером до хронической ипохондрии, в таких случаях ложилась в постель) пришлось удовольствоваться одним пианино, присовокупив к нему некоего молодого человека, игравшего на корнет-а-пистоне: но она

постаралась расставить пальмы с таким расчетом, чтобы люди не очень прозорливые могли заподозрить за ними присутствие нескольких музыкантов. Фрэнси решила сказать, чтобы играли погромче,—из одного только корнета можно извлечь массу звуков, если играть с душой.

Наконец все было закончено. Фрэнси выбралась из мучительного лабиринта всяческих ухищрений, которого не минуешь, затеяв сочетать фешенебельный прием с разумной экономностью Форсайтов. Худенькая, но элегантная, она расхаживала с места на место в светло-желтом платье, отделанном на плечах пышными воланами из тюля, и натягивала перчатки, в последний раз оглядывая зал.

С нанятым на сегодняшний вечер лакеем (Роджер держал только женскую прислугу) она обсудила вопрос о вине. Понятно ли ему, что мистер Форсайт приказал подать дюжину бутылок шампанского от Уитли? Но если дюжины не хватит (вряд ли, конечно,—большинство дам будет пить воду), но если не хватит, есть еще крюшон—пусть обходится как умеет.

Неприятно говорить лакею такие вещи—ужасно унижительно, но что поделаешь с отцом? И правда, Роджер всегда ворчал из-за этих балов, а потом появлялся в гостиной—румяный, крутолобый—с таким видом, словно все это была его собственная затея; он улыбался и даже приглашал к ужину самую хорошенькую женщину, а в два часа, когда начиналось настоящее веселье, незаметно подходил к музыкантам, приказывал сыграть «Боже, храни королеву» и удалялся к себе.

Фрэнси только на то и надеялась, что он быстро устанет и отправится спать.

В обществе двух-трех преданных подруг, которые явились в дом с утра, Фрэнси поела холодной курятины и выпила чаю, наспех сервированного в пустой маленькой комнатке наверху; мужчин послали обедать в клуб Юстаса—им надо поесть как следует.

Ровно в девять часов приехала миссис Смолл. В очень сложных выражениях она извинилась за Тимоти и обошла молчанием отсутствие тети Эстер, которая в последнюю минуту попросила оставить ее в покое. Фрэнси приняла тетку очень радушно, усадила на маленький стульчик и ушла; тетя Джули, впервые после смерти тети Энн

надевшая светло-лиловое шелковое платье, надула губы и осталась сидеть в полном одиночестве.

Вскоре из верхних комнат спустились преданные подруги, словно по волшебству оказавшиеся в платьях разных цветов, но с одинаковыми пышными воланами из тюля на плечах и на груди, так как все они по странному совпадению были как на подбор очень худощавы. Подруг подвели к миссис Смолл. Каждая поговорила с ней несколько секунд, потом они все сбились в кучку, болтали, теребили в руках программы и украдкой поглядывали на дверь в ожидании прихода кого-нибудь из приглашенных мужчин.

Вошли группой сыновья Николаса, всегда пунктуальные—на Лэдброк-Гров пунктуальность была в моде,—следом за ними Юстас с братьями—мрачные, пропахшие табачным дымом.

Один за другим появились два-три поклонника Фрэнси; с них она заранее взяла слово приехать вовремя. Все они были чисто выбриты и оживлены той оживленностью, которая с некоторых пор была в таком ходу среди кенсингтонской молодежи; друг к другу эти юноши относились весьма благодушно; у них были пышные галстуки, белые жилеты и носки со стрелками. Носовой платок каждый прятал под обшлаг. Они двигались с непринужденной веселостью, вооружившись привычным оживлением, словно знали, что от них ждут здесь великих деяний. Отказавшись от традиционной торжественной маски танцующего англичанина, они танцевали с безмятежным, очаровательным, учтивым выражением на лице; подпрыгивали и кружили вихрем своих дам, считая излишним педантически следовать ритму.

На остальных танцоров поклонники Фрэнси поглядывали с легким презрением: только у этой веселой команды, у них, героев кенсингтонских танцулек, можно научиться умению держать себя, улыбаться и танцевать.

Поток гостей увеличивался; мамы расселись вдоль стены напротив дверей, более подвижная публика влилась в толпу танцующих.

Мужчин не хватало, и дамы, оставшиеся без кавалеров, смотрели на танцы с тем тоскливым выражением, с той терпеливой, кислой улыбкой, которая, казалось, говорила: «О нет! Не обманете! Я знаю, что вы

не ко мне. Я на это и не надеюсь!» И Фрэнси то и дело упрашивала своих поклонников или кого-нибудь из неискушенных:

— Ну, сделайте мне удовольствие, пойдете, я вас познакомлю с мисс Пинк; она очаровательная девушка! — и подводила их к ней.

— Мисс Пинк — мистер Гэтеркоул. У вас, может быть, остались свободные танцы?

Улыбаясь деланной улыбкой и слегка краснея, мисс Пинк отвечала:

— Да, кажется, остались! — и, заслонив рукой чистое карнэ, лихорадочно записывала Гэтеркоула где-то в самом конце под тем танцем, который он предлагал.

Но стоило только молодому человеку отойти, пробормотав что-то насчет духоты, она снова застыла в позе безнадежного ожидания, снова улыбалась герпеливой, кислой улыбкой.

Мамаши наблюдали за дочерьми, медленно обмахиваясь веерами, и в глазах их можно было прочесть всю повесть об успехах дочерей. Что же касается бесконечного сидения здесь, усталости, молчания, изредка прерываемого коротким разговором, то чего только не выдержишь, лишь бы девочки веселились! Но видеть, что их не замечают, проходят мимо! Ах! Они улыбались, но глаза их метали молнии, как глаза потревоженного лебедя; им хотелось вцепиться в модные брюки молодого Гэтеркоула и подтащить его к дочери — нахала!

И вся жестокость, вся суровость жизни — ее пафос, ее переменчивое счастье, тщеславие, самопожертвование, покорность — все было здесь, на поле брани кенсингтонской гостинной.

То тут, то там влюбленные, не похожие на поклонников Фрэнси — эти были совсем особой породы, — нет, просто влюбленные, дрожащие, краснеющие, молчаливые, искали друг друга мимолетными взглядами, искали встреч и прикосновений в сумятице бала и время от времени танцевали вместе, сиянием глаз привлекая к себе внимание случайного наблюдателя.

В десять часов — минута в минуту — появились Эмили, Рэчел, Уинифрид (Дарти оставили дома, потому что в прошлый раз он выпил у Роджера слишком много шампанского) и Сисили, самая младшая, — это

был ее первый выезд; следом за ними прямо с обеда в отчем доме приехали Ирэн и Сомс.

Платья у этих дам были очень открытые и без всякого тюля — более откровенные туалеты сразу же показывали, что обладательницы их приехали из более фешенебельных кварталов по ту сторону парка.

Отступив перед танцующими парами, Сомс занял место у стены. Он вооружился бледной улыбкой и стал смотреть на танцы. Вальс следовал за вальсом, пара за парой проносилась мимо — с улыбками, смехом, обрывками разговоров; или же с твердо сжатыми губами и с взглядом, ищущим кого-то в толпе; или тоже молча, с еле заметной улыбкой, с глазами, устремленными друг на друга. И аромат бала, запах цветов, волос и духов, которые так любят женщины, подымался душной волной в теплом воздухе летнего вечера.

Молчаливый, насмешливо улыбающийся Сомс, казалось, ничего не видел вокруг себя; но время от времени глаза его находили в толпе то, что он искал, устремлялись туда и улыбка исчезала с его губ.

Он ни с кем не танцевал. Некоторые мужья танцуют с женами, но чувство «приличия» не позволяло Сомсу танцевать с Ирэн со времени их свадьбы, и только одному богу Форсайтов известно, приносило ли это ему облегчение или нет.

Она проносилась мимо, танцуя с другими мужчинами, платье цвета ирисов развевалось вокруг ее ног. Она танцевала хорошо; ему уже надоело выслушивать комплименты дам, говоривших с кислой улыбкой: «Как прекрасно танцует ваша жена, мистер Форсайт, просто наслаждение смотреть!» Надоело отвечать, искоса поглядывая на них: «Вы находите?»

Одна пара неподалеку от него кокетливо обмахивалась по очереди веером, и Сомсу был неприятен ветер, который они подняли. Тут же рядом остановилась Фрэнси с кем-то из своих поклонников. Они говорили о любви.

Позади себя Сомс услышал голос Роджера, отдававшего горничной распоряжения относительно ужина. Все здесь далеко не первого сорта! Не надо было приезжать. Перед тем как собираться, он спросил Ирэн, нужно ли ему ехать; она ответила со своей обычной улыбкой, сводившей его с ума: «О нет!»

Зачем же он поехал? Последние четверть часа он даже не видел ее. А вот Джордж направляется к нему с сардоническим видом; теперь от него уже не скроешься.

— Видал «пирата»? — спросил этот присяжный остряк. — Он в боевой готовности — подстригся и все такое прочее!

Сомс сказал, что не видел, пересек залу, опустевшую на время перерыва между танцами, вышел на балкон и взглянул на улицу.

Подъехала карета с запоздавшими гостями; около дверей стояла кучка тех терпеливых зевак — завсегда-таев лондонской улицы, — которых так притягивают освещенные окна и музыка; их запрокинутые лица, выделявшиеся бледным пятном над темными фигурами, смотрели вверх с тупым упорством, раздражавшим Сомса: зачем им позволяют слоняться по улицам, почему полисмен не прогонит их отсюда?

Но полисмен не обращал на зевак никакого внимания; широко расставив ноги, он стоял на красной дорожке, постеленной через тротуар; его лицо, видневшееся из-под каски, смотрело вверх с тем же тупым упорством.

Напротив, за решеткой, при свете фонарей виднелись ветки деревьев, блестящие, чуть трепещущие на легком ветерке; дальше — освещенные окна домов на другой стороне улицы, словно глаза, смотрящие вниз, в безмятежную темноту сада; а надо всем этим — небо, поразительное лондонское небо, подсвеченное заревом бесчисленных огней; звездный покров, вытканый из людских нужд, людских мечтаний, — необъятное зеркало, отражающее пышность и убожество, ночь за ночью дарящее свою мягкую усмешку множеству домов, парков, дворцов, лачуг, Форсайтам, полисменам и терпеливой кучке уличных зевак.

Сомс повернулся и из-за своего прикрытия снова посмотрел в освещенный зал. На балконе прохладнее. Он видел, как вошли запоздалые гости — Джун с дедом. Что их так задержало? Они остановились в дверях. Вид у обоих был измученный. Подумать только! Дядя Джолион выбрался из дому в такой поздний час! Почему Джун не заехала, как всегда, за Ирэн? И Сомс вдруг вспомнил, что Джун давно уже не показывалась у них в доме.

Глядя на нее с беспричинным злорадством, Сомс заметил, как Джун вдруг изменилась в лице, побледнела так, что, казалось, вот-вот упадет без чувств, потом залилась румянцем. Повернувшись в направлении ее взгляда, Сомс увидел жену, выходявшую под руку с Босини из зимнего сада в противоположном конце гостиной. Она подняла на Босини глаза, вероятно, отвечая на какой-то его вопрос, и он тоже пристально смотрел на нее.

Сомс опять взглянул на Джун. Она держала старого Джолиона под руку и как будто просила его о чем-то. Сомс уловил удивленный взгляд дяди; они повернулись и исчезли за дверью.

Снова заиграла музыка — начали вальс; неподвижный, точно статуя в нише окна, не дрогнув ни одним мускулом, но уже без улыбки, Сомс ждал, что будет дальше. Вскоре в нескольких шагах от балкона мимо него промелькнули Ирэн и Босини. Сомс уловил запах ее гардений, увидел, как волнуется ее грудь, увидел ее томный взгляд, полуоткрытые губы, поймал незнакомое до сих пор выражение ее лица. Под медленный ритмичный вальс они проплыли мимо, и Сомсу казалось, что тела их прильнули друг к другу; он видел, как Ирэн подняла на Босини глаза — мягкие, темные — и снова опустила их.

Бледный, как полотно, Сомс повернулся спиной к залу и, облокотившись на перила, стал смотреть вниз на сквер; зеваки все еще торчали около дома, с тупым упорством глядя на освещенные окна, полисмен по-прежнему стоял, запрокинув голову, но Сомс не замечал всего этого. К подъезду подали карету, в нее сели двое, и карета отъехала...

В тот вечер Джун и старый Джолион спустились к обеду в обычный час. Девушка пришла в будничном закрытом платье, старый Джолион тоже был одет по-домашнему.

Еще за завтраком Джун сказала, что собирается на бал к дяде Роджеру. Так глупо, она ни с кем не сговорилась. А теперь уже поздно.

Старый Джолион поднял на нее свои пронизательные глаза. Раньше Джун ездила с Ирэн, так уж издавна повелось. И, нарочно не спуская с внучки взгляда, он спросил:

— Почему бы тебе не поехать с Ирэн?

Нет! Джун не хочет просить Ирэн; она поедет только в том случае, если... если бабушка согласится поехать, ну один-единственный раз — хоть ненадолго!

У нее был такой взволнованный, такой измученный вид, что старый Джолион, ворча, согласился. Что ей за охота ехать на этот бал, говорил он, наверно, жалкое зрелище, можно пари держать; да вообще нечего носиться по балам! Морской воздух — вот что ей нужно; дайте ему только провести общее собрание пайщиков «Золото-промышленной концессии» — и он увезет ее на море. Она не хочет уезжать? Хочет себя вконец измучить! И, с грустью посмотрев на Джун, он снова занялся едой.

Джун рано вышла из дому и долго бродила по жаре. Такая неторопливая и вялая последнее время, сейчас она горела точно в огне. Она купила цветов. Ей хотелось — во что бы то ни стало хотелось — выглядеть сегодня как можно привлекательнее. Он будет там! Она отлично знала, что ему послали приглашение. Она докажет ему, что ей решительно все равно. Но в глубине души Джун решила отвоевать его сегодня вечером. Она вернулась возбужденная, много говорила за столом; старый Джолион тоже был дома, и ей удалось провести его.

Позже, среди дня, вдруг пришли безудержные слезы. Джун зарылась лицом в подушку, чтобы заглушить рыдания, а когда приступ кончился, она увидела в зеркале вспухшее лицо с темными кругами у покрасневших глаз. До самого обеда она просидела у себя, спустив в комнате шторы.

За обедом, который прошел в полном молчании, Джун боролась с собой. Она была так бледна, так измучена, что старый Джолион приказал отложить карету: он не позволит Джун ехать. Пусть ложится в постель! Джун не стала прекословить. Она поднялась к себе в комнату и сидела там в темноте. В десять часов она позвонила горничной.

— Дайте горячей воды и скажите мистеру Форсайту, что я отдохнула. Если он устал, я поеду одна.

Горничная недоверчиво посмотрела на нее, и Джун повторила повелительным тоном:

— Идите и сейчас же подайте мне горячей воды!

Бальное платье все еще лежало на диване, она оде-

лась с какой-то яростной тщательностью, взяла цветы и сошла вниз, высоко неся голову с тяжелой копной волос. Проходя мимо комнаты старого Джолиона, Джун слышала, как он шагает там, за дверью.

Он одевался, сбитый с толку, рассерженный. Сейчас уже одиннадцатый час, раньше одиннадцати они не попадут туда; Джун сошла с ума. Но он не решался спорить — выражение ее лица за обедом не выходило у него из головы.

Большими щетками черного дерева он пригладил волосы до серебряного блеска; затем вышел на темную лестницу.

Джун встретила его внизу, и, не обменявшись ни словом, они сели в карету.

Когда эта поездка, тянувшаяся вечность, кончилась, Джун вошла в зал Роджера, пряча под маской решительности волнение и мучительную тревогу. Чувство стыда при мысли, что кто-нибудь может подумать, будто она «бежит за ним», было подавлено страхом — вдруг его нет здесь, вдруг она так и не увидит его — подавлено решимостью как-нибудь — она сама еще не знала как — отвоевать Босини.

При виде бального зала, сверкающего паркетом, Джун почувствовала радость и торжество: она любила танцевать и, танцуя, порхала — легкая, как веселый, полный жизни эльф. Он, конечно, пригласит ее, а если они будут танцевать, все станет, как раньше. Джун нетерпеливо оглядывалась по сторонам.

Появление Босини и Ирэн в дверях зимнего сада и полная отрешенность от всего на свете, которую она уловила на его лице, были слишком большой неожиданностью для Джун. Они ничего не видели — никто не должен видеть ее отчаяния, даже дедушка.

Джун дотронулась до руки старого Джолиона и сказала чуть слышно:

— Поедем домой, дедушка, мне нехорошо.

Старый Джолион поторопился увести ее, ворча про себя: «Я знал, чем все это кончится». Но Джун он ничего не сказал и только, уже сидя в карете, которая, к счастью, задержалась у подъезда, спросил:

— Что с тобой, родная?

Чувствуя, как ее худенькое тело содрогается от ры-

даний, старый Джолион перепугался. Завтра же позвать Блэнка. Он настаит на этом. Так дальше не может продолжаться.

— Ну, перестань, перестань!

Она подавила рыдания, судорожно сжала его руку и забилась в угол кареты, прикрыв лицо шалью.

Старый Джолион видел только глаза Джун, неподвижно устремленные в темноту, и его худые пальцы не переставая гладили ее руку.

IX

ВЕЧЕР В РИЧМОНДЕ

Не только глаза Джун и Сомса видели, как «эти двое» (так уже называла их Юфимия) вышли из зимнего сада; не только их глаза уловили выражение лица Босини.

Бывают мгновения, когда Природа обнажает страсть, затаенную под беззаботным спокойствием повседневности: сквозь багряные облака буйная весна вдруг метнет белое пламя на цветущий миндаль; залитая лунным светом снежная вершина с одинокой звездой над ней взмост к страстной синеве; или старый тис на фоне заката вдруг выступит, словно страж, охраняющий какую-то пламенеющую тайну неба.

И бывают такие мгновения, когда картина в музее, отмеченная случайным посетителем, как «***Тициана—превосходная вещь», пробивает броню кого-нибудь из Форсайтов, может быть, позавтракавшего в этот день плотнее своих собратьев, и повергает его в состояние, близкое к экстазу. Есть что-то — чувствует он — есть что-то такое, что... словом, что-то такое есть. Непонятное, неосознанное овладевает им; как только он, со свойственной практическому человеку дотошностью, начинает подыскивать непонятному точное определение, оно ускользает, улетучивается, как улетучиваются винные пары, заставляя его хмуриться и то и дело вспоминать о своей печени. Он чувствует, что допустил какую-то экстравагантность, какое-то излишество, потерял свою добродетель. Ему вовсе не хотелось проникать взором

за эти три звездочки, поставленные в каталоге. Боже упаси! Он не желает иметь дело с тайными силами Природы! Боже упаси! Неужели он способен допустить хоть на минуту существование «чего-то такого»? Стоит только задуматься над этим — и кончено дело! Заплатил шиллинг за билет, второй — за каталог, и все.

Взгляд, который поймала Джун, который поймали другие Форсайты, был как пламя свечи, внезапно мелькнувшее сквозь неплотно сдвинутый занавес, позади которого кто-то шел с этой свечой, как внезапная вспышка смутного блуждающего огонька, призрачного, манящего. Зрителям стало ясно, что грозные силы начали свою работу. В первую минуту все отметили это с удовольствием, с интересом, а затем почувствовали, что лучше бы не замечать этого совсем.

Однако теперь было понятно, почему Джун так запоздала, почему она исчезла, не протанцевав ни одного танца, даже не поздоровавшись с женихом. Говорят, она больна, — что ж, ничего удивительного.

Но тут они поглядывали друг на друга с виноватым видом. Никому не хотелось распускать сплетни, не хотелось причинять зло. Да и кому захочется? И посторонним не было сказано ни слова: неписанный закон заставил их промолчать.

А затем пришло известие, что Джун и старый Джолион уехали на море.

Он повез ее в Бродстэрз, начинавший тогда входить в моду, звезда Ярмута уже закатилась, несмотря на аттестацию Николаса, а если Форсайт едет на море, он намеревается дышать за свои деньги таким воздухом, от которого в первую же неделю глаза на лоб полезут. Фатальная привязанность первого Форсайта к мадере перешла к его потомству в виде ярко выраженной склонности к аристократическим замашкам.

Итак, Джун уехала на море. Семья ждала дальнейших событий; ничего другого не оставалось делать.

Но как далеко, как далеко зашли «те двое»? Как далеко собираются они зайти? И собираются ли вообще? Вряд ли это кончится чем-нибудь серьезным, ведь они оба без всяких средств. Самое большее — флирт, который прекратится вовремя, как и подобает таким историям.

Сестра Сомса, Уинифрид Дарти, впитавшая вместе с воздухом Мейфера — она жила на Грин-стрит — более модные взгляды на супружеские отношения, чем, например, те, которых придерживались на Лэдброк-Гров, смеялась над такими домыслами. «Крошка» — Ирэн была выше ее ростом, и тот факт, что она вечно сходила за «крошку», служил лишним доказательством солидности Форсайтов — «крошка» просто скучает. Почему не поразвлечься? Сомс человек довольно нудный; а что касается мистера Босини, то только этот клоун Джордж мог прозвать его «пиратом» — Уинифрид считала, что в нем есть *шик*.

Это изречение насчет *шика* Босини произвело сенсацию, но мало кого убедило. Он «недурен собой», с этим еще можно согласиться, но утверждать, что в человеке с выдающимися скулами и странными глазами — в человеке, который носит фетровую шляпу, есть *шик*, могла только Уинифрид с ее экстравагантностью и вечной погоней за новизной.

Стояло то незабываемое лето, когда экстравагантность была в моде, когда сама земля была экстравагантна: буйно цвели каштаны, и клумбы благоухали как никогда; розы распускались в каждом саду; ночи не могли вместить всех звезд, выпавших на небе, а солнце целые дни напролет вращало свой медный щит над парком, и люди совершали странные поступки — завтракали и обедали на воздухе. Никто не запомнит такого количества кэбов и карет, которые вереницей тянулись по мостам через сверкающую реку, увозя богачей под зеленую сень Буши, Ричмонда, Кью и Хэмптон-Корта. Почти каждая семья, претендующая на принадлежность к классу крупной буржуазии, который держит собственные выезды, посетила хотя бы по одному разу каштановую аллею в Буши или прокатилась мимо испанских каштанов в Ричмонд-парке. Они проезжали не спеша в облаке пыли, поднятой ими же самими, и, чувствуя себя вполне светскими людьми, поглядывали на больших медлительных оленей, поднимающих ветвистые рога из зарослей папоротника, который к осени обещал влюбленным такие укромные уголки, каких еще никто никогда не видел. И время от времени, когда дурманящее благоухание цветущих каштанов и папоротника доносилось слиш-

ком явственно, они говорили друг другу: «Ах, милая! Какой странный запах!»

И липы в этом году были необыкновенные, золотые, как мед. Когда солнце садилось, на углах лондонских площадей стоял запах слаще того меда, что уносили пчелы, запах, наполнявший странным томлением сердца Форсайтов и им подобных — всех, кто выходил после обеда подышать прохладой в уединении садов, ключи от которых хранились только у них одних.

И это томление заставляло Форсайтов в сумерках замедлять шаги возле неясных очертаний цветочных клумб, оглядываться по сторонам не раз и не два, словно возлюбленные поджидали их, поджидали той минуты, когда последний свет угаснет под тенью веток.

Может быть, какое-то неясное сочувствие, пробужденное запахом цветущих лип, может быть, намерение по-сестрински убедиться во всем собственными глазами и доказать правильность своих слов — «ничего серьезного в этом нет» — или просто желание проехаться в Ричмонд, влекущий к себе в то лето решительно всех, побудило мать маленьких Дарти (Публиуса, Имоджин, Мод и Бенедикта) написать невестке следующее письмо:

«30 июня.

Дорогая Ирэн!

Я слышала, что Сомс уезжает завтра с ночевкой в Хэнли. Было бы очень недурно съездить в Ричмонд небольшой компанией. Пригласите мистера Босини, а я раздобуду молодого Флиппарда.

Эмили (они звали мать Эмили—это считалось очень шикарным) даст нам коляску. Я заеду за Вами и за Вашим спутником в семь часов.

Любящая вас сестра Унифрид Дарти.

Монтегью уверяет, что в «Короне и скипетре» кормят вполне прилично».

Монтегью было второе, пользовавшееся большей известностью, имя Дарти; первое же было Мозес; в чем другом, а в светскости Дарти никто не откажет.

Провидение нагромодило перед Унифрид гораздо

больше препятствий, чем этого заслуживали ее благожелательные планы. Прежде всего пришел ответ от молодого Флиппарда:

«Дорогая миссис Дарти!

Страшно огорчен. Не могу — вечер занят.

Ваш Огастос Флиппард».

Бороться с такой неудачей и подыскивать заместителя где-то на стороне было поздно. С проворством и чисто материнской находчивостью Уинифрид обратилась к мужу. Характер у нее был решительный, но терпеливый, что прекрасно сочетается с резко очерченным профилем, светлыми волосами и твердым взглядом зеленых глаз. Она не терялась ни при каких обстоятельствах; если же обстоятельства все же были не в ее пользу, Уинифрид всегда ухитрялась повернуть их выгодной стороной.

Дарти тоже был в ударе. Эрос не получил Ланкаширского кубка. Этот знаменитый скакун, принадлежавший одному из столпов скаковой дорожки, поставившему втихомолку против Эроса не одну тысячу, даже не стартовал. Первые сорок восемь часов после этого провала были самыми мрачными в жизни Дарти.

Призрак Джемса преследовал его день и ночь. Черные мысли о Сомсе перемежались со слабой надеждой. В пятницу вечером он напился — так велико было его огорчение. Но в субботу утром инстинкт биржевого дельца взял верх. Заняв несколько сотен фунтов, вернуть которые он не смог бы никакими силами, Дарти отправился в город и поставил их на Концертину, участвовавшую в сэлтаунском гандикапе.

За завтраком в «Айсиуме» он сказал майору Скротону, что этот еврейчик Натанс сообщил ему кое-какие сведения. Будь что будет. Он сейчас совсем на мели. Если дело не выгорит — что ж... придется старику раскошиться!

Бутылка Поль-Рожера, выпитая для придания себе бодрости, только распалила его презрение к Джемсу.

Дело выгорело. Концертина пришла к столбу на шею впереди остальных — задала она ему страху! Но, как говорил Дарти, уж если повезет, то повезет!

К поездке в Ричмонд Дарти отнесся весьма благо-склонно. Расходы он берет на себя. Ирэн всегда нравилась Дарти, и ему захотелось завязать с ней более непринужденные отношения.

В половине шестого с Парк-Лейн прислали лакея сказать, что миссис Форсайт просит извинения, но одна из лошадей кашляет!

Не сдавшись и после этого удара, Уинифрид сразу же снарядила маленького Публиуса (которому уже исполнилось семь лет) и гувернантку на Монпелье-сквер.

Они поедут в кэбах и встретятся в «Короне и скипетре» в 7.45.

Услышав об этом, Дарти остался очень доволен. Гораздо лучше, чем сидеть всю дорогу спиной к лошадям! Он не возражает против того, чтобы прокатиться с Ирэн. Дарти предполагал, что они заедут на Монпелье-сквер, а там можно будет поменяться местами.

Когда же ему сообщили, что встреча назначена в «Короне и скипетре» и что он поедет с женой, Дарти надулся и сказал:

— Так мы черт знает когда туда доберемся!

Выехали в семь часов, и Дарти предложил кэбмену пари на полкроны, что тот не довезет их в три четверти часа.

За всю дорогу муж и жена только два раза обменялись замечаниями.

Дарти сказал:

— Придется мистеру Сомсу поморщиться, когда он услышит, что его жена каталась в кэбе вдвоем с мистером Босини!

Уинифрид ответила:

— Перестань говорить глупости, Монти!

— Глупости? — повторил Дарти. — Ты не знаешь женщин, моя дорогая!

Во второй раз он просто осведомился:

— Какой у меня вид? Немножко осовелый? От этого вина, которым угощает Джордж, хоть кого разморит!

Он завтракал с Джорджем у Хаверснейка.

Босини и Ирэн приехали первыми. Они стояли у большого окна, выходившего на реку.

В то лето окна держали открытыми весь день и всю

ночь; и днем и ночью запах цветов и деревьев врывается в комнаты, душный запах травы, нагретой солнцем, свежий запах обильной росы.

Наблюдательный Дарти сразу же подумал, что у его гостей дела подвигаются плохо. У Босини глаза голодные — по всему видно, что мямля!

Он оставил их на попечение Уинифрида, а сам занялся составлением меню.

Форсайты потребляют пищу, может быть, не слишком тонкую, но сытную. Люди же породы Дарти обычно исчерпывают все ресурсы «Корон и скипетров». Не имея привычки думать о завтрашнем дне, Дарти считают, что нет такой роскоши, которой они не могли бы себе позволить; и позволяют, несмотря ни на что! Выбор вин тоже требует большой тщательности: в этой стране слишком много всякой дряни, «не подходящей» для таких, как Дарти, — им подавай все самое лучшее. Платить будут другие, чего же стесняться! Пусть стесняются дураки, а Дарти не станут.

Все самое лучшее! Нельзя подвести более крепкого фундамента под существование человека, тесть которого имеет весьма солидные доходы и питает нежные чувства к внукам.

Не лишенный наблюдательности, Дарти обнаружил слабое место Джемса в первый же год после появления на свет маленького Публиуса (не доглядели!); такая наблюдательность принесла ему большую пользу. Четверо маленьких Дарти стали чем-то вроде пожизненной страховки.

Гвоздем обеда была, бесспорно, кефаль. Эту восхитительную рыбу, доставленную издалека почти в идеальной сохранности, сначала поджарили, затем вынули из нее все кости, затем подали во льду, залив пуншем из мадеры вместо соуса, согласно рецепту, который был известен только небольшому кругу светских людей.

Все остальные подробности можно опустить, за исключением разве того, что по счету уплатил Дарти.

За обедом он был чрезвычайно мил; его дерзкий восхищенный взор почти не отрывался от лица и фигуры Ирэн; однако Дарти пришлось признаться, что расшевелить Ирэн ему не удалось, — она относилась к нему с холодком, и тот же холодок, казалось, шел от ее

плеч, просвечивающих сквозь желтоватое кружево. Дарти старался поймать ее на какой-нибудь «шалости» с Босини; но тщетно: Ирэн держалась безупречно! Что же касается этого архитектора, то он сидел мрачный, как медведь, у которого разболелась голова,— Уинифрид с трудом удалось вытянуть из него несколько слов; он не притронулся к еде, но про вино не забывал, и лицо его бледнело все больше и больше, а в глазах появилось какое-то странное выражение.

Все это было очень забавно.

Дарти чувствовал себя в ударе, говорил без умолку, острил, будучи человеком неглупым. Он рассказал два-три анекдота, сумев как-то удержаться в границах приличия,— уступка присутствующим, так как обычно в его анекдотах эти границы стирались. Провозгласил шутливый тост за здоровье Ирэн. Его никто не поддержал, а Уинифрид сказала:

— Перестань паясничать, Монти!

По ее предложению после обеда все отправились на террасу, выходящую к реке.

— Мне хочется посмотреть, как в простонародье ухаживают,— сказала Уинифрид,— это ужасно забавно!

Гуляющих было много, все пользовались прохладой после жаркого дня, и в воздухе раздавались голоса, грубые, громкие, или тихие, словно нашептывающие какие-то тайны.

Не прошло и нескольких минут, как практичная Уинифрид — единственная представительница рода Форсайтов в этой компании — отыскала свободную скамейку. Они уселись в ряд. Развесистое дерево раскинуло над ними свой густой шатер, над рекой медленно сгущалась тьма.

Дарти сел с краю, рядом с ним Ирэн, затем Босини, затем Уинифрид. Сидеть вчетвером было тесно, и светский человек чувствовал своим локтем локоть Ирэн; он знал, что Ирэн не захочет показаться грубой и не станет отодвигаться, и это забавляло его; он то и дело ерзал на скамейке, чтобы прижаться к Ирэн еще ближе. Дарти думал: «Не все же должно достаться одному «пирату». А положение пикантное!»

Откуда-то издали, с реки, доносились звуки мандолины и голосов, певших старинную песенку:

Эй, лодку на воду спустить!
Мы будем по волнам скользить,
Шутить, смеяться, херес пить!

И вдруг показался месяц — молодой, нежный. Лежа навзничь, он выплыл из-за дерева, и в воздухе потянуло прохладой, словно от его дыхания, а сквозь эту волну прохлады доносился теплый запах лип.

Куря сигару, Дарти поглядывал на Босини, который сидел, скрестив руки на груди, уставившись в одну точку с таким выражением, будто его мучили.

И Дарти взглянул на лицо рядом с собой, так слившееся с тенью, падавшей от дерева, что оно казалось лишь более темным пятном на фоне тьмы, которая словно обрела контуры, согретые дыханием, — нежные, загадочные, манящие.

На шумной террасе вдруг наступила тишина, как будто гуляющие погрузились в свои тайные мысли, слишком дорогие, чтобы доверять их словам.

И Дарти подумал: «Женщины!»

Отсветы над рекой погасли, пение смолкло; молодой месяц спрятался за дерево, и стало совсем темно. Он прижался к Ирэн.

Дарти не смутила ни дрожь, пробежавшая по телу, которого он коснулся, ни испуганный, презрительный взгляд ее глаз. Он почувствовал, как Ирэн старается отодвинуться от него, и улыбнулся.

Нужно сказать, что светский человек выпил столько, сколько ему требовалось для хорошего самочувствия.

Толстые губы, раздвинувшиеся в улыбке под тщательно закрученными усами, и наглые глаза, искоса поглядывавшие на Ирэн, придавали ему сходство с коварным сатиром.

На дорожку неба между рядами деревьев выбежали новые звезды; казалось, что они, как и люди внизу, переходят с места на место, собираются кучками, шепчутся. На террасе снова стало шумно, и Дарти подумал: «Какой голодный вид у этого Босини!» — и еще теснее прижался к Ирэн.

Этот маневр заслуживал лучших результатов. Она встала, и за ней поднялись остальные.

Светский человек тверже, чем когда-либо, решил познакомиться с Ирэн поближе. Пока шли по террасе, он не отставал от нее. Доброе вино давало себя чувствовать. А впереди еще длинная дорога домой, длинная дорога и приятная теснота кэба с его обособленностью от всего мира, которой люди обязаны какому-то доброму мудрецу. Этот голодный архитектор может ехать с его женой — на здоровье, желаю приятно провести время! И, зная, что язык будет плохо его слушаться, Дарти старался молчать; но улыбка не сходила с его толстых губ.

Они пошли к экипажам, поджидавшим их у дальнего конца террасы. План Дарти отличался тем же, чем отличаются все гениальные планы, — почти грубой простотой — он не отстанет от Ирэн, а когда она будет садиться в кэб, вскочит следом за ней.

Но Ирэн, вместо того чтобы сесть в кэб, подошла к лошади. Ноги плохо слушались Дарти, и он отстал. Ирэн стояла, поглаживая морду лошади, и, к величайшей досаде Дарти, Босини очутился там первым. Она повернулась к нему и быстро проговорила что-то вполголоса; до слуха Дарти долетели слова: «этот человек». Он упорно стоял у подножки, дожидаясь Ирэн. Дарти на эту удочку не поймает!

Стоя под фонарем, в белом вечернем жилете, плотно облегавшем его фигуру (отнюдь не статную), с легким пальто, переброшенным через руку, с палевым цветком в петлице и с добродушно-наглым выражением на смуглом лице, Дарти был просто великолепен — светский человек с головы до ног!

Уинифрид уже села в другой кэб. Дарти только успел подумать, что Босини здорово поскучает с ней, если вовремя не спохватится, как вдруг неожиданный толчок чуть не поверг его наземь. Босини прошипел ему на ухо:

— С Ирэн поеду я, поняли?

Дарти увидел лицо, побелевшее от ярости, глаза, сверкнувшие, как у дикой кошки.

— Что? — еле выговорил он. — Что такое? Ничего подобного! Вы поедете с моей женой!

— Убирайтесь, — прошипел Босини, — или я вышвырну вас вон!

Дарти отступил; он понял яснее ясного, что этот субъект не шутит. Тем временем Ирэн проскользнула мимо, ее

платье задело его по ногам. Босини вскочил в кэб следом за ней.

Дарти услышал, как Босини крикнул «Трогай!». Кэбмен стегнул лошадь. Лошадь рванула вперед.

Несколько секунд Дарти стоял совершенно ошеломленный; затем бросился к кэбу, где сидела жена.

— Погоняй! — заорал он. — Держись за тем кэбом!

Усевшись рядом с Уинифридом, он разразился градом проклятий. Затем с великим трудом пришел в себя и сказал:

— Хороших дел ты натворила! Они поехали вместе; неужели нельзя было удержать его? Он же без ума от Ирэн, это каждому дураку ясно.

Дарти заглушил протесты Уинифрида, снова разразившись бранью, и, только подъехав к Барнсу, прекратил свои иеремиады, в которых поносил Уинифрида, ее отца, брата, Ирэн, Босини, самое имя Форсайтов, собственных детей и проклинал тот день, когда женился.

Уинифрида, женщина с твердым характером, дала ему высказаться, и, закончив свои излияния, Дарти надулся и замолчал. Его злые глаза не теряли из виду первый кэб, маячивший в темноте, словно напоминание об упущенной возможности.

К счастью, Дарти не слышал страстных слов мольбы, вырвавшихся у Босини, — страстных слов, которые поведение светского человека выпустило на волю; он не видел, как дрожала Ирэн, словно кто-то сорвал с нее одежды, не видел ее глаз, темных, печальных, как глаза обиженного ребенка. Он не слышал, как Босини умолял, без конца умолял ее о чем-то; не слышал ее внезапных тихих рыданий, не видел, как этот жалкий «голодный пес», дрожа от благоговения, робко касался ее руки.

На Монпелье-сквер кэбмен, с точностью выполнив полученное приказание, остановился вплотную к первому экипажу. Уинифрида и Дарти видели, как Босини вышел из кэба, как Ирэн появилась вслед за ним и, опустив голову, взбежала по ступенькам. Очевидно, у нее был свой ключ, потому что она сейчас же скрылась за дверью. Трудно было уловить, сказала она что-нибудь Босини на прощание или нет.

Босини прошел мимо их кэба; его лицо, освещенное

уличным фонарем, было хорошо видно мужу и жене. Черты этого лица искажало мучительное волнение.

— До свидания, мистер Босини! — крикнула Уинифрид.

Босини вздрогнул, сорвал с головы шляпу и торопливо зашагал дальше. Он, очевидно, совершенно забыл об их существовании.

— Ну, — сказал Дарти, — видела эту физиономию? Что я говорил? Хорошие дела творятся!

И он со вкусом распространился на эту тему.

В кэбе только что произошло объяснение — это было настолько очевидно, что Уинифрид уже не могла защищать свои позиции.

Она сказала:

— Я не буду об этом рассказывать. Не стоит поднимать шум.

С такой точкой зрения Дарти немедленно согласился. Считая Джемса чем-то вроде своего заповедника, он не имел ни малейшего желания расстраивать его чужими неприятностями.

— Правильно, — сказал Дарти, — это дело Сомса. Он отлично может сам о себе позаботиться.

С этими словами чета Дарти вошла в свое обиталище на Грин-стрит, оплачиваемое Джемсом, и вкусила заслуженный отдых. Была полночь, и на улицах уже не попадалось ни одного Форсайта, который мог бы проследить скитания Босини; проследить, как он вернулся и стал около решетки сквера, спиной к уличному фонарю; увидеть, как он стоит там в тени деревьев и смотрит на дом, скрывающий в темноте ту, ради минутной встречи с которой он отдал бы все на свете, — ту, которая стала для него теперь дыханием цветущих лип, сущностью света и тьмы, биением его собственного сердца.

Х

СИМПТОМЫ ФОРСАЙТИЗМА

Форсайту не свойственно сознавать себя Форсайтом, но про молодого Джолиона этого нельзя было сказать. Он не видел в себе ничего форсайтского до того решительного шага, который сделал его отщепенцем, а с тех

пор не переставал чувствовать себя Форсайтом, и это сознание не оставляло его в семейной жизни и в отношениях со второй женой, в которой совсем уж не было ничего форсайтского.

Молодой Джолион знал, что, не будь у него умения добиваться своей цели, не будь упорства, ясного сознания, что нелепо терять то, за что заплачено такой большой ценой,— другими словами, не будь у него «чувства собственности», он не мог бы удержать эту женщину подле себя (может быть, и не захотел бы удерживать) в течение пятнадцати лет, заполненных нуждой, обидами и недомолвками; не мог бы убедить ее выйти за него замуж после смерти первой жены; не мог бы одолеть эту жизнь и выйти из нее таким, каким он вышел— несколько полинявшим, но усмехающимся.

Молодой Джолион принадлежал к тому сорту людей, которые, словно маленькие китайские божки, сидят, поджав ноги, в собственном своем сердце и улыбаются сами себе недоверчивой улыбкой. Но улыбка эта — сокровенная, извечная улыбка — никак не отражалась на его поведении, в котором, как и в его подбородке и темпераменте, своеобразно сочетались мягкость и решительность.

Он чувствовал в себе Форсайта и за работой — за своими акварелями, которым отдал столько сил, не переставая в то же время посматривать на себя со стороны, словно его брало сомнение, можно ли с полной серьезностью предаваться такому непрактичному занятию, и всегда ощущая какую-то странную неловкость, что картины приносят так мало денег.

И вот это ясное представление о том, что значит быть Форсайтом, заставило его прочесть нижеследующее письмо старого Джолиона со смешанным чувством сострадания и брезгливости.

«Шелдрейк-Хаус,
Бродстэрз.
1 июля.

Дорогой Джо!

(Почерк отца почти не изменился за тридцать лет.)

Мы живем здесь вот уже две недели, погода в общем хорошая. Морской воздух действует неплохо, но

печень моя пошаливает, и я с удовольствием вернусь в Лондон. О Джун ничего хорошего сказать не могу, здоровье и состояние духа у нее скверное, и я не знаю, чем все это кончится. Она продолжает отмалчиваться, но по всему видно, что в голове у нее сидит эта помолвка, впрочем, можно ли считать их помолвленными или уже нельзя — кто их разберет. Не знаю, следует ли пускать ее в Лондон при теперешнем положении дел, но она такая своевольная, что в любую минуту может собраться и уехать. Я полагаю, что кто-то должен поговорить с Босини и выяснить его намерения. Мне очень бы не хотелось брать это на себя, потому что разговор наш непременно кончится тем, что я его поколочу. Ты знаком с Босини по клубу и, по-моему, можешь поговорить с ним и выведать, что он, собственно, намерен делать. Ты, конечно, не станешь компрометировать Джун. Буду очень рад, если ты в ближайшие дни известишь меня, удалось ли тебе что-нибудь узнать. Все это меня очень беспокоит, и я не сплю по ночам. Поцелуй Джоли и Холли.

Любящий тебя отец Джолион Форсайт».

Молодой Джолион так долго и так пристально читал это письмо, что жена обратила внимание на его сосредоточенный вид и спросила, в чем дело. Он ответил:

— Так, ничего.

Молодой Джолион взял себе за правило никогда не говорить о Джун. Жена может разволноваться, кто ее знает, что она подумает; и он поторопился согнать с лица все следы задумчивости, но успел в этом не больше, чем успел бы на его месте отец, так как неуклюжесть старого Джолиона во всем, что касалось тонкостей домашней политики, перешла и к нему; и миссис Джолион, хлопотавшая по хозяйству, ходила с плотно сжатыми губами и изредка бросала на мужа испытующие взгляды.

В тот же день с письмом в кармане он отправился в клуб, еще не решив, что предпринять.

Выведывать чьи-то «намерения» — задача мало приятная; кроме того, неловкость, которую испытывал молодой Джолион, усугубляло то не совсем нормальное положение, которое он сам занимал в семье. Как это похоже на его родственников, на всех тех людей, в обществе

которых они вращались,— навязывать посторонним свои так называемые права, диктовать кому-то поступки; как это похоже на них — переносить деловые приемы на личные отношения!

А эта фраза: «Ты, конечно, не станешь компрометировать Джун», — ведь она же выдает их с головой.

Но вместе с тем письмо, в котором было столько горечи, столько заботы о Джун, и эта угроза «поколотить Босини» казались такими естественными. Не удивительно, что отец хочет узнать намерения Босини, не удивительно, что он сердится.

Отказывать трудно! Но зачем поручать такое дело именно ему? Это просто неудобно. Впрочем, Форсайты умеют добиваться своего, а в средствах они не очень разборчивы, им лишь бы соблюсти внешние приличия.

Как же это сделать или как отказаться? И то и другое невозможно. Так-то, молодой Джолион!

Он пришел в клуб к трем часам, и первый, кто попался ему на глаза, был сам Босини, сидевший у окна в углу комнаты.

Молодой Джолион сел неподалеку и, волнуясь, стал обдумывать положение. Он украдкой поглядывал на Босини, не замечавшего, что за ним наблюдают. Молодой Джолион знал его мало и, может быть, впервые так внимательно приглядывался к нему: очень странный на вид, ни одеждой, ни лицом, ни манерами не похожий на других членов клуба, — сам молодой Джолион, несмотря на большую внутреннюю перемену, навсегда сохранил благообразную внешность истого Форсайта. Он единственный среди Форсайтов не знал прозвища Босини. Архитектор выглядел не как все; не то чтобы в нем было что-то эксцентричное, но он не как все. Вид усталый, измученный, лицо худое, с широкими выдающимися скулами, но ничего болезненного в нем нет: крепкое телосложение, кудрявые волосы — признак большой жизнеспособности очень здорового организма.

Выражение лица Босини и его поза тронули молодого Джолиона. Он знал, что такое страдание, а этот человек, судя по его виду, страдал.

Он подошел и коснулся его руки.

Босини вздрогнул, но не выказал ни малейшего смущения, увидев, кто это.

Молодой Джолион сел рядом.

— Мы давно не виделись,—сказал он.—Ну, как дом моего двоюродного брата — работа подвигается?

— Через неделю закончу.

— Поздравляю!

— Благодарю, хотя поздравлять, кажется, не с чем.

— Да?—удивился молодой Джолион.—А я думал, вы рады свалить с плеч такую большую работу; но с вами, наверное, бывает то же, что и со мной: расстаешься с картиной точно с ребенком.

Он ласково посмотрел на Босини.

— Да,—сказал тот уже более мягко,—создал вещь — и кончено. Я не знал, что вы пишете.

— Акварели всего-навсего; да я не особенно верю в свою работу.

— Не верите? Как же тогда можно работать? Какой же смысл в вашей работе, если вы в нее не верите?

— Правильно,—сказал молодой Джолион,—я всегда говорил то же самое. Кстати, вы замечали, что когда с вами соглашаются, то неизменно добавляют: «Я всегда так говорил!» Но раз уж вы спрашиваете, придется ответить: я Форсайт!

— Форсайт! Никогда не думал о вас как о Форсайте!

— Форсайт,—ответил молодой Джолион,—не такое уж редкостное животное. Наш клуб насчитывает их сотнями. Сотни Форсайтов ходят по улицам; их встречаешь на каждом шагу.

— А разрешите поинтересоваться, как их распознают? — спросил Босини.

— По их чувству собственности. Форсайт смотрит на вещи с практической — я бы даже сказал, здоровой — точки зрения, а практическая точка зрения покоится на чувстве собственности. Форсайт, как вы сами, вероятно, заметили, никому и ничему не отдает себя целиком.

— Вы шутите?

В глазах молодого Джолиона промелькнула усмешка.

— Да нет. Мне, как Форсайту, следовало бы молчать. Но я полукровка; а вот в вас уж никто не ошибется. Между вами и мною такая же разница, как между мной и дядей Джемсом, который является идеальным образцом Форсайта. У него чувство собственности развито до

предела, а у вас его просто нет. Не будь меня посредине, вы двое казались бы представителями различных пород. Я же — промежуточное звено. Все мы, конечно, рабы собственности, вопрос только в степени; но тот, кого я называю «Форсайтом», находится в безоговорочном рабстве. Он знает, что ему нужно, умеет к этому подступиться, и то, как он цепляется за любой вид собственности — будь то жены, дома, деньги, репутация, — вот это и есть печать Форсайта.

— Да! — пробормотал Босини. — Вам нужно взять патент на это слово.

— Мне хочется прочесть лекцию на эту тему, — сказал молодой Джолион. — «Отличительные свойства и качества Форсайта. Это мелкое животное, опасющееся прослыть смешным среди особей одного с ним вида, не обращает ни малейшего внимания на смех других существ (вроде нас с вами). Унаследовав от предков предрасположение к близорукости, оно различает лишь особей одного с ним вида, среди которых и протекает его жизнь, заполненная мирной борьбой за существование».

— Вы так говорите, — сказал Босини, — как будто они составляют половину Англии.

— Да, половину Англии, — повторил молодой Джолион, — и лучшую половину, надежнейшую половину с трехпроцентными бумагами, половину, которая идет в счет. Ее богатство и благополучие делают возможным все: делают возможным ваше искусство, литературу, науку, даже религию. Не будь Форсайтов, которые ни во что это не верят, но умеют извлечь выгоду из всего, что бы мы с вами делали? Форсайты, уважаемый сэр, — это посредники, коммерсанты, столпы общества, краеугольный камень нашей жизни с ее условностями; Форсайты — это то, что вызывает в нас восхищение!

— Не знаю, правильно ли я понял вашу мысль, — сказал Босини, — но мне кажется, что среди людей моей профессии есть много таких Форсайтов, как вы их называете.

— Разумеется! — ответил молодой Джолион. — Большинство архитекторов, художников, писателей люди совершенно беспринципные, как и всякий Форсайт. Искусство и религия существуют благодаря небольшой кучке чудаков, которые действительно верят в это, и благода-

ря множеству Форсайтов, извлекающих из искусства и религии выгоду. По самому скромному подсчету три четверти наших академиков, семь восьмых наших писателей и значительный процент журналистов — Форсайты. Об ученых не берусь судить, но в религии Форсайты представлены блестяще; в палате общин их, может быть, больше, чем где бы то ни было; про аристократию и говорить нечего. Но я не шучу. Опасно идти против большинства — и какого большинства! — Он пристально посмотрел на Босини. — Опасно, когда позволяешь чему-нибудь захватить тебя целиком, будь то дом, картина... женщина!

Они взглянули друг на друга. Словно почувствовав, что он сделал то, чего не делают Форсайты, то есть увлекся, молодой Джолион снова ушел в свою раковину. Босини первый прервал молчание.

— Почему вы считаете именно свою родню такой типичной? — сказал он.

— Моя родня, — ответил молодой Джолион, — ничего особенного собой не представляет, у нее есть свои характерные черточки, как и во всякой другой семье, но зато в них чрезвычайно ярко выражены те два основных свойства, которые изобличают истинного Форсайта, — они никому и ничему не отдаются целиком, не увлекаются, и у них есть «чувство собственности».

Босини улыбнулся:

— Ну, а толстяк, например?

— Суизин? — спросил молодой Джолион. — А в Суизине есть что-то первозданное. Город и быт обеспеченного класса еще не успели его обработать. В Суизине, несмотря на все его джентльменство, сидят вековые традиции и грубая сила фермера.

Босини задумался.

— Да, вы очень метко охарактеризовали вашего кузена Сомса, — сказал он вдруг. — Этот уж наверно не пустит себе пули в лоб!

Молодой Джолион испытующе посмотрел на него.

— Да, — сказал он, — это верно. Вот почему с ним приходится считаться. Берегитесь их хватки! Смеяться может всякий, но я не шучу. Не стоит презирать Форсайтов; не стоит пренебрегать ими!

— Однако вы сами это сделали?

Удар был меткий, и молодой Джолион перестал улыбаться.

— Вы забываете,— сказал он с какой-то странной гордостью,— что я могу за себя постоять — я ведь тоже Форсайт. Великие силы подстерегают нас на каждом шагу. Человек, покидающий спасительную сень стены... ну... вы меня понимаете. Я бы, — закончил он совсем тихо, словно с угрозой,— я бы мало кому посоветовал... идти... моей... дорогой. Все зависит от человека.

Кровь бросилась в лицо Босини, потом отхлынула, и на его щеках снова разлилась бледная желтизна. Он ответил коротким смешком, раздвинувшим его губы в странную, едкую улыбку; глаза насмешливо смотрели на молодого Джолиона.

— Благодарю вас,— сказал он.— Это чрезвычайно мило с вашей стороны. Но не вы один способны постоять за себя.

Он встал.

Молодой Джолион посмотрел ему вслед и, подперев голову рукой, вздохнул.

В сонной тишине почти пустой комнаты слышалось только шуршание газет и чирканье спичками. Молодой Джолион долго сидел не двигаясь, снова переживая те дни, когда и он следил за часами, отсчитывая минуты,— те дни, полные мучительной неизвестности и пронзительной, сладкой боли; и медленная, сладостная мука тех лет охватила его с прежней силой. Вид Босини, его измученное лицо и беспокойные глаза, то и дело поднимавшиеся к часам, пробудили в молодом Джолионе жалость, к которой примешивалось странное, непреодолимое чувство зависти.

Все эти признаки были слишком хорошо знакомы ему. Куда идет Босини — навстречу какой судьбе? Что представляет собой эта женщина, влекущая его с той неумолимой силой, перед которой отступают и понятия о чести, и принципы, и все другие интересы,— с той силой, от которой можно спастись только бегством?

Бегство! Но почему Босини должен бежать? Убегают лишь тогда, когда боятся разрушить семейный очаг, когда есть дети, когда не хотят попирать чьи-то идеалы, ломать что-то. Но тут, как он слышал, все уже и так сломано.

Он сам не спасся бегством и не стал бы спасаться, даже если бы пришлось начинать сызнова. И все же он пошел дальше Босини, разрушил свою неудачную семейную жизнь, а не чью-нибудь другую. Молодой Джолион вспомнил старое изречение: «Сердце человека вершит судьбу его».

Сердце вершит судьбу! Чтобы оценить пудинг, надо его съесть,— Босини еще не съел своего пудинга.

Мысли молодого Джолиона обратились к той женщине — к женщине, которую он не знал, но о которой кое-что слышал.

Неудачный брак! Не может быть и речи о дурном обращении — этого нет, есть только какая-то смутная неудовлетворенность, какая-то тлетворная ржа, которая губит всякую радость жизни; и так день за днем, ночь за ночью, неделя за неделей, год за годом, пока смерть не положит конца всему!

Но молодой Джолион, в котором горечь смягчилась с годами, мог поставить себя и на место Сомса. Откуда такому человеку, как его двоюродный брат,— человеку, пропитанному всеми предрассудками и верованиями своего класса,— откуда ему взять проницательность, чем вдохновиться, чтобы покончить с такой жизнью? Для этого надо иметь воображение, надо заглянуть в будущее. Когда неприятные толки, смешки, пересуды, всегда сопутствующие разводам, останутся позади, останется позади и преходящая боль разлуки и суровый суд достойных. Но мало у кого хватит воображения на это, особенно среди людей того класса, к которому принадлежит Сомс. Сколько народу на свете — на всех воображения не хватает! И — боже правый! — какая пропасть между теорией и практикой! Может быть, многие, может быть, даже и Сомс, придерживаются рыцарских взглядов, а как только дело коснется их самих, они найдут серьезные причины для того, чтобы счесть себя исключением.

К тому же молодой Джолион не был уверен в правильности своих суждений. Он испытал все это на себе, испил до дна горькую чашу неудачного брака,— откуда же ему взять хладнокровие и широту взглядов, свойственные тем, кто даже не слышал звуков битвы? Его показания — это показания очевидца, а штатские люди,

которым не пришлось понюхать пороха, не могут равняться со старым солдатом. Многие сочли бы брак Сомса и Ирэн вполне удачным: у него деньги, у нее красота — значит, компромисс возможен. Пусть не любят друг друга, но почему не поддерживать сносных отношений? То, что они будут жить каждый своей жизнью, делу не помешает, лишь бы были соблюдены приличия, лишь бы уважались священные узы брака и семейный очаг. В высших классах половина всех супружеств покоится на двух правилах: не оскорбляй лучших чувств общества, не оскорбляй лучших чувств церкви. Ради них можно принести в жертву свои собственные чувства. Преимущества незыблемого семейного очага слишком очевидны, слишком осязаемы, они исчисляются реальными вещами; *status quo* — дело верное. Ломка семьи — в лучшем случае опасный эксперимент и к тому же весьма эгоистичный.

Вот какие выводы может выставить защита, и молодой Джолион вздохнул.

«Все упирается в собственничество, — думал он, — но такая постановка вопроса мало кого обрадует. У них это называется «святостью брачных уз», но святость брачных уз покоится на святости семьи, а святость семьи — на святости собственности. И вместе с тем, наверное, все эти люди считают себя последователями того, кто никогда и ничем не владел. Как странно!»

И молодой Джолион снова вздохнул.

«Вот по дороге домой мне попадется какой-нибудь бродяга — позову я его разделить со мной обед, которого тогда не хватит мне самому или моей жене, а ведь без нее у меня не будет ни здоровья, ни счастья? В конце концов Сомс, вероятно, хорошо делает, что настаивает на своих правах и подтверждает на практике священные принципы собственности, которые служат на благо всем нам, за исключением тех, кто является здесь жертвой».

Молодой Джолион встал, пробрался сквозь лабиринт кресел и стульев, взял шляпу и по душным улицам, в пыли, поднимаемой вереницами экипажей, медленно пошел домой.

Не доходя до Вистариа-авеню, он вынул из кармана

письмо старого Джолиона и, старательно разорвав его на мелкие кусочки, бросил в пыль.

Он отпер дверь своим ключом и позвал жену. Но она ушла, взяв с собой Джолли и Холли,— дома никого не было; только пес Балтазар лежал в саду в полном одиночестве и занимался ловлей блох.

Молодой Джолион тоже прошел в сад и сел под грушевым деревом, которое уже давно не приносило плодов.

ХІ

БОСИНИ ОТПУЩЕН НА ЧЕСТНОЕ СЛОВО

На другой день после поездки в Ричмонд Сомс вернулся из Хэнли с утренним поездом. Не чувствуя расположения к водному спорту, он посвятил свое пребывание там не удовольствиям, а делу: ему пришлось съездить в Хэнли по вызову весьма солидного клиента.

Сомс отправился прямо в Сити, но дел там особенных не было, и в три часа он уже освободился, радуясь случаю пораньше вернуться домой. Ирэн не ждала его. Он вовсе не хотел застать ее врасплох, но считал, что иногда не мешает нагрянуть неожиданно.

Переодевшись для прогулки, Сомс сошел в гостиную. Ирэн, ничем не занятая, сидела на своем излюбленном месте в уголке дивана; у нее были темные круги под глазами, как будто после бессонной ночи.

Сомс спросил:

— Почему ты дома? Ждешь кого-нибудь?

— Да... то есть особенно никого не жду.

— Кто должен прийти?

— Мистер Босини хотел заглянуть.

— Босини? Он должен быть на стройке.

На это Ирэн ничего не ответила.

— Так вот что,— сказал Сомс,— пойдем по магазинам, а потом погуляем в парке.

— Я не хочу выходить. У меня болит голова.

Сомс сказал:

— Стоит мне только попросить о чем-нибудь, и у тебя всякий раз начинается болеть голова. Посидишь на воздухе, под деревьями, и все пройдет.

Она ничего не ответила ему.

Сомс помолчал несколько минут, потом снова заговорил:

— Интересно бы знать, в чем, по-твоему, заключаются обязанности жены? Меня это всегда интересовало!

Он не ожидал ответа, но она ответила:

— Я пробовала делать так, как ты хочешь; не моя вина, если я не могу стать хорошей женой.

— Чья же это вина?

Он смотрел на нее искоса.

— Перед свадьбой ты обещал отпустить меня, если наш брак окажется неудачным. Что же, можно его назвать удачным?

Сомс нахмурился.

— Удачным!—проговорил он, запинаясь.— Был бы удачным, если бы ты вела себя как следует!

— Я пробовала,— сказала Ирэн.— Ты отпустишь меня?

Сомс отвернулся. Почувствовав в глубине души тревогу, он замаскировал ее спасительным гневом.

— Отпустить? Ты сама не понимаешь, что говоришь. Отпустить! Как я могу отпустить тебя? Ведь мы женаты! Чего же ты просишь? И о чем тут вообще рассуждать? Надень шляпу, и пойдем посидим в парке.

— Так ты не хочешь отпустить меня?

В ее глазах, смотревших на Сомса, было что-то необычное и трогательное.

— Отпустить! — сказал он.— Куда же ты денешься, если я тебя отпущу? Ведь у тебя нет своих средств.

— Как-нибудь проживу.

Он быстро прошелся по комнате взад и вперед; потом остановился около нее.

— Пойми раз и навсегда,— сказал он,— я не хочу больше подобных разговоров. Пойди надень шляпу!

Она не двигалась.

— Тебе, должно быть, не хочется упустить Босини, если он зайдет! — сказал Сомс.

Ирэн медленно встала и вышла из комнаты. Вернулась она в шляпе.

Они вышли.

В Хайд-парке уже схлынула пестрая толпа иностранцев и другой сентиментальной публики, которая разъез-

жает в полдень по дорожкам, чувствуя себя необычайно элегантно; на смену полдню пришел час настоящего, солидного гулянья, но и он уже близился к концу, когда Сомс и Ирэн уселись под статуей Ахиллеса.

Сомс уже давно не бывал с ней в парке. Эти совместные прогулки были для него самым большим удовольствием в первые два года после женитьбы, когда сознание, что весь Лондон смотрит на него, обладателя этой очаровательной женщины, наполняло его сердце великой, хотя и затаенной гордостью. Сколько раз он сидел с ней рядом, безукоризненно одетый, в светло-серых перчатках, с легкой надменной улыбкой на губах, и кивал знакомым, изредка приподнимая цилиндр!

Остались светло-серые перчатки, осталась презрительная улыбка на губах, но что теперь у него на сердце?

Стулья быстро пустели, но Сомс не уходил, словно заставляя Ирэн вытерпеть наказание. Раза два он заговаривал с ней, и она наклоняла голову или с усталой улыбкой отвечала «да».

Вдоль ограды шел какой-то человек; он шагал так быстро, что прохожие оборачивались и смотрели ему вслед.

— Посмотри на этого болвана! — сказал Сомс. — Бежит сломя голову по такой жаре!

Ирэн быстро повернулась в ту сторону; он взглянул на нее.

— А! — сказал Сомс. — Это наш приятель «пират»! И он сидел не двигаясь и насмешливо улыбался, чувствуя, что Ирэн тоже затихла и тоже улыбается.

«Поздоровается она с ним или нет?» — думал Сомс. Но Ирэн не поздоровалась.

Босини дошел до конца ограды и повернул назад, пробираясь между стульями, точно пойнтер по следу. Увидев их, он остановился как вкопанный и приподнял шляпу.

Улыбка не сходила с лица Сомса; он тоже снял цилиндр.

Босини подошел к ним; вид у него был совершенно измученный, как у человека, уставшего после тяжелого физического напряжения; пот каплями выступил на лбу, и улыбка Сомса, казалось, говорила: «Трудно тебе пришлось, любезный!..»

— И вы тоже в парке? — спросил Сомс. — А мы думали, что вы презираете такое легкомысленное времяпрепровождение!

Босини, казалось, ничего не слышал; его ответ предназначался Ирэн:

— Я заходил к вам; думал застать вас дома.

Кто-то сзади окликнул Сомса и заговорил с ним; обмениваясь со знакомым ничего не значащими словами, Сомс не расслышал ее ответа, и в голове у него созрело решение.

— Мы идем домой, — сказал он Босини, — пойдете с нами, пообедаем вместе.

В его словах была какая-то бравада, какой-то странный пафос. «Вы не обманете меня, — говорил его взгляд и голос, — смотрите, я доверяю вам, я не боюсь!»

Они отправились втроем на Монпелье-сквер, Ирэн шла посредине. На людных улицах Сомс шагал впереди. Он не прислушивался к их разговору; внезапно принятое решение довериться им овладело всеми его мыслями. Как игрок, он повторял себе: «Я не могу отбросить эту карту — надо сыграть и на нее. У меня не так уж много шансов».

Сомс торопливо переоделся, услышал, как Ирэн вышла и спустилась по лестнице, и после этого еще целых пять минут помедлил у себя в комнате. Затем он сошел вниз, нарочно хлопнув дверью, чтобы предупредить их. Они стояли у камина, кажется, разговаривали, а может быть, и нет; он не разобрал.

Весь долгий вечер Сомс разыгрывал свою роль в этом фарсе — в его обращении с гостем дружелюбия было даже больше, чем обычно; и когда, наконец, Босини поднялся, он сказал:

— Заходите почаще, Ирэн любит поговорить с вами о постройке!

И опять в его голосе прозвучала какая-то бравада, какой-то странный пафос; но рука его была холодна как лед.

Верный своему решению, он отвернулся, чтобы не видеть их прощания, отвернулся, чтобы не видеть жены, не видеть ее волос, отливающих золотом при свете висячей лампы, ее скорбных улыбающихся губ, не видеть

глаз Босини, который смотрел на нее, как смотрит собака на своего хозяина.

И Сомс лег спать в полной уверенности, что Босини влюблен в его жену.

Ночью было душно, так душно и тихо, что даже из окон, открытых настежь, шла духота. Он долго лежал, прислушиваясь к ее дыханию.

Вот она может спать, а он лежит не смыкая глаз. И, лежа без сна, Сомс твердо решил играть роль спокойного, доверчивого супруга.

Перед рассветом он тихо встал и, пройдя в соседнюю комнату, остановился у открытого окна.

Ему нечем было дышать.

Он вспомнил ночь четыре года назад — ночь накануне свадьбы, такую же душную и жаркую.

Он лежал тогда в кресле у окна своей гостиной на Виктория-стрит. В соседнем переулке кто-то с грохотом ломился в дверь, вскрикнула женщина; он помнил, как будто это случилось совсем недавно, драку, стук захлопнутой двери, мертвую тишину, наступившую вслед за тем. А потом в призрачном, уже не нужном свете уличных фонарей появился поливальщик улиц со своей тележкой; Сомсу казалось, что он опять слышит ее — все ближе и ближе; вот тележка проехала, и звуки постепенно замерли вдали.

Он высунулся из окна, выходящего во дворик, и увидел первые рассветные лучи. На мгновение контуры стен и крыши расплылись, затем выступили снова уже более четко.

Он вспомнил, как фонари заливали бледным светом всю Виктория-стрит; вспомнил, как он торопливо оделся и вышел, миновал дома и сквер и, очутившись на той улице, где жила она, остановился, глядя на маленький дом — тихий, посеревший, как лицо мертвеца.

И вдруг, как бред в мозгу больного, перед ним пронеслась мысль: «А что делает он — этот человек, который не дает мне покоя, который был здесь сегодня вечером, который влюблен в мою жену; может быть, бродит там на улице, ищет ее, как искал сегодня днем; может быть, не спускает глаз с моего дома?»

Он прокрался через площадку лестницы, осторожно отодвинул штору и растворил окно.

Сероватая мгла окутывала деревья в сквере, словно ночь, как большая пушистая бабочка, пролетая, задела их крыльями. Фонари все еще горели бледным светом, но на улице было пустынно, ни живой души кругом!

И вдруг в мертвой тишине откуда-то издали, еле слышный, донесся крик, взметнувшийся, словно голос чьей-то души, изгнанной из рая и тоскующей о своем счастье. Вот опять, опять! Сомс вздрогнул и затворил окно.

И вспомнил: «А! Это павлины кричат в парке»,

XII

ДЖУН ЕЗДИТ С ВИЗИТАМИ

Старый Джолион стоял в тесном холле гостиницы в Бродстэрзе, вдыхая запах клеенки и сельди, которым бывают пропитаны все респектабельные пансионаты на морском побережье. На кресле — лоснящемся кожаном кресле с продранной в левом углу спинки обивкой, сквозь которую виднелся конский волос, — стоял черный саквояж. Старый Джолион укладывал в него бумаги, номера «Таймса» и флакон одеколona. На сегодня были назначены заседания «Золотопромышленной концессии» и «Новой угольной», и он собирался в город, так как никогда не пропускал заседаний. «Пропустить заседание» означало бы лишний раз признаться в своей старости, а жадный форсайтский дух старого Джолиона никак не мирился с этим.

Он укладывал вещи в черный саквояж, и его глаза готовы были каждую минуту загореться гневом. Так поблескивают глаза у мальчишки, загнанного в угол оравой школьных товарищей, хоть он и сдерживается, видя, что перевес на их стороне. И старый Джолион тоже сдерживал себя — усилием воли, уже сдававшей мало-помалу, старался подавить раздражение, которое вызывали в нем некоторые обстоятельства жизни.

Он получил от сына бестолковое письмо, в котором мальчик старался замазать общими фразами свое явное желание уклониться от ответа на простой вопрос. «Я говорил с Босини, — писал Джо, — он не преступник. Чем

больше я вижу людей, тем больше убеждаюсь, что не надо искать в них доброго или злого — они скорее смешны или трогательны. Но Вы, вероятно, не согласитесь со мной».

Старый Джолион, конечно, не согласился; такие речи казались ему циничными. Он еще не достиг того возраста, когда даже Форсайты, отрешившись от иллюзий и правил, которым они следовали с практическими целями, совершенно в них не веря, лишаются физической радости жизни и, постигнув всем существом своим, что им уже не на что надеяться, не видят больше необходимости обуздывать себя, ломают все преграды и говорят то, что раньше им и в голову не пришло бы сказать.

Старый Джолион, должно быть, верил в «добро» и «зло» не больше, чем его сын; но... неизвестно... трудно сказать; может быть, во всем этом что-нибудь и есть; и зачем высказывать бесполезное недоверие и лишать себя возможных преимуществ?

Проводя каникулы в горах, хотя (как истый Форсайт) он никогда не предпринимал ничего слишком рискованного или слишком смелого, старый Джолион очень любил их. И когда после трудного подъема (обозначенного у Бедекера как «утомительный, но вознаграждающий путешественника сторицей») перед ним открывался чудесный вид, он не мог не верить в существование какого-то великого, возвышенного принципа, венчающего всю беспорядочную суету, все неглубокие стремнины и маленькие темные бездны жизни. Это, вероятно, было самым близким к религии переживанием, какое допускал его практический дух.

Но прошло уже много лет с тех пор, как он последний раз был в горах. Первые два года после смерти жены он проводил там каникулы с Джун и тогда же с горечью убедился, что дни прогулок для него миновали.

Та уверенность в существовании высшего порядка вещей, которой его наградили горы, давно уже не посещала старого Джолиона.

Он знал, что стареет, но чувствовал себя молодым, и это тревожило его. Тревожила и смущала мысль, что он, такой осторожный, стал отцом и дедом людей, словно рожденных для несчастий. Про Джо ничего пло-

хого не скажешь — да разве можно сказать что-нибудь плохое про такого славного мальчика? Однако его положение в жизни никуда не годится; история с Джун тоже ничем не лучше. Во всем этом было что-то роковое, а человек с его характером не мог ни понять рока, ни примириться с ним.

Решив написать сыну, старый Джолион не надеялся, что из этого выйдет что-нибудь путное. Еще на балу у Роджера ему стало ясно, к чему все это клонится; чтобы высчитать, сколько будет дважды два, старому Джолиону требовалось гораздо меньше времени, чем многим другим, а имея перед глазами пример собственного сына, он знал лучше всех остальных Форсайтов, что бледное пламя опалает людям крылья, хотя бы они этого или нет.

До помолвки Джун, когда она и миссис Сомс были неразлучны, старый Джолион достаточно часто встречался с Ирэн, чтобы почувствовать ее обаяние. Она не была ни вертушкой, ни кокеткой — слова, милые сердцу людей его поколения, любивших называть вещи добротными, обобщающими и не совсем точными именами; но в ней чувствовалось что-то опасное. Он и сам не мог сказать, в чем тут дело. Попробуйте поговорить с ним о свойствах, присущих некоторым женщинам, о той обольстительности, которая не зависит даже от них самих! Он ответит вам: «Вздор!» В Ирэн чувствуется что-то опасное, и дело с концом! Ему хотелось закрыть глаза на все это. Раз уж случилось, пусть так оно и будет; он не желает больше об этом слушать, ему хочется только одного: спасти Джун и вернуть ей душевный покой. Старый Джолион все еще надеялся снова найти в Джун свое утешение.

Итак, он отправил письмо. Ответ был маловразумительный. Что же касается самого разговора с Босини, то о нем, в сущности говоря, упоминалось всего-навсего одной странной фразой: «Насколько я понимаю, его захватило потоком». Потоком! Каким потоком? Что теперь за странная манера выражать свои мысли!

Старый Джолион вздохнул и сунул последние бумаги во внутренний карман саквояжа; он прекрасно знал, что подразумевалось под «потоком».

Джун вышла из столовой и помогла ему надеть пальто. По костюму и по решительному выражению ее

лица старый Джолион сразу же понял, что последует дальше.

— Я тоже поеду,— сказала она.

— Глупости, дорогая; я прямо в Сити. Нечего тебе слоняться по городу.

— Мне надо повидать миссис Смич.

— Опять ты вздумала возиться со своими «несчастненькими»! — проворчал старый Джолион.

Он не поверил этому предлогу, но спорить не стал. С ее упрямством все равно не сладишь.

На вокзале он усадил Джун в приехавший за ним самим экипаж — очень характерный поступок для старого Джолиона, совсем не страдавшего эгоизмом.

— Только не очень утомляйся, дорогая,— сказал он и, подождав кэб, уехал в Сити.

Джун отправилась сначала в один из переулочков Пэддингтона, где жила «несчастненькая» миссис Смич — пожилая особа, по профессии судомойка; но, послушав с полчаса ее как всегда горестные излияния и чуть ли не насильно заставив старушку примириться на время со своей участью, она поехала на Стэнхоп-Гейт. Большой дом стоял пустой и темный.

Джун решила выведать хоть что-нибудь, выведать любой ценой. Лучше узнать самое худшее и покончить со всем этим. План ее был таков: поехать сначала к тетке Фила, миссис Бейнз, а если там ничего не добьешься, — к самой Ирэн. Она не отдавала себе ясного отчета в том, что ей, собственно, дадут эти визиты.

В три часа Джун приехала на Лаундес-сквер. Повинуясь инстинкту, появляющемуся у женщин в минуты опасности, она надела самое лучшее платье и отправилась на поле битвы, глядя вперед с такой же отвагой, как старый Джолион. Ее страхи уступили место нетерпению.

В ту минуту, когда доложили о приезде Джун, тетка Босини, миссис Бейнз (звали ее Луиза), находилась на кухне и присматривала за кухаркой — миссис Бейнз была великолепная хозяйка, а, как всегда говорил сам Бейнз, «хороший обед — великое дело». Ему лучше всего работалось в послеобеденные часы. Этот самый Бейнз и построил блистательный ряд высоких красных домов в Кенсингтоне, которые вместе со многими дру-

гими домами оспаривают славу «самых уродливых построек в Лондоне».

Услышав о приезде Джун, миссис Бейнз поспешила в спальню и, вынув из запертого в комод красной сафьянового футляра два больших браслета, надела их на свои белые руки — миссис Бейнз в значительной степени было присуще то самое «чувство собственности», которое, как мы знаем, является пробным камнем форсайтизма и основой высокой нравственности.

Зеркало гардероба отражало невысокую коренастую фигуру миссис Бейнз, явно склонную к полноте и одетую в платье, сшитое под ее собственным присмотром из материи весьма неопределенных тонов, напоминающих окраску коридоров в больших гостиницах. Она подняла руки к волосам, причесанным *à la Princesse de Galles*, и поправила их кое-где, чтобы прическа лучше держалась; взгляд ее был полон бессознательной трезвости, словно она присматривалась к какому-то очень неприглядному факту и старалась повернуть его к себе выгодной стороной. В юности на щеках миссис Бейнз цвели розы, но преклонный возраст покрыл эти щеки пятнами, и в то время как она проводила по лбу пуховкой, глаза ее смотрели в зеркало с черствой, отталкивающей прямо-той. Положив пуховку, она несколько минут стояла перед зеркалом неподвижно, пристраивая на лицо улыбку, в которой участвовали и ее прямой величественный нос, и подбородок (никогда не отличавшийся своими размерами, а сейчас и вовсе еле заметный по соседству с полной шеей), и тонкие поджатые губы. Быстро, чтобы сохранить эффект улыбки, она подобрала обеими руками подол и спустилась по лестнице.

Миссис Бейнз давно поджидала визита Джун. До нее уже дошли слухи, что между племянником и его невестой происходит что-то неладное. Ни тот, ни другая не заглядывали к ней уже несколько недель. Она много раз приглашала Фила к обеду, но на эти приглашения он неизменно отвечал: «Занят».

Миссис Бейнз тревожилась инстинктивно, а чутье у этой достойнейшей женщины было необычайно острое. Ей следовало родиться в семье Форсайтов; с точки зрения молодого Джолиона, вкладывавшего в это слово особый смысл, у миссис Бейнз были, конечно, все права

на такую привилегию, и поэтому она заслуживает особой характеристики.

Миссис Бейнз ухитрилась так удачно выдать замуж трех дочерей, что, по мнению многих, девушки этого даже не заслуживали, так как они отличались той невзрачностью, какую, как правило, можно встретить только в семьях, имеющих отношение к наиболее почтенным профессиям. Ее имя числилось в комитетах, ведавших множеством благотворительных дел: балами, спектаклями, базарами, которые возглавляла церковь,— миссис Бейнз давала свое имя только в тех случаях, когда чувствовала твердую уверенность, что все будет организовано под надлежащим присмотром.

По ее собственным словам, она стояла за то, чтобы подводить деловую основу решительно подо все; функции церкви, благотворительных комитетов — да всего, чего угодно,— должны заключаться в упрочении Общества. Поэтому неорганизованность миссис Бейнз считала безнравственной. Все дело в организации, ибо только организация даст чувство уверенности, что ваши деньги потрачены не зря. Организация — и еще раз организация. Не может быть никакого сомнения, что миссис Бейнз была тем, чем считал ее старый Джолион,— докой по этой части; правда, он шел дальше и называл ее «трещоткой».

Все начинания, под которыми ставилось и ее имя, были так идеально организованы, что к тому времени, когда подсчитывали барыши, начинания эти становились похожими на молоко, с которого сняты все сливки человеческой сердечности. Но, по справедливому замечанию миссис Бейнз, сентименты тут неуместны. По правде говоря, она была чуть-чуть академична.

Эта достойная женщина, пользовавшаяся большим уважением в церковных кругах, была одной из старших жриц в храме форсайтизма, денно и нощно поддерживающих неугасимый огонь в светильнике, горящем перед богом собственности, на алтаре которого начертаны возвышенные слова: «Ничего даром, а за пенни самую малость».

Когда миссис Бейнз входила в комнату, чувствовалось появление чего-то весьма солидного; в этом, вероятно, и заключался секрет ее популярности как дамы-пат-

ронессы. Такая солидность по душе людям, которые платят деньги; и на балах они взирали на прямоносую породную миссис Бейнз, стоявшую в платье с блестками в окружении своих помощников, как на полководца.

Единственное, чего ей не хватало,— это второго имени. Она играла большую роль в своем обществе — среди представителей крупной буржуазии, во всех группах и кружках, встречавшихся на общем поле битвы благотворительной деятельности — на том поле битвы, где все они получали такое удовольствие от соприкосновения с людьми Общества, которое пишется с большой буквы. Она играла роль в обществе, которое пишется с маленькой буквы, в той гораздо более широкой, более значительной и могущественной корпорации, где христианско-коммерческие институты, правила и принципы, нашедшие свое воплощение в ней самой, были горячей кровью, свободно разливавшейся по жилам,— твердой валютой, а не тем суррогатом, что наполнял вены маленького Общества, начинающегося с большого «О». Люди, знавшие миссис Бейнз, чувствовали в ней трезвость — трезвость женщины, которая ничему не отдается целиком и вообще старается уделять другим как можно меньше.

У миссис Бейнз были самые скверные отношения с отцом Босини, для которого она нередко служила объектом совершенно непростительных с его стороны издевательств. Теперь, вспоминая умершего, она называла его своим «милым непочтительным братом».

Миссис Бейнз встретила Джун с тщательно разыгранным радушием, на что она была мастерица, и с некоторой опаской, если такая известная в деловых и церковных кругах женщина вообще могла опасаться кого-либо. Джун, несмотря на всю свою хрупкость, обладала большим чувством собственного достоинства, и это чувство собственного достоинства сквозило в ее бесстрашных глазах. И миссис Бейнз прекрасно понимала, что в этой непреклонной прямоте Джун было много форсайтского. Будь эта девушка просто откровенна и смела, миссис Бейнз сочла бы ее сумасбродкой и ничем, кроме презрения, не удостоила бы; будь в ней просто много форсайтских черт, как, скажем, у Фрэнси, она покровительствовала бы ей из чистого уважения к благородно-

му металлу; но Джун, несмотря на всю свою миниатюрность (миссис Бейнз обычно приводили в восторг вещи внушительных размеров), вселяла в нее какое-то чувство неловкости; и она усадила Джун в кресло лицом к окну.

Ее уважение к Джун объяснялось еще одним обстоятельством, признать которое миссис Бейнз — женщина набожная и не поддающаяся мирским соблазнам — вряд ли согласилась бы: она часто слышала от мужа, что старый Джолион богатый человек, и Джун очень выигрывала в ее глазах благодаря этому чрезвычайно резонному обстоятельству. Сегодня миссис Бейнз испытывала те же чувства, с какими мы читаем роман о некоем молодом человеке и наследстве и трепещем от страха, как бы автор не совершил ужасного промаха, оставив своего героя к концу книги ни с чем.

В ее обращении с Джун было много теплоты; миссис Бейнз никогда еще не видела с такой ясностью, какая это редкая и достойная девушка. Она справилась о здоровье старого Джолиона. Поразительно сохранился для своего возраста; такой статный, моложавый, сколько ему лет? Восемьдесят один! Никогда бы не дала! Они живут на море? Чудесно! Фил, наверное, пишет Джун каждый день? Ее светло-серые глаза широко открылись; но девушка выдержала этот взгляд не дрогнув.

— Нет, — сказала она, — совсем не пишет!

Миссис Бейнз потупилась: ее веки опустились невольно, но все-таки опустились. Через мгновение все было по-прежнему.

— Ну, разумеется! Как это похоже на Фила — он всегда такой!

— Разве? — сказала Джун.

Этот вопрос чуть было не прогнал широкую улыбку с лица миссис Бейнз; чтобы скрыть свое замешательство, она слегка заерзала на месте, оправила платье и сказала:

— Ах, милочка, он такой сумбурный; ну кто станет обращать внимание на его поступки!

Джун вдруг поняла, что напрасно теряет здесь время: если даже поставить вопрос прямо, от этой женщины все равно ничего не добьешься.

— Вы видаетесь с ним? — спросила она, залившись румянцем.

На запудренном лбу миссис Бейнз выступила испарина.

— Да, конечно! Не помню, когда он был последний раз,— по правде сказать, мы его не видели это время. У него столько хлопот с домом вашего кузена; говорят, постройка скоро закончится. Надо будет устроить обед в честь такого события; приезжайте как-нибудь и оставайтесь ночевать!

— Благодарю вас,— сказала Джун.

И опять подумала: «Я зря трачу время. Она ничего не скажет».

Джун встала. В миссис Бейнз произошла перемена. Она тоже поднялась; губы ее дрогнули, она беспокойно сжала руки. Происходило что-то неладное, а она ни о чем не осмеливалась спросить эту хрупкую стройную девушку, стоявшую перед ней с таким решительным личиком, стиснутыми губами и с обидой в глазах. Миссис Бейнз никогда не боялась задавать вопросы — вся организационная деятельность зиждется на вопросах и ответах.

Но дело было настолько серьезно, что нервы ее, обычно довольно крепкие, сейчас сдали; еще сегодня утром муж сказал:

— У старика Форсайта, наверно, больше ста тысяч фунтов.

И вот эта девушка стоит перед ней и протягивает руку — протягивает руку!

Может быть, сейчас ускользнет возможность — кто знает! — возможность удержать ее в семье, а миссис Бейнз не решалась заговорить.

Она проводила Джун взглядом до самой двери.

Дверь закрылась.

Миссис Бейнз ахнула и бросилась следом за Джун, переваливаясь на ходу всем своим тучным телом.

Поздно. Она услышала, как захлопнулась входная дверь, и замерла на месте с выражением неподдельного гнева и обиды на лице.

Быстрая как птица, Джун неслась по улице. Она не навидела теперь эту женщину, которая в прежние счастливые дни казалась ей такой доброй. Неужели от нее вечно будут так отделяться, вечно будут мучить неизвестностью?

Она пойдет к Филу и спросит его самого. Она имеет право знать все. Джун быстро прошла Слоун-стрит и поравнялась с домом, где жил Босини. Затворив за собой входную дверь, она с мучительно бьющимся сердцем взбежала по лестнице.

На площадке третьего этажа она замедлила шаги, чтобы перевести дыхание, и, взявшись рукой за перила, прислушалась. Наверху было тихо.

Бледная, как полотно, Джун прошла последний пролет. Она увидела дверь, прочла его имя на дощечке. И решимость, с которой она пришла сюда, вдруг покинула ее.

Джун ясно поняла все значение своего поступка. Ее бросило в жар; ладони под тонкими шелковыми перчатками были влажны.

Она отошла от двери, но не спустилась вниз. Прислонившись к перилам, она старалась побороть в себе чувство, близкое к удушью, и смотрела на дверь с отчаянной отвагой. Нет, она не сойдет вниз. Не все ли равно, что о ней будут думать? Никто не узнает. Помощи ждать не от кого, надо действовать самой. Надо покончить с этим.

И, заставив себя отойти от стены, она дернула звонок. Дверь не отперли, и весь ее стыд и страх вдруг исчезли; она позвонила еще и еще раз, словно добиваясь у запертой квартиры ответа и вознаграждения за тот стыд и страх, с которыми она пришла сюда. Дверь не отворили; Джун перестала звонить и, опустившись на ступеньку, закрыла лицо руками.

Потом она тихонько сошла вниз на улицу. У нее было такое чувство, словно она только что встала после тяжелой болезни; ей хотелось лишь одного: как можно скорее добраться домой. Ей казалось, что на улице все знают, где она была, что она делала; и вдруг через дорогу она увидела Босини, идущего к своему дому со стороны Монпелье-сквер.

Она хотела перебежать улицу. Глаза их встретились, и он приподнял шляпу. Проехал омнибус, и на минуту она потеряла Босини, потом, стоя на краю тротуара, увидела сквозь вереницу экипажей его удаляющуюся фигуру.

И Джун замерла на месте, глядя ему вслед.

ПОСТРОЙКА ДОМА ЗАКОНЧЕНА

— Порцию телячьего бульона, порцию супа из бычьих хвостов, два стакана портвейна.

В верхнем зале у Френча, где Форсайт все еще может получить сытные английские блюда, сидели за завтраком Джемс и его сын.

Этот ресторан Джемс предпочитал всем остальным; все здесь было скромно, без претензий, вкусно, сытно, и хотя Джемс был уже до некоторой степени испорчен необходимостью следить за модой и привычки его складывались соответственно доходам, которые неуклонно продолжали расти, но в минуты затишья среди работы его все еще одолевала тоска по вкусной, обильной пище, которую он едал в молодости. У Френча подавали настоящие английские официанты — заросшие волосами, в передниках; пол посыпался опилками, а три круглых зеркала в позолоченных рамах висели как раз на такой высоте, чтобы в них нельзя было смотреться. И кабинки здесь уничтожили совсем недавно, кабинки, где можно было съесть бифштекс из вырезки с рассыпчатым картофелем, не видя своих соседей, — по-джентльменски.

Джемс заткнул салфетку за третью пуговицу жилета — привычка, от которой ему давно пришлось отказаться в Вест-Энде. Он чувствовал, что будет есть суп с аппетитом, — все утро ушло на оформление бумаг по продаже поместья одного старого приятеля.

Набив рот черствым хлебом здешней выпечки, Джемс заговорил:

— Ты поедешь в Робин-Хилл один или с Ирэн? Возьми ее с собой. Там, наверное, будет еще много возни.

Не поднимая глаз, Сомс ответил:

— Она не хочет ехать.

— Не хочет? Как так? Разве она не собирается жить в Робин-Хилле?

Сомс промолчал.

— Не понимаю, что теперь творится с женщинами, — забормотал Джемс, — у меня с ними никаких хлопот не было. Ты слишком много позволяешь ей. Она избалована.

Сомс поднял на него глаза.

— Я не желаю слышать о ней ничего дурного,— сказал он вдруг.

В наступившем молчании было только слышно, как Джемс тянет суп с ложки.

Официант принес два стакана портвейна, но Сомс остановил его.

— Так портвейн не подают,— сказал он,— унесите это и подайте всю бутылку.

Покончив с супом и с размышлениями, Джемс подвел краткий итог общему положению дел.

— Мама лежит,— сказал он,— можешь воспользоваться экипажем. Я думаю, Ирэн с удовольствием поедет. Этот Босини сам вам все покажет?

Сомс кивнул.

— Я тоже не прочь посмотреть, как он там закончил отделку,— продолжал Джемс.— Надо, пожалуй, захватить за вами обоими.

— Я поеду поездом,— ответил Сомс.— А если вы захотите побывать в Робин-Хилле, Ирэн, может быть, согласится съездить с вами; впрочем, не знаю.

Он подозвал официанта и попросил счет, по которому уплатил Джемс.

Они расстались у собора св. Павла: Сомс поехал на вокзал, а Джемс сел в омнибус и отправился в западную часть города.

Он выбрал себе угловое место рядом с кондуктором, загородив пассажирам дорогу своими длинными ногами, и на всех входивших в омнибус смотрел с неодобрением, точно они не имели права дышать его воздухом.

Джемс решил воспользоваться случаем и поговорить с Ирэн. Вовремя сказанное слово многое значит; а раз она собирается переезжать за город, пусть не упускает возможности начать новую жизнь. Вряд ли Сомс потерпит, если так будет продолжаться.

Он не вдумывался в то, что значило это «продолжаться»; смысл выражения был достаточно широк, расплывчат и как нельзя более подходил Форсайту. А после завтрака Джемс был куда храбрее обычного.

Добравшись домой, он велел подать ландо и распорядился, чтобы ехал и грум. Джемс хотел подойти к Ирэн поласковой, сделать для нее все, что можно.

Когда дверь дома № 62 отворилась, он совершенно явственно расслышал пение Ирэн и сразу же заявил об этом, чтобы ему не отказали в приеме.

Да, миссис Сомс дома, но горничная не знала, принимает ли она.

С проворством, не раз удивлявшим тех, кто наблюдал за его тощей фигурой и отсутствующим выражением лица, Джемс двинулся в гостиную, не дав горничной времени принести отрицательный ответ. Ирэн сидела за роялем, положив руки на клавиши и, по-видимому, прислушивалась к голосам в холле. Она не улыбнулась ему.

— Ваша свекровь лежит,— начал Джемс, рассчитывая сразу же завоевать ее сочувствие.— Меня ждет экипаж. Будьте умницей, подите наденьте шляпу, и мы поедем кататься. Вам полезно подышать воздухом!

Ирэн взглянула на него, словно собираясь отказаться, но, очевидно, передумав, пошла наверх и вернулась уже в шляпе.

— Куда вы меня повезете? — спросила она.

— Мы поедем в Робин-Хилл,— быстро забормотал Джемс,— лошади застоялись, а я хочу посмотреть, что там делается.

Ирэн заколебалась, но снова передумала и пошла к экипажу, а Джемс последовал за ней по пятам — так будет вернее.

Проехали уже больше половины дороги, когда Джемс заговорил:

— Сомс так любит вас, не позволяет задеть ни одним словом; почему вы так холодны с ним?

Ирэн вспыхнула и сказала чуть слышно:

— Я не могу дать ему то, чего у меня нет.

Джемс строго посмотрел на нее: она сидела в его собственном экипаже, ее везли его собственные лошади и слуги — он чувствовал себя хозяином положения. Теперь ей не так просто будет отделаться; и устраивать сцену на людях она тоже не захочет.

— Я не понимаю вас,— сказал он.— Сомс прекрасный муж!

Ответ Ирэн прозвучал так тихо, что шум уличного движения почти заглушил ее голос. Он уловил слова:

— Ведь вы не замужем за ним!

— Ну и что же из этого? Он вам ни в чем не отказывает. Готов сделать что угодно, вот теперь выстроил вам загородный дом. Ведь у вас как будто нет собственных средств?

— Нет.

Джемс снова посмотрел на Ирэн; он не мог понять выражение ее лица. Похоже было, что она вот-вот заплачет, а вместе с тем...

— Уж мы-то всегда к вам хорошо относились,— то-ропливо забормотал он.

У Ирэн задрожали губы; к своему ужасу, Джемс увидел, как по щеке ее скатилась слеза. Он чувствовал, что в горле у него стал комок.

— Мы очень любим вас. Если бы вы только...— он чуть не сказал: «вели себя как следует», но передумал: — если бы вы только захотели стать хорошей женой.

Ирэн ничего не ответила, и Джемс тоже замолчал. Она сбивала его с толку; в ее молчании чувствовалось не упрямство, а скорее подтверждение всего, что он мог сказать. И вместе с тем у Джемса было ощущение, что последнее слово осталось не за ним. Он не понимал, в чем тут дело.

Однако замолчать надолго Джемс не мог.

— Вероятно, Босини теперь скоро женится на Джун,— сказал он.

Ирэн изменилась в лице.

— Не знаю,— сказала она,— спросите у нее.

— Она пишет вам?

— Нет.

— Почему? — спросил Джемс.— Я думал, что вы друзья.

Ирэн повернулась к нему.

— И об этом,— сказала она,— спросите у нее.

— Ну, знаете,— пробормотал Джемс, испуганный ее взглядом,— все-таки это очень странно, что я не могу получить простой ответ на простой вопрос, но ничего не поделаешь.

Он замолчал, переваривая такой отпор, и наконец разразился:

— По крайней мере я вас предупредил. Вы не хотите заглядывать вперед, Сомс много говорить не станет, но я уже вижу, что он долго этого не потерпит. Вам при-

дется винить только самое себя — больше того: не ждите к себе сочувствия.

Ирэн улыбнулась и сказала, чуть склонив голову: — Я вам очень признательна.

Джемс не нашел, что ответить на это.

На смену ясному жаркому утру пришел серый душный день; тяжелая гряда туч, желтых по краям и предвещавших грозу, надвигалась с юга. Ветви деревьев неподвижно свисали над дорогой, не шевеля ни единым листком. В раскаленном воздухе стоял запах лошадиного пота; кучер и грум, сидевшие навтыжку, время от времени украдкой переговаривались, не поворачиваясь друг к другу.

Наконец, к величайшему облегчению Джемса, экипаж подъехал к дому; молчание и непроницаемость этой женщины, которую он привык считать такой кроткой и мягкой, пугали его.

Экипаж остановился у самого подъезда, и они вошли в дом.

В холле было прохладно и тихо, как в могиле, — по спине у Джемса пробежал холодок. Он торопливо отдернул кожаную портьеру, скрывавшую внутренний дворик. И не мог удержаться от одобрительного возгласа.

В самом деле, дом был отделан с безукоризненным вкусом. Темно-красные плиты, покрывавшие пространство между стенами и врытым в землю белым мраморным бассейном, обсаженным высокими ирисами, были, очевидно, самого лучшего качества. Джемс пришел в восторг от лиловой кожаной портьеры, которой была задернута одна сторона двора, сбоку от большой печи, выложенной белым изразцом. Стеклянная крыша была раздвинута посередине, и теплый воздух лился сверху в самое сердце дома.

Джемс стоял, заложив руки за спину, склонив голову на худое плечо, и разглядывал резьбу колонн и фриз, проложенный вдоль галереи на желтой, цвета слоновой кости, стене. По всему было видно, что трудов здесь не пожалели. Настоящий джентльменский особняк. Джемс подошел к портьере, исследовал, как она отдергивается, раздвинул ее в обе стороны и увидел картинную галерею с огромным, во всю стену, окном. Пол здесь был черного дуба, а стены окрашены под слоновую кость, так же

как и во дворе. Джемс отворял одну дверь за другой и заглядывал в комнаты. Всюду идеальный порядок, можно переезжать хоть сию минуту.

Повернувшись, наконец, к Ирэн, он увидел, что она стоит у двери в сад с мужем и Босини.

Не отличаясь особой чуткостью, Джемс все же сразу заметил, что происходит что-то неладное. Он подошел к ним уже встревоженный и, не зная еще, в чем дело, попытался как-то смягчить создавшееся положение.

— Здравствуйте, мистер Босини,— сказал он, протягивая руку.— Я вижу, вы не поскупились на отделку.

Сомс повернулся к нему спиной и отошел. Джемс перевел взгляд с хмурого лица Босини на Ирэн и от волнения высказал свои мысли вслух:

— Не понимаю, что тут происходит. Мне никогда ничего не рассказывают.

И, повернувшись вслед за сыном, услышал короткий смешок архитектора и слова:

— И благодарение богу. Стоит ли так...

К несчастью, конца фразы Джемс уже не разобрал.

Что случилось? Он оглянулся. Ирэн стояла рядом с Босини, и выражение лица у него было такое, какого раньше Джемс никогда не видел. Он поспешил к сыну.

Сомс шагал по галерее.

— В чем дело? — спросил Джемс.— Что у вас там?

Сомс взглянул на него со своим обычным надменным спокойствием, но Джемс знал, что сын взбешен.

— Наш приятель,— сказал он,— снова превысил свои полномочия. На этот раз пусть пеняет на себя.

Сомс пошел к выходу. Джемс поспешил за ним, стараясь протиснуться вперед. Он видел, как Ирэн отняла палец от губ, услышал, как она сказала что-то своим обычным тоном, и заговорил, еще не поравнявшись с ними:

— Будет гроза. Надо ехать домой. Нам, кажется, не по дороге, мистер Босини? Нет? Тогда до свидания!

Он протянул руку. Босини не принял ее и, отвернувшись, сказал со смехом:

— До свидания, мистер Форсайт. Смотрите, как бы гроза не застала вас в дороге! — и отошел в сторону.

— Ну,— сказал Джемс,— я не знаю...

Но, взглянув на Ирэн, запнулся. Ухватив невестку за

локоть, он проводил ее до коляски. Джемс был уверен, совершенно уверен, что они назначили друг другу свидание...

Ничто в мире не может так взбудоражить Форсайта, как открытие, что вещь, на которую он положил истратить определенную сумму, обошлась гораздо дороже. И это понятно, потому что на точности расчетов построена вся его жизнь. Если Форсайт не может рассчитывать на совершенно определенную ценность вещей, значит, компас его начинает пошаливать; он несется по бурным волнам, выпустив кормило из рук.

Оговорив в письме к Босини свои условия, о которых уже упоминалось выше, Сомс перестал думать о деньгах. Он считал, что окончательная стоимость постройки установлена совершенно точно, и возможность превышения ее просто не приходила ему в голову. Услышав от Босини, что сверх сметы в двенадцать тысяч фунтов истрачено еще около четырех сотен, Сомс побелел от ярости. По первоначальным подсчетам, законченный дом должен был обойтись в десять тысяч фунтов, и Сомс уже не раз бранил себя за бесконечные расходы сверх сметы, которые он позволил архитектору. Однако последние траты были прямо-таки непростительны со стороны Босини. Как это он так сглупил, Сомс не мог понять; но факт был налицо, и вся злоба, вся затаенная ревность, которой давно уже горел Сомс, вылилась в ярость против этой совсем уж возмутительной выходки Босини. Позиция доверчивого, дружески настроенного мужа была оставлена. Сомс занял ее, чтобы сохранить свою собственность — жену, теперь он переменил позицию, чтобы сохранить другой вид собственности.

— Ах так! — сказал он Босини, когда к нему вернулся дар речи. — И вы, кажется, в восторге от самого себя. Но позвольте заметить, что вы не на таковского напали.

Что он хотел сказать этим, ему самому еще было неясно, но после обеда он просмотрел свою переписку с Босини, чтобы действовать наверняка. Двух мнений здесь быть не могло: этот молодчик обязан возместить перерасход в четыреста фунтов или во всяком случае в триста пятьдесят — пусть и не пробует отвертеться.

Придя к этому заключению, Сомс посмотрел на жену. Сидя на своем обычном месте в углу дивана, Ирэн пришивала кружевной воротничок к платью. За весь вечер она не обмолвилась с ним ни словом.

Он подошел к камину и, рассматривая в зеркале свое лицо, сказал:

— Твой «пират» сваял большого дурака; придется ему расплачиваться за это!

Она презрительно взглянула на него и ответила:

— Не понимаю, о чем ты говоришь!

— Скоро поймешь. Так, пустячок, не стоящий твоего внимания,— четыреста фунтов.

— Ты на самом деле собираешься взыскать с него за этот несчастный дом?

— Собираюсь.

— А тебе известно, что у него ничего нет?

— Да.

— Я думала, что на такую низость ты не способен.

Сомс отвернулся от зеркала, машинально снял с каминной полки фарфоровую чашку и взял ее в обе руки, точно молясь над ней. Он видел, как тяжело дышит Ирэн, как потемнели от гнева ее глаза, но пропустил колкость мимо ушей и спокойно спросил:

— Ты флиртуешь с Босини?

— Нет, не флиртую.

Глаза их встретились, и Сомс отвернулся. Он верил и не верил ей и знал, что вопрос этот задавать не стоило; он никогда не знал и никогда не узнает ее мыслей. Непроницаемое лицо Ирэн, воспоминание о всех тех вечерах, когда она сидела здесь все такая же мягкая и пассивная, но непонятная, загадочная, накалили его неуправляемой яростью.

— Ты точно каменная,— сказал он и так стиснул пальцы, что хрупкая чашка разлетелась вдребезги. Осколки упали на каминную решетку. И Ирэн улыбнулась.

— Ты, кажется, забыл,— сказала она,— что чашка все-таки не каменная!

Сомс схватил ее за руку.

— Хорошая трепка,— сказал он,— это единственное, что может тебя образумить.—И, повернувшись на каблуках, вышел из комнаты.

СОМС СИДИТ НА ЛЕСТНИЦЕ

Сомс поднялся к себе в тот вечер, чувствуя, что хватил через край. Он был готов принести извинения за свои слова.

Он потушил газ, все еще горевший в коридоре. Взявшись за ручку двери, остановился на секунду, чтобы обдумать извинения, так как ему не хотелось выдавать ей свое беспокойство.

Но дверь не отворилась и не подалась даже тогда, когда он дернул ее и налег на ручку. Ирэн, должно быть, заперла почему-нибудь спальню на ключ и забыла потом отпереть.

Войдя в свою комнату, тоже освещенную низко прикрученной газовой лампой, он быстро направился к двери в спальню. И эта дверь была заперта на ключ. Тут Сомс заметил, что складная кровать, на которой он изредка спал, была постлана. На подушке лежала его ночная сорочка. Сомс приложил руку ко лбу, рука стала влажной. Значит, его выставили?

Он вернулся к двери и, осторожно постучав ручкой, сказал:

— Отопри мне, слышишь? Отопри дверь!

В комнате раздался шорох, но ответа не было.

— Ты слышишь? Впусти меня сию же минуту — я требую!

Он слышал ее дыхание около самой двери — так дышат те, кому угрожает опасность.

В этом гробовом молчании, в невозможности добратся до нее было что-то страшное. Сомс вернулся к другой двери и, навалившись на нее всем телом, попытался выломать. Дверь была новая — перед свадебным путешествием он сам распорядился заново переделать оба входа. Не помня себя от ярости, Сомс занес ногу, чтобы ударить в дверь; но его остановила мысль о прислуге, и он вдруг почувствовал себя побежденным.

Бросившись на складную кровать у себя в комнате, он схватился за книгу.

Но вместо букв перед глазами у него стояла жена, он видел ее золотистые волосы, рассыпавшиеся по обна-

женным плечам, видел ее большие темные глаза — вот она стоит там, как затравленный зверь. И Сомс понял все значение ее бунта. Она решила, что так будет и дальше.

Он не мог лежать спокойно и снова подошел к двери. Он знал, что Ирэн все еще стоит там, и крикнул:

— Ирэн! Ирэн!

Против воли голос его прозвучал жалобно. В ответ на это слабый шорох за дверью прекратился, и наступила зловещая тишина. Сомс стоял, стиснув руки, и думал.

Потом вышел на цыпочках и с разбегу навалился на другую дверь. Она затрещала, но не поддалась. Сомс опустился на ступеньки и закрыл лицо руками.

Он долго сидел так в темноте; сквозь стеклянный люк в потолке луна бросала на лестницу светлый блик, который медленно вытягивался по направлению к Сомсу. Он попробовал взглянуть на все происходящее по-философски.

Заперев дверь на ключ, она больше не может претендовать на права жены — значит, он будет искать утешения у других женщин.

Но мысли Сомса не задержались на этих соблазнительных картинах — такие развлечения были не в его вкусе. В прошлом их у него насчитывалось не много, а за последнее время он и подавно отвык от всего этого и вряд ли теперь привыкнет. Его голод могла утолить только жена — неумолимая, испуганная, спрятавшаяся от него в запертой комнате. Другие женщины ему не нужны.

Сидя в темноте, Сомс почувствовал, насколько сильна в нем эта уверенность.

Его философская выдержка исчезла, уступив место угрюмой злобе. Поведение Ирэн безнравственно, непροститительно, оно заслуживает самого жестокого наказания, какое только можно придумать. Ему не нужна никакая другая женщина, а она отталкивает его.

Значит, правда, что он ненавистен ей! До сих пор Сомс не мог этому поверить. Да и сейчас не верил. Это немыслимо. Ему казалось, что он потерял способность рассуждать. Если та, которую он всегда считал мягкой и покорной, могла решиться на такой шаг, то чего же надо ждать дальше?

И он снова спрашивал себя, правда ли, что у нее роман с Босини. Он не верил в это, не решался дать такое объяснение ее поступкам — с этой мыслью лучше не сталкиваться.

Невыносимо думать о том, что он будет вынужден сделать свои супружеские отношения достоянием гласности. Пока нет более веских доказательств, не надо верить в это, ведь он не станет наказывать самого себя. И все же в глубине души Сомс верил.

Луна бросала сероватый отблеск на его фигуру, прижавшуюся к стене.

Босини влюблен в нее. Он ненавидит этого человека и не намерен теперь щадить его. Он имеет право отказаться и откажется платить, не даст ни одного пенни сверх двенадцати тысяч пятидесяти фунтов — крайней суммы, установленной в письме. Нет, лучше заплатить! Заплатить, а потом предъявить ему иск и взыскать убытки. Он пойдет к «Джоблингу и Боултеру» и поручит им вести дело. Он разорит этого оборванца! И вдруг — но разве существовала какая-нибудь связь между этими двумя мыслями? — Сомс подумал, что у Ирэн тоже нет средств. Оба нищие. И эта мысль принесла ему странное удовлетворение.

Тишину нарушил легкий скрип за стеной. Наконец-то она легла! А! Приятных сновидений! Пусть даже распахнет настежь двери, теперь он все равно не войдет.

Но его губы, по которым пробежала горькая усмешка, дрогнули; он закрыл глаза руками...

Вечер был уже близок, когда на следующий день Сомс остановился у окна столовой и хмуро посмотрел на сквер.

Солнце все еще заливало платаны, и на легком ветерке широкие яркие листья блестели в лучах, танцуя под звуки шарманки, игравшей на углу. Уныло отстукивая такт, шарманка играла вальс, старинный вальс, уже вышедший из моды; играла, играла без конца, хотя только одни листья танцевали под эту музыку.

У женщины, вертевшей ручку шарманки, вид был невеселый, устала, должно быть; из окон высоких до-

мов не бросили ни одного медяка. Она подняла шарманку и, пройдя три дома, снова заиграла.

Это был тот самый вальс, под который на балу у Роджера танцевали Ирэн с Босини; и вместе с коварной музыкой Сомс услышал запах гардений, как тогда на балу, когда мимо него промелькнули отливающие золотом волосы и мягкие глаза Ирэн, увлекавшие Босини все дальше и дальше по бесконечному залу.

Женщина медленно вертела ручку; она играла свой вальс весь день — играла на Слоун-стрит, играла, может быть, и для Босини.

Сомс отошел, взял папиросу из резного ящичка и снова вернулся к окну. Мелодия гипнотизировала его, и вдруг он увидел Ирэн; держа в руке нераскрытый зонтик, она быстро шла через сквер к дому; этой легкой розовой кофточки с широкими рукавами Сомс еще ни разу не видел на ней. Она остановилась около шарманки, вынула кошелек и протянула женщине монету.

Сомс отшатнулся от окна и стал так, чтобы видеть холл.

Она отперла дверь своим ключом, поставила зонтик и остановилась перед зеркалом. Ее щеки горели, словно обожженные солнцем; губы улыбались. Она протянула руки, точно хотела обнять себя в зеркале, но смех ее был похож на рыдание.

Сомс шагнул вперед.

— Очень мило! — сказал он.

Но Ирэн метнулась, как подстреленная, и хотела пройти мимо него по лестнице. Сомс загородил ей дорогу.

— Что за спешка? — сказал он, и его глаза остановились на завитке волос, упавшем ей на ухо.

Сомс едва узнавал ее. Она горела точно в огне, такими яркими казались ее щеки, глаза, губы и эта незнакомая ему кофточка.

Ирэн подняла руку и поправила завиток. Она дышала часто и глубоко, точно запыхавшись после быстрого бега, и от ее волос, от ее тела шел аромат, как идет аромат от распустившегося цветка.

— Мне не нравится эта кофточка, — медленно проговорил Сомс, — слишком легкая, бесформенная!

Он протянул палец к ее груди, но она оттолкнула его руку.

— Не прикасайтесь ко мне! — крикнула она.

Он сжал ее кисть; она вырвалась.

— Где же ты была? — спросил он.

— В раю — не у вас в доме! — И с этими словами она взбежала по ступенькам.

А на улице — в знак благодарности — у самых дверей шарманка играла вальс.

И Сомс стоял не двигаясь. Что помешало ему пойти за ней?

Может быть, он видел мысленно, как на Слоун-стрит Босини выглядывает из окна, напрягает зрение, чтобы хоть еще раз поймать глазами удаляющуюся фигуру Ирэн, как он подставляет ветру разгоряченное лицо, вспоминая тот миг, когда она прижгла к его груди... а в комнате все еще сохранился ее аромат, все еще звучит ее смех, похожий на рыдание.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

ПОКАЗАНИЯ МИССИС МАК-ЭНДЕР

Многие, в том числе и редактор «Ультра-вивисекциониста», переживавшего тогда лучшую пору юности, называли бы Сомса тряпкой за то, что он не снял замков с дверей спальни и не обрел супружеского счастья, предварительно как следует поколотив жену.

Жестокость не так уж безнадежно разжижена теперь гуманностью, как это было в прежние времена, однако люди, настроенные сентиментально, могут успокоиться, ибо Сомс ничего подобного не сделал. Агрессивная жестокость не в ходу среди Форсайтов; они слишком осторожны и, пожалуй, слишком мягкосердечны. Сомс, кроме того, обладал чувством гордости, не настолько сильным, чтобы толкнуть его на подлинно великодушный поступок, но вполне достаточным, чтобы удержаться от подлости, совершить которую он был способен разве только в пылу сильного раздражения. А больше всего остального этот истый Форсайт боялся показаться смешным. Не решившись поколотить жену, он не знал, что предпринять дальше, и без лишних слов примирился со своим положением.

Все лето и осень Сомс продолжал ходить в контору, возиться с картинами и приглашать знакомых к обеду.

Он по-прежнему жил в городе: Ирэн отказалась переехать. Дом в Робин-Хилле — совершенно готовый — стоял пустой, без хозяев.

Сомс возбудил против «пирата» иск, требуя выплаты трехсот пятидесяти фунтов.

Защиту Босини взяла на себя адвокатская фирма «Фрик и Эйбл». Признав основательность фактов, изложенных в иске, они составили протест, который, в очищенном от юридической терминологии виде, сводился к следующему: говорить о «полной свободе действий в пределах, указанных в переписке», — полнейшая нелепость.

Совершенно случайно — такие факты редки, но вполне вероятны в узком кругу юристов — сведения о курсе, взятом защитой, дошли до ушей Сомса: его компаньону Бастарду пришлось однажды сидеть за обедом у эксперта по определению судебных издержек Уолмисли рядом с молодым Ченкери из гражданского отделения суда.

Необходимость переводить разговор на профессиональные темы, которая возникает у всех законников, как только дамы уходят из комнаты, заставила Ченкери, молодого адвоката, подающего большие надежды, загадать загадку своему соседу, фамилии которого он не знал, — у Бастарда, вечно прозябающего на задворках, в сущности говоря, и не было фамилии.

Ченкери сказал, что ведет дело, в котором имеется один «весьма щекотливый пункт», затем, всячески соблюдая профессиональную скромность, объяснил уязвимое место в иске Сомса. Все, кому он только ни рассказывал, заявил Ченкери, считают это «весьма щекотливым пунктом». К сожалению, иск пустяковый, «хотя его клиенту, кажется, придется ох как туго». (Шампанское у Уолмисли подавали плохое, но в большом количестве.) Ченкери опасался, что судья не станет особенно вникать в суть дела. Впрочем, надо постараться — уж очень щекотливый пункт. Что скажет на это его сосед?

Бастард — образец сдержанности — ничего не сказал. Однако он сообщил об этом разговоре Сомсу, а от

себя добавил не без ехидства — этот скромный человек был способен проявлять кое-какие человеческие чувства, — что, по его мнению, пункт действительно «весьма щекотливый».

Согласно прежнему решению, наш Форсайт поручил защиту своих интересов «Джоблингу и Боултеру». И тут же пожалел, что не взялся за дело сам. Получив копию протеста Босини, он пошел в контору к своим адвокатам.

Боултер, взявшийся вести дело, — Джоблинг успел умереть несколько лет назад — сказал Сомсу, что, по его мнению, пункт этот весьма щекотливый; он хотел бы посоветоваться с королевским адвокатом¹.

Сомс предложил обратиться к кому-нибудь посолиднее, и они отправились к королевскому адвокату Уотербаку, а он продержал бумаги шесть недель и затем написал следующее:

«Надлежащее истолкование переписки в значительной степени зависит от намерений обеих сторон и от тех показаний, которые будут даны на суде. На мой взгляд, от архитектора следует как-нибудь добиться признания, что он отдавал себе отчет в недопустимости превышения крайней суммы в двенадцать тысяч пятьдесят фунтов. Что же касается «полной свободы действий в пределах, указанных в переписке», выражение, на которое было обращено мое внимание, то пункт этот действительно весьма щекотливый; однако я полагаю, что к иску можно будет применить постановление суда, вынесенное по делу «Буало и Цементной К° Лимитед».

Основываясь на совете Уотербака, сделали соответствующий запрос, но, к сожалению, ответ «Фрика и Эйбла» был так ловко составлен, что при всем желании почерпнуть из него что-либо не представлялось возможным.

Мнение Уотербака Сомс прочел 1 октября, спустившись в столовую обедать. Оно взволновало его — не

¹ Почетный титул наиболее видных адвокатов; их мнение в глазах судьи более веско, чем мнение простого, «не королевского» адвоката. В суде надевают шелковую мантию.

столько из-за упоминания о процессе «Буало и Цементной К° Лимитед», сколько из-за того, что с некоторых пор пункт о свободе действий стал казаться щекотливым и ему самому; в нем был тот приятный привкус каверзы, который способен раздражить аппетиты лучших законников. Получить в подтверждение собственных мыслей совет королевского адвоката Уотербака — это кого угодно встревожит.

Сомс думал, глядя в пустой камин; осень уже наступила, но дни стояли теплые, как в середине августа. Плохо, когда у тебя тревожно на душе; Сомсу хотелось лишь одного — наступить Босини ногой на горло.

Хотя архитектор не попадался ему на глаза со времени последней встречи в Робин-Хилле, Сомс постоянно ощущал его присутствие — постоянно видел перед собой это измученное, осунувшееся лицо и восторженные глаза. Сомс ни на минуту не мог отделаться от мысли, которая пришла ему в голову той ночью, когда на рассвете он слышал крики павлинов, — от мысли, что Босини бродит вокруг его дома. И в каждой мужской фигуре, проходившей по скверу в вечерних сумерках, ему мерещился тот, кого Джордж так метко прозвал «пиратом».

Сомс был уверен, что Ирэн продолжает встречаться с ним; где и как, он не знал и не справлялся, боясь в глубине души узнать слишком много. Все шло теперь подземными путями.

Когда он спрашивал жену, куда она ходила, по-прежнему считая своим долгом задавать такие вопросы, как это и полагается Форсайту, вид у Ирэн бывал очень странный. Самообладание ее казалось поразительным, но иногда сквозь маску ее лица, всегда загадочную, сквозило что-то, чего Сомс не видел в нем раньше.

За последнее время она часто завтракала вне дома; когда он спрашивал Билсон, подавали ли хозяйке сегодня завтрак, та сплошь и рядом отвечала: «Нет, сэр».

Сомсу очень не нравились эти прогулки, и он так и сказал Ирэн. Но она не обратила на это никакого внимания. В той невозмутимости, с которой Ирэн отмахивалась от его слов, было что-то такое, что и бесило, и по-

ражало, и чуть ли не забавляло Сомса. Словно она радовалась мысленно своей победе над ним.

Он отложил в сторону мнение королевского адвоката Уотербака и, поднявшись наверх, вошел в комнату Ирэн, так как до вечера она не запиралась — Сомс уже убедился, что у жены хватает такта не шокировать прислугу. Ирэн расчесывала волосы; она посмотрела на него с какой-то непонятной яростью.

— Что вам здесь нужно? — сказала она. — Будьте добры, уйдите из моей комнаты.

Он ответил:

— Я хочу знать, до каких пор все это будет продолжаться. Я уже достаточно терплю такое положение вещей.

— Вы уйдете отсюда?

— Ты будешь обращаться со мной, как с мужем?

— Нет.

— Тогда я приму меры и заставлю тебя.

— Попробуйте!

Сомс смотрел на жену, пораженный спокойствием ее тона. Губы Ирэн сжались в тонкую полоску; пышная масса золотых волос спадала на обнаженные плечи, так странно подчеркивая ее темные глаза, — глаза, горевшие страхом, ненавистью, презрением и все тем же торжеством.

— А теперь, будьте добры, уйдите отсюда!

Он слишком хорошо знал, что не станет принимать никаких мер, и видел, что и она знает это — знает, что он боится.

Сомс повернулся и мрачно вышел из комнаты.

У него была привычка рассказывать Ирэн обо всем, что произошло за день: о том, что заходил тот или другой клиент; о том, что он составил закладную для Паркса; о бесконечной тяжбе с Фрайером, начало которой положил еще дедушка Николас, с такой сверхъестественной осторожностью распорядившийся перед смертью своим имуществом, что до него до сих пор никто не мог добраться, и только для одних адвокатов эта тяжба служила и будет, вероятно, служить до второго пришествия источником дохода; и о том, что он был у Джобсона и видел, как там продали Буше, того самого, которого он упустил у «Талейрана и Сына» на Пэл-Мэл.

Сомс восхищался Буше, Ватто и всей этой школой. У него была привычка рассказывать Ирэн о своих делах, он не отступал от нее даже теперь и подолгу говорил за обедом, точно потоком слов надеялся заглушить боль в сердце.

Если они оставались одни, Сомс часто пытался поцеловать ее, когда она прощалась с ним на ночь. Он, вероятно, думал, что когда-нибудь она позволит ему это; а может быть, просто считал, что муж должен целовать жену. Пусть Ирэн ненавидит его, но он останется на высоте и не будет пренебрегать такой почтенной традицией.

Но почему она его ненавидит? Даже сейчас Сомс не мог этому поверить. Как странно, когда тебя ненавидят! Зачем такая крайность! А между тем, он сам ненавидит Босини—этого «пирата», проходимца, этого ночного бродягу. Сомс только так и представлял его себе: притаился где-нибудь или бродит с места на место. А ему, наверно, туго приходится! Молодой Баркит, архитектор, видел, как Босини с весьма кислой физиономией выходил из второразрядного ресторанчика!

И в те долгие часы, когда, лежа без сна, он думал и думал, не находя выхода из этого тупика,— разве только она вдруг образумится,— мысль о разводе по-настоящему ни разу не приходила ему в голову...

Ну, а Форсайты? Какую роль играли они в трагедии Сомса, развивавшейся теперь невидимо для глаз?

Откровенно говоря, незначительную или совсем никакой, потому что все Форсайты уехали на море.

Ежедневно они выходили из отелей, водолечебниц, пансионеров на морской берег; дышали озоном, набирались его на всю зиму.

Каждая семья, облюбовав себе виноградник, возвращала, собирала, давила виноград, закупоривала в бутылки драгоценное вино морского воздуха.

В конце сентября Форсайты начали съезжаться в город.

Пышущие здоровьем, с румянцем во всю щеку, они прибывали в маленьких омнибусах со всех вокзалов Лондона. Следующее утро заставляло их за делами.

И в первое же воскресенье дом Тимоти от завтрака и до обеда был полон народа.

Среди многих новостей, таких разнообразных и интересных, миссис Септимус Смолл сообщила, что Сомс и Ирэн провели лето в городе.

Дальнейшие интересные показания дало лицо более или менее постороннее.

Случилось так, что в конце сентября миссис Мак-Эндер, большая приятельница Уинифрид Дарти, проезжая на велосипеде по Ричмонд-парку в обществе молодого Огастоса Флиппарда, увидела Ирэн и Босини, которые шли от рощицы, заросшей папоротником, по направлению к Шин-Гейт.

Быть может, бедной миссис Мак-Эндер хотелось пить, ведь она проехала большой конец по трудной, пыльной дороге, а, как известно всему Лондону, кататься на велосипеде и разговаривать с молодым Флиппардом дело нелегкое даже для самого крепкого организма; быть может, вид прохладной, заросшей папоротником рощицы, откуда вышли «те двое», пробудил в ней чувство зависти. Прохладная, заросшая папоротником рощица на вершине холма, ветки дубов нависают там крышей над головой, голуби заводят нескончаемый свадебный гимн, осень что-то нашептывает влюбленным, забравшимся в папоротник, и олени неслышно проходят мимо них. Рощица невозвратного счастья, золотых минут, промелькнувших за долгие годы брачного союза неба и земли. Священная рощица оленей, причудливых пней, фавнами скачущих в летних сумерках вокруг серебристых березок-нимф!

Эта леди была знакома со всеми Форсайтами и, побывав в свое время на приеме у Джун, сразу же узнала, с кем имеет дело. Сама она, бедняжка, вышла замуж неудачно, но у нее хватило здравого смысла и ловкости, чтобы заставить мужа совершить серьезный проступок и пройти самой через бракоразводный процесс, не вызвав осуждения общества.

Поэтому миссис Мак-Эндер считала себя судьей в подобного рода историях, тем более что жила она в одном из тех больших домов, которые собирают в своих квартирках несметное количество Форсайтов, развлекающихся в свободное время обсуждением чужих дел.

Может быть, бедняжке хотелось пить, и уж наверно она начала скучать, потому что Флиппард был завязанный

остряк. Встреча с «этими двумя» в таком необычном месте оказалась прямо-таки «глотком шампанского».

Время, как и весь Лондон, снисходительно к миссис Мак-Эндер.

Эта маленькая, но весьма примечательная женщина заслуживает внимания; ее всевидящее око и острый язычок каким-то таинственным образом работали в помощь провидению.

Напуская на себя вид женщины, много испытавшей на своем веку, миссис Мак-Эндер отличалась удручающей осторожностью по отношению к самой себе. Она, вероятно, больше, чем какая-либо другая светская дама, сделала все, что было в ее силах, чтобы искоренить рыцарский дух, еще цепляющийся за колеса цивилизации. Она такая умница, ее так ласково называют «малютка Мак-Эндер»!

Миссис Мак-Эндер хорошо одевалась и была членом Женского клуба, но, конечно, не имела ничего общего с теми нервными, унылыми его членами, которые только и думают, что о правах женщин. Она пользовалась своими правами не задумываясь, как чем-то совершенно естественным, и прекрасно знала, как можно добиться их, не вызвав к себе ничего, кроме восхищения, у людей того великого класса, принадлежность к которому ей обеспечивали если не манеры, то рождение, воспитание и самая верная, скрытая от глаз печать — чувство собственности.

Дочь бедфордширского адвоката и внучка священника, она ухитрилась пронести все потребности, верования и чувства светской женщины сквозь тяжкий опыт супружеской жизни с безобидным художником, который был помешан на природе и покинул жену ради актрисы; получив свободу, миссис Мак-Эндер без всякого труда проникла в самую гущу Форсайтов.

Всегда оживленная, полная «всяких новостей», она везде была желанной гостьей. Встретив миссис Мак-Эндер на Рейне или в Зерматте, одну или в обществе какой-нибудь леди и двух джентльменов, никто не удивлялся и не осуждал ее: миссис Мак-Эндер считалась женщиной чрезвычайно осторожной; и сердца всех Форсайтов раскрывались навстречу тому инстинкту, с помощью которого миссис Мак-Эндер могла наслаждаться-

ся всем без малейшего ущерба для себя. Существовал взгляд, что такие женщины, как миссис Мак-Эндер, способны сохранить и увековечить лучший тип нашей женщины. Детей у нее не было.

Если миссис Мак-Эндер питала отвращение к чему-нибудь, так это к женственности, к тому, что мужчины называют «обаянием», и миссис Сомс вызывала у нее особое чувство антипатии.

В глубине души она, вероятно, чувствовала, что стоит только признать мерилом обаяние, как ум и способности сейчас же отойдут на второй план; и миссис Мак-Эндер ненавидела ту неуловимую обольстительность, в которой она не могла отказать Ирэн,— ненавидела тем острее, чем больше это так называемое обаяние путало все ее расчеты.

Однако миссис Мак-Эндер говорила, что она не видит в этой женщине ничего особенного; в ней нет «изюминки», такие не сумеют постоять за себя, всякий может их провести — это ясно как день; она просто не понимает, что в ней находят мужчины!

В сущности говоря, сердце у миссис Мак-Эндер было не злое, но, устраивая свою жизнь после неудачного брака, она до такой степени убедилась в необходимости иметь запас «всяких новостей», что ей не пришло даже в голову умолчать о встрече в парке с «теми двумя».

Случилось так, что в тот же самый вечер миссис Мак-Эндер обедала у Тимоти, куда она изредка заходила, чтобы «подбодрить старушек», как это у нее называлось. В таких случаях к обеду всегда приглашались одни и те же гости: Уинифрид Дарти с мужем; Фрэнси, потому что Фрэнси вращалась в артистических кругах, а миссис Мак-Эндер, как известно, писала статьи о модах для «Женского царства»; и специально в качестве объектов для флирта оба Хэймена, если только их удавалось разыскать. Эти юноши обычно не произносили ни слова, но тем не менее все почему-то были убеждены в их фривольности и в том, что им досконально известны последние новости эlegantного общества.

В двадцать пять минут восьмого миссис Мак-Эндер потушила у себя в прихожей электричество, накинула вечернее манто с воротником из шиншиллы и, выйдя в коридор, остановилась на минуту, чтобы проверить, не

забыт ли ключ. Эти маленькие отдельные квартирки очень удобны; конечно, воздуха и света здесь не хватает, но зато можно запереть квартиру и уйти. Никакой возни с прислугой, ничто тебя не связывает, как раньше, когда бедняжка Фрэд вечно слонялся по комнатам с мечтательным видом. У миссис Мак-Эндер не осталось никакой злобы к бедняжке Фрэду, уж очень он был глуп; но воспоминание об актрисе вызывало у нее даже теперь горькую, презрительную улыбку.

Плотно прихлопнув за собой дверь, миссис Мак-Эндер зашагала по мрачному, выкрашенному охрой коридору, вдоль бесконечной вереницы коричневых дверей с номерами квартир. Лифт шел вниз; закутавшись до самого носа в широкое мантио, миссис Мак-Эндер остановилась на площадке, дожидаясь лифта; ее каштановая головка была причесана волосок к волоску. Железная дверца звякнула; она вошла в кабину. В лифте было трое пассажиров: мужчина в белом вечернем жилете, толстощекий, как ребенок, и две пожилые дамы, обе в черном и в митенках.

Миссис Мак-Эндер улыбнулась, — она знала их; и трое пассажиров, спускавшиеся раньше в полном молчании, сразу же заговорили. В этом и заключался секрет успеха миссис Мак-Эндер. Она умела вызывать на разговоры.

Разговоров хватило на все пять этажей; мальчик-лифтер стоял спиной, уткнув нахальную физиономию в решетку кабины.

Внизу они разошлись: мужчина в белом жилете сентиментально отправился в бильярдную, пожилые дамы — обедать, повторяя друг другу: «Очаровательная женщина, такая болтушка!» — а миссис Мак-Эндер — искать кэб.

Когда миссис Мак-Эндер обедала у Тимоти (в таких случаях самого Тимоти невозможно было уговорить сойти вниз), разговор всегда принимал тот более легкий, светский тон, к которому Форсайты прибегают в парадных случаях, и это, без сомнения, и создало ей здесь популярность.

Миссис Смолл и тетя Эстер находили в этом живительное разнообразие. «Если бы только Тимоти согласился познакомиться с ней», — говорили они. От такого

знакомства ждали много хорошего. Она может, например, рассказать о последних похождениях в Монте-Карло сына сэра Чарльза Фиста, или о том, кто была истинная героиня модного романа Тайнмауса Эдди, от которого все в ужасе всплескивали руками, или о шароварах — последней новинке Парижа. И она, такая умница, умеет разобраться даже в таком сложном вопросе, как выбор профессии для младшего сына Николаса: посылать ли юношу во флот, согласно желанию матери, или сделать из него бухгалтера, что, по словам отца, гораздо надежнее. Она категорически возражает против флота. Если у человека нет блестящих способностей или блестящих связей, его будут совершенно беззастенчиво затирать, и в конце концов на что там можно рассчитывать, даже если дослужишься до адмирала, — жалованье нищенское. У бухгалтера гораздо больше перспектив, только надо подыскать солидную фирму, чтобы не рисковать с самого же начала.

Иногда миссис Мак-Эндер могла посоветовать им кое-что относительно биржевой игры. Миссис Смолл и тетя Эстер, конечно, ни разу в жизни не воспользовались ее советом — у них не было свободных денег, — но эти разговоры создавали такую волнующую иллюзию близости к жизни. Они вырастали в целое событие. Надо посоветоваться с Тимоти. Но тетушки никогда не советовались, зная заранее, что Тимоти разволнуется. Однако после такого разговора несколько недель подряд они просматривали газету, заслужившую их уважение своей фешенебельностью, и интересовались курсом каких-нибудь «Брайтовских рубинов» или «Макинтош и К°». Иногда миссис Смолл и тетя Эстер не находили в биржевой хронике нужного названия акций и, дождавшись прихода Джемса, Роджера или даже Суизина, дрожащим от любопытства голосом спрашивали, что слышно о «Боливийских известковых», — они не нашли их в газетах.

И Роджер обычно отвечал: «Зачем это вам понадобилось? Какая-нибудь ерунда! Хотите обжечь себе пальцы? Нечего вкладывать деньги в известь и тому подобные вещи, о которых вы и понятия не имеете! Кто это вам посоветовал?» — и, выслушав все, удалялся, навел справки в Сити и, может быть, даже покупал несколько акций этой компании.

В середине обеда, точнее, как раз в ту самую минуту, когда Смизер подала седло барашка, миссис Мак-Эндер с беспечным видом огляделась по сторонам и сказала:

— Как вы думаете, кого я сегодня видела в Ричмонд-парке? Ни за что не догадаетесь: миссис Сомс и... мистера Босини. Они, вероятно, ездили осматривать дом!

Уинифрид Дарти кашлянула, остальные промолчали. Это было тем самым свидетельским показанием, которого все они бессознательно дожидались.

Надо отдать справедливость миссис Мак-Эндер: она провела лето с тремя друзьями в Швейцарии и на итальянских озерах и не знала еще о разрыве Сомса с архитектором. Поэтому она не могла предугадать, какое глубокое впечатление произведут ее слова.

Слегка покраснев и выпрямившись, она переводила на всех по очереди свои острые глазки, стараясь проверить эффект сделанного ею сообщения. Братья Хэймены, сидевшие по обе стороны от нее, молча расправлялись с барашком, уткнувшись худыми голодными лицами чуть ли не в самые тарелки.

Эти юноши, Джайлс и Джесс, были настолько похожи друг на друга и настолько неразлучны, что их прозвали «Два Дромио»¹. Они всегда молчали и были как будто всецело поглощены своим бездельем. Предполагалось, что они заняты зубрежкой перед какими-то серьезными экзаменами. Джайлс и Джесс с непокрытой головой, с книгами в руках, разгуливали в парке около дома в сопровождении фокстерьера и непрерывно курили, не обмениваясь ни единым словом. Каждое утро, держась друг от друга на расстоянии пятидесяти ярдов, братья выезжали на Кэмден-Хилл верхом на тощих клячах, таких же длинноногих, как и они сами, и каждое утро, часом позже, держась все на том же расстоянии, возвращались обратно. Каждый вечер, где бы они ни обедали, их можно было видеть около половины одиннадцатого на террасе мюзик-холла «Альгамбра».

Никто никогда не встречал их порознь; так они и жили, по-видимому вполне довольные своим существованием.

Вняв глухо заговорившим в них джентльменским чув-

¹ Близнецы из «Комедии ошибок» Шекспира.

ствам, они повернулись в эту тягостную минуту к миссис Мак-Эндер и сказали совершенно одинаковыми головами:

— А вы уже смотрели...

Миссис Мак-Эндер была настолько удивлена этим обращением, что опустила вилку и нож, и проходившая мимо Смизер недолго думая убрала ее тарелку. Однако миссис Мак-Эндер не растерялась и тут же сказала:

— Я съем еще кусочек баранины.

Но когда все перешли в гостиную, она села рядом с миссис Смолл, решив докопаться до сути дела. И начала:

— Очаровательная женщина миссис Сомс: такая отзывчивая! Сомс просто счастливеец!

Обуреваемая любопытством, она упустила из виду, что нутро Форсайтов не позволяет им делиться своими горестями с чужими людьми; послышался легкий скрип и шелест — это миссис Септимус Смолл выпрямилась и, дрожа от преисполнившего ее чувства собственного достоинства, сказала:

— Милая, мы не говорим на эту тему!

II

НОЧЬ В ПАРКЕ

Хотя, руководствуясь своим безошибочным инстинктом, миссис Смолл сказала именно то, что могло лишь еще сильнее заинтриговать ее гостью, более правдивый ответ придумать ей было трудно.

На эту тему Форсайты не разговаривали даже между собой. Воспользовавшись теми словами, которыми Сомс охарактеризовал свое собственное положение, можно сказать, что дела шли теперь «подземными путями».

И все же не прошло и недели после встречи в Ричмонд-парке, как всем им — исключая Тимоти, от которого это тщательно скрывалось, — всем, и Джемсу, ходившему привычной дорожкой с Полтри на Парк-Лейн, и сумасброду Джорджу, ежедневно совершавшему путешествие от окна у Хаверснейка до бильярдной в «Красной кружке», — всем стало известно, что «эти двое» перешли границы.

Джордж (это он пускал в ход сногсшибательные словечки, которыми до сих пор еще пользуются в фешенебельных кругах) точнее всех определил общее настроение, сказав брату Юстасу, что у «пирата» «дело на мази», а Сомс, должно быть, уже «дошел до точки».

Состояние Сомса всем было понятно, но что поделаешь? Может быть, ему следует принять какие-нибудь меры, но это немыслимо!

Они вряд ли могли посоветовать предать все это гласности, но иначе трудно говорить о каких-нибудь мерах. Единственное, что оставалось делать в столь затруднительном положении, это ничего не сообщать Сомсу, ничего не обсуждать между собой; словом, обойти эту историю молчанием.

Может быть, холодная сдержанность произведет на Ирэн впечатление; но теперь она показывалась редко, а разыскивать ее только для того, чтобы дать ей почувствовать эту сдержанность, довольно затруднительно. Иногда в уединении спальни Джемс делился с Эмили теми страданиями, которые причиняло ему несчастье сына.

— Просто не знаю, что и делать,— говорил он,— я места себе не нахожу. Разразится скандал, это повредит Сомсу. Я ничего ему не стану говорить. Может быть, все это пустяки. Как ты думаешь? Говорят, у нее артистическая натура. Что? Ну, ты «настоящая Джули»! Не знаю, ничего не знаю; надо ждать самого худшего. А все из-за того, что у них нет детей. Я с самого начала предчувствовал, чем все это кончится. Мне не говорили, что они не хотят детей, мне никогда ничего не рассказывают!

Стоя на коленях у кровати, он смотрел прямо перед собой широко открытыми, беспокойными глазами и дышал в одеяло. Ночная сорочка, вытянутая вперед шея и сгорбленная спина придавали ему сходство с какой-то голенастой белой птицей.

— Отче наш,— говорил он, не расставаясь с мыслью о неминуемом скандале.

В глубине души Джемс, как и старый Джолион, считал виновником всей трагедии семью. Какое право имели «эти люди» — он уже начал мысленно называть так обитателей дома на Стэнхоп-Гейт, включая сюда и моло-

дого Джолиона с дочерью, — какое право имели они вводить в семью такого субъекта, как этот Босини! (Джемс знал, что Джордж наградил Босини кличкой «пират», но не мог понять почему. Ведь молодой человек — архитектор.)

Джемс начинал думать, что брат Джолион, на которого он всегда смотрел снизу вверх и всегда полагался, не вполне оправдал его доверие.

Не обладая силой характера старшего брата, он не столько гневался, сколько грустил. Самым большим утешением для Джемса было заехать к Уинифриду и повезти маленьких Дарти в Кенсингтонский сад. И там он ходил около пруда вместе с маленьким Публиусом Дарти, не спуская внимательных глаз с его кораблика, который Джемс фрахтовал за пенни, уверяя, что кораблик никогда не пристанет к берегу, а маленький Публиус — к величайшей радости Джемса, совершенно не похожий на отца — прыгал около деда и вызывал его поспорить еще на пенни, что кораблик погибнет, зная уже по опыту, что так не бывает. И Джемс шел на пари; он никогда не отказывался и выкладывал по три, по четыре пенни, так как маленький Публиус, кажется, готов был играть в эту игру целый день. И, давая ему монету, Джемс говорил:

— Вот тебе, опусти в копилку. Ты у нас скоро совсем разбогатеешь!

Мысль о растущих капиталах внука доставляла ему истинное удовольствие. Но у маленького Публиуса была на примете одна кондитерская, а на отсутствие смекалки он не мог пожаловаться.

И они возвращались домой через парк; поглощенный тревожными мыслями, Джемс шагал, высоко поднимая плечи, и охранял своим длинным тощим телом безжалостно пренебрегавших такой защитой упитанных малышей — Имоджин и Публиуса.

Но не только Джемс бежал сюда от забот и тревог. Форсайты и бродяги, дети и влюбленные отдыхали, гуляли здесь изо дня в день, из ночи в ночь, мечтая найти в парке освобождение от тяжкого труда, от смрада и суетности улиц.

Листья желтели медленно, солнце и полетному теплые ночи не торопили их.

В субботу, пятого октября, небо, голубевшее над городом весь день, после заката стало лиловатым, как виноград. Луны не было, и прозрачная тьма окутала деревья словно плащом; ветки с поредевшей листвой, похожие на султанчики из перьев, не двигались в спокойном, теплом воздухе. Весь Лондон стекался в парк, осушая до последней капли кубок лета.

Пары за парами входили в ворота, растекались по дорожкам, по сожженной солнцем траве, одна за другой молчаливо скрывались с залитых светом мест под прикрытие густой листвы и, виднеясь лишь темным пятном на фоне дерева или в тени кустов, забывали весь мир в сердце этой мягкой тьмы.

Гуляющим эти пары казались частью горячего мрака, откуда слышался лишь шепот, похожий на неровное биение сердец. Но когда этот шепот доносился до тех, кто сидел под фонарями, их голоса прерывались и умолкали; ближе придвигаясь друг к другу, они обращали беспокойные, ищущие взгляды в темноту. И вдруг, точно притянутые чьей-то невидимой рукой, переступали через низкую ограду и, молчаливые, словно тени, уходили с освещенных мест.

Тишина, окруженная со всех сторон далеким, безжалостным грохотом города, была полна страстей, надежд и стремлений мириадов беспокойных человеческих песчинок; ибо, вопреки порицаниям почтеннейшего института форсайтизма — муниципального совета, который считал любовь, наряду с проблемой канализации, величайшей опасностью для общества, — и в этом и в сотнях других парков происходило то, без чего фабрики, церкви, магазины, налоги и канализация, охранявшиеся Форсайтами, были бы как артерии без крови, как человеческое существо без сердца.

Самозабвение, страсть, любовь, прятавшиеся под деревьями от своего безжалостного врага — «чувства собственности», затеяли сегодня пиршество, и у Сомса, который шел домой через парк после обеда у Тимоти, раздумывая о предстоящем процессе, кровь отлила от сердца, когда до его слуха доносились звуки поцелуев и тихий смех. Он решил завтра же написать в «Таймс» и обратить внимание редакции на то, что творится в наших парках. Однако письмо осталось ненаписанным, так как

Сомс испытывал ужас при одной мысли, что его имя появится в печати.

Но шепот, раздававшийся в тишине, и неясные очертания человеческих фигур, которые виднелись во мраке, действовали на изголодавшегося Сомса, словно какое-то нездоровое возбуждающее средство. Он свернул с дорожки, огибавшей пруды, и прошел под деревья, под густую тень каштанов, низко опустивших свои широколистные ветви; и в этом совсем уже темном убежище Сомс ходил дозором, внимательно приглядываясь к тем, кто сидел на стульях, придвинутых к самым деревьям, приглядываясь к обнявшимся, которые отстранялись друг от друга, заслышав его шаги.

Он остановился как вкопанный на холме возле Серпентайна¹, где под ярким светом фонаря, вырисовываясь черным пятном на фоне серебристой воды, неподвижно сидели двое влюбленных; женщина положила голову на плечо мужчины, их тела казались высеченными из одного камня, как эмблема страсти — безмолвной, не знающей стыда.

Уязвленный этим зрелищем, Сомс быстро повернул в густой мрак, окутывающий деревья.

О чем он думал, чего он ждал от этих поисков? Хлеба, чтобы утолить голод, света, чтобы рассеять тьму? Что он надеялся найти: знание человеческого сердца, развязку, к которой клонилась его собственная трагедия? Кто знает, может быть, одна из этих безымянных, неизвестных пар, видневшихся во мраке, — он и она?

Но не за этим он пришел сюда. Чтобы жена Сомса Форсайта сидела в парке, как простая девчонка! Такая мысль была просто непостижима; и бесшумными шагами он шел от одного дерева к другому.

Кто-то ругнулся ему вслед; от чьих-то шепотом сказанных слов: «Если бы так было всегда», — кровь снова отхлынула у него от сердца, и он остановился, терпеливо, упорно дожидаясь, когда эти двое встанут и уйдут. Но, прижавшись к своему возлюбленному, мимо Сомса прошла всего лишь щупленькая девушка в затасканной блузке, наверно, какая-нибудь продавщица.

¹ Цепь соединенных между собою прудов в Хайд-парке.

Много других влюбленных шептали эти слова в тиши парка, много других влюбленных прижимались друг к другу под деревьями.

Передернувшись от чувства невольного отвращения, Сомс вышел на дорожку и прекратил поиски, цель которых была неизвестна ему самому.

III

ВСТРЕЧА В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

Молодому Джолиону, находившемуся, не в пример Форсайтам, в довольно стесненных обстоятельствах, частенько не хватало денег на те вылазки за город на лоно природы, без которых ни один акварелист не берется за кисть.

Сплошь и рядом ему приходилось забирать свой ящик с красками в Ботанический сад и там, сидя на складном стульчике в тени араукарии или каучукового дерева, проводить за мольбертом долгие часы.

Один критик, просматривавший недавно его работы, высказал следующие мысли:

— Акварели у вас очень неплохие: нужный тон, хорошие краски, в некоторых есть бесспорное чувство природы. Но понимаете ли, в чем дело: уж очень вы разбрасываетесь, вряд ли на ваши работы обратят внимание. Вот если вы возьмете какой-нибудь определенный сюжет, ну, скажем, «Лондон ночью» или «Хрустальный дворец весной», и сделаете целую серию рисунков, тогда каждому станет ясно, с чем он имеет дело. Я считаю, что об этом никогда нелишне поговорить. Все те, кто сделал себе имя в искусстве, например Крам Стоун или Блиндер, только потому и добились славы, что избегали всего неожиданного, ограничивались определенной темой и раскладывали свою работу по определенным полочкам так, чтобы публика сразу же знала, где что искать. И это вполне разумно, потому что ни один коллекционер не захочет, чтобы его гости водили носом по картине и выискивали подпись художника; ему хочется, чтобы люди с первого же взгляда говорили: «Прекрасный Форсайт». А для вас тем более важно выбрать какой-нибудь определенный сюжет, за который

зритель сразу же сможет ухватиться, потому что ваш стиль не отличается особенной индивидуальностью.

Остановившись возле пианино, на котором стояла ваза с сухими розовыми лепестками — единственное, что давал сад,— молодой Джолион слушал с легкой улыбкой.

Повернувшись к жене, сердито смотревшей на критика, он сказал:

— Вот видишь, дорогая?

— Нет,— ответила она отрывистым голосом, в котором все еще слышался иностранный акцент,— в твоих работах есть индивидуальность.

Критик взглянул на нее, почтительно улыбнулся и, больше ничего не сказал. Их история была известна и ему.

Эти слова принесли хорошие плоды; они противоречили всему, во что верил молодой Джолион, всем его взглядам на искусство, но какой-то непонятный, глубоко коренившийся в нем инстинкт заставил его, против воли, извлечь пользу из высказываний критика.

В одно прекрасное утро молодой Джолион сделал открытие, что у него возникла идея дать серию акварелей Лондона. Он сам не понимал, откуда могла появиться эта идея; и только через год, когда задуманная работа была кончена и продана за очень приличные деньги, в одну из своих «беспристрастных минут» он вспомнил критика и обнаружил в своем достижении еще одно доказательство того, что он был Форсайтом.

Молодой Джолион решил начать с Ботанического сада, где он и раньше делал много этюдов, и остановил свой выбор на искусственном прудике, усыпанном теперь красными и желтыми листьями, так как садовники, порывавшиеся навести порядок и здесь, не могли добраться до них своими метлами. За исключением этого места, сад был выметен дочи́ста. Каждое утро садовники тщательно удаляли все следы дождя из листьев, которым природа заливала его; они сметали их в кучи, откуда над медленным огнем поднимался сладковатый, терпкий дым, который, так же как голос кукушки весной, как запах липы в середине лета, служит истинной эмблемой осени. Чистоплотные души садовников не могли примириться с зелено-золотисто-красным узором на траве. Дорожки, посыпанные гравием, должны быть неза-

пятнанными, прибранными, ровными, их не должна коснуться ни грубая действительность, ни медленное прекрасное увядание, которое сметает былую славу листвы на землю, откуда вместе с поворотом колеса снова воспрянет буйная весна.

Так каждый падающий лист был обречен с той самой минуты, когда, посылая прощальный привет лету, он отрывался от ветки и, медленно порхая, падал ниц.

Но на маленьком прудике листья плавали мирно, слава небеса яркостью своих красок, и солнце не покидало их весь день.

Такими молодой Джолион и застал их.

Придя однажды утром в середине октября к пруду, он заметил с досадой, что скамейка, стоявшая шагах в двадцати от его обычного места, занята,— молодой Джолион без ужаса и думать не мог о том, что кто-то будет смотреть, как он работает.

На скамейке, опустив глаза, сидела дама в бархатной жакетке. Но между молодым Джолионом и скамейкой стоял лавр, и, спрятавшись за его стволом, он занялся своим мольбертом.

Он не торопился начинать; как всякий истинный художник, молодой Джолион пользовался каждым предлогом, чтобы оттянуть, хотя бы ненадолго, момент творческого напряжения, и вскоре поймал себя на том, что посматривает украдкой на незнакомую даму.

Подобно отцу, молодой Джолион не оставлял без внимания хорошее лицо. А это лицо было очаровательно!

Он разглядел мягкий подбородок, покоившийся на желтоватом кружеве воротничка, тонкое лицо с большими темными глазами и нежным ртом. Черная шляпа скрывала волосы незнакомки; она сидела, слегка откинувшись на спинку скамьи, положив ногу на ногу; кончик лакированной туфли виднелся из-под платья. В этой женщине было какое-то непередаваемое изящество, но молодого Джолиона больше всего привлекало ее лицо, напоминавшее ему своим выражением лицо жены. Казалось, что эта женщина встретила на своем пути что-то такое, с чем ей трудно помериться силами. Ее лицо взволновало молодого Джолиона, пробудило в нем какую-то симпатию, какие-то рыцарские чувства. Кто эта женщина? И что она делает здесь одна?

Двое молодых людей того специфического для Риджентс-парка типа, в котором смешиваются наглость и застенчивость, прошли мимо по направлению к теннисному корту, и молодой Джолион с неудовольствием заметил, как они бросали украдкой восхищенные взгляды в сторону скамьи; слонявшийся без дела садовник замешкался около полянки, заросшей ковылем, хотя ковыль совершенно не нуждался в его уходе; садовнику тоже понадобился какой-то предлог, чтобы поглазеть на эту леди. Почтенных лет джентльмен, судя по шляпе — профессор ботаники, прошел три раза взад и вперед, исподтишка присматриваясь к ней долгим взглядом и как-то странно поджимая губы.

Все эти мужчины вызывали у молодого Джолиона смутное раздражение. Она не смотрела на них, и все же он был уверен, что каждый мужчина, пройдя мимо, бросит на нее именно такой взгляд.

Это лицо не было лицом обольстительницы, которая каждым своим взором сулит мужчинам наслаждение; не было в нем и «демонической красоты», столь высоко ценимой когда-то первыми Форсайтами страны; не принадлежало оно и к тому, не менее очаровательному, типу, который связывается в нашем представлении с конфетной коробкой; не было в нем и одухотворенной страстности или страстной одухотворенности, пронизывающей современную поэзию и внутреннее убранство жилищ; драматург не мог бы воспользоваться им как материалом для создания интересного неврастенического персонажа, совершающего самоубийство в последнем акте.

Чертами, красками, мягкой, убедительной пассивностью и чистотой лица этой женщины напоминало ему Тицианову «Любовь небесную», репродукция которой висела у него в столовой. И казалось, что прелесть ее заключается в этой мягкой пассивности, в той покорности более сильному характеру, которую можно было угадать в ней.

Ради чего или ради кого она пришла сюда и молча села под деревьями, роняющими листья на подернутую осенней изморозью траву, по которой, совсем рядом со скамейкой, важно расхаживают дрозды?

Вот ее лицо оживилось, молодой Джолион оглянул-

ся, почти чувствуя ревность, и увидел Босини, шагавшего к ней прямо по траве.

Он с интересом наблюдал за этой встречей, за их глазами, за долгим рукопожатием. Они сели рядом на скамейку — такие близкие, несмотря на внешнюю сдержанность позы. До молодого Джолиона доносились звуки быстрого разговора, но слова было трудно разобрать.

Он слишком хорошо испытал все это сам. Ему были знакомы и долгие часы ожидания, и скудные минуты встреч чуть ли не у всех на виду, и тревога, которая не дает покоя людям, вынужденным прятать свою любовь.

Однако достаточно было одного взгляда на их лица, чтобы понять, что этот роман не имеет ничего общего с теми мимолетными интригами, которыми развлекаются в светском обществе; с той внезапно вспыхивающей жаждой, которая исчезает, утоленная, через шесть недель. Это было настоящее! Это было то, что случилось когда-то и с ним самим! Такое чувство может завести куда угодно!

Босини умолял о чем-то, а она, такая спокойная, такая мягкая и вместе с тем непоколебимая в своей пассивности, сидела, устремив взгляд на траву.

Суждено ли Босини увести за собой эту нежную, покорную женщину, которая никогда не отважится на самостоятельный шаг? Женщину, которая отдала ему всю себя, которая умрет за него, но никогда не решится уйти с ним!

Молодому Джолиону казалось, что он слышит ее слова: «Милый, ведь это погубит тебя!» — ибо он испытал на себе всю силу того гнетущего страха, что таится в сердце каждой женщины и твердит ей, будто она в тягость любимому человеку.

И он перестал смотреть в ту сторону; но быстрый приглушенный разговор доносился до его ушей вместе с чириканьем какой-то птицы, словно старавшейся вспомнить весеннюю песнь: «Счастье — горе? Чье — чье?»

Мало-помалу разговор умолк; наступила долгая тишина.

«А Сомс? При чем тут Сомс? — подумал молодой Джолион. — Кое-кто воображает, что она мучится своей изменой мужу! Мало же они знают женщин! Она

утоляет голод — это ее месть. И да поможет ей небо, потому что месть Сомса не заставит себя ждать».

Он услышал шелест шелка и, выглянув из-за дерева, увидел, что они уходят, взявшись украдкой за руки...

В конце июля старый Джолион увез внучку в горы; и за эту поездку (последнюю, которую они совершили вместе) Джун окрепла и телом и духом. В отелях, переполненных британскими Форсайтами — старый Джолион не выносил «немцев», а под этим названием у него шли все иностранцы, — на нее взирали с уважением: единственная внучка представительного и, по-видимому, очень богатого старика Форсайта. Джун нелегко заводила знакомства — это было не в ее привычках, — но нескольких друзей все-таки подыскала, и особенно крепкая дружба завязалась у нее в долине Роны с молодой француженкой, умиравшей от чахотки.

Сразу решив, что подруга ее не должна умереть, Джун ополчилась против смерти и немножко забыла свои собственные невзгоды.

Старый Джолион наблюдал за ее новой дружбой с чувством облегчения и с неудовольствием; это новое доказательство, что внучке суждено провести жизнь среди «несчастненьких», беспокоило его. Неужели у нее никогда не будет таких друзей и таких интересов, которые окажутся ей действительно полезными?

Связалась с иностранцами — так он называл эту дружбу. Однако сам же частенько покупал виноград или розы и, добродушно подмигивая, преподносил их этой «Mam'zelle».

В конце сентября, вопреки желаниям Джун, мадемуазель Вигор испустила последний вздох в маленьком Сенлюкском отеле, куда ее под конец перевезли; и Джун приняла свое поражение так близко к сердцу, что старый Джолион увез ее в Париж. Созерцание Венеры Милосской и церкви Магдалины помогло ей стряхнуть с себя уныние, и, когда в середине октября они вернулись в Лондон, старый Джолион уверовал было, что ему удалось вылечить внучку.

Однако едва только они водворились в доме на Стэнхоп-Гейт, как старый Джолион заметил, к своему го-

рю, что Джун снова начинает задумываться и хмуриться. Она могла подолгу сидеть, уставившись в одну точку, подперев рукой подбородок, угрюмая, сосредоточенная, как маленький северный дух, а вокруг нее сияла электричеством — только что проведенным — большая гостиная, затянутая кретоном чуть ли не до самого потолка, заставленная мебелью от Бэйпла и Пулбрета. Громадные зеркала в золоченых рамах отражали юношей в коротких, узеньких панталонах; юноши покоились у ног полногрудых дам, которые держали на коленях барашков, — эти дрезденские статуэтки старый Джолион купил еще до женитьбы и продолжал высоко ценить их и теперь, когда вкусы так испортились. Человек свободного ума, шагавший, не в пример многим Форсайтам, в ногу с веком, он все же не мог забыть, что статуэтки были куплены у Джобсона, и куплены за большие деньги. Он часто говорил Джун разочарованно-презрительным тоном:

— Ты их не любишь! Это не те безделушки, которые нравятся тебе и твоим друзьям, а я заплатил за них семьдесят фунтов!

Не такой он был человек, чтобы изменять своим вкусам, тем более что здравость их подтверждалась весьма вескими доказательствами.

Вернувшись в Лондон, Джун первым делом пошла к Тимоти. Она убеждала себя, что ее прямая обязанность навестить Тимоти и развлечь его полным отчетом о своих путешествиях; на самом же деле Джун пошла на Бэйсуотер-Род потому, что только там в случайном разговоре или с помощью наводящего вопроса можно было хоть что-нибудь узнать о Босини.

Прием ей был оказан самый теплый. А как дедушка? Он не заглядывал к ним с мая месяца. Дядя Тимоти очень неважно себя чувствует, у него было столько неприятностей с трубочистом, этот глупый человек завалил сажей весь камин в дядиной спальне! Дядя Тимоти ужасно разволновался.

Джун сидела у них долго, боясь и вместе с тем страстно надеясь, что разговор зайдет о Босини.

Но, скованная какой-то безотчетной осторожностью, миссис Септимус Смолл не проронила ни единого слова на эту тему и не задала Джун никаких вопросов о Бо-

сини. Отчаявшись, девушка наконец спросила, в городе ли Сомс и Ирэн — она еще ни с кем не видалась.

Ответила ей тетя Эстер:

— Да, да, они сейчас в городе и вообще никуда не ездили. Там, кажется, вышли какие-то неприятности с домом. Ты, конечно, знаешь об этом! Впрочем, лучше всего спросить тетю Джули!

Джун повернулась к миссис Смолл, которая сидела в кресле, выпрямившись, сжав руки, уныло скривив лицо. На вопросительный взгляд девушки она ответила молчанием и нарушила его только для того, чтобы спросить, надевала ли Джун теплые носки на ночь, — в горных отелях, должно быть, очень холодно по ночам.

Джун ответила, что нет, она терпеть не может куртаться, и собралась уходить.

Безошибочно избранный миссис Смолл способ ответа — молчание — сказал ей больше, чем любые слова.

Не прошло и получаса, как Джун добилась правды на Лаундес-сквер, у миссис Бейнз, поведавшей ей, что Сомс привлекает Босини к суду из-за отделки дома.

Вместо того чтобы расстроить Джун, новость эта принесла ей какое-то странное успокоение, словно предстоящая борьба сулила новую надежду. Она узнала, что дело будет разбираться приблизительно через месяц и что у Босини почти нет шансов на успех.

— Я просто боюсь думать об этом, — сказала миссис Бейнз, — для Фила это будет ужасно, вы же знаете — он совсем без средств, у него сейчас очень тяжелое положение. И мы ничем не можем помочь. Мне говорили, что ссуду дают только под солидные гарантии, а у него ничего нет, решительно ничего.

Она очень располнела за последнее время; организация осеннего сезона была в полном разгаре, и на письменном столе миссис Бейнз грудami лежали меню обедов, составленные для всевозможных благотворительных сборищ. Ее круглые, как у попугая, серые глаза многозначительно смотрели на Джун.

Румянец, вспыхнувший на юном серьезном личике девушки — должно быть, она крепко надеялась на что-то, — ее внезапная мягкая улыбка впоследствии часто приходили на ум леди Бейнз. (Бейнз получил титул лор-

да за постройку «Народного музея изящных искусств», который потребовал огромного штата служащих и доставил очень мало радости тем, для кого предназначался.)

Воспоминание об этой перемене, такой заметной и трогательной, словно цветок распускался у нее на глазах или первый луч солнца блеснул после долгой зимы, — воспоминание обо всем, что последовало дальше, часто настигало леди Бейнз совершенно непонятными, неуловимыми путями именно в те минуты, когда мыслями ее владели самые серьезные дела.

Визит Джун пришелся как раз в тот день, когда молодой Джолион присутствовал при свидании в Ботаническом саду, и в этот же самый день старый Джолион явился на Полтри в контору своих поверенных «Форсайт, Бастард и Форсайт». Сомса не было, он уехал в Сомерсет-Хаус¹; Бастард зарылся с головой в груды бумаг в том малодоступном помещении, которое ему отвели, чтобы выжать из него как можно больше работы; но Джемс сидел в приемной и покусывал ногти, с мрачным видом перелистывая дело «Форсайт против Босини».

Этот рассудительный адвокат позволил себе в виде роскоши некоторое беспокойство в мыслях по поводу «щекотливого пункта», но такое беспокойство вызывало у него только приятное оживление, потому что здравый смысл говорил ему, что на месте судьи он не обратил бы внимания на этот пункт. Однако Джемс боялся, что Босини будет объявлен несостоятельным должником и Сомсу все равно придется оплатить отделку дома плюс судебные издержки. А позади этой осязаемой причины для опасений стояла неуловимая тревога; она маячила где-то далеко — смутная, грозящая скандалом, путаная, как дурной сон, и тяжба была только внешним, видимым выражением ее.

Джемс поднял голову навстречу старому Джолиону и пробормотал:

— Здравствуй, Джолион! Давно не виделись. Я слышал, ты был в Швейцарии? Этот юнец Босини окончательно запутался. Я знал, к чему все это идет!

¹ Сомерсет-Хаус — здание на улице Стрэнд, где помещается ряд учреждений, в том числе канцелярия государственных сборов, архив, в котором хранятся завещания, и канцелярия регистрации браков.

Он протянул старшему брату бумаги, поглядывая на него с сумрачным беспокойством.

Старый Джолион молча читал дело, а Джемс смотрел себе под ноги, покусывая ногти.

Наконец старый Джолион бросил бумаги на стол; они упали с мягким шелестом на груды показаний «по делу покойного Банкама» — одной из бесчисленных ветвей разросшегося плодоносного дерева тяжбы «Фрайер против Форсайта».

— Не понимаю, — сказал он, — зачем Сомсу понадобилось поднимать такую возню из-за нескольких сотен фунтов? Я думал, что он состоятельный человек.

Верхняя губа Джемса сердито дрогнула: он не выносил, когда сына уязвляли именно в этом.

— Дело не в деньгах, — начал он, но, встретив взгляд брата — прямой, суровый, критический, — запнулся.

Наступила тишина.

— Я пришел относительно завещания, — сказал наконец старый Джолион, теребя кончики усов.

Джемс сразу же заинтересовался. Кажется, ничто другое не могло так расшевелить его, как вопрос о завещании: завещание есть величайший акт, конечная опись имущества, последнее слово, определяющее цену человеку. Он позвонил.

— Принесите завещание мистера Джолиона, — сказал Джемс испуганному черноволосому клерку. — Хочешь изменить что-нибудь?

И в голове у него пронеслась мысль: «Ну, кто же из нас богаче?»

Старый Джолион положил завещание в боковой карман, и Джемс с огорченным видом завопил под столом ногами.

— Говорят, ты сделал хорошие покупки за последнее время, — сказал он.

— Не знаю, откуда у тебя такие сведения, — резко ответил старый Джолион. — Когда суд? Через месяц? Не понимаю, зачем вы это затеваете! Дело ваше, конечно, но я бы советовал не доводить до суда. Всего хорошего!

Холодно пожав Джемсу руку, он вышел.

Джемс уставился в одну точку, словно впиваясь своими серо-голубыми глазами в чей-то смутный, тревожащий облик, и снова принялся грызть ногти.

Старый Джолион зашел в контору «Новой угольной» и, усевшись в пустом зале, перечел свое завещание. Он так сердито огрызнулся на Хэммингса-Похоронное бюро, который решил показать ему первый отчет нового управляющего, что секретарь удалился с видом оскорбленного достоинства и, послав за клерком, в свою очередь так отчитал его, что бедняга не знал куда деваться.

Он (Похоронное бюро) не позволит—черт возьми!—всякому зазнавшемуся мальчишке корчить из себя бог знает кого. Он (Похоронное бюро) работает здесь столько лет, что этому юнцу и не сосчитать, пусть и не думает, что можно сидеть сложа руки, если работа кончена! Плохо он его (Хэммингса-Похоронное бюро) знает! И так далее в том же духе.

По другую сторону двери, обитой зеленым сукном, за длинным столом красного дерева, крытым кожей, сидел старый Джолион; на носу у него были очки в толстой черепаховой оправе, золотым карандашом он водил по пунктам завещания.

Дело было простое, так как в завещании не упоминалось ни о разделе наследства на мелкие части, ни о пожертвованиях на благотворительные цели, которые так дробят имущество и уничтожают весь эффект коротких сообщений в утренней газете, посвященных Форсайтам, оставляющим после своей смерти сто тысяч фунтов.

Дело простое. Сыну завещается двадцать тысяч, а «все мое остальное имущество — в чем бы оно ни заключалось, в движимости или же недвижимости,— соблюдая выплату доходов, ренты, ежегодных дивидендов и процентных отчислений с такового, передать вышеупомянутой внучке моей Джун Форсайт (или тем, кого она укажет) в полное пожизненное пользование и распоряжение без... и пр...; в случае же ее смерти завещаю передать или перевести вышеупомянутые земельные участки, постройки, денежные суммы, ценные бумаги, векселя и прочее, что подходит под вышеуказанные пункты,— лицу или лицам, одному или нескольким, для пользования и распоряжения таким образом (и без всяких ограничений), каким вышеупомянутая Джун Форсайт, независимо от того, выйдет ли она замуж, найдет нужным распорядиться или непосредственно укажет в своем последнем волеизъявлении, или завещании, или в пись-

менном распоряжении, или распоряжениях, имеющих характер завещания или завещательного распоряжения, ею законным образом подписанных и опубликованных. В случае же... и пр... При непременном условии...» и так далее — семь больших листов, заполненных выразительной и простой терминологией.

Завещание составил Джемс в дни своего расцвета. Он предусмотрел чуть ли не все случайности, какие только могли возникнуть.

Старый Джолион долго просматривал завещание; наконец взял из стопки пол-листа бумаги и набросал карандашом длинную записку; затем спрятал завещание в боковой карман и, велев позвать кэб, поехал в контору Хэринга и Парамора в Линкольнс-Инн-Филдс. Джек Хэринг давно умер, но в конторе работал его племянник, и старый Джолион полчаса пробыл с ним наедине.

Кэб дожидался его у подъезда, и, выйдя из конторы, старый Джолион дал кэбмену адрес — Вистария-авеню, 3.

Он испытывал какое-то странное, тихое удовлетворение, словно ему удалось одержать победу над Джемсом и «собственником». Теперь они уже не станут совать нос куда их не просят; он только что взял от них свое завещание; он передаст все свои дела молодому Хэрингу и дела компаний поручит ему тоже. Если этот Сомс действительно такой богач, он не заметит отсутствия тысячи фунтов в год. И под седыми усами старого Джолиона появилась хмурая улыбка. Он чувствовал, что поступок его восстанавливает справедливость, воздающую каждому по заслугам.

Медленно, но верно, как скрытый от глаз процесс разрушения старого дерева, боль от ран, нанесенных счастьем, волею, гордостью, подтачивала стройное здание его мировоззрения. Жизньгнула его набок до тех пор, пока старый Джолион не потерял устойчивости, как и та семья, главой которой он был.

В то время как лошади везли его к дому сына, перемена последней воли, только что приведенная в исполнение, смутно представлялась ему в виде кары, обрушившейся на ту семью и на то общество, представителями которых он считал Джемса и его сына. Он восстановил

молодого Джолиона в правах на наследство, и этот поступок утолил его тайную жажду отмщения — отмщения Времени, горестям, вмешательству посторонних людей, и тому презрению, которым в течение пятнадцати лет они награждали его единственного сына. Только таким путем он мог еще раз заставить людей почувствовать свою волю, заставить Джемса, Сомса, и всю семью, и всех бесчисленных Форсайтов, громадной волной надвигавшихся на плотину его упорства, — заставить их раз и навсегда признать в нем хозяина. Как отрадно думать, что наконец-то он может сделать мальчика гораздо более состоятельным, чем этот сын Джемса, этот «собственник». И дарить сыну было отрадно, потому что старый Джолион любил его.

Ни молодого Джолиона, ни его жены дома не было (молодой Джолион еще не успел вернуться из Ботанического сада), но служанка сказала, что хозяин вот-вот должен прийти.

— Он всегда приходит к чаю, сэр, поиграть с детьми.

Старый Джолион сказал, что подождет, и остался терпеливо сидеть в унылой, жалкой гостиной, где каждое кресло и диван, с которых уже сняли летние чехлы, обнаруживали все свое убожество. Ему хотелось позвать детей; хотелось видеть их; чувствовать их хрупкие тельца у себя на коленях; хотелось услышать крик Джолли: «Здравствуй, дед!», видеть, как он кинется ему навстречу; почувствовать, как мягкие ручонки Холли гладят его по щекам. Но он не позвал детей. В том, что привело его сюда, была какая-то торжественность; надо покончить с этим, сейчас не до игры. Он развлекал себя мыслью, что одного росчерка пера достаточно, чтобы придать этим комнатам ту приличную внешность, которой здесь так явно недоставало; думал, что надо обставить этот дом или другой, более вместительный, всеми сокровищами искусства, какие найдутся у Бэйпла и Пулбреда; что надо послать маленького Джолли в Хэрроу и Оксфорд (у старого Джолиона уже не осталось веры в Итон и Кембридж, потому что там воспитывался его сын); что надо пригласить для маленькой Холли самого лучшего учителя музыки — у девочки такие способности.

От этих картин будущего, обступивших его со всех

сторон, сердце старого Джолиона забилося сильнее; он встал, подошел к окну, которое выходило в маленький обнесенный стенами садик, где грушевое дерево с облетевшей раньше времени листвой протягивало в медленно сгущавшуюся мглу осеннего дня свои голые тонкие ветви. Пес Балтазар разгуливал в дальнем конце сада, свернув крендельком хвост на лохматой пегой спине, принюхивался к цветам и время от времени подпирал лапой стену.

И старый Джолион задумался.

Какая радость осталась у него в жизни? Только радость дарить. Приятно делать подарки, когда есть кто-то, кто чувствует к тебе благодарность,— близкое существо, плоть от плоти твоей! Это не то, что дарить чужим, тем, кто не имеет на тебя никаких прав! Делая такие подарки, старый Джолион изменил бы своему индивидуализму, всей своей жизни, своим делам, работе, своей умеренности, умалил бы смысл того великого, наполнявшего его гордостью факта, что он, как и десятки тысяч Форсайтов до него, десятки тысяч современников, десятки тысяч еще не родившихся Форсайтов, умел строить свою жизнь, умел держать добытое в руках.

И пока он стоял у окна, глядя на покрытые слоем сажки листья лавра, на бурую траву, на пса Балтазара, боль этих пятнадцати лет, укравших у него законную радость, мешала свою горечь со сладостью приближающейся минуты.

Наконец молодой Джолион вернулся, довольный своей работой, свежий после стольких часов, проведенных на воздухе. Узнав, что отец ждет в гостиной, он сейчас же спросил, дома ли миссис Форсайт, и облегченно вздохнул, когда сказали, что ее нет. Потом заботливо спрятал рисовальные принадлежности в платяной шкаф и вошел в гостиную.

Со свойственной ему решительностью старый Джолион сразу же приступил к делу.

— Я изменил свое завещание, Джо,— сказал он.— Тебе не придется больше урезывать себя во всем: я назначаю вам тысячу фунтов в год сразу же. Джун получит после моей смерти пятьдесят тысяч, остальное — ты. Этот пес испортил тебе весь сад. На твоём месте я бы не стал держать собак!

Пес Балтазар сидел в самом центре лужайки, исследуя свой хвост.

Молодой Джолион посмотрел на Балтазара, но Балтазар расплылся у него в глазах, потому что на них набежали слезы.

— Ты получишь около ста тысяч, мой мальчик,—сказал старый Джолион,— я хочу, чтобы ты знал это. Мне уже недолго осталось жить. Больше не будем к этому возвращаться. Как жена? Передай ей привет.

Молодой Джолион положил руку ему на плечо, и так как оба они молчали, то эпизод на этом и закончился.

Проводив отца до кэба, молодой Джолион вернулся в гостиную и стал на то же место, где стоял отец, глядя в садик. Он старался осмыслить то, что произошло сейчас, и, будучи Форсайтом, уже видел перед собой новые просторы, которые сулило ему благосостояние: годы нужды не вытравили в нем природных инстинктов. С чрезвычайной практичностью размышлял он о путешествиях, о туалетах для жены, образовании детей, о пони для Джолли, о тысяче других вещей; но посреди всех этих мыслей его не оставляло воспоминание о Босини и о той, которую Босини любил, и о прерывистой песенке дрозда: «Счастье — горе? Чье — чье?»

Далекое прошлое — тяжкое, мучительное, полное страсти, чудесное прошлое с его опаляющим счастьем, которое не вернешь никакими деньгами, не воскресишь никакими силами,— встало перед глазами молодого Джолиона.

Когда жена вернулась, он подошел и обнял ее и долго стоял так, не говоря ни слова, закрыв глаза, прижимая ее к себе, а она смотрела на мужа удивленными, обожающими и недоверчивыми глазами.

IV

БЛУЖДЕНИЯ В АДУ

На следующее утро после той ночи, когда Сомс настоял наконец на своих правах и поступил как мужчина, ему пришлось завтракать в одиночестве.

Он завтракал при свете газа. Ноябрьский туман слов-

но громадным одеялом закутал город, и даже деревья сквера еле виднелись из окна столовой.

Сомс упорно ел, но по временам его охватывало такое ощущение, точно кусок становился ему поперек горла. Правильно ли он сделал, что поддался прошлой ночью чувству нестерпимого голода и сломил сопротивление, которое уже так давно оказывала ему эта женщина, бывшая его законной женой, спутницей жизни?

Его преследовало воспоминание об этом лице, о том, как он старался оторвать от него ее руки, успокоить ее, о страшных сдавленных рыданиях, каких ему никогда не приходилось слышать, — они и сейчас стояли у него в ушах; преследовало непривычное, нестерпимое чувство раскаяния и стыда, охватившее его в ту минуту, когда он остановился, глядя на нее при свете одинокой свечи, прежде чем молча и тихо выйти из спальни.

И, совершив такой поступок, он теперь сам ему удивлялся.

Три дня тому назад он сидел рядом с миссис Мак-Эндер на обеде у Уинифрид Дарти. Взглянув ему в лицо своими пронизательными зеленоватыми глазами, она сказала:

— Ваша жена, кажется, в большой дружбе с мистером Босини?

Не удостоив ее просьбой разъяснить эти слова, он мрачно задумался.

Вопрос миссис Мак-Эндер разбудил в нем яростную ревность, которая, со свойственной этому инстинкту извращенностью, перешла в еще более яростное желание.

Без толчка, каким послужили слова миссис Мак-Эндер, он никогда бы не решился на такой поступок. Всею виной был этот толчок и случайность, что комната оказалась незапертой и он застал жену спящей.

Сон рассеял его сомнения, но утром они вернулись. Он утешал себя только одним: никто ничего не узнает — о таких вещах она не станет рассказывать.

А когда повозка делового дня, требующая смазки ясной и практичной мыслью, двинулась в путь, начав утро Сомса с кучи полученных писем, мучительные, как кошмар, сомнения потеряли свою значительность и отступили на второй план. По сути дела, ничего особенного не случилось; только в романах женщины поднимают

из-за этого шум; но, с точки зрения здравомыслящих мужчин, светских мужчин, которые часто заслуживают похвалу в суде по бракоразводным делам, он поступил наилучшим образом, поддержал святость брака и, может быть, уберег жену от нарушения долга, если она еще продолжает встречаться с Босини, уберег от... Нет, он не жалеет о своем поступке.

И теперь, когда первый шаг к примирению сделан, остальное будет сравнительно... сравнительно...

Он встал и подошел к окну. Нервы все-таки не в порядке. Приглушенные рыдания снова звучали в ушах. Он не мог от этого отделаться.

Сомс надел меховое пальто и вышел на затянутую туманом улицу; для того чтобы попасть в Сити, надо было пройти на Слоун-стрит к станции подземной железной дороги.

Сидя в углу купе первого класса, среди деловой публики, направлявшейся в Сити, он снова услышал приглушенные рыдания и, развернув «Таймс» с громким хрустом, который обычно покрывает все более слабые звуки, загородился газетой и стал штудировать новости.

Он прочел, что суду присяжных был передан вчера длинный список дел, подлежащих рассмотрению. Прочел о трех предумышленных и пяти непредумышленных убийствах, семи поджогах, одиннадцати — поразительно высокая цифра! — изнасилованиях и в придачу к ним о нескольких не столь серьезных преступлениях, дела по которым назначены к слушанию на ближайшей сессии, и, пробегая глазами одну заметку за другой, он все время прятал лицо за газетой.

Но даже во время чтения его не покидала мысль о залитом слезами лице Ирэн, о рыданиях, которыми исходило ее раненое сердце.

Работы в Сити оказалось много: в придачу к обычным делам надо было сходить к маклерам Грину и Гринингу, распорядиться о продаже акций «Новой угольной компании», дела которой, как он подозревал, не зная этого наверняка, клонились к упадку (впоследствии это предприятие медленно увяло и было в конце концов продано за бесценок американскому синдикату); кроме того, предстояло длинное совещание в конторе королев-

ского адвоката Уотербака в присутствии Боултера, помощника королевского адвоката Фиска и самого Уотербака.

Предполагалось, что дело «Форсайт против Босини» будет разбираться завтра старшим судьей мистером Бентемом.

Судья Бентем, отличавшийся здравостью ума, но не слишком обширными юридическими познаниями, был единодушно признан самым подходящим человеком для разбора дела Сомса. Он славился своею «строгостью».

Королевский адвокат Уотербак приятно сочетал чуть ли не грубое пренебрежение к Боултеру и Фиску с большой внимательностью по отношению к Сомсу, инстинктивно или на основании точных сведений чувствуя в нем человека состоятельного.

Он твердо придерживался высказанного в свое время в письменной форме мнения, что исход дела будет в значительной степени зависеть от показаний на суде, и в нескольких метких словах дал Сомсу совет не придерживаться излишней точности в своих показаниях.

— Побольше уверенности,— сказал он,— побольше уверенности,— и, солидно рассмеявшись, сжал губы и почесал голову под сдвинутым на затылок париком — ни дать ни взять джентльмен-фермер, за которого он так любил выдавать себя.

Уотербак считался чуть ли не светилом по части дел, касающихся нарушения обещаний.

Возвращаясь домой, Сомс опять предпочел подземную железную дорогу.

На Слоун-сквер туман стал еще гуще. Пассажиры выходили и входили на станцию, пробираясь ощупью сквозь неподвижную плотную мглу; редко встречавшиеся в толпе женщины прижимали к груди сумочки, закрывали рот носовыми платками; экипажи, увенчанные призрачными силуэтами кэбменов, в тусклом свете фонарей, который тонул в тумане, едва достигнув мостовой, то и дело подъезжали и высаживали седоков, разбегавшихся как кролики по своим норам.

И эти неясные призраки, закутанные в саваны из тумана, не замечали друг друга. Большой загон, и каждый кролик заботится только о себе, в особенности те кро-

лики, на которых мех подороже, которые боятся брать кэбы в туманные дни и лезут под землю.

Однако у входа на станцию неподалеку от Сомса виднелась чья-то фигура.

Какой-нибудь пират или влюбленный, один из тех, кто вызывает у каждого Форсайта мысль: «Вот бедняга! Плохо ему, должно быть!» Их добрые сердца чуть сжимаются при виде бедняг влюбленных, нетерпеливо поджидающих кого-то в тумане; но Форсайты быстро проходят мимо, хорошо зная, что время и деньги надо тратить только на свои собственные страдания.

Один лишь полисмен, прохаживавшийся взад и вперед, заинтересовался этим человеком, низко надвинувшим шляпу на покрасневшее от холода лицо — худое, измученное лицо, которого он то и дело касался рукой, чтобы смирить тревогу или снова набраться решимости и снова ждать. Но влюбленный (если это действительно был влюбленный), вероятно, привык ко взглядам полисменов или же весь ушел в свои тревожные мысли, потому что эти взгляды, очевидно, не беспокоили его. Ему знакомы и долгие часы ожидания, и тревога, и туман, и холод; ему не в первый раз, лишь бы она пришла! Глупец! Туманы кончатся только весной; а кроме них, есть еще снег и дождь, и никуда от этого не спрячешься. Гнетущий страх, если заставляешь ее прийти, гнетущий страх, если просишь остаться дома.

«Поделом ему: надо уметь устраивать свои дела!»

Так думают почтенные Форсайты. Однако, случись этим гораздо более разумным гражданам прислушаться к сердцу влюбленного, который ждет свидания в тумане и холоде, они бы опять повторили: «Да, бедняга! Плохо ему приходится!»

Сомс взял кэб с опущенными стеклами, и кэбмен медленно повез его по Слоун-стрит и Бромтон-Род на Монпелье-сквер. Он приехал домой в пять часов.

Жены не было дома. Она ушла четверть часа тому назад. Ушла так поздно, в такой туман! Что это значит?

Он сел в столовой у камина, открыв дверь в холл, и, встревоженный до глубины души, попытался прочесть вечернюю газету. Книга не поможет — только газета способна приглушить тревогу, мучившую его. Заурядные

события, о которых повествовалось там, действовали успокаивающе. «Самоубийство актрисы» — «Тяжелая болезнь государственного деятеля» (опять! Вот везет несчастному!) — «Бракоразводный процесс офицера» — «Пожар в шахте» — он прочел все подряд. Эти события помогли ему, как лекарство, прописанное величайшим лекарем — нашей врожденной склонностью.

Около семи часов он услышал, что Ирэн вернулась.

События прошлой ночи уже давно потеряли свою остроту, заглушенные тревогой, которую пробудила в нем эта неизвестно чем вызванная прогулка в такой туман. Но стоило только Ирэн вернуться, как звуки ее горьких рыданий снова встали у него в памяти, и он заволновался, думая о предстоящей встрече.

Она была уже на лестнице; воротник короткой шубки серого меха почти закрывал ей лицо, закутанное грустой вуалью.

Она не оглянулась, не проговорила ни слова. Даже призрак, даже совсем посторонний человек не прошел бы мимо в таком молчании.

Билсон пришла накрыть на стол и сказала, что миссис Форсайт не сойдет к обеду, она приказала подать суп к себе в комнату.

Впервые за всю свою жизнь Сомс не переоделся к столу; вряд ли когда-нибудь ему приходилось обедать в несвежих манжетах, но он не замечал этого, задумавшись над стаканом вина. Он послал Билсон затопить камин в комнате, где были картины, и вскоре поднялся туда сам.

Сомс зажег газовую лампу и глубоко вздохнул, словно среди этих сокровищ, в несколько рядов стоявших в маленькой комнате лицом к стене, ему удалось наконец найти душевный покой. Он подошел к самому бесценному своему сокровищу — бесспорный Тернер — и поставил его на мольберт лицом к свету. На Тернера сейчас был хороший спрос, но Сомс все еще не решался расстаться с ним. Он долго стоял так, вытянув шею, выступавшую над высоким воротничком, повернув свое бледное, чисто выбритое лицо к картине, словно оценивая ее; в глазах его появилось тоскливое выражение; должно быть, цена оказалась слишком незначительной. Он снял картину с мольберта, чтобы снова поставить ее

к стене; но, сделав шаг, остановился: ему слышались звуки рыданий.

Нет, показалось — все то же, что преследовало его утром. Он поставил перед разгоревшимся камином высокий экран и тихо спустился вниз.

«Утро вечера мудренее!» — подумал Сомс. Заснуть ему удалось не скоро...

Теперь, чтобы пролить свет на события этого утонувшего в тумане дня, следует заняться Джорджем Форсайтом.

Завзятый остряк и единственный спортсмен в семье Форсайтов провел утро в родительском доме на Принсез-Гарденс за чтением романа. После недавнего финансового краха своего беспутного сына Роджер взял с него честное слово, что он образумится, и заставлял сидеть дома.

Около пяти часов Джордж вышел и направился к станции на Саут-Кенсингтон (в такой день все ездят подземкой). Он хотел пообедать и провести вечер за бильярдом в «Красной кружке» — единственном в своем роде заведении, не похожем ни на клуб, ни на отель, ни на фешенебельный ресторан.

Он вышел у Чэринг-Кросса вместо Сент-Джемс-парка, решив пройти на Джермин-стрит по более или менее освещенным улицам.

На платформе внимание его — а кроме солидной, элегантной внешности, Джордж обладал еще острым глазом и всегда был начеку, подыскивая пищу для своего остроумия, — внимание его привлек какой-то человек, который выскочил из вагона первого класса и шатающейся походкой направился к выходу.

«Хо-хо, голубчик! — мысленно проговорил Джордж. — Ба, да это «пират»!» — И он повернул свое тучное туловище вслед за Босини. Ничто так не забавляло его, как вид пьяного человека.

Босини, в широкополой шляпе, остановился прямо перед ним, круто повернул и кинулся обратно к вагону, откуда только что выскочил. Но опоздал. Дежурный схватил его за пальто: поезд уже тронулся.

Наметанный глаз Джорджа заметил в окне вагона

лицо женщины, одетой в серую меховую шубку. Это была миссис Сомс, и Джордж сразу же заинтересовался.

Теперь он шел за Босини по пятам — вверх по лестнице, мимо контролера, на улицу. Однако за это время чувства его несколько изменились: он уже не любопытствовал, не забавлялся, а жалел этого беднягу, по следам которого шел. «Пират» не был пьян — им, очевидно, владело сильнейшее волнение; он разговаривал сам с собой, но Джордж уловил только одно: «Боже, боже!» Он, должно быть, не сознавал, что делает, куда идет, озирался, останавливался в нерешительности, вел себя как помешанный, и Джордж, вначале искавший только случая поразвлечься, решил не спускать с бедняги глаз.

Здорово его пристукнуло, здорово! Джордж ломал себе голову, что же такое говорила миссис Сомс, что же такое она рассказала ему в вагоне. У нее вид тоже был неважный! И Джордж пожалел, что ей приходится ехать совсем одной со своим горем.

Джордж не отставал от Босини ни на шаг; высокий, грузный, он шел молча, лавируя среди встречных, следуя за ним в тумане по пятам. Это уже не было похоже на забаву. Он сохранял полнейшее хладнокровие, несмотря на то, что был несколько возбужден, так как вместе с состраданием в нем заговорил инстинкт охотника.

Босини вышел прямо на мостовую — густая тьма без конца, без края, где в шести шагах уже ничего не видно, где голоса и свистки, раздававшиеся со всех сторон, издавались над чувством ориентации; и экипажи, как тени, внезапно возникали и медленно двигались мимо; и время от времени где-то мерцал огонек, словно остров, маячивший в необъятном море мрака.

И Босини шел быстро, прямо в волны ночи, грозившей бедой, и так же быстро шел за ним Джордж. Если этот субъект вздумает сунуть свою «черепушку» под омнибус, он ему помешает, только бы успеть! Через улицу и снова обратно шагал преследуемый Босини, шагал не ошупью, как все в этом мраке, но неся вперед, словно верный Джордж стегал его сзади кнутом; и в этой погоне за человеком, не знавшим, куда деваться от горя, Джордж начал находить какое-то странное удовольствие.

Но тут события приняли новый оборот, и эта минута навсегда запечатлелась в памяти Джорджа. Вынужденная остановка в тумане дала ему возможность услышать слова, внезапно пролившие свет на все. То, что миссис Сомс рассказала Босини в поезде, перестало быть тайной для Джорджа. Он понял из этого отрывочного бормотания, что Сомс — отвергнутый, нелюбимый муж — восстановил свои права на жену путем величайшего, наивысшего акта собственности.

Мысли Джорджа пустились странствовать; это открытие поразило его; он отчасти понял ревнивую боль, смятение и ужас Босини. И подумал: «Да, это, пожалуй, уж слишком! Ничего удивительного, что малый свихнулся!»

Наконец его дичь опустилась на скамейку, под одним из львов Трафальгар-сквера — громадным сфинксом, как и они, заблудившимся в этом море тьмы. Босини сидел неподвижный, безмолвный, и Джордж, к терпению которого примешивалось теперь что-то вроде братского сострадания, встал позади скамейки. Нельзя отказать ему в некоторой деликатности, в некотором чувстве приличия, не позволявшем вмешиваться в эту трагедию, — и он ждал, молчаливый, как лев, возвышавшийся над ними, подняв меховой воротник, упрятав в него свои мясистые румяные щеки, упрятав все, кроме глаз, смотревших с насмешливым состраданием. Люди шли мимо, держа путь из контор в клубы, — неясные фигуры, закутанные в коконы тумана, появлялись, как призраки, и, как призраки, исчезали. Даже чувство сострадания не уберегло Джорджа от желания посмеяться, и ему захотелось вдруг схватить какой-нибудь призрак за рукав и крикнуть: .

«Эй, вы! Такое зрелище не часто увидишь! Вот сидит бедняга, который только что выслушал от своей любовницы занятную историю об ее муже; подходите, подходите поближе! Полюбуйтесь, как его пристукнуло!»

И он представлял себе, как все будут глазеть на несчастного; и ухмылялся, думая о каком-нибудь почтенном, недавно женившемся призраке, который по своему положению молодожена мог хотя бы в малейшей степени понять, что творилось с Босини; представлял, как тот

все шире и шире будет разевать рот и как в открытый рот набьется туман. Джордж питал презрение к представителям своего класса, особенно к женатым,— презрение, характерное для бесшабашной спортсменской верхушки этого класса.

Но Джорджа уже одолевала скука. Такое долгое ожидание не входило в его расчеты.

«В конце концов,— подумал он,— бедняга как-нибудь успокоится; такие истории в нашем городке не диво!» Но тут его дичь снова принялась бормотать слова ненависти и злобы. И, повинуясь внезапному импульсу, Джордж тронул Босини за плечо.

Босини круто повернулся.

— Кто это? Что вам нужно?

Джордж с честью вышел бы из такого положения при свете фонарей, в обыденной обстановке, в которой он так искусно ориентировался; но в этом тумане, где все казалось таким мрачным, таким нереальным, где все теряло свою привычную ценность, неотделимую в представлении Форсайтов от вещного мира, его вдруг сковала какая-то нерешительность, и, стараясь не сморгнуть перед взглядом этого одержимого, он подумал:

«Увижу полисмена, сдам ему на руки этого субъекта. Его нельзя оставлять на свободе».

Не дожидаясь ответа, Босини снова скрылся в тумане, и Джордж последовал за ним, на этот раз держась немного дальше, но твердо решив не прекращать погони.

«Не может же это продолжаться без конца,— думал он.— Просто чудо, что его до сих пор не задавили!» Джордж забыл о полисмене, священный огонь охоты снова разгорелся в нем.

Босини уже не шел, а мчался в еще более сгустившемся тумане; но его преследователь начал замечать в этом безумстве какую-то цель—он явно держал на запад.

«Неужели к Сомсу?» — подумал Джордж. Эта мысль ему понравилась. Достойное завершение такой охоты. Джордж никогда не любил своего двоюродного брата.

Проезжавший экипаж задел его оглоблей по плечу и заставил отскочить в сторону. Он не желает погибать ни из-за этого «пирата», ни из-за кого другого. Но врожденное упорство заставляло его идти по следу сквозь

мглу, затянувшую все, кроме силуэта человека, за которым он гнался, и смутных лун ближайших фонарей.

И вдруг инстинкт завсегдатая этих мест подсказал Джорджу, что они вышли на Пикадилли. Здесь Джордж мог пройти хоть с завязанными глазами, и, освободившись от необходимости ориентироваться, он снова задумался над несчастьем Босини.

По длинной аллее походов светского человека, прорвавшись сквозь невзрачную толпу сомнительных интрижек, к нему шло воспоминание молодости. Воспоминание, все еще жгучее, которое принесло в зловоние и черноту лондонского тумана запах сена, мягкий свег луны, колдовство лета,— воспоминание о той ночи, когда в густой тьме лужайки Джордж услышал из уст женщины, что он не единственный ее обладатель. И на одно мгновение исчезла черная от тумана Пикадилли, и Джордж снова лежал в тени тополей, закрывавших луну, чувствовал, как разрывается у него сердце, лежал, уткнувшись лицом в душистую, мокрую от росы траву.

Ему захотелось положить «пирату» руку на плечо и сказать: «Полно, друг! Время все залечит. Пойдем выпьем с горя!» Но тут кто-то закричал на него, и он отпрянул в сторону. Из черноты показался кэб и в черноте же исчез. И вдруг Джордж увидел, что потерял Босини. Он бросился вперед, вернулся, чувствуя, как сжимается сердце от страха, того мучительного страха, который приносит на своих крыльях туман. Лоб его покрылся испариной. Он замер на месте, весь превратившись в слух.

— И тут,— как в тот же вечер рассказывал он Дарту за бильярдом в «Красной кружке»,— я потерял его.

Дарту благодушно покрутил свои темные усики. Он только что выбил разом двадцать три очка.

— А кто была она? — спросил он.

Джордж медленно поднял глаза на обрюзгшее, желтое лицо «светского человека», и угрюмая усмешка незаметно скользнула у него по щекам и около тяжелых век.

«Ну нет, приятель,— подумал он.— Тебе я этого не скажу». Джордж не очень верил в порядочность Дарту, хотя и проводил много времени в его обществе.

— Какая-нибудь фея,— сказал он, натирая кий мелом.

— Фея! — воскликнул Дарти — он употребил более красочное слово.— Я убежден, что это была жена нашего приятеля Со...

— Вот как? — оборвал его Джордж.— В таком случае вы ошибаетесь!

И промазал. Он намеренно не заводил больше разговора на эту тему, но около одиннадцати часов, доигравшись, как он сам потом поэтически выразился, «до того, что у него уже из глаз полезло», подошел к окну и, отдернув занавеску, выглянул на улицу. Черную пелену тумана лишь кое-где разгонял свет, лившийся из окон «Красной кружки», улица была пустынная, мертвая.

— Не выходит у меня из головы этот «пират»,— сказал Джордж.— До сих пор, должно быть, слоняется в тумане. Если только не отправился на тот свет,— добавил он подавленным тоном.

— На тот свет? — сказал Дарти, вспомнивший вдруг свое поражение в Ричмонд-парке.— Ничего ему не делается. Держу пари, что молодчик был пьян!

Джордж круто повернулся: он был просто страшен—его большое лицо потемнело от ярости.

— Хватит! — сказал Джордж.— Ведь я же говорил, что он был совсем пришибленный.

V

С У Д

В то утро, на которое был назначен разбор дела, Сомсу опять пришлось выйти из дому, не повидавшись с Ирэн; пожалуй, это было к лучшему, потому что он до сих пор не решил, как держать себя с ней.

В суд его просили прийти к половине одиннадцатого, на тот случай, если первое дело (нарушение обещания жениться) будет отложено; однако надежда эта не оправдалась, и обе стороны проявили такую отвагу, что королевскому адвокату Уотербаку представилась возможность лишний раз поддержать свою и без того славную репутацию знатока подобных казусов. От другой стороны выступал Рэм, тоже знаменитый специалист по делам о нарушении обещаний. Это был поединок ги-гантов.

Суд вынес решение как раз к перерыву на завтрак. Присяжные покинули свои места, и Сомс пошел закусить. В буфете он встретил отца; Джемс, словно пеликан, затерявшийся на этой пустынной галерее, стоял, задумавшись, над сэндвичем и стаканом хереса. Безлюдную пустоту центрального зала, над которым в мрачном раздумье остановились отец и сын, лишь изредка на миг нарушали спешившие куда-то адвокаты в париках и мантиях, случайно оказавшаяся здесь пожилая леди, какой-то мужчина в порыжелом пальто, со страхом взиравший вверх, и двое молодых людей, болтавших в амбразуре окна со смелостью, не свойственной старшему поколению. Звуки их голосов доходили вверх вместе с запахом, напоминавшим тот, который исходит от заброшенных колодцев и в сочетании со спертым воздухом галерей создает полную иллюзию аромата выдержанного сыра—аромата, неизменно сопутствующего отправлению британского правосудия.

Немного погодя Джемс заговорил:

— Когда начнут твоё дело? Сразу после перерыва, должно быть. Того и гляди этот Босини наговорит бог знает чего; собственно, это единственное, что ему осталось. Он обанкротится, если проиграет.— Джемс отправил в рот большой кусок сэндвича и запил его хересом.— Мама ждет тебя и Ирэн к обеду,— сказал он.

Ледяная усмешка промелькнула на губах Сомса; он посмотрел на отца. Невольного свидетеля, подметившего этот холодный взгляд, вполне можно было бы извинить за недооценку взаимного понимания между отцом и сыном. Джемс одним глотком допил херес.

— Сколько? — спросил он.

Вернувшись в зал суда, Сомс сразу же занял место на передней скамье рядом со своим адвокатом. Он посмотрел, куда сел отец, незаметно скосив глаза, чтобы не скомпрометировать ни себя, ни Джемса.

Джемс выбрал место с краю, позади адвокатов, чтобы уйти сейчас же после конца, и, хмурый, сидел, откинувшись на спинку скамьи, опираясь обеими руками на зонтик. Он считал поведение Босини возмутительным во всех отношениях, но сталкиваться с ним не хотел, предчувствуя, что такая встреча будет не из приятных.

После суда по бракоразводным делам эта арена пра-





восудия пользовалась, пожалуй, наибольшей любовью публики, ибо здесь часто разбирались такие сугубо коммерческие деяния, как клевета, нарушение обещаний жениться и тому подобное. Довольно большое количество лиц, не имеющих прямого отношения к закону, занимало задние скамьи; на галерее кое-где виднелись дамские шляпки.

Адвокаты в париках постепенно заполнили два ряда скамей перед Джемсом и сейчас же принялись строить что-то карандашами, болтать и ковырять в зубах; но эти не столь блистательные служители правосудия недолго привлекали его внимание, вскоре же устремившееся на подпертое с двух сторон короткими темными бакенбардами красное самоуверенное лицо королевского адвоката Уотербака, который вошел в зал, шурша развевающейся шелковой мантией. Знаменитый королевский адвокат, как не замедлил подумать Джемс, имел вид человека, способного доконать любого свидетеля.

Несмотря на большую практику в такого рода делах, Джемсу не приходилось до сих пор встречаться с королевским адвокатом Уотербаком, и, подобно многим другим Форсайтам, которые были не настолько крупными юристами, чтобы выступать в суде, он преклонялся перед мастерами перекрестного допроса. Длинные унылые морщины у него на лице немного разгладились при виде королевского адвоката, особенно когда он убедился, что только один Сомс был представлен шелковой мантией.

Не успел королевский адвокат Уотербак поставить локти на стол и, повернувшись к своему помощнику, перекинуться с ним двумя-тремя словами, как появился сам судья мистер Бентем — худой, похожий чем-то на курицу, слегка сутулый, с гладко выбритыми щеками, в белоснежном парике. Уотербак поднялся вслед за всеми и стоя ждал, пока судья займет свое место. Джемс только привстал; он удобно устроился и к тому же не питал особенного почтения к Бентему, с которым ему дважды пришлось сидеть через одного человека на обедах у Бамли Томса. Бамли Томс был порядочное ничтожество, хотя и ухитрился преуспеть в делах. Первое дело, с которого он начинал когда-то, было поручено ему са-

мим Джемсом. Кроме того, Джемс заволновался, убедившись, что Босини нет в зале суда.

«Что он еще задумал?» — не выходило у него из головы.

Слушание дела началось; королевский адвокат Уотербак отодвинул лежавшие перед ним бумаги, оправил мантию на плече, оглянулся по сторонам, словно готовившись ударить по мячу, встал и обратился к суду.

Фактическая сторона дела, сказал он, не вызывает никаких сомнений, и досточтимому лорду придется лишь дать соответствующее истолкование переписке, имевшей место между его доверителем и ответчиком — архитектором — по поводу отделки дома. Он сам, однако, полагает, что смысл переписки совершенно ясен. Изложив вкратце историю дома в Робин-Хилле, названного им виллой, и перечислив суммы, истраченные на постройку, королевский адвокат сообщил следующее:

— Мой доверитель, мистер Сомс Форсайт, джентльмен и человек состоятельный, ни в коем случае не стал бы оспаривать предъявленные ему законные требования, но отношение архитектора к постройке дома, на который, как досточтимый лорд уже слышал, мой доверитель истратил двенадцать — двенадцать тысяч фунтов! — сумму, значительно превосходящую его первоначальную смету, — отношение архитектора было таково, что мой доверитель счел делом принципа — я подчеркиваю это — счел делом принципа, в интересах всего общества, обратиться в суд. Соображение, выдвинутое в свою защиту архитектором, я считаю не заслуживающим сколько-нибудь серьезного внимания.

Затем он огласил переписку.

Его доверитель — «человек с положением» — готов показать под присягой, что никогда не давал и не собирался давать согласие на расходы, превышающие сумму в двенадцать тысяч пятьдесят фунтов, которая была твердо установлена, и, чтобы не отнимать у суда лишнего времени, он сейчас же вызовет мистера Форсайта.

Сомс выступил вперед. Весь его облик поражал спокойствием. Лицо слегка надменное, бледное, чисто выбритое, брови чуть сдвинуты, губы сжаты, костюм безупречно строг, одна рука в перчатке. На предложенные во-

просы он отвечал несколько тихим, но ясным голосом. Его показания были намеренно немногословны.

— Употребил ли он выражение «полная свобода действий»?

— Нет.

— Ну, как же нет?

— Он употребил выражение «полная свобода действий в пределах, указанных в переписке».

— Он считает это выражение вполне правильным?

— Да.

— Что же оно значит?

— То, что значит.

— Он утверждает, что в этой фразе нет никакого противоречия?

— Да.

— Может быть, он ирландец по национальности?

— Нет.

— Он получил образование?

— Да.

— И все же он настаивает на своих словах?

— Да.

В продолжение всего допроса, вращавшегося вокруг «щекотливого пункта», Джемс сидел, приложив ладонь к уху, и не сводил глаз с сына.

Он гордился им. Он чувствовал, что не устоял бы перед искушением давать пространные ответы, случись ему быть в подобном положении, но инстинкт подсказывал, что при данных обстоятельствах немногословие — самое верное дело. Все же Джемс с облегчением вздохнул, когда Сомс неторопливо повернулся и с тем же выражением лица сел на свое место.

Когда настал черед адвоката Босини, Джемс удвоил внимание и снова обвел взглядом зал суда, выискивая архитектора.

Молодой Ченкери начал не совсем твердо: отсутствие Босини ставило его в неловкое положение. И он сделал все возможное, чтобы обернуть отсутствие своего клиента в его же пользу.

Он боится, что с его доверителем произошел несчастный случай. Мистер Босини должен был непременно явиться в суд; сегодня утром за ним посылали и на квартиру и в контору (Ченкери знал, что и то и другое на-

ходится в одном месте, однако счел нужным умолчать об этом), но мистера Босини нигде не могли разыскать, и это очень странно, так как мистер Босини непременно хотел дать показания. Однако он, Ченкери, не получал никаких полномочий относительно отсрочки дела и за неимением таковых считает своим долгом продолжать. Доводы защиты, которые он считает вполне основательными и которые его доверитель не преминул бы подтвердить, если бы неудачно сложившиеся обстоятельства не помешали ему явиться в суд, сводятся к тому, что такое выражение, как «полная свобода действий», не может быть ни ограничено, ни изменено, ни лишено своего смысла при помощи дальнейших оговорок. Более того, переписка доказывает, несмотря на все заявления мистера Форсайта, что последний никогда не отказывался принять работу, выполненную самим архитектором или по его заказам. Ответчику и в голову не приходила возможность такого конфликта, в противном случае, как это явствует из его писем, он никогда бы не взял на себя отделку дома — работу чрезвычайно тонкую, но тем не менее выполненную им с таким вниманием и с таким успехом, который мог бы удовлетворить требовательный вкус любого знатока, любого состоятельного человека, богатого человека. Данное обстоятельство особенно сильно его волнует, и поэтому он, возможно, употребит слишком сильные выражения, если скажет, что иск этот является вопиющим по своей несправедливости, абсолютно неожиданным, не имеющим прецедентов. Если бы досточтимому лорду представился случай посмотреть этот прекрасный дом — а он, Ченкери, счел своей обязанностью съездить в Робин-Хилл — и убедиться в изяществе и красоте отделки, выполненной его доверителем, художником в самом высоком значении этого слова, он, Ченкери, уверен, что досточтимый лорд не потерпел бы такой — он не хочет быть чересчур резким, — такой смелой попытки истца уклониться от своих обязательств.

Обратившись к письму Сомса, Ченкери мимоходом коснулся процесса «Буало — Цементная Лимитед».

— Решение, вынесенное по этому делу, — сказал он, — весьма спорно; во всяком случае, оно в такой же мере говорит в мою пользу, как и в пользу моего уважаемого оппонента.

Затем Ченкери занялся вплотную «щекотливым пунктом». При всем своем уважении к мистеру Форсайту он должен указать, что мистер Форсайт сам уничтожил смысл собственного выражения. Его доверитель — человек небогатый, исход дела грозит ему серьезными последствиями; он очень талантливый архитектор, и речь идет до некоторой степени об его профессиональной репутации. Ченкери закончил, пожалуй, слишком непосредственным обращением к судье, как к любителю искусств, призывая его стать на защиту художников, попадающих подчас — он так и сказал «подчас» — в железные тиски капитала.

— Какая же участь ждет художников, — сказал Ченкери, — если состоятельные люди, вроде мистера Форсайта, отказываются, и совершенно безнаказанно отказываются, от выполнения своих обязательств по контрактам?..

Он попросит теперь еще раз вызвать своего доверителя на тот случай, если обстоятельства все-таки позволили ему в последнюю минуту явиться в суд.

Судебные приставы трижды прокричали имя Филипа Бейнза Босини. и призыв их печальным эхом отзывался в зале и на галерее.

Звук этого имени, на которое никто не откликнулся, произвел странное впечатление на Джемса: словно кто-то звал собаку, потерявшуюся на улице. И холодок, пробежавший у него по телу при мысли о пропавшем человеке, нарушил ощущение комфорта, безопасности — ощущение уюта. Джемс и сам не мог бы сказать, в чем тут дело, но ему стало не по себе.

Он посмотрел на часы: без четверти три. Через пятнадцать минут все будет кончено. Куда же запропастился этот молодой человек?

И только когда судья Бентем встал, чтобы огласить свое заключение, Джемсу удалось отделаться от чувства тревоги.

Ученый муж нагнулся над деревянной кафедрой, которая отделяла его от простых смертных. Свет электрической лампы, загоревшейся над головой судьи Бентема, падал на его лицо, казавшееся теперь оранжевым под белоснежной короной парика; необъятная ширина мантии предстала взорам зрителей; от всей его фигу-

ры, повернутой к стносительному сумраку зала, исходило сияние, словно от какой-то величественной святыни. Он откашлялся, отпил глоток воды из стакана, царапнул гусиным пером о пюпитр и, сложив на животе костлявые руки, начал.

Джемс никогда не думал, что Бентем может казаться таким величественным. В нем было величие закона; и даже люди, наделенные бóльшим воображением, чем Джемс, вполне могли не разглядеть за сиянием этого ореола самого обыкновенного Форсайта, известного в повседневной жизни под именем сэра Уолтера Бентема.

Он огласил следующее заключение:

«Фактическая сторона дела не подлежит сомнению. Пятнадцатого мая сего года ответчик обратился к истцу с письмом, в котором просил освободить его от обязанностей по отделке дома истца в том случае, если ему не будет предоставлена «полная свобода действий». Семнадцатого мая истец ответил: «Предоставляя Вам, согласно Вашей просьбе, полную свободу действий, я бы хотел, чтобы Вы уяснили себе, что общая стоимость дома со всей отделкой, включая Ваше вознаграждение (согласно нашей договоренности), не должна превышать двенадцати тысяч фунтов». На это письмо ответчик сообщил восемнадцатого мая следующее: «Если Вам кажется, что в таком сложном вопросе, как отделка дома, я могу связать себя определенной суммой, то Вы ошибаетесь». Девятнадцатого мая истец ответил следующим образом: «Я вовсе не хотел сказать, что перерасход суммы, указанной в моем письме, на десять, двадцать и даже пятьдесят фунтов послужит поводом для каких-либо недоразумений между нами. Вам предоставлена полная свобода действий в пределах, указанных в нашей переписке, и я надеюсь, что при этих условиях Вы сумеете закончить отделку дома». Двадцатого мая ответчик написал кратко: «Согласен».

Завершая отделку, ответчик выдал ряд долговых обязательств, которые довели общую стоимость постройки до суммы в двенадцать тысяч четыреста фунтов, выплаченной истцом полностью. Обратившись в суд, истец требует взыскать с ответчика триста пятьдесят фунтов, то есть перерасход суммы в двенадцать тысяч пятьдесят фунтов, указанной, по словам истца, в перепис-

ке как максимум расходов, которые имел право делать ответчик.

Вопрос, подлежащий разрешению, заключается в том, обязан ли ответчик уплатить истцу эту сумму. Я полагаю, что обязан.

Истец говорил следующее: «Я предоставляю полную свободу действий для завершения отделки, при условии, что вы будете держаться в пределах двенадцати тысяч фунтов. Если сумма окажется превышенной на пятьдесят фунтов, я не буду взыскивать ее с вас; но на дальнейшие расходы я своего согласия не даю и оплачивать их не стану». Я не уверен, что истец мог бы действительно отказаться от оплаты контрактов, заключенных архитектором от его имени; во всяком случае, он не пошел на это. Он уплатил по счетам и предъявил ответчику иск, основываясь на имевшейся договоренности.

Я считаю, что истец вправе требовать с ответчика возмещения указанной суммы.

От лица ответчика здесь была сделана попытка доказать, что автор письма никак не ограничивал и не намеревался ограничивать размеры затрат. Если это так, я не могу понять, зачем истцу понадобилось проставить в письме сумму в двенадцать тысяч фунтов и вслед за ней в пятьдесят фунтов. Такое толкование лишает этот пункт всякого смысла. Мне совершенно ясно, что в письме от двадцатого мая ответчик выразил согласие на весьма четко сформулированное предложение, условиям которого он был обязан подчиняться.

Поэтому суд постановляет удовлетворить иск, взыскав с ответчика всю сумму судебных издержек».

Джемс вздохнул и, нагнувшись, поднял зонтик, с грохотом упавший при словах: «Проставить в письме сумму».

Высвободив из-под скамьи ноги, он быстро вышел из зала суда, не дожидаясь сына, кликнул первый попавшийся закрытый кэб (день был серенький) и поехал прямо к Тимоти, где уже сидел Суизин. Ему, миссис Септимус Смолл и тете Эстер Джемс рассказал о суде со всеми подробностями и, не прерывая рассказа, съел две горячие булочки.

— Сомс держался молодцом, — закончил он, — у него голова хорошо работает. Джолиону это не понравилось

ся. Дела Босини совсем плохи: наверно, обанкротится.— И, уставившись тревожным взглядом в камин, добавил после долгой паузы: — Его не было в суде — почему бы это?

Раздались чьи-то шаги. В малой гостиной показалась фигура дородного человека с пышущим здоровьем кирпичного цвета лицом. Указательный палец его резко выделялся на лацкане черного сюртука. Он проговорил ворчливым голосом:

— А, Джемс! Нет, не могу, не могу задерживаться!— и, повернувшись, вышел из комнаты.

Это был Тимоти.

Джемс встал с кресла.

— Вот! — сказал он. — Вот! Я так и предчу...

Он осекся и замолчал, уставившись в одну точку, словно перед ним только что пронеслось какое-то дурное предзнаменование.

VI

СОМС ПРИХОДИТ С НОВОСТЯМИ

Выйдя из суда, Сомс не пошел домой. Ему не хотелось идти в Сити, и, чувствуя потребность поделиться с кем-то своей победой, он тоже отправился на Бэйсуотер-Род, к Тимоти, но прошел всю дорогу пешком, не торопясь.

Отец только что уехал; миссис Смолл и тетя Эстер, знавшие уже все подробности, встретили его радостно. Он, наверное, проголодался после всех этих допросов. Смизер сейчас поджарит булочки, его дорогой батюшка съел все, что было подано. Пусть ложится на диван с ногами и выпьет рюмочку сливового брэнди. Это так подкрепляет.

Суизин все еще сидел в гостиной, он задержался с визитом дольше обычного, чувствуя, что ему необходимо рассеяться. Услышав про брэнди, он фыркнул. Ну и молодежь нынче. Печень у него была не в порядке, и он не мог примириться с тем, что кто-то другой пьет сливовое брэнди.

Суизин почти немедленно собрался уходить, сказав Сомсу:

— Ну, как жена? Передай, что, если ей станет скучно и захочется тихо и мирно пообедать со мной, я угощу ее таким шампанским, какое она не каждый день пьет.

Взирая на Сомса с высоты собственного величия, он стиснул ему ладонь своей пухлой желтоватой рукой, словно хотел раздавить всю эту мелкую рыбешку, и, вынятив грудь, медленно вышел из гостиной.

Миссис Смолл и тетя Эстер пришли в ужас. Суизин такой чудак!

Им самим не терпелось спросить Сомса, как отнесется к исходу дела Ирэн, но тетушки знали, что спрашивать нельзя; может быть, он сам скажет что-нибудь такое, что поможет им разобраться во всей этой истории, занимающей теперь такое большое место в их жизни — истории, которая невыносимо мучила их, потому что говорить о ней не полагалось. Теперь даже Тимоти стало все известно, и новость просто катастрофически подействовала на его здоровье. А что будет делать Джун? Вот вопрос! Волнующий, опасный вопрос!

Они все еще не могли забыть тот визит старого Джолиона, после которого он так и не появлялся у них; они не могли забыть то ощущение, которое осталось у всех присутствующих, — ощущение каких-то перемен в семье, ее близкого развала.

Но Сомс не шел им навстречу; положив ногу на ногу, он говорил о недавно открытой им барбизонской школе. Вот у кого будущее, он уверен, что со временем на этих барбизонцах удастся хорошо заработать; он уже обратил внимание на две картины некоего Коро — очаровательные вещицы; если не станут запрашивать, он купит обе — когда-нибудь за них дадут большие деньги.

Миссис Смолл и тетя Эстер не могли не интересоваться всем этим, но такой способ отделаться от них не совсем им понравился.

Это очень интересно, чрезвычайно интересно; ведь Сомс прекрасный знаток, уж кто-кто, а он найдет, что сделать с этими картинами; но что он намерен предпринять теперь, после выигрыша дела? Уедет из Лондона, переберется за город или нет?

Сомс ответил, что еще не знает; по всей вероятности, они скоро переедут. Он поднялся и поцеловал теток.

Как только тетя Джули приняла от него эту эмблему расставания, в ней произошла какая-то перемена, словно она исполнилась безумной отваги; казалось, что каждая ее морщинка тшится ускользнуть из-под невидимой, сковывающей лицо маски.

Она выпрямилась во весь свой далеко не маленький рост и заговорила:

— Я уже давно решилась, милый, и если никто тебе не скажет, я...

Тетя Эстер прервала ее.

— Помни, Джули, ты...— еле выговорила она,— ты сама будешь отвечать за свои слова!

Миссис Смолл будто не слышала.

— По-моему, дорогой, ты должен знать, что миссис Мак-Эндер видела Ирэн с мистером Босини в Ричмонд-парке.

Тетя Эстер, тоже вставшая с места, снова опустилась на стул и отвернулась. В самом деле, Джулия слишком уж... Не надо было заводить при ней, при Эстер, этот разговор; еле переводя дух от волнения, она ждала, что скажет Сомс.

Он покраснел, и, как всегда, румянец вспыхнул у него где-то на переносице; подняв руку, он облюбовал один палец, осторожно прикусил ноготь и затем процедил сквозь зубы:

— Миссис Мак-Эндер — злобная дрянь!

И, не дожидаясь ответа, вышел из комнаты.

По пути на Бэйсуотер-Род, к Тимоти, он обдумал, как надо держать себя дома. Он пойдет к Ирэн и скажет:

«Я выиграл процесс и поставил на этом точку. Мне не хочется притеснять Босини; мы как-нибудь договоримся; я не буду настаивать. И давай покончим с этим. Мы сдадим дом и уедем от этих туманов, сейчас же переберемся в Робин-Хилл. Я... я не хотел быть грубым! Дай руку... и...» Может быть, она позволит поцеловать себя и забудет все, что было!

Однако, когда Сомс вышел от Тимоти, намерения его были уже не так просты. Подозрения и ревность, тлевшие в нем столько месяцев, вспыхнули ярким огнем. Он раз и навсегда положит конец этой истории; он не позволит смешивать свое имя с грязью! Если она не может

или не хочет любить мужа, как это велит ей долг, исполнения которого он вправе требовать, пусть не обманывает его с кем-то другим! Он так и скажет ей, пригрозит разводом! Это заставит ее образумиться; она не пойдет на развод. А что если... если пойдет? Эта мысль сразила его; до сих пор он не допускал такой возможности.

Что если пойдет? Что если она признается? Как же поступить тогда? Придется начинать дело о разводе!

Развод! Произнеся мысленно это слово, расходившееся со всеми принципами, которые руководили до сих пор его жизнью, Сомс ощутил в нем парализующую силу. В этой бесповоротности было что-то страшное. Он чувствовал себя в положении капитана корабля, который подходит к борту и собственными руками бросает в море свой самый драгоценный груз. Такая расточительность казалась ему безумием. Это повредит его работе. Придется продать дом в Робин-Хилле, на который он истратил столько денег, возлагал такие надежды, и продать в убыток! А она! Она уже не будет принадлежать ему, не будет даже носить его фамилию! Она уйдет из его жизни, и он... он никогда больше не увидит ее.

И, сидя в кэбе, он всю дорогу не мог примириться с мыслью, что никогда больше не увидит Ирэн!

А что если ей не в чем признаваться, может быть, даже сейчас не в чем признаться? Благоразумно ли с его стороны заходить так далеко? Благоразумно ли ставить себя в такое положение, если вдруг придется идти на попятный? Исход этого процесса разорит Босини; разорившемуся терять нечего, но что он может предпринять? Уехать за границу? Банкроты всегда уезжают за границу. Что они могут предпринять — если они будут вместе — без денег? Лучше подождать, посмотреть, какой оборот примут дела. Если понадобится, он установит за ней слежку. Припадок ревности (словно разыгравшаяся зубная боль) снова овладел им; он чуть не вскрикнул. Надо решить, надо выбрать определенную линию поведения сейчас же — по дороге домой. Кэб остановился у подъезда, а Сомс так ничего и не решил.

Он вошел в дом бледный, с влажными от волнения руками, боясь увидеть ее, страстно желая увидеть ее и не зная, что сказать, что сделать.

Горничная Билсон была в холле и на его вопрос: «Где миссис Форсайт?» — ответила, что миссис ушла из дому часов в двенадцать, взяв с собой чемодан и саквояж.

Он так круто повернулся, что Билсон не удержала рукав его мехового пальто.

— Как? — крикнул он. — Как вы сказали? — но, вспомнив вдруг, что не следует выдавать свое волнение, добавил: — Она просила передать что-нибудь? — и с ужасом поймал на себе испуганный взгляд горничной.

— Миссис Форсайт ничего не приказала передать, сэр.

— Ничего? Так, хорошо, благодарю вас. Я не буду обедать дома.

Горничная ушла, а он, не снимая мехового пальто, подошел к фарфоровой вазе, стоявшей на резном дубовом сундучке, и стал машинально перебирать визитные карточки:

*Мистер и миссис Бэрет Калчер
Миссис Септимус Смолл
Миссис Бейнз
Мистер Соломон Торнуорси
Леди Беллис
Мисс Эрмион Беллис
Мисс Унифрид Беллис
Мисс Элла Беллис.*

Кто эти люди? Он, кажется, начинает забывать самые знакомые имена. Слова «ничего не приказала передать»... «чемодан и саквояж» затеяли игру в прятки у него в мозгу. Не может быть, чтобы она ничего не оставила! И, так и не сняв пальто, он взбежал по лестнице, шагая сразу через две ступеньки, как молодожен, который вернулся домой и спешит к жене.

В комнате Ирэн все было изящное, свежее, душистое; все в идеальном порядке. На широкой кровати, покрытой сиреневым шелковым одеялом, лежал мешочек для ночной сорочки, вышитый ее собственными руками; ночные туфли стояли возле самой кровати; край пододеяльника был откинут, точно постель ждала ее прихода.

На туалете щетки в серебряной оправе и флаконы из несессера — его подарок. Тут просто недоразумение. Какой же саквояж она взяла с собой? Сомс подошел к звонку — позвать Билсон, но вовремя спохватился, вспомнив,

что надо делать вид, будто он знает, куда уехала Ирэн, надо отнестись к этому как к самой обыкновенной вещи и доискаться причин ее отъезда собственными силами.

Он запер дверь на ключ, постарался собраться с мыслями, но чувствовал, что голова идет кругом; и вдруг из глаз его брызнули слезы.

Торопливо сбросив пальто, он посмотрел на себя в зеркало.

Бледное, посеревшее лицо; он налил воды в таз и с лихорадочной быстротой умылся.

От серебряных щеток исходил слабый запах эссенции, которой она мыла волосы; и этот запах снова разбудил в нем мучительную ревность.

Натягивая на ходу пальто, он сбежал вниз и вышел на улицу.

Но самообладание еще не покинуло его; идя по Слоун-стрит, он придумал, что сказать, если Ирэн не окажется у Босини. А если она там? Его решимость опять исчезла; он подошел к дому Босини, не зная, что сделать, если застанет у него Ирэн.

Канторы в нижних этажах уже кончили работу, и входная дверь была заперта; женщина, открывшая ему, не могла сказать наверное, у себя ли мистер Босини; она не видела его ни сегодня, ни вчера, ни третьего дня; она уже больше не убирает у него, там теперь никто не убирает, он...

Сомс прервал ее, сказав, что пойдет наверх и посмотрит сам.

Он поднялся по лестнице бледный, с упрямо сжатыми зубами.

На верхней площадке было темно, дверь оказалась запертой, на его звонок никто не ответил, из квартиры Босини не доносилось ни звука. Сомсу не оставалось ничего другого, как сойти вниз; он дрожал в меховом пальто, его сердце сжимал холод. Подозвав кэб, он велел отвезти себя на Парк-Лейн.

Дорогой Сомс старался вспомнить, когда он в последний раз дал ей чек. У нее должно остаться не больше трех-четырех фунтов, но есть еще драгоценности; и мысль о том, сколько денег она может получить за них, была для него утонченной пыткой — хватит обоим на поездку

за границу, хватит на много месяцев вперед! Он попробовал подсчитать точно; кэб остановился, и Сомс вышел, так и не успев ничего подсчитать.

Дворецкий спросил, приехала ли миссис Сомс,— хозяин сказал, что к обеду ждут их обоих.

Сомс ответил:

— Нет, миссис Форсайт больна.

Дворецкий выразил сожаление.

Сомсу показалось, что Уормсон испытующе посмотрел на него; он вспомнил, что не переоделся к обеду, и спросил:

— Есть гости, Уормсон?

— Нет, сэр, только мистер и миссис Дарти.

Сомсу опять показалось, что дворецкий смотрит на него с любопытством. Он не выдержал:

— Что вы на меня так смотрите? В чем дело, а?

Дворецкий покраснел, повесил меховое пальто, пробормотал что-то вроде: «Нет, ничего, сэр, уверяю вас, сэр»,— и тихонько вышел.

Сомс поднялся по лестнице. Пройдя гостиную, не глядя по сторонам, он пошел прямо к спальне родителей.

Джемс стоял боком к двери, вечерний жилет и рубашка подчеркивали вогнутые линии его высокой тощей фигуры. Опустив голову, прижав одной пушистой бакенбардой съехавший набок белый галстук, сосредоточенно нахмутив брови, выпятив губы, он застегивал жене верхние крючки лифа. Сомс остановился; у него перехватило дыхание, то ли от того, что он так быстро взбежал по лестнице, то ли от каких-то других причин. Его... его никогда... никогда не просили...

Он услышал голос отца, приглушенный, точно во рту у него были булавки: «Кто это? Кто там? Что нужно?» Голос матери: «Фелис, застегните, пожалуйста, мистер Форсайт так копается».

Он приложил руку к горлу и сказал хрипло:

— Это я, Сомс!

С чувством благодарности он уловил нежные и удивленные нотки в голосе Эмили: «Что ты, дорогой?» — и голос Джемса, оставившего свою возню с крючками: «Сомс! Почему ты пришел наверх? Ты нездоров?»

Он ответил машинально: «Нет, здоров»,— посмотрел

на них и почувствовал, что не может сказать о случившемся.

Джемс, всегда готовый разволноваться, начал:

— Ты плохо выглядишь. Простудился, должно быть, это все печень. Мама даст тебе...

Но Эмили спокойно перебила его.

— Ты с Ирэн?

Сомс покачал головой.

— Нет,— сказал он, запинаясь,— она... она ушла от меня!

Эмили отвернулась от зеркала. Ее высокая, полная фигура сразу утратила свою величавость, и когда она подбежала к Сомсу, в ней появилось что-то очень человеческое.

— Мальчик мой! *Дорогой мальчик!*

Она прижалась губами к его лбу, погладила ему руку. Джемс тоже повернулся к сыну; лицо его будто сразу постарело.

— Ушла? — сказал он.— То есть как — ушла? Ты мне никогда не говорил, что она собирается уходить.

Сомс ответил угрюмо:

— Откуда же я мог знать? Что теперь делать?

Джемс заходил взад и вперед по комнате; без сюртука он был похож на аиста.

— Что делать! — бормотал он.— Почему я знаю, что делать? Какой толк спрашивать меня? Мне никогда ничего не рассказывают, а потом приходят и спрашивают, что делать! Ну, что я могу сказать! Вот мама, вот она стоит: что же она ничего не скажет? А я могу сказать только одно: надо найти ее.

Сомс улыбнулся; его обычная высокомерная улыбка никогда не казалась такой жалкой.

— Я не знаю, куда она ушла,— ответил он.

— Не знаешь, куда она ушла? — повторил Джемс.— То есть как же так не знаешь? Где же она, по-твоему? Она ушла к Босини, вот она куда ушла. Я так и знал, чем все это кончится.

В долгом молчании, наступившем вслед за этим, Сомс чувствовал, как мать сжимает ему руку. И дальнейшее прошло мимо Сомса, словно его способность мыслить и действовать уснула крепким сном.

Лицо Джемса, красное, перекошенное, будто он готов был расплакаться, и слова, прорывавшиеся у него сквозь душевную боль:

— Будет скандал; я всегда это говорил! — потом пауза, потом:— Что же вы оба молчите?

И голос Эмили, спокойный, чуть презрительный:

— Полно, Джемс! Сомс сделает все что можно.

И Джемс, опустив глаза, упавшим голосом:

— Я ничем не могу помочь, я старик. Только не торопись, мой мальчик, обдумай все хорошенько.

И снова голос матери:

— Сомс сделает все, чтобы вернуть ее. Не будем говорить об этом. Я уверена, что все уладится.

И Джемс:

— Не знаю, как это можно уладить. Если только она не уехала с Босини, мой совет тебе: нечего ее слушать, разыщи и приведи ее назад.

Еще раз Сомс почувствовал, как мать гладит ему руку в знак одобрения, и, словно повторяя священную клятву, он пробормотал сквозь зубы:

— Разыщу!

Втроем они сошли в гостиную. Там уже сидели дочери и Дарти; будь здесь Ирэн, семья была бы в полном составе.

Джемс опустился в кресло и, если не считать холодного приветствия по адресу Дарти, которого он и презирал и боялся, как человека, вечно сидящего без денег, не вымолвил ни слова до самого обеда. Сомс тоже молчал; одна только Эмили — женщина спокойная и мужественная — вела беседу с Уинифрид о каких-то пустяках. Никогда еще в ее манерах и разговоре не было столько выдержки, как в этот вечер.

Так как о бегстве Ирэн решено было молчать, никто из семьи не обсуждал вопроса, что предпринять дальше. Не могло быть сомнений, как это и выяснилось из толков о дальнейших событиях, что совет Джемса: «Нечего ее слушать, разыщи и приведи ее назад!» — считался вполне разумным всеми — за редкими исключениями — не только на Парк-Лейн, но и у Николаса, и у Роджера, и у Тимоти. Такой совет встретил бы одобрение всех Форсайтов Лондона, не высказавшихся по этому

поводу только потому, что они стояли в стороне от событий.

Несмотря на все труды Эмили, обед, который подавали Уормсон и лакей, прошел почти в полном молчании. Дарти сидел надутый и пил все, что попадалось под руку; сестры вообще редко разговаривали друг с другом. Джемс раз только спросил, где Джун и что она сейчас делает. Никто не мог ответить на этот вопрос. Он снова погрузился в мрачное раздумье. И только когда Уинифрид рассказала, что маленький Публиус подал нищему фальшивую монетку, Джемс просветлел.

— А! — воскликнул он. — Сообразительный мальчишка. Из него выйдет толк, если он и дальше так пойдет. Умный мальчик, одно могу сказать!

Но это был только проблеск.

Блюда торжественно следовали одно за другим, электричество сияло над столом, оставляя, однако, в тени главное украшение комнаты, так называемую «марину» Тернера, на которой были изображены главным образом снасти и гибнущие в волнах люди. Появилось шампанское, потом бутылка доисторического портвейна Джемса, поданные словно ледяной рукой скелета.

В десять часов Сомс ушел; на вопросы об Ирэн ему дважды пришлось отговориться ее нездоровьем; он боялся, что больше не выдержит. Мать поцеловала его долгим нежным поцелуем, он пожал ей руку, чувствуя, как тепло приливает к щекам. Он шел навстречу холодному ветру, с печальным свистом вылетававшему из-за поворотов улиц; шел под ясным, серым, как сталь, небом, усыпанным звездами. Он не замечал ни студеного приветствия зимы, ни шелеста свернувшихся от холода платановых листьев, ни продажных женщин, которые пробежали мимо, кутаясь в облезлые меховые горжетки; не замечал бродяг, торчавших на углах с посиневшими от стужи лицами. Зима пришла! Но Сомс торопился домой, погруженный в свои мысли; руки его дрожали, открывая сплетенный из позолоченной проволоки почтовый ящик, куда письма попадали сквозь прорезь в дверях.

От Ирэн — ничего.

Он прошел в столовую; камин горел ярко, его кресло было придвинуто поближе к огню, домашние туфли при-

готовлены, на столике — винный погребец и резной деревянный ящичек с папиросами; постояв минуты две, он потушил свет и поднялся наверх. У него тоже горел камин, но в ее комнате было темно и холодно. В эту комнату и вошел Сомс.

Он зажег все свечи и долго ходил взад и вперед между кроватью и дверью. Он не мог свыкнуться с мыслью, что она на самом деле ушла от него, и, словно все еще надеясь найти хоть записку, хоть какое-нибудь объяснение, какую-нибудь разгадку той тайны, которая окружала его семейную жизнь, принялся рыться во всех уголках, открывать один за другим все ящики.

Вот ее платье; он любил, когда она была хорошо одета, даже настаивал на этом — из платьев взято совсем немного: два-три, не больше; и, выдвигая ящик за ящиком, он убеждался, что белье и шелковые вещи все остались на месте.

В конце концов, может быть, это просто каприз, ей захотелось переменить обстановку, уехать на несколько дней к морю. Если это так, если она вернется, он никогда больше не повторит того, что случилось в ту несчастную ночь, никогда больше не осмелится на такой поступок, хотя это была ее обязанность, ее супружеский долг, хотя она принадлежит ему. Он никогда больше не осмелится на такой поступок. Она просто потеряла голову, не сознает, что делает.

Сомс нагнулся над ящиком, где она хранила драгоценности; ящик был не заперт, он выдвинул его; в шкатулке торчал ключик. Это удивило Сомса, но потом он сообразил, что шкатулка, должно быть, пустая. Он поднял крышку.

Но шкатулка была отнюдь не пустая. В зеленых бархатных гнездышках лежали все его подарки — даже часы, а в отделении для часов торчала треугольная записка, на которой он узнал почерк Ирэн:

«Сомсу Форсайту.

Я, кажется, не взяла с собой ни Ваших подарков, ни подарков Вашей родни».

И это было все.

Он смотрел на фермуары и браслеты, усыпанные бриллиантами и жемчугом, на плоские золотые часики

с крупным бриллиантом и сапфирами, на цепочки, кольца, разложенные по отделениям, и слезы лились у него из глаз и капали в шкатулку.

Ни один поступок, который она могла совершить, который уже совершила, не показал бы ему с такой ясностью все значение ее ухода. На мгновение Сомс, может быть, понял все, что следовало понять, понял, что она ненавидела его, ненавидела все эти годы, что во всем, в каждой мелочи они были, как люди совершенно разных миров, что для него не было никакой надежды ни в будущем, ни в прошлом; понял даже, что она страдала, что ее надо жалеть.

В это мгновение он предал в себе Форсайта — забыл самого себя, свои интересы, свою собственность, был способен на любой поступок; он поднялся в чистые высоты бескорыстия и непрактичности.

Такие мгновения проходят быстро.

И, точно смыв с себя слезами скверну малодушия, Сомс встал, запер шкатулку и медленно, весь дрожа, понес ее к себе в комнату.

VII

ПОБЕДА ДЖУН

Джун ждала, когда «пробьет ее час», а пока что и утром и вечером просматривала нудные газетные столбцы, удивляя старого Джолиона своим усердием; когда же час ее пробил, она принялась действовать сразу, со всем упорством, свойственным ее натуре.

В памяти Джун навсегда останется то утро, когда она наконец прочла в «Таймсе» под заголовком «XIII зала суда — судья Бентем», что дело «Форсайт против Босини» назначено к слушанию.

Как игрок, который бросает на стол последнюю монету, она приготовилась поставить на эту карту все; возможность поражения не входила в ее расчеты. Трудно сказать, как она узнала, что дело Босини безнадежно (если только ей не помогло чутье любящей женщины), но все ее планы строились именно на этой уверенности.

В половине двенадцатого Джун уже сидела на галерее в XIII зале суда, а вышла она оттуда, когда разбор дела «Форсайт против Босини» кончился. Отсутствие Босини не встревожило ее; она почему-то предчувствовала, что он не станет защищаться. Выслушав приговор, Джун быстро сошла вниз, взяла кэб и поехала на Слоун-стрит.

Она отворила незапертую входную дверь и прошла мимо контор в трех первых этажах никем не замеченная; трудности начались только наверху.

На ее звонок никто не ответил; надо было решать. сойти ли к привратнице и попросить у нее ключ от квартиры Босини или терпеливо стоять около двери и надеяться, что никто не увидит ее там. Она выбрала последнее.

Простояв с четверть часа на холодной площадке, она вспомнила, что Босини обыкновенно оставлял ключ от квартиры под циновкой. Она поискала и нашла его. Несколько минут Джун колебалась; наконец вошла, оставив дверь открытой, чтобы всякий мог увидеть, что она здесь по делу.

Это была уже не та Джун, которая вся дрожа приходила сюда пять месяцев тому назад; страдания и внутренняя ломка сделали ее менее чувствительной; она столько времени обдумывала свой приход сюда, обдумывала с такой тщательностью, что все страхи остались позади. На этот раз она добьется своего, потому что помощи ждать уже не от кого.

Словно самка зверя, охраняющая свой выводок, — маленькая, проворная, — она ни минуты не стояла на месте, ходила от стены к стене, от окна к двери, притрагивалась то к одной, то к другой вещи. Всюду лежал слой пыли, комнату, должно быть, не убирали уже несколько недель, и Джун, готовая подметить все, что могло бы подкрепить ее надежду, догадалась, что ради экономии ему пришлось отказаться от прислуги.

Она заглянула в спальню: постель была постлана кое-как, должно быть, неумелыми мужскими руками. Чутко прислушиваясь, она вошла и открыла шкаф. Несколько сорочек, воротнички, пара грязных ботинок — даже одежды в комнате почти не было.

Джун тихо вернулась в гостиную и только теперь за-

метила отсутствие всех тех вещей, которыми он так дорожил. Стенные часы — память матери, бинокль, висевший прежде над диваном; две очень ценные гравюры с видами Хэрроу, где учился его отец, и, наконец, японская ваза — ее собственный подарок. Все это исчезло; и, несмотря на гнев, поднимавшийся в ней при мысли, что жизнь так круто обошлась с ним, в исчезновении этих вещей Джун видела хорошее предзнаменование.

Но в ту минуту, когда Джун посмотрела туда, где стояла раньше японская ваза, она почувствовала на себе чей-то взгляд и, обернувшись, увидела в открытых дверях Ирэн.

Минуту они молча смотрели друг на друга; потом Джун шагнула вперед и протянула руку. Ирэн не взяла ее.

Не получив ответа на свое приветствие, Джун спрятала руку за спину. Глаза ее сверкнули гневом; она ждала, когда Ирэн заговорит; и сколько ревности, сколько подозрений и любопытства было в ее глазах, разглядывавших каждую черточку лица подруги, ее костюм и фигуру!

На Ирэн была серая меховая шубка; из-под дорожной шапочки выбивалась на лоб золотистая прядь волос. Лицо, тонувшее в мягком пушистом воротнике, казалось маленьким, как у ребенка.

Джун покраснелась, а у Ирэн щеки были изъясавшие и желтоватые, как слоновая кость. Под глазами залегли темные тени. В руках она держала букетик фиалок.

Ирэн смотрела на Джун не улыбаясь; и девушка, вопреки вспыхнувшему в ней гневу, снова почувствовала былое очарование этих больших, устремленных на нее темных глаз.

В конце концов Джун заговорила первая:

— Зачем вы пришли сюда? — но, почувствовав, что тот же самый вопрос задан и ей, добавила: — Этот ужасный процесс... я пришла сказать, что он проиграл дело.

Ирэн молчала, по-прежнему глядя ей прямо в лицо, и девушка крикнула:

— Что же вы молчите, как каменная?

Ирэн ответила с легким смешком:

— Я бы хотела окаменеть.

Но Джун отвернулась от нее.

— Молчите! — крикнула она. — Не надо! Я не хочу слушать! Я не хочу знать, зачем вы пришли. Я ничего не хочу слушать! — и, словно беспокойный дух, заметалась по комнате. Вдруг у нее вырвалось: — Я пришла первая. Мы не можем оставаться здесь вдвоем.

Улыбка промелькнула на лице Ирэн и погасла, как искра. Она не двинулась. И тут Джун почувствовала в мягкости и неподвижности этой фигуры какую-то отчаянную решимость, что-то непреодолимое, грозное. Она сорвала с головы шляпу и, приложив руки ко лбу, провела ими по пышным бронзовым волосам.

— Вам не место здесь! — крикнула она вызывающе. Ирэн ответила:

— Мне нигде нет места.

— Что это значит?

— Я ушла от Сомса. Вы всегда этого хотели.

Джун зажала уши.

— Не надо! Я ничего не хочу слушать, я ничего не хочу знать. Я не могу бороться с вами! Что же вы стоите? Что же вы не уходите?

Губы Ирэн дрогнули; она как будто прошептала:

— Куда мне идти?

Джун отвернулась. Из окна ей были видны часы на улице. Скоро четыре. Он может прийти каждую минуту. Она оглянулась через плечо, и лицо ее было искажено гневом.

Но Ирэн не двигалась; ее руки, затянутые в перчатки, вертели и теребили букетик фиалок.

Слезы ярости и разочарования заливали щеки Джун.

— Как вы могли прийти! — сказала она. — Хороший же вы друг!

Ирэн опять засмеялась. Джун поняла, что сделала неправильный ход, и громко заплакала.

— Зачем вы пришли? — промолвила она сквозь рыдания. — Вы разбили мою жизнь и ему хотите разбить!

Губы Ирэн задрожали; в ее глазах, встретившихся с глазами Джун, была такая печаль, что девушка вскрикнула среди рыданий:

— Нет, нет!

Но Ирэн все ниже и ниже опускала голову. Она повернулась и быстро вышла из комнаты, пряча губы в букетик фиалок.

Джун подбежала к двери. Она слышала, как шаги становятся все глуше и глуше, и крикнула:

— Вернитесь, Ирэн! Вернитесь! Вернитесь!

Шаги замерли...

Растерявшаяся, измученная, девушка остановилась на площадке. Почему Ирэн ушла, оставив победу за ней? Что это значит? Неужели она решила отказаться от него? Или...

Мучительная неизвестность терзала Джун. Босини не приходил...

Около шести часов вечера старый Джолион вернулся домой от сына, где он теперь почти ежедневно проводил по несколько часов, и справился, у себя ли внука. Узнав, что Джун пришла совсем недавно, он послал за ней.

Старый Джолион решил рассказать Джун о своем примирении с ее отцом. Что было, то прошло. Он не хочет жить один, или почти один, в этом громадном доме; он сдаст его и подыщет для сына другой, за городом, где можно будет поселиться всем вместе. Если Джун не захочет переезжать, он даст ей средства, пусть живет одна. Ей это будет безразлично, она давно уже отошла от него.

Когда Джун спустилась вниз, лицо у нее было осунувшееся, жалкое, взгляд напряженный и трогательный. По своему обыкновению, она устроилась на ручке его кресла, и то, что старый Джолион сказал ей, не имело ничего общего с ясными, вескими, холодными словами, которые он с такой тщательностью обдумал заранее. Сердце его сжалось, как сжимается большое сердце птицы, когда птенец ее возвращается в гнездо с подбитыми крыльями. Он говорил через силу, словно признаваясь, что сошел в конце концов со стези добродетели и наперекор всем здравым принципам поддался естественному влечению.

Старый Джолион как будто боялся, что, высказав свои намерения, он подаст плохой пример внуке; и, подойдя к самому главному, изложил свои соображения

на тот счет, что «если ей не понравятся его планы, пусть живет, как хочет», в самой деликатной форме.

— И если, родная,— сказал он,— ты почему-нибудь не уживешься с ними, что ж, я все улажу. Будешь жить, как тебе захочется. Мы подыщем маленькую квартирку в городе, ты там устроишься, а я буду наезжать к тебе. Но дети,— добавил он,— просто очаровательные.

И вдруг посреди таких серьезных, но довольно прозрачных объяснений причин, заставивших его переменить политику, старый Джолион подмигнул:

— То-то будет сюрприз нашему чувствительному Тимоти. Уж этот юноша не смолчит, голову даю на отсечение.

Джун слушала молча. Она сидела на ручке кресла, выше деда, и старый Джолион не видел ее лица. Но вот он почувствовал на своей щеке ее теплую щеку и понял, что во всяком случае тревожиться по поводу ее отношения к такой новости нет нужды. Мало-помалу он расхрабрился.

— Ты полюбишь отца — он хороший,— сказал старый Джолион.— Замкнутый, но ладить с ним нетрудно. Вот сама увидишь, он художник, артистическая натура и все такое прочее.

И старый Джолион вспомнил о десятке примерно акварелей, хранившихся у него в спальне под замком; с тех пор как у сына появилась возможность стать собственником, отец уже не считал их такой ерундой.

— Что же касается твоей... твоей мачехи,— сказал он, с некоторым трудом выговаривая это слово,— то она очень достойная женщина, немножко плаксивая, пожалуй, но очень любит Джо. А дети,— повторил он, и слова эти прозвучали музыкой среди его торжественных самооправданий,— дети — просто прелесть.

Джун не знала, что в этих словах воплощалась его нежная любовь к детям, ко всему слабому, юному, любовь, которая когда-то заставила старого Джолиона бросить сына ради такой крошки, как она, и теперь, с новым поворотом колеса, отнимала у нее деда.

Но старого Джолиона уже беспокоило ее молчание, и он нетерпеливо спросил:

— Ну, что же ты скажешь?

Джун соскользнула на пол; теперь настал ее черед говорить. Она уверена, что все получится замечательно; никаких затруднений и быть не может, и ей совершенно все равно, что скажут другие.

Старого Джолиона передернуло. Гм! Значит, говорить все-таки будут. А ему казалось, что после стольких лет уже и говорить не о чем. Что ж! Ничего не поделаешь! Однако он не одобрял отношения внуки к тому, что скажут люди: она должна считаться с этим.

И все же старый Джолион промолчал. Ощущения его были слишком сложны, слишком противоречивы.

Да, продолжала Джун, ей совершенно все равно; какое кому дело? Но ей бы хотелось только одного,— и, чувствуя, как она прижимается щекой к его коленям, старый Джолион понял, что тут дело нешуточное. Раз уж он решил купить дом за городом, пусть купит — ну, ради нее — этот замечательный дом Сомса в Робин-Хилле. Он совсем готов, он просто великолепный, и все равно там никто не будет жить теперь. Как им хорошо будет в Робин-Хилле!

Старый Джолион уже был начеку. Разве этот «собственник» не собирается жить в новом доме? С некоторых пор он только так и называл Сомса.

Нет, сказала Джун, не собирается; она знает, что не собирается.

Откуда она знает?

Этого Джун не могла сказать, но она знала. Знала почти наверное. Ничего другого и быть не может: все так изменилось. Слова Ирэн звучали у нее в ушах: «Я ушла от Сомса. Куда мне идти?»

Но Джун ничего не сказала об этом.

Если бы только дедушка купил дом и заплатил по этому злополучному иску, которого никто не смел предъявлять Филу! Это самое лучшее, что можно придумать, тогда все, все уладится.

И Джун прижалась губами ко лбу деда и крепко поцеловала его.

Но старый Джолион отстранился от ее ласки, на лице его появилось то строгое выражение, с которым он всегда приступал к делам. Он спросил, что она такое задумала. Тут что-то не то, она виделась с Босини?

Джун ответила:

— Нет, но я была у него.

— Была у него? С кем?

Джун твердо смотрела ему в глаза.

— Одна. Он проиграл дело. Мне все равно, хорошо или плохо я поступила. Я хочу помочь ему и *помогу*.

Старый Джолион снова спросил:

— Ты видела Босини?

Взгляд его, казалось, проникал ей в самую душу.

И Джун снова ответила:

— Нет; его не было дома. Я ждала, но он не пришел.

Старый Джолион облегченно завожился в кресле. Она поднялась и посмотрела на него; такая хрупкая, легкая, юная, но сколько твердости, сколько упорства! И, несмотря на всю свою тревогу и раздражение, старый Джолион не мог нахмуриться в ответ на ее пристальный взгляд. Он почувствовал, что внучка победила, что вожжи выскользнули у него из рук, почувствовал себя старым, усталым.

— А! — проговорил он наконец. — Ты наживешь себе беду когда-нибудь. Всегда хочешь поставить на своем.

И, не устояв перед желанием пофилософствовать, добавил:

— Такой ты родилась, такой и умрешь.

И он, который во всех сношениях с деловыми людьми, с членами правлений, с Форсайтами всех родов и оттенков и с теми, кто не был Форсайтами, всегда умел поставить на своем, посмотрел на упрямицу внучку с грустью, ибо в ней старый Джолион чувствовал то качество, которое сам бессознательно ценил превыше всего на свете.

— А ты знаешь, какие идут разговоры? — медленно сказал он.

Джун вспыхнула.

— Да... нет! Знаю... нет, не знаю, мне все равно!

И она топнула ногой.

— Мне кажется, — сказал старый Джолион, опустив глаза, — что он тебе и мертвый будет нужен.

И после долгого молчания заговорил опять:

— Что же касается покупки дома, ты просто сама не знаешь, что говоришь.

Джун заявила, что знает. Если он захочет купить, то купит. Надо только оплатить его стоимость.

— Стоимость! Ты ничего не понимаешь в таких делах. И я не пойду к Сомсу, я не желаю иметь дела с этим молодым человеком.

— И не надо; поговори с дядей Джемсом. А если не сможешь купить дом, то заплати по иску. Он в ужасном положении — я знаю, я видела. Возьми из моих денег.

В глазах старого Джолиона промелькнул насмешливый огонек.

— Из твоих денег? Недурно! А ты что будешь делать без денег, скажи мне на милость?

Но втайне мысль о возможности отвоевать дом у Джемса и его сына уже начала занимать старого Джолиона. На Форсайтской Бирже ему приходилось слышать много разговоров об этой постройке, много весьма сомнительных похвал. В доме, пожалуй, «чересчур много художества», но место прекрасное. Отнять у «собственника» то, с чем он так носился, — это же победа над Джемсом, веское доказательство, что он тоже сделает Джо собственником, поможет ему занять подобающее положение, закрепит за ним место в обществе. Справедливое воздаяние всем, кто осмелился считать его сына жалким нищим, парией.

Так, посмотрим, посмотрим. Может быть, ничего и не выйдет; он не намерен платить бешеные деньги, но если цена окажется сходной, что ж, может быть, он и купит.

А втайне, в глубине души, старый Джолион знал, что не сможет отказать ей.

Но он ничем не выдал себя. Он подумает — так было сказано Джун.

VIII

УХОД БОСИНИ

Старый Джолион никогда не принимал поспешных решений; по всей вероятности, он долго раздумывал бы о покупке дома в Робин-Хилле, если бы не понял по лицу Джун, что она не оставит его в покое.

На другой же день за завтраком Джун спросила, к какому часу велеть подавать карету.

— Карету? — сказал он невинным тоном. — Зачем? Я никуда не собираюсь.

Она ответила:

— Надо выехать пораньше, а то дядя Джемс уедет в Сити.

— Джемс? Зачем мне Джемс?

— А дом? — Джун сказала это таким тоном, что притворяться дальше уже не имело смысла.

— Я еще ничего не решил, — ответил он.

— Надо решить. Надо решить, дедушка, подумай обо мне.

Старый Джолион проворчал:

— О тебе? Я всегда о тебе думаю, а вот ты о себе никогда не подумаешь, а надо бы подумать, чем все это кончится. Хорошо, вели подать к десяти.

В четверть одиннадцатого старый Джолион уже ставил свой зонтик в холле на Парк-Лейн — с пальто и цилиндром он решил не расставаться; сказав Уормсону, что ему нужно поговорить с хозяином, он прошел в кабинет, не дожидаясь доклада, и сел там.

Джемс был в столовой и разговаривал с Сомсом, который зашел на Парк-Лейн еще до завтрака. Услышав, кто приехал, Джемс беспокойно пробормотал:

— Интересно, что ему понадобилось?

И поднялся.

— Ты только не торопись, — сказал он Сомсу. — Прежде всего надо разузнать, где она, — я заеду к Стэйнеру; они молодцы; уж если Стэйнер не найдет, то на других и надеяться нечего, — и вдруг, в порыве необъяснимой нежности, пробормотал себе под нос: — Бедняжка! Просто не знаю, о чем она думала! — и вышел, громко сморкаясь.

Старый Джолион не поднялся навстречу брату, а, протянув руку, обменялся с ним форсайтским рукопожатием.

Джемс тоже подсел к столу и подпер голову ладонью.

— Как поживаешь? — сказал он. — Последнее время тебя совсем не видно.

Старый Джолион пропустил это замечание мимо ушей.

— Как Эмили? — спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Я заехал по делу Босини. Говорят, этот дом, который он выстроил, стал вам обузой?

— Первый раз слышу, — сказал Джемс. — Я знаю, что он проиграл дело и, наверное, разорится теперь.

Старый Джолион не преминул воспользоваться этим.

— Да, наверно, — согласился он, — но если Босини разорится, «собственнику», то есть Сомсу, это недешево станет. Я думаю вот о чем: раз уж он не собирается жить там...

Поймав на себе удивленный и подозрительный взгляд Джемса, он быстро заговорил дальше:

— Я ничего не желаю знать; вероятно, Ирэн отказалась туда ехать — меня это не касается. Я подыскиваю загородный дом где-нибудь поближе к Лондону, и если ваш подойдет, что ж, может быть, я его и куплю за разумную цену.

Джемс слушал с чувством сомнения, недоверия и облегчения, к которым примешивался и страх — а не крется ли тут что-нибудь? — и остаток былой веры в порядочность и здравый смысл старшего брата. Волновала его и мысль о том, насколько старому Джолиону известны последние события и от кого он мог узнать о них. И в нем зашевелилась слабая надежда: если бы Джун порвала с Босини, Джолион вряд ли захотел бы помочь ему. Джемс не знал, что и подумать, но, не желая показывать свое замешательство, не желая выдавать себя, сказал:

— Говорят, ты изменил завещание в пользу сына?

Никто ему этого не говорил; Джемс просто сопоставил два факта: встречу со старым Джолионом в обществе сына и внучат и то, что завещание его уже не хранилось в конторе «Форсайт, Бастард и Форсайт». Выстрел попал в цель.

— Кто тебе сказал?

— Право, не помню, — ответил Джемс, — я всегда забываю фамилии, знаю только, что слышал от кого-то. Сомс истратил кучу денег на этот дом; вряд ли он захочет продавать его по дешевке.

— Ну,— сказал старый Джолион,— если Сомс воображает, что я стану платить бешеные деньги, он сильно ошибается. Я не имею возможности так швыряться деньгами, как он. Пусть попробует продать с торгов, посмотрим, сколько ему дадут. Говорят, это такой дом, который не всякий купит.

Джемс, в глубине души разделявший это мнение, ответил:

— Да, это вилла. Сомс здесь; если хочешь, поговори с ним.

— Нет,— сказал старый Джолион,— это преждевременно; и вообще вряд ли у нас что-нибудь выйдет, судя по такому началу.

Джемс струхнул: когда речь шла о точных цифрах коммерческой сделки, он был уверен в себе, так как имел дело с фактами, а не с людьми; но предварительные переговоры, вроде тех, которые велись сейчас, нервировали его — он никогда не знал, где и как нужно остановиться.

— Я сам ничего не знаю,— сказал он.— Сомс мне никогда ничего не рассказывает; я думаю, он заинтересуется этим; весь вопрос в цене.

— Вот оно что?! — сказал старый Джолион.— Ну, мне одолжений не нужно!

И сердито надел цилиндр.

Дверь отворилась, появился Сомс.

— Там пришел полисмен,— сказал он, криво улыбувшись,— спрашивает дядю Джолиона.

Старый Джолион сурово посмотрел на него, а Джемс сказал:

— Полисмен? Ничего не понимаю. Впрочем, ты, верно, знаешь,— добавил он, подозрительно глядя на старого Джолиона.— Поговори с ним.

Полицейский инспектор стоял в холле и вялыми бесцветными глазами посматривал из-под тяжелых век на прекрасную старинную мебель, которую Джемс приобрел на знаменитой распродаже у Мавроджано на Портмен-сквер.

— Брат ждет вас,— сказал Джемс.

Инспектор почтительно приложил два пальца к фуражке и прошел в комнату.

Джемс посмотрел ему вслед, почему-то заволновавшись.

— Что ж,— сказал он Сомсу,— надо подождать, узнаем, что ему надо. Дядя говорил со мной относительно дома.

Он вернулся вместе с Сомсом в столовую, но никак не мог успокоиться.

— Что ему понадобилось? — снова пробормотал он.

— Кому? — спросил Сомс.— Инспектору? Он был на Стэнхоп-Гейт, его послали сюда — вот все, что я знаю. Не иначе, как дядин «сектант» проворовался.

Но, несмотря на внешнее спокойствие, Сомсу тоже было не по себе.

Через десять минут появился старый Джолион.

Он подошел к столу и молча остановился, поглаживая длинные седые усы. Джемс смотрел на него с открытым ртом: он никогда еще не видел брата таким, как сейчас.

Старый Джолион поднял руку и медленно сказал:

— Босини попал в тумане под колеса, раздавлен насмерть.— И, переводя на брата и племянника свой глубокий взгляд, добавил: — Ходят слухи о самоубийстве.

У Джемса отвисла челюсть.

— Самоубийство? Почему?

Старый Джолион сурово ответил:

— Кому же это знать, как не тебе с сыном!

И Джемс смолчал.

У всех людей преклонного возраста, даже у всех Форсайтов, было много тяжелых минут в жизни. Случайный прохожий, который видит их закутанными в пелену обычаев, богатства, комфорта, никогда бы не заподозрил, что и на их пути ложатся черные тени. У каждого человека преклонного возраста — даже у сэра Услтера Бентема — мысль о самоубийстве хоть раз, а возникала где-то в преддверии души, останавливалась на пороге, и только какая-нибудь случайность, или смутный страх, или последняя надежда не позволяли ей переступить его. Трудно Форсайту окончательно отказаться от собственности. Трудно, очень трудно! Редко идут они на такой шаг, может быть, даже никогда не идут; и все же как близки подчас бывают они к этому!

Даже Джемс! И вдруг, запутавшись в вихре мыслей, он воскликнул:

— Стойте! Я же читал вчера в газетах: «Несчастный случай во время тумана». Никто не знал его фамилии!

В смятении он переводил глаза с одного лица на другое, но инстинктивно не хотел ни на одну минуту поверить слухам о самоубийстве. Он не осмеливался допустить эту мысль, которая противоречила всем его интересам, интересам его сына, интересам всех Форсайтов. Он боролся с ней; и так как натура Джемса всякий раз совершеннобессознательно отвергала то, что нельзя было принять с полной гарантией безопасности, он мало-помалу превозмог свои страхи. Несчастный случай! Ничего другого и быть не могло!

Старый Джолион прервал его размышления:

— Смерть наступила мгновенно. Весь вчерашний день он пролежал в больнице. Никто не мог опознать его. Я сейчас еду туда; тебе с сыном тоже следует поехать.

Приказание было выслушано молча, и старый Джолион первым вышел из комнаты.

День был тихий, ясный, теплый, и на Парк-Лейн старый Джолион ехал, опустив верх кареты. Он сидел, откинувшись на мягкую спинку, и курил сигару, с удовольствием примечая и крепкую свежесть воздуха, и вереницы экипажей, и сутолоку на тротуарах, и необычное, совсем как в Париже, оживление, которое в первый хороший день после туманов и дождей царит на лондонских улицах. И он чувствовал себя счастливым, а такого чувства у него не было все эти месяцы. Разговор с Джуни уже за плечами; скоро он будет жить вместе с сыном, вместе с внучатами, что еще важнее. (С молодым Джолионом у него было назначено свидание на это же утро во «Всякой всячине», надо еще раз поговорить о делах.) Испытывал он и приятное оживление при мысли о предстоящем разговоре с Джемсом и «собственником» по поводу дома, о предстоящей победе над ними.

Сейчас верх кареты был поднят: старого Джолиона уже не тянуло посмотреть на веселье улицы; кроме того, совсем не подобает, чтобы Форсайта видели в обществе инспектора полиции.





В карете инспектор снова заговорил об умершем:

— Туман был не такой уж густой. Кучер омнибуса уверяет, что джентльмен успел бы отскочить, но он как будто нарочно шел прямо на лошадей. Должно быть, джентльмен сильно нуждался в последнее время, мы нашли в квартире несколько ломбардных квитанций, на счете в банке у него уже ничего не было, а сегодня в газетах появился отчет о процессе.

Его холодные голубые глаза разглядывали поочередно троих Форсайтов, сидевших в карете.

Старый Джолион заметил из своего угла, как изменилось лицо брата, стало еще более сумрачным, встревоженным. И действительно, слова инспектора снова разбудили все сомнения и страхи Джемса. Нуждался... ломбардные квитанции... на счете ничего не было. Словно обладая таинственной силой, эти слова, всю жизнь маячившие перед Джемсом, как смутный кошмар, показали ему, насколько основательны предположения о самоубийстве, которых не следовало и допускать. Он постарался поймать взгляд сына; но Сомс словно застыл, его острые, как у рыси, глаза не смотрели в сторону отца. И, наблюдая за ними, старый Джолион почувствовал, как крепко они держатся друг за друга, и ему страстно захотелось, чтобы и его сын был рядом, словно эти минуты около мертвеца будут битвой, где ему придется выступить одному против двоих. И голову сверлила мысль: что сделать, чтобы имя Джун не было замешано в эту историю? У Джемса есть поддержка—сын! Отчего бы и ему не послать за Джо?

Достав визитную карточку, он написал на ней следующее:

«Приезжай немедленно. Посылаю карету».

Выходя, старый Джолион дал карточку кучеру, приказав как можно скорее ехать во «Всякую всячину», и, если мистер Джолион Форсайт окажется там, передать ему карточку и сейчас же вернуться с ним обратно. Если же его нет в клубе, пусть ждет.

Вслед за всеми он поднялся по лестнице, опираясь на зонтик, и, остановившись на минуту, перевел дух. Инспектор сказал:

— Вот мертвецкая, сэр. Ничего, отдохните.

В пустой выбеленной комнате, где только солнеч-

ный луч хозяйничал на чистом полу, лежало тело, покрытое простыней. Инспектор твердой рукой откинул ее край. Незрячее лицо глянуло на них, а по обеим сторонам этого незрячего, словно бросающего кому-то вызов, лица стояли трое Форсайтов и молча смотрели на него; и в каждом по-своему вздымались и падали волнение, страх, жалость, как вздымаются и падают волны той жизни, от которой эти белые стены навсегда отгородили Босини. И то неповторимое «я», та пружинка, что делает человеческое существо таким отличным от всех других, рождала в каждом из трех Форсайтов свой особый ход мыслей. Каждый сам по себе и все же такие близкие друг другу, они стояли наедине со смертью и молчали, опустив глаза.

Инспектор тихо спросил:

— Вы удостоверяете личность этого джентльмена, сэр?

Старый Джолион поднял голову и кивнул. Он посмотрел на брата, стоявшего напротив, на его длинную тощую фигуру, склонившуюся над трупом, на покрасневшее лицо и напряженные серые глаза; потом на Сомса, бледного, притихшего рядом с отцом. И вся его неприязнь к этим людям исчезла, как дым, перед безмерной белизной Смерти. Откуда приходит, как приходит она — Смерть? Внезапный конец всему, что было раньше; скачок вслепую по тому пути, который ведет... куда? Холодный ветер, задувающий свечу! Тяжелый, безжалостный вал, неминуемый для всех людей, хотя они до самого конца не должны опускать перед ним ясных, бесстрашных глаз! А ведь люди не что иное, как мелкие, ничтожные мошки! Тень усмешки скользнула по лицу старого Джолиона; Сомс бесшумно вышел из мертвецкой, шепнув что-то инспектору.

И тогда Джемс вдруг поднял голову. В подозрительном, беспокойном взгляде его была какая-то мольба. «Я знаю, мне далеко до тебя», — казалось, говорил он. И, пошарив в карманах, достал платок и вытер лоб; потом скорбно склонил над мертвецом свое длинное туловище, повернулся и тоже быстро вышел.

Старый Джолион стоял безмолвный, как смерть, и пристально смотрел на труп. Кто знает, о чем он думал? О себе, о том времени, когда волосы его были такие же

темные, как волосы этого мертвого юноши? О том, как начиналась его собственная битва, долгая, долгая битва, которую он так любил; битва, которую уже кончил этот молодой человек, кончил, почти не успев начать? О своей внучке, о ее разбитых надеждах? О той, другой женщине? О том, как все это нелепо и тяжело? О насмешке, неуловимой, горькой насмешке, которая была в таком конце? Справедливость! Людям нечего ждать справедливости, люди бродят во тьме!

Или, может быть, он размышлял по-философски: лучше кончить! Лучше уйти, как ушел этот юноша...

Кто-то тронул его за рукав.

Слезы навернулись на глаза старого Джолиона, увлажнили ресницы.

— Что ж,— сказал он,— мне здесь нечего делать. Я лучше пойду. Приходи, как только сможешь, Джо.

И, склонив голову, вышел.

Настал черед молодого Джолиона подойти к мертвецу; и ему казалось, что все Форсайты повержены ниц и лежат бездыханные около этого тела. Удар грянул слишком неожиданно.

Силы, таящиеся в каждой трагедии, непреодолимые силы, которые со всех сторон пробиваются сквозь любую преграду к своей безжалостной цели, столкнулись и с громовым ударом взметнули свою жертву, повергнув ниц всех, кто стоял рядом.

Во всяком случае, так казалось молодому Джолиону, такими он видел Форсайтов возле тела Босини.

Он попросил инспектора рассказать, как все это произошло, и тот, словно обрадовавшись, снова сообщил все подробности, которые были известны.

— Все-таки это не так просто, сэр, как кажется на первый взгляд,— сказал он.— Я не думаю, чтобы это было самоубийство или просто несчастный случай. Должно быть, он пережил какое-то потрясение и ничего не замечал вокруг себя. Вы не можете объяснить нам вот это?

Инспектор достал из кармана и положил на стол небольшой сверток. Аккуратно развязав его, он вынул дамский носовой платок, сколотый золотой венецианской булавкой с пустой оправой от драгоценного камня. Молодой Джолион услышал запах сухих фиалок.

— Нашли у него в боковом кармане,— сказал инспектор,— метка вырезана.

Молодой Джолион с трудом ответил:

— К сожалению, ничем не могу вам помочь!

И сейчас же перед ним встало лицо, которое он видел озарившимся трепетной радостью при виде Босини! Он думал о ней больше, чем о дочери, больше, чем о ком-нибудь другом, думал о ее темных мягких глазах, нежном, покорном лице, о том, что она ждет мертвого, ждет, может быть, и в эту минуту — тихо, терпеливо ждет, озаренная солнцем.

Молодой Джолион, грустный, вышел из больницы и отправился к отцу, размышляя о том, что эта смерть разобьет семью Форсайтов. Удар скользнул мимо выставленной ими преграды и врезался в самую сердцевину дерева. На взгляд посторонних, оно еще будет цвести, как и прежде, будет горделиво возвышаться напоказ всему Лондону, но ствол его уже мертв, он сожжен той же молнией, что сразила Босини. И на месте этого дерева теперь поднимутся только побеги — новые стражи чувства собственности.

«Славная форсайтская чаша! — думал молодой Джолион. — Мачтовый лес нашей страны!»

Что же касается причин смерти, его семья, конечно, будет упорно опровергать столь предосудительную версию о самоубийстве. Они истолкуют все как несчастный случай, как перст судьбы. Втайне даже сочтут это вмешательством провидения, возмездием — разве Босини не посягнул на их самое бесценное достояние, на карман и на семейный очаг? И будут говорить о «несчастном случае с молодым Босини», а может быть, не будут говорить совсем — обойти молчанием лучше!

Сам же он придавал очень мало значения рассказу кучера. Человек, так страстно влюбленный, не станет совершать самоубийство из-за нужды в деньгах: Босини не принадлежал к тому сорту людей, которые могут близко принимать к сердцу финансовый кризис. И молодой Джолион тоже отверг версию о самоубийстве — мертвое лицо слишком ясно стояло у него перед глазами. Ушел в самый разгар своего лета! И мысль, что несчастный случай унес Босини в ту минуту,

когда страсть его смела все преграды на своем пути, показалась молодому Джолиону еще более горькой.

Потом перед мысленным взором его выросло жилище Сомса, такое, каким оно стало сейчас, каким останется навсегда. Вспышка молнии озарила ярким, страшным светом обнаженные кости и зияющие между ними провалы, ткань, прикрывавшая их раньше, исчезла...

Когда сын вошел в столовую на Стэнхоп-Гейт, старый Джолион был там один. Он сидел в большом кресле, бледный, измученный. И глаза его, блуждавшие по стенам, по натюрмортам, по шедевр «Голландские рыбацьи лодки на закате», словно пропускали мимо себя всю его жизнь с ее надеждами, удачами, победами.

— А, Джо! — сказал он. — Это ты? Я сказал бедняжке Джун. Но это еще не все. Ты пойдешь к Сомсу? Ей не на кого пенять, кроме себя; но как подумаешь, что она сидит там, в четырех стенах, одна как перст!

И, подняв свою худую, жилистую руку, он стиснул ее в кулак.

IX

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИРЭН

Оставив Джемса и старого Джолиона в мертвецкой, Сомс пошел бесцельно бродить по улицам.

Трагическая гибель Босини совершенно изменила положение вещей. У Сомса уже не было того чувства, что малейшее промедление может оказаться роковым, и вряд ли теперь до конца дознания он рискнул бы рассказать кому-нибудь о бегстве жены.

В то утро Сомс встал рано, еще до прихода почтальона, сам вынул из ящика первую почту и, хотя от Ирэн письма не было, сказал Билсон, что миссис Форсайт уехала на море; он сам, может быть, тоже поедет туда в субботу и останется до понедельника. Это давало ему передышку, давало время, чтобы перевернуть все в поисках Ирэн.

Но теперь, когда его дальнейшие шаги остановила смерть Босини — загадочная смерть, думать о которой все равно, что прижигать сердце раскаленным железом, все равно, что снимать с него громадную тяжесть, — теперь Сомс не знал, куда девать себя; и он бродил по улицам, всматриваясь в каждого встречного, терзаясь нескончаемой мукой.

И, блуждая по городу, он думал о том, кто уже кончил свои блуждания, кончил свое странствование и уже никогда больше не будет бродить около его дома.

Еще днем он увидел сообщения, что труп опознан, и купил газету — посмотреть, что пишут. Заткнуть бы им рты. Сомс пошел в Сити и долго совещался наедине с Боултером.

Возвращаясь в пятом часу домой, он встретил около Джобсона Джорджа Форсайта, который протянул ему вечернюю газету со словами:

— Читал про беднягу «пирата»?

Сомс бесстрастно ответил:

— Да.

Джордж уставился на него. Он никогда не любил Сомса, а сейчас считал его виновником гибели Босини. Сомс погубил его, погубил той выходкой собственника, которая вселила безумие в «пирата».

«Бедняга так бесновался от ревности, — думал Джордж, — так бесновался от желания отомстить, что не заметил омнибуса в этой тьме кромешной».

Сомс погубил его. И этот приговор можно было прочесть в глазах Джорджа.

— Пишут о самоубийстве, — сказал он наконец. — Но этот номер не пройдет.

Сомс покачал головой.

— Несчастный случай, — пробормотал он.

Смяв в кулаке газету, Джордж сунул ее в карман. Он не мог удержаться от последнего щелчка.

— Гм! Ну, как дома — рай земной? Маленьких Сомсиков еще не предвидится?

С лицом белым, как ступеньки лестницы у Джобсона, ощерив зубы, словно собираясь зарычать, Сомс рванулся вперед и исчез.

Первое, что он увидел дома, отперев дверь своим ключом, был отделанный золотом зонтик жены, лежа-

ший на сундучке. Сбросив меховое пальто, Сомс кинулся в гостиную.

Шторы были уже спущены, в камине пылали кедровые поленья, и он увидел Ирэн на ее обычном месте в уголке дивана. Он тихо притворил дверь и подошел к ней. Она не шелохнулась и как будто не заметила его.

— Ты вернулась? — сказал Сомс. — Почему же ты сидишь в темноте?

Тут он разглядел ее лицо — такое бледное и застывшее, словно кровь остановилась у нее в жилах; глаза, большие, испуганные, как глаза совы, казались огромными.

В серой меховой шубке, забившись в угол дивана, она напоминала чем-то сову, комком серых перьев прижавшуюся к прутьям клетки. Ее тело, словно надломленное, потеряло свою гибкость и стройность, как будто исчезло то, ради чего стоило быть прекрасной, гибкой и стройной.

— Так ты вернулась? — повторил Сомс.

Ирэн не взглянула на него, не сказала ни слова; блики огня играли на ее неподвижной фигуре.

Вдруг она встрепенулась, но Сомс не дал ей встать; и только в эту минуту он понял все.

Она вернулась, как возвращается к себе в логовище смертельно раненное животное, не понимая, что делает, не зная, куда деваться. Одного взгляда на ее закутанную в серый мех фигуру было достаточно Сомсу.

В эту минуту он понял, что Босини был ее любовником; понял, что она уже знает о его смерти, — может быть, так же как и он, купила газету и прочла ее где-нибудь на углу, где гулял ветер.

Она вернулась по своей собственной воле в ту клетку, из которой ей так хотелось вырваться; и, осознав страшный смысл этого поступка, Сомс еле удержался, чтобы не крикнуть: «Уйди из моего дома! Спрячь от меня это ненавистное тело, которое я так люблю! Спрячь от меня это жалкое, бледное лицо, жестокое, нежное лицо, не то я ударю тебя. Уйди отсюда; никогда больше не показывайся мне на глаза!»

И ему почудилось, что в ответ на эти невыговоренные слова она поднимается и идет, как будто пы-

таясь пробудиться от страшного сна,— поднимается и идет во мрак и холод, даже не вспомнив о нем, даже не заметив его.

Тогда он крикнул наперекор тем, невыговоренным, словам:

— Нет! Нет! Не уходи!

И, отвернувшись, сел на свое обычное место по другую сторону камина.

Так они сидели молча.

И Сомс думал: «Зачем все это? Почему я должен так страдать? Что я сделал? Разве это моя вина?»

Он снова взглянул на нее, сжавшуюся в комок, словно подстреленная, умирающая птица, которая ловит последние глотки воздуха, медленно поднимает мягкие невидящие глаза на того, кто убил ее, прощаясь со всем, что так прекрасно в этом мире: с солнцем, с воздухом, с другом.

Так они сидели у огня по обе стороны камина и молчали.

Запах кедровых поленьев, который Сомс так любил, спазмой сжал ему горло. И, выйдя в холл, он настежь распахнул двери, жадно вдохнул струю холодного воздуха; потом, не надевая ни шляпы, ни пальто, вышел в сквер.

Голодная кошка терлась об ограду, медленно подбираясь к нему, и Сомс подумал: «Страдание! Когда оно кончится, это страдание?»

У дома напротив его знакомый, по фамилии Раттер, вытирал ноги около дверей с таким видом, словно говорил: «Я здесь хозяин!» И Сомс прошел дальше.

Издаലെка по свежему воздуху над шумом и сутолокой улиц несея перезвон колоколов, «практиковавшихся» в ожидании пришествия Христа,— звонили в той церкви, где Сомс венчался с Ирэн. Ему захотелось оглушить себя вином, напиться так, чтобы стать равнодушным ко всему или загореться яростью. Если б только он мог разорвать эти оковы, эту паутину, которую впервые в жизни ощутил на себе! Если б только он мог внять внутреннему голосу: «Разведись с ней, выгони ее из дому! Она забыла тебя! Забудь ее и ты!»

Если б только он мог внять внутреннему голосу: «Отпусти ее, она много страдала!»

Если б только он мог внять желанию: «Сделай ее своей рабой, она в твоей власти!»

Если б только он мог внять внезапному проблеску мысли: «Не все ли равно!» Забыть, хотя бы на минуту, о себе, забыть, что ему не все равно, забыть, что жертва неизбежна.

Если б только он мог сделать что-то не рассуждая! Но он не мог забыть; не мог внять ни внутреннему голосу, ни внезапному проблеску мысли, ни желанию; это слишком серьезно, слишком близко касается его — он в клетке.

В конце сквера мальчишки-газетчики зазывали покупателей на свой вечерний товар, и их призрачные нестройные голоса перекликались со звоном колоколов.

Сомс зажал уши. В голове молнией мелькнула мысль, что — воля случая — и не Босини, а он мог бы умереть, а она, вместо того чтобы забиться в угол, как подстреленная птица, и смотреть оттуда угасающими глазами...

Он почувствовал около себя что-то мягкое: кошка терлась о его ноги. И рыдание, потрясшее все его тело, вырвалось из груди Сомса. Потом все стихло, и только дома глядели на него из темноты — и в каждом доме хозяин и хозяйка и скрытая повесть счастья или страдания.

И вдруг он увидел, что дверь его дома открыта и на пороге, чернея на фоне освещенного холла, спиной к нему, стоит какой-то человек. Сердце его дрогнуло, и он тихо подошел к подъезду.

Он увидел свое меховое пальто, брошенное на резное дубовое кресло, персидский ковер, серебряные вазы, фарфоровые тарелки по стенам и фигуру незнакомого человека, стоящего на пороге.

И он спросил резко:

— Что вам угодно, сэр?

Незнакомец обернулся. Это был молодой Джолион.

— Дверь была открыта, — сказал он. — Могу я повидать вашу жену? У меня к ней поручение.

Сомс посмотрел на него искоса.

— Моя жена никого не принимает, — угрюмо пробормотал он.

Молодой Джолион мягко ответил:

— Я не стану ее задерживать.

Сомс протиснулся мимо него, загородив вход.

— Она никого не принимает,— снова сказал он.

Молодой Джолион вдруг посмотрел мимо него в холл, и Сомс обернулся. Там, в дверях гостиной, стояла Ирэн; в ее глазах был лихорадочный огонь, полураскрытые губы дрожали, она протягивала вперед руки. При виде их обоих свет померк на ее лице; руки бессильно упали; она остановилась, словно окаменев.

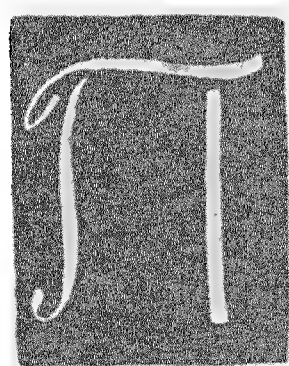
Сомс круто обернулся, поймав взгляд своего гостя, и звук, похожий на рычание, вырвался у него из горла. Подобие улыбки раздвинуло его губы.

— Это мой дом,— сказал он.— Я не позволю вмешиваться в мои дела. Я уже сказал вам, и я повторяю еще раз: мы не принимаем.

И захлопнул перед молодым Джолионом дверь.

1906 г.

Интерлюдия.



Последнее лето ФОРСАЙТА

И жизни летней слишком срок недолог.

Шекспир.

Перевод
М. Л о р и е.

В последний день мая, в начале девяностых годов, часов в шесть вечера, старый Джолион Форсайт сидел в тени дуба перед террасой своего дома в Робин-Хилле. Он ждал, когда его начнут кусать комары, чтобы только тогда оторваться от созерцания дивного дня. Его худая темная рука, исчерченная выступающими синими жилами, держала конец сигары в тонких пальцах с длинными ногтями; острые гладкие ногти сохранились у него с тех времен начала царствования Виктории, когда ни к чему не прикасаться, даже кончиками пальцев, считалось признаком хорошего тона. Его выпуклый лоб, большие белые усы, худые щеки и длинный худой подбородок были прикрыты от заходящего солнца потемневшей панамой. Он положил ногу на ногу; во всей его позе было спокойствие и особое изящное благородство старика, который каждое утро душил шелковый носовой платок одеколоном. У ног его лежал косматый коричневый с белым пес, притворяющийся шпицем, пес Балтазар, в отношениях которого со старым Джолионом первоначальная взаимная антипатия с годами сменилась привязанностью. У самого кресла были качели, а на качелях сидела одна из кукол Холли по имени «Алиса-глупышка»; она свалилась всем телом на ноги, а носом зарылась в черную юбку. Алисой всегда пренебрегали, и ей было все равно, как бы ни сидеть. Ниже

старого дуба газон круто сбегал по склону, тянулся до папоротников, а дальше, переходя в луг, спускался к пруду, к роще и к «виду» — «прекрасному, замечательному», на который пять лет назад, сидя под этим самым деревом, загляделся Суизин Форсайт, когда приезжал сюда с Ирэн посмотреть на дом. Старый Джолион слышал об этом подвиге своего брата, об этой поездке, которая получила громкую известность на Форсайтской Бирже. Суизин! Вот ведь взял да и умер в ноябре, всего семидесяти девяти лет от роду, вновь вызвав этим сомнение в бессмертии Форсайтов, сомнение, которое впервые возникло, когда скончалась тетя Энн. Умер! И остались теперь только Джолион и Джемс, Рожер и Николас, да Тимоти, Джули, Эстер, Сьюзен. И старый Джолион думал: «Восемьдесят пять лет! А я и не чувствую — разве только когда эта боль начинается».

Его мысли отправились странствовать в прошлое. Он перестал ощущать свой возраст с тех пор, как купил злополучный дом своего племянника Сомса и поселился в нем здесь, в Робин-Хилле, три года назад. Словно он становился все моложе с каждой весной, живя в деревне с сыном и внуками — Джун и маленькими, от второго брака, Джолли и Холли, — живя далеко от грохота Лондона и кудахтанья Форсайтской Биржи, не связанный больше своими заседаниями, в сладостном сознании, что не надо работать, достаточно занятый усовершенствованием и украшением дома и двадцати акров земли при нем и потворством фантазиям Джолли и Холли. Все ушибы и ссадины, накопившиеся у него на сердце за время долгой и трагической истории Джун, Сомса, его жены Ирэн и бедного молодого Босини, теперь зажили. Даже Джун наконец стряхнула с себя меланхолию — это доказывало путешествие по Испании, в которое она отправилась с отцом и мачехой. Необыкновенный покой воцарился после их отъезда, дивно хорошо было, но пустовато, потому что с ним не было сына. Джо был ему теперь постоянным утешением и радостью — приятный человек; но женщины — даже самые лучшие — всегда как-то действуют на нервы, если только, конечно, ими не восхищаешься.

Вдалеке куковала кукушка; лесной голубь ворковал с ближайшего вяза на краю поля, а как распустились

после покоса ромашки и лютики! И ветер переменялся на юго-западный — чудесный воздух, сочный! Он сдвинул шляпу на затылок и подставил подбородок и щеку солнцу. Почему-то сегодня ему хотелось общества, хотелось посмотреть на красивое лицо. Считается, что старым людям ничего не нужно. И та нефорсайтская философия, которая всегда жила в его душе, подсказала мысль: «Всегда нам мало. Будешь стоять одной ногой в могиле, а все, должно быть, чего-то будет хотеться». Здесь, вдали от города, вдали от забот и дел, его внуки и цветы, деревья и птицы его маленького владения, а больше всего — солнце, луна и звезды над ними день и ночь говорили ему: «Сезам, откройся». И Сезам открылся — как широко открылся, он, вероятно, и сам не знал. Он всегда находил в себе отклик на то, что теперь стали называть «Природой», искренний, почти благоговейный отклик, хотя так и не разучился называть закат — закатом, а вид — видом, как бы глубоко они его ни волновали. Но теперь Природа вызывала в нем даже тоску — так остро он ее ощущал. Не пропуская ни одного из этих тихих, ясных, все удлинявшихся дней, за руку с Холли, следом за псом Балтазаром, усердно высматривающим что-то и ничего не находящим, он бродил, глядя, как раскрываются розы, как наливаются фрукты на шпалерах, как солнечный свет золотит листья дуба и молодые побеги в роще; глядя, как разворачиваются и поблескивают листья водяных лилий и серебрится пшеница на единственном засеянном участке; слушая скворцов и жаворонков и ольдернейских коров, жующих жвачку, лениво помахивая хвостами с кисточками. И не проходило дня, чтобы он не испытывал легкой тоски просто от любви ко всему этому, чувствуя, может быть, глубоко внутри, что ему недолго осталось радоваться жизни. Мысль, что когда-нибудь — может быть, через десять лет, может быть, через пять — все это у него отнимется, отнимется раньше, чем истощится его способность любить, представлялась ему несправедливостью, омрачающей его душу. Если что и будет после смерти, так не то, что ему нужно, — не Робин-Хилл с птицами и цветами и красивыми лицами — их-то и теперь он видит слишком мало. С годами его отвращение ко всякой фальши возросло; нетерпимость, которую он культивировал в шести-

десятих годах, как культивировал баки, просто от избытка сил, давно исчезла, и теперь он преклонялся только перед тремя вещами: красотой, честностью и чувством собственности; и первое место занимала красота. Он всегда многим интересовался и даже до сих пор почитывал «Таймс», но был способен в любую минуту отложить газету, заслышав пение дрозда. Честность, собственность — утомительно это все-таки; дрозды и закаты никогда его не утомляли, только вызывали в нем беспокойное чувство, что ему все мало. Устремив взгляд на тихое сияние раннего вечера и на маленькие золотые и белые цветы газона, он подумал: эта погода, как музыка «Орфея», которого он недавно слышал в театре «Ковент-Гарден». Прекрасная опера, не Мейербер, конечно, даже не Моцарт, но в своем роде, может быть, еще лучше; в ней есть что-то классическое, от Золотого века, чистое и сочное, а пение Раволи «прямо как в прежнее время» — высшая похвала, на какую он был способен. Тоска Орфея по ускользающей от него красоте, по любимой, поглощенной адом, — так и в жизни прекрасное и любимое ускользает от нас, — та тоска, что дрожала и пела в золотой музыке, таилась сегодня в застывшей красоте земли. И носком башмака на пробковой подошве он нечаянно пошевелил пса Балтазара, отчего тот проснулся и стал искать блох, ибо, хотя считалось, что у него их нет, его никак нельзя было убедить в этом. Кончив, он потерся местом, которое только что чесал, о ногу хозяина и снова затих, положив морду на беспокойный башмак. И в уме старого Джолиона вдруг возникло воспоминание — лицо, которое он видел тогда в опере, три недели назад, — Ирэн, жена его милого племянника Сомса, этого собственника! Хотя он и не видел ее со дня приема в своем старом доме на Стэнхоп-Гейт, когда праздновалась злополучная помолвка его внучки Джун с молодым Босини, он ее вспомнил сейчас же, так как всегда любовался ею: очень хорошенькое создание. После смерти Босини, любовницей которого она стала, вызвав этим столько нареканий, он слышал, что она сейчас же ушла от Сомса. Одному богу известно, что она с тех пор делала. Вид ее лица в профиль, в ряду впереди него, был единственным за эти три года напоминанием о том, что она вообще жива. О ней никогда не говорили.

Однажды, впрочем, Джо сказал ему одну вещь, которая тогда страшно его расстроила. Джо узнал это, кажется, от Джорджа Форсайта, который видел Босини в тумане в день, когда он попал под омнибус,— то, чем объяснялось отчаяние молодого человека, поступок Сомса по отношению к своей жене — гадкий поступок. Сам Джо видел ее в тот вечер, когда узнали о несчастье, видел на одно мгновение, и его слова засели в памяти у старого Джолиона. «Загнанная, потерянная» — назвал он ее. А на следующее утро туда пошла Джун — взяла себя в руки и пошла туда — и горничная со слезами рассказала ей, как ночью ее хозяйка ушла из дому и пропала. Трагическая в общем история! Верно одно: Сомсу так и не удалось снова завладеть ею. И он живет в Брайтоне и ездит в Лондон и обратно — так ему и надо, этому собственнику! Ибо если уж старый Джолион не любил кого (как не любил племянника), он своего отношения никогда не менял. Он до сих пор помнил, с каким чувством облегчения услышал тогда весть об исчезновении Ирэн — тяжело было думать о ней, томящейся в этом доме, куда она вернулась, когда Джо ее видел, вернулась, наверное, на минуту, как раненый зверь в свою нору, прочитав на улице в газете «Трагическая смерть архитектора». Ее лицо поразило его тогда в театре — красивее, чем ему помнилось, но точно маска, под которой что-то живет. Еще молодая женщина — лет двадцать восемь, наверно. Ну что ж, по всей вероятности, у нее теперь есть другой любовник. Но при этой слишком вольной мысли — ведь замужним женщинам не полагается любить, и одного-то раза было более чем достаточно — его нога приподнялась, а с ней и голова пса Балтазара. Догадливый пес встал и взглянул в лицо старому Джолиону. Он словно спрашивал: «Гулять?» — и старый Джолион ответил:

— Пойдем, старина.

Медленно, как всегда, они прошли по созвездиям лютиков и ромашек и вступили в папоротники. Эта площадка, на которой сейчас еще почти ничего не росло, была предусмотрительно разбита пониже первого газона, чтобы в сочетании с нижней лужайкой создать впечатление естественного беспорядка, столь важное в садоводстве. Пес Балтазар облюбовал тут камни и землю и

иногда находил в норке крота. Старый Джолион всегда нарочно шел этой дорогой, потому что, хотя тут и не было красиво, он решил, что когда-нибудь будет, и часто думал: «Нужно, чтобы приехал Варр и придумал, что тут устроить; он разберется лучше, чем Бич». Растения, как и дома и человеческие недуги, требовали, по его мнению, самого просвещенного внимания. Там жило много улиток, и, если с ним бывали внуки, он кивал на улитку и рассказывал историю про маленького мальчика, который спросил: «Мама, а у сливов бывают ножки?» — «Нет, сынок». — «Ну, так я, значит, улитку съел». И когда они подпрыгивали и хватали его за руку, представляя себе, как улитка проскакивает в горлышко мальчику, глаза его хитро подмигивали. Пройдя папоротники, он открыл калитку, которая вела в первое поле, большое и ровное, где кирпичными стенками было отделено место для огорода. Старый Джолион не пошел туда — огород не подходил к его настроению, — а стал спускаться к пруду. Балтазар, у которого были там знакомые водяные крысы, помчался вперед аллюром пожилой собаки, которая каждый день совершает одну и ту же прогулку. Дойдя до берега, старый Джолион остановился, заметив, что со вчерашнего дня распустилась еще одна лилия; завтра он покажет ее Холли, когда его «детка» оправится от расстройства, вызванного съеденным за обедом помидором; желудочек у нее очень нежный. Теперь, когда Джоли уехал учиться — первый год в школе, — девочка почти весь день проводила с ним, и он очень скучал без нее. И еще он ощущал боль, которая теперь часто беспокоила его: немного ныло в левом боку. Он оглянулся вверх, на дом. Право же, этот Босини отлично справился со своей задачей; он сделал бы прекрасную карьеру, если б остался жив. А где он теперь? Может быть, все еще бродит здесь, на месте своей последней работы, своего несчастного романа. Или дух Филипа Босини растворился во вселенной? Кто скажет? Эта собака себе все лапы выпачкает! И он двинулся к роще. Он как-то нашел там очаровательные колокольчики и знал, где они еще доцветали, как кусочки неба, упавшие среди деревьев, подальше от солнца. Он миновал стойла и курятники, построенные на опушке, и направился по узкой тропинке в гущу молодых деревьев, туда,

где росли колокольчики. Балтазар, снова обогнавший его, тихо зарычал. Старый Джолион подтолкнул его ногой, но пес словно прирос к земле, как раз в таком месте, где его нельзя было обойти, и шерсть на его косматой спине медленно поднялась. От рычания ли и вида ошетинившегося пса, или от ощущения, которое находит на человека в лесу, только старый Джолион и сам почувствовал, словно по спине у него прошел холодок. А потом тропинка свернула, и было там упавшее дерево, поросшее мхом, и на нем сидела женщина. Лица ее не было видно, и он только успел подумать: «Зашла на чужой участок, нужно прибить дощечку», — как она оглянулась. Силы небесные! То самое лицо, которое он видел в опере, женщина, о которой он только что думал! В это смутное мгновение все слилось у него перед глазами, будто призрак, — как странно! Может быть, виной тому косые лучи солнца на ее лиловато-сером платье? А потом она поднялась и стала, улыбаясь, немного наклонив голову набок. Старый Джолион подумал: «Какая она красивая!» Она не говорила, он тоже; и он понял причину ее молчания и оценил его. Ее, несомненно, привело сюда какое-то воспоминание, и она не собиралась выпутываться банальными объяснениями.

— Не подпускайте собаку близко, — сказал он, — у нее мокрые лапы. Эй ты, сюда!

Но пес Балтазар подошел к гостье, и она опустила руку и погладила его по голове. Старый Джолион быстро сказал:

— Я вас видел недавно в опере; вы меня не заметили.

— О нет, заметила.

Он услышал в этом тонкую лесть, как будто она добавила: «Неужели вы думаете, что вас можно не заметить?»

— Они все в Испании, — сказал он отрывисто. — Я здесь один, ездил в Лондон послушать оперу. Раволи хороша. Вы коровник видели?

В эту минуту, полную неизъяснимой тайны и даже душевного волнения, он инстинктивно двинулся к этому кусочку собственности, и она пошла рядом с ним. Стан ее чуть покачивался на ходу, как у изящных француженек; ее платье было лиловато-серое. Он разглядел

две-три серебряные нити в янтарного цвета волосах — странно, такие волосы, и темные глаза, и теплая бледность лица. Неожиданный, искоса брошенный взгляд этих бархатисто-карих глаз смутил его. Казалось, он возник где-то глубоко, чуть не в другом мире или во всяком случае у женщины, которая в этом мире живет только наполовину. И он сказал машинально:

— Где вы теперь живете?

— У меня квартирка в Челси.

Он не хотел знать, что она делает, ничего не хотел знать; но, наперекор ему, вырвалось слово:

— Одна?

Она кивнула. Ему стало легче. И пришло в голову, что, если бы не случайная игра судьбы, она была бы хозяйкой этой рощи и показывала бы ее ему, гостю.

— Все олдернейки,— пробормотал он,— самое лучшее молоко дают. Вот эта красивая. Эй! Мэртл!

Песочного цвета корова, с глазами такими же мягкими и карими, как у Ирэн, стояла неподвижно: ее давно не доили. Она поглядывала на них уголком блестящих, кротких, равнодушных глаз, и с ее серых губ на солону стекала тонкая нитка слюны. В полумраке прохладного коровника пахло сеном, ванилью, аммиаком; и старый Джолион сказал:

— Пойдемте в дом, пообедаете со мной. Обратно я вас отправлю в коляске.

Он видел, что в ней происходит борьба; вполне понятно, с такими воспоминаниями!.. Но он хотел ее общества — хорошенькое лицо, прелестная фигура, красота! Он весь день был один. Возможно, что его глаза были печальны, потому что она ответила:

— Спасибо, дядя Джолион. С удовольствием.

Он потер руки и сказал:

— Вот и отлично. Тогда идемте!

И следом за псом Балтазаром они стали подниматься по лугу. Солнце светило им теперь почти прямо в лицо, и он видел не только серебряные нити, но и морщинки, достаточно глубокие, чтобы придать ее красоте утонченность (лицо на монете!) — отпечаток жизни, не разделенной с другими. «Поведу ее через террасу,— подумал он.— Она не просто гостья».

— Что вы делаете целыми днями? — спросил он.

— Даю уроки музыки, и еще у меня есть занятие.

— Работа — что может быть лучше, правда? — сказал старый Джолион, подбирая с качелей куклу и расправляя ее черную юбку. — Я-то уж не работаю. Я стараюсь. А какое это занятие?

— Стараюсь помочь женщинам, которые попали в беду.

Старый Джолион не совсем понял.

— В беду? — повторил он; потом с испугом сообразил, что она подразумевает именно то, что подразумевал бы он сам, если бы употребил это выражение. Помогает лондонским Магдалинам! Какое непривлекательное, страшное занятие! Любопытство пересилило его врожденную стыдливость, и он спросил: — Как? Что же вы для них делаете?

— Не много. У меня нет лишних денег. Я только жалею их и иногда подкармливаю.

Невольно рука старого Джолиона потянулась к кошельку. Он сказал поспешно:

— А как вы с ними знакомитесь?

— Хожу в одну больницу.

— В больницу! Ну-ну!

— Самое грустное, по-моему, это то, что когда-то почти все они были красивы.

Старый Джолион расправил куклу.

— Красота! — воскликнул он. — Да, да, печальная история, — и пошел к дому.

Через стеклянную дверь, приподняв еще не отдернутые портьеры, он провел ее в комнату, в которой обычно изучал «Таймс» и страницы сельскохозяйственного журнала, огромные иллюстрации которого — кормовая свекла и прочие прелести — служили Холли для раскрашивания.

— Обед через полчаса. Вероятно, хотите вымыть руки? Пройдите в комнату Джун.

Он заметил, как жадно она глядит по сторонам; сколько перемен с тех пор, как она в последний раз была здесь с мужем, или с любовником, или с обоими вместе, — он не знал, понятия не имел! Все это было неясно, и он не желал разъяснений. Но сколько перемен! И в холле он сказал:

— Мой сын Джо, знаете ли, художник. У него прекрасный вкус. Не мой вкус, конечно, но я его не стесняю.

Она стояла тихо-тихо, обводя взглядом большой холл под стеклянной крышей, служивший теперь гостиной. У старого Джолиона было странное ощущение. Не старается ли она вызвать кого-то из теней этой комнаты, где все жемчужно-серое и серебряное? Он-то предпочел бы золото: веселей и прочнее. Но у Джо французские вкусы, вот комната и получилась такая призрачная, словно в ней стоит дым от папирос, которые он вечно курит, дым, то тут, то там оживленный, точно вспышкой, синим или алым пятном. Он-то мечтал о другом. Мысленно он развесил здесь свои шедевры—натюрморты в золотых рамах, которые он покупал в те времена, когда в картине ценился размер. А где они теперь? Проданы за бесценок! Ибо та непонятная сила, которая заставляла его, единственного из Форсайтов, идти в ногу с веком, подсказала ему, что нечего и пытаться сохранить их. Но в кабинете у него до сих пор висели «Голландские рыбацьи лодки на закате».

Он стал подниматься по лестнице следом за Ирэн, медленно, так как бок побаливал.

— Вот здесь ванные,— сказал он,— и другие помещения. Я велел отделать пол и стены кафелем. Там детские. А вот комната Джо и его жены. Они все сообщаются. Да вы, вероятно, помните.

Ирэн кивнула. Они прошли по галерее дальше и вошли в большую комнату с узкой кроватью и несколькими окнами.

— А это моя,— сказал он. На стенах висели снимки детей и акварельные наброски, и он добавил неуверенно:— Работа Джо. Вид отсюда превосходный. В ясную погоду виден Эпсомский ипподром.

Солнце теперь было низко за домом, и на «вид» опустилась прозрачная дымка, отсвет длинного счастливого дня. Домов почти не было видно, но поля и деревья слабо поблескивали, сливаясь вдали.

— Местность меняется,— сказал он отрывисто,— но она останется, когда нас уже не будет. Слышите — дрозды; птицы тут хороши утром. Я рад, что разделался с Лондоном.

Ее лицо было у самого оконного стекла; Джолиона поразило его унылое выражение. «Хотел бы я, чтобы она выглядела повеселее,— подумал он.— Красивое лицо, но грустное». И, захватив кувшин с горячей водой, он вышел на галерею.

— Это вот комната Джун,— сказал он, отворяя следующую дверь и ставя кувшин на пол.— Найдете все, что вам нужно.

И, закрыв дверь, он опять прошел к себе. Приглаживая волосы большими щетками черного дерева и смачивая лоб одеколоном, он размышлял. Она появилась так странно — как видение, таинственно, даже романтично, словно его желание общества, красоты было услышано... ну, тем, кому полагается слышать такие вещи. И, стоя перед зеркалом, он расправил свою все еще прямую спину, провел щетками по длинным белым усам, тронул брови одеколоном и позвонил.

— Я забыл предупредить, что у меня обедает гостья. Пусть кухарка там приготовит что-нибудь повкуснее, и скажите Бикону, чтобы в половине одиннадцатого подал ландо парой: отвезет ее в Лондон. Мисс Холли спит?

Горничная не знала, кажется, нет. И старый Джолион на цыпочках прокрался по галерее к детской и отворил дверь, петли которой всегда смазывались, чтобы он мог неслышно входить и выходить по вечерам.

Но Холли спала, лежала, как маленькая мадонна из тех, которых старые мастера, закончив, не могли отличить от Венеры. Ее длинные темные ресницы были плотно прижаты к щекам; лицо безмятежно-спокойно: желудочек, по-видимому, совсем наладился. И в полумраке комнаты старый Джолион стоял и поклонялся ей. Такое прелестное, серьезное, любящее личико! Он больше, чем кто-либо другой, обладал великим умением снова жить в детях. В них он видел свою будущую жизнь — другой будущей жизни, вероятно, и не признавала его здоровая натура язычника. Вот она перед ним, и все у нее впереди, и его кровь — доля его крови — в ее крошечных жилках. Вот она, его дружок, для счастья которой он готов сделать что угодно, лишь бы она не знала ничего, кроме любви. Сердце его переполнилось, и он вышел, стараясь не скрипеть лакированными башмака-

ми. В коридоре у него возникла нелепая мысль. Подумать только, что дети приходят к тому, что теперь Ирэн, по ее словам, старается облегчить. Женщины, которые все когда-то были малышками, как та, что спит там, в детской! «Нужно дать ей чек,— размышлял он,— сил нет о них думать». Он никогда не выносил мысли о них, бедных париях; слишком глубоко это задевало истинно благородное нутро, скрытое под толстым слоем подчинения чувству собственности, слишком больно задевало самое святое, что у него было: любовь к прекрасному, от которой у него и сейчас замирало сердце, когда он думал о предстоящем ему вечере в обществе красивой женщины. И он пошел вниз и через вертящуюся дверь в задние апартаменты. Там, в винном погребе, у него было вино, стоившее не меньше двух фунтов бутылка, «Стейнберг Кэбинет», лучше всякого рейнвейна; вино с идеальным букетом, вкусное, как персик, настоящий нектар. Он достал бутылку, прикасаясь к ней осторожно, как к младенцу, и поднял ее на свет. Окутанная слоем пыли, эта сочного цвета, с тонким горлышком бутылка доставляла ему глубокую радость. За три года с переезда из Лондона достаточно устоялось — должно быть, превосходное! Тридцать пять лет, как он купил его, слава богу, он не потерял вкуса и заслужил право выпить. Она оценит такое вино — ни тени кислоты в нем. Он вытер бутылку, собственноручно раскупорил ее, наклонился к ней носом, вдохнул аромат и пошел обратно в гостиную.

Ирэн стояла у рояля. Она сняла шляпу и кружевной шарф, так что теперь были хорошо видны ее золотистые волосы и бледная шея. В сером платье, у рояля палисандрового дерева — старый Джолион залюбовался ею.

Он подал ей руку, и они торжественно двинулись в столовую. В этой комнате, где во время обеда без труда размещалось двадцать четыре человека, стоял теперь только небольшой круглый стол. Большой обеденный стол угнетающе действовал на оставшегося в одиночестве старого Джолиона; он велел его убрать до возвращения сына. Здесь, в обществе двух превосходных копий с мадонн Рафаэля, он обычно обедал один. В то лето это был единственный безрадостный час его дня. Он никогда не ел особенно много, как великан Суизин,

или Сильванос Хэйторп, или Антони Торнуорси — приятели прошлых лет; и обедать одному, под взглядом мадонн, было грустным занятием, которое он кончал как можно скорее, чтобы перейти к более духовному наслаждению кофе и сигарой. Но сегодняшний вечер — другое дело. Он посматривал через стол на Ирэн и говорил об Италии и Швейцарии, рассказывал ей о своих путешествиях и о других случаях из своей жизни, которые уже нельзя было рассказывать сыну и внучке, потому что они их знали. Он радовался, что теперь было кому послушать. Он не стал одним из тех стариков, которые кружат и кружат все по тем же воспоминаниям. Быстро утомляясь от разговора бестактных людей, он сам инстинктивно избегал утомлять других, а врожденное рыцарство заставляло его быть особенно осторожным с женщинами. Ему хотелось вызвать ее на разговор, но, хотя она отвечала и улыбалась и как будто с удовольствием слушала его рассказы, он не переставал чувствовать ту таинственную замкнутость, в которой заключалась большая доля ее привлекательности. Он не терпел женщин, которые выставляют напоказ глаза и плечи и болтают без умолку; или суровых женщин, которые всеми командуют и делают вид, что все знают. Он поддавался только на одно женское свойство — обаяние, и чем спокойнее оно было, тем больше он ценил его. А в Ирэн было обаяние, неуловимое, как вечернее солнце на итальянских холмах и долинах, которые он так любил когда-то. И от сознания, что она живет одна и замкнуто, она словно делалась ему ближе, как необъяснимо желанный друг. Когда человек очень стар и отстал безнадежно, ему приятно чувствовать себя в безопасности от посягательств молодых соперников, ибо он все еще хочет быть первым в сердце прекрасной. И он пил вино и смотрел на ее губы, и чувствовал себя почти молодым. А пес Балтазар лежал и тоже смотрел на ее губы и в душе презирал перерывы в их беседе и движение зеленых бокалов с золотистым напитком, который был ему глубоко противен.

Начинало темнеть, когда они вернулись в гостиную. И, не выпуская изо рта сигары, старый Джолион сказал:

— Сыграйте мне Шопена.

По тому, какие человек курит сигары и каких композиторов любит, можно узнать, из чего соткана его душа. Старый Джолион не выносил крепких сигар и музыки Вагнера. Он любил Бетховена и Моцарта, Генделя и Глюка, и Шумана, и, совсем непонятно почему,— оперы Мейербера. Но за последние годы он поддался чарам Шопена, так же как в живописи не устоял перед Боттичелли. Увлекаясь новыми любимцами, он признавал, что отходит от мерила Золотого века. Новая поэзия уже не была поэзией Мильтона, и Байрона, и Теннисона, Рафаэля и Тициана, Моцарта и Бетховена. Она была словно в дымке; эта поэзия никому не бросалась в глаза, но проникала пальцами под ребра, и крутила, и тянула, и растопляла сердце. И, не зная наверное, полезно ли это, он не задумывался, лишь бы слушать музыку первого и смотреть на картины второго.

Ирэн села к роялю под электрической лампой с жемчужно-серым абажуром, а старый Джолион опустился в кресло, откуда ему было видно ее, положил ногу на ногу и медленно затянулся сигарой. Она сидела несколько минут, опустив пальцы на клавиши, по-видимому, обдумывая, что бы сыграть ему. Потом она заиграла, и в душе старого Джолиона возникла грустная радость, ни с чем на свете не сравнимая. Им постепенно овладело оцепенение, прерываемое только движением его руки, изредка вынимавшей изо рта сигару и снова водворявшей ее на место. Было это и от присутствия Ирэн, и от выпитого вина, и от запаха табака; но был еще и мир, где солнечный свет сменился лунным; и пруды с аистами, осененные синеватыми деревьями с горящими на них розами, красными, как вино, и поля мяты, где паслись молочно-белые коровы, и женщина, как призрак, с темными глазами и белой шеей, улыбалась и протягивала руки; и по воздуху, подобному музыке, скатилась звезда и зацепилась за рог коровы. Он открыл глаза. Прекрасная вещь; она хорошо играет — ангельское туше! И он снова закрыл глаза. Он ощущал невероятную грусть и счастье, как бывает, когда стоишь под липой в полном медвяном цветении. Не жить своей жизнью, просто таять в улыбке женских глаз и впитывать ее аромат! И он отдернул руку, которую пес Балтазар неожиданно лизнул.

— Прекрасно,— сказал он,— продолжайте, еще Шопена!

Она опять заиграла. Теперь его поразило сходство между нею и музыкой Шопена. Покачивание, которое он заметил в ее походке, было и в ее игре, и в выбранном ею ноктюрне, и в мягкой тьме ее глаз, и в свете, падавшем на ее волосы, словно свет золотой луны. Соблазнительна, да; но нет ничего от Далилы ни в ней, ни в этой музыке. Длинная синяя лента, крутясь, поднялась от его сигары и растаяла. «Так вот и мы исчезнем,— подумал он.— И не будет больше красоты. Ничего не будет?»

Снова Ирэн перестала играть.

— Хотите Глюка? Он писал свои вещи в залитом солнцем саду, а рядом с ним стояла бутылка рейнвейна.

— А, да! Давайте «Орфея».

Теперь вокруг него расстилались поля золотых и серебряных цветов, белые фигуры двигались в солнечном свете, порхали яркие птицы. Во всем было лето. Волны сладкой тоски и сожаления заливали его душу. С сигары упал пепел, и, доставая шелковый носовой платок, чтобы смахнуть его, он вдохнул смешанный запах табака и одеколона. «А,— подумал он,— молодость вспомнилась — вот и все!» И он сказал:

— Вы не сыграли мне «Che fago»¹.

Она не ответила, не шевельнулась. Он смутно почувствовал что-то — какое-то странное смятение. Вдруг он увидел, что она встала и отвернулась, и раскаянье обожгло его. Какой он медведь! Ведь, подобно Орфею, и она, без сомнения, искала погибшего в чертогах воспоминаний. И, глубоко расстроенный, он встал с кресла.

Она отошла к большому окну в дальнем конце комнаты. Он тихонько последовал за ней. Она сложила руки на груди, ему была видна ее щека, очень бледная. И, совсем расчувствовавшись, он сказал:

— Ничего, ничего, родная!

Слова эти вырвались у него невольно, ими он всегда утешал Холли, когда у нее что-нибудь болело, но действие их было мгновенно и потрясающе. Она разняла руки, спрятала в ладони лицо и расплакалась.

¹ Ария Орфея «Потерял я Эвридику...».

Старый Джолион стоял и глядел на нее глубоко запавшими от старости глазами. Отчаянный стыд, который она, видимо, испытывала от своей слабости, так не вязавшейся со сдержанностью и спокойствием всего ее поведения, казалось, говорил, что она никогда еще не выдавала себя в присутствии другого человека.

— Ну, ничего, ничего,— приговаривал он и осторожно коснулся ее протянутой рукой.

Она повернулась и прислонилась к нему, не отрывая ладоней от лица. Старый Джолион стоял очень тихо, не снимая худой руки с ее плеча. Пусть выплачется—ей легче станет! А озадаченный пес Балтазар уселся на задние лапы и разглядывал их.

Окно еще было открыто, занавески не задернуты. Остатки дневного света сливались со светом лампы; пахло свежескошенной травой. Умудренный долгою жизнью, старый Джолион молчал. Даже большое горе выплачется со временем—только Время залечит печаль. Время—великий целитель. На ум ему пришли слова: «Как лань желает к потокам воды», но он не знал, зачем они ему. Потом, уловив запах фиалок, он понял, что она вытирает глаза. Он выдвинул подбородок, прижался усами к ее лбу и почувствовал, что она вздрогнула всем телом, как дерево, когда стряхивает с ветвей дождевые капли. Она поднесла его руку к губам, словно говоря: «Все прошло. Простите меня!»

От поцелуя ему почему-то стало легче; он повел ее назад к роялю. И пес Балтазар пошел следом и положил к их ногам кость от одной из съеденных ими котлет.

Желая как можно скорее сгладить память об этой минуте, он не мог придумать ничего лучше фарфора; и, переходя с ней от одного шкафчика к другому, он вынимал образцы изделий Дрездена, Лоустофта и Челси и поворачивал их в тонких жилистых руках, кожа на которых, покрытая редкими веснушками, выглядела очень старой.

— Вот это я купил у Джобсона,— говорил он,— заплатил тридцать фунтов. Очень старая. Везде эта собака раскидывает кости! Этот старый бокал мне попался на аукционе, когда достукался распутник маркиз. Впрочем, вы этого не можете помнить. Вот хороший образчик Челси. Ну, а как вы думаете, вот это что?

И ему было приятно, что женщина с таким вкусом

заинтересовалась его сокровищами, ибо в конце концов ничто не успокаивает нервы лучше, чем фарфор неуставленного происхождения.

Когда, наконец, под окном зашуршали колеса экипажа, он сказал:

— Непременно приезжайте еще— приезжайте к завтраку, тогда увидите их при дневном свете, и мою детку увидите — она милая крошка. Собака к вам, видно, благоволит.

Балтазар, чувствуя, что она уезжает, терся боком о ее ногу. Провожая ее на крыльце, старый Джолион сказал:

— Он довезет вас за час с четвертью. Вот вам для ваших протезов.— И сунул ей в руку чек на пятьдесят фунтов.

Он видел, как заблестели ее глаза, услышал ее тихое: «О дядя Джолион!» — и все в нем вздрогнуло от удовольствия. Это значило, что одно-два бедных создания получают какую-то помощь, и это значило, что она приедет еще. Он заглянул в экипаж и еще раз пожал ей руку. Ландо покатилося. Он стоял и смотрел на луну и на тени деревьев и думал: «Чудесная ночь! Она!..»

II

Два дня дождя, и установилось лето, ясное, солнечное. Старый Джолион гулял и беседовал с Холли. Сначала он чувствовал себя словно выросшим и полным новых сил, потом ощутил беспокойство. Почти каждый день они ходили в рощу и доходили до упавшего дерева. «Ну что ж, ее нет,— думал он,— конечно, нет». И тогда ему казалось, что он стал ниже ростом, и, с трудом передвигая ноги, он шел в гору к дому, прижав руку к левому боку. Иногда у него являлась мысль: «Приезжала она или мне это приснилось?» И он устремлял взгляд в пустоту, а пес Балтазар устремлял взгляд на него. Конечно, она больше не приедет! Он уже без прежнего интереса вскрывал письма из Испании. Они решили вернуться только в июле; как ни странно, он чувствовал, что это не так уж трудно пережить. Каждый день за обедом он скашивал глаза и смотрел на то место, где она тогда сидела. Ее там не было, и глаза его опять смотрели прямо.

На седьмой день он подумал: «Надо съездить в город заказать башмаки». Велел Бикону подавать и отправился. Между Пэтни и Хайд-парком он подумал: «Можно бы заехать в Челси навестить ее». И крикнул кучеру:

— Заезжайте, куда вечером отвозили даму.

Кучер обернул к нему свое широкое красное лицо, и его толстые губы ответили:

— Даму в сером, сэр?

— Да, даму в сером.

Какие же еще могут быть дамы! Болван!

Коляска остановилась перед небольшим трехэтажным домом, стоявшим немного отступя от реки. Опытным глазом старый Джолион увидел, что квартиры в нем дешевые. «Фунтов шестьдесят в год», — прикинул он и, войдя в подъезд, стал читать фамилии на дощечке. Фамилии Форсайт не было, но против слов «Второй этаж, квартира С» значилось: «Миссис Ирэн Эрон». А, она опять носит девичью фамилию! Ему это почему-то понравилось. Он медленно пошел по лестнице, бок побаливал. Он постоял, прежде чем звонить, чтобы улеглось ощущение подергивания и трепыхания. Не будет ее дома! А тогда — башмаки! Мрачная мысль! Зачем ему еще башмаки в его возрасте? Ему и своих-то всех не сносить.

— Хозяйка дома?

— Да, сэр.

— Доложите: мистер Джолион Форсайт.

— Сейчас, сэр, пройдите, пожалуйста, сюда.

Старый Джолион последовал за очень молоденькой горничной — лет шестнадцати, не больше — в очень маленькую гостиную со спущенными шторами. В ней было пианино, а больше почти ничего, если не считать неясного аромата и хорошего вкуса. Он стоял посередине, держа в руке цилиндр, и думал: «Нелегко ей, видно, живется!» Над камином висело зеркало, и он увидел свое отражение. Ох, как стар! Послышался шелест, он обернулся. Она была так близко, что усы его чуть не задела ее лба, как раз там, где начинались серебряные нити в волосах.

— Я был в городе, — сказал он. — Подумал, загляну к вам, узнаю, как вы тогда доехали.

И при виде ее улыбки он почувствовал внезапное облегчение. Может быть, она и вправду рада его видеть.

— Хотите, наденьте шляпу, покатаемся в парке?

Но когда она ушла надевать шляпу, он нахмурился. Парк! Джемс и Эмили! Жена Николаса или кто другой из членов его милого семейства уж, наверное, там, разъезжают взад и вперед. А потом пойдут болтать о том, что видели его с ней. Лучше не нужно! Он не желал воскрешать на Форсайтской Бирже отзвуки прошлого. Он снял седой волос с отворота застегнутого на все пуговицы сюртука и провел рукой по щеке, усам и квадратному подбородку. Под скулами прощупывались глубокие впадины. Он мало ел последнее время, надо попросить этого шарлатана, который лечит Холли, прописать ему что-нибудь подкрепляющее. Но Ирэн была готова, и, сидя в коляске, он сказал:

— А может, лучше посидим в Кенсингтонском саду?—и прибавил, подмигивая:—Там-то никто не разъезжает взад и вперед,—как будто она уже была посвящена в его мысли.

Они вышли из коляски, вступили на эту территорию для избранных и направились к пруду.

— Вы, я вижу, снова под девичьей фамилией,—сказал он.— Это неплохо.

Она взяла его под руку:

— Джун простила мне, дядя Джолион?

Он ответил мягко:

— Да, да, конечно, как же иначе?

— А вы?

— Я? Я простил вам, едва только понял, как, собственно, обстоит дело.

И он, возможно, говорил правду: он всегда был душой на стороне красоты.

Она глубоко вздохнула.

— Я никогда не жалела, не могла. Вы когда-нибудь любили очень сильно, дядя Джолион?

Услышав этот странный вопрос, старый Джолион устремил взгляд в пространство. Любил ли? Да как будто и нет. Но ему не хотелось говорить этого молодой женщине, чья рука касалась его локтя, чью жизнь словно приостановила память о несчастной любви. И он подумал: «Если бы я встретил вас, когда был молод, я...

я, возможно, и наделал бы глупостей». Ему захотелось укрыться за обобщениями.

— Любовь — странная вещь, — сказал он. — Часто роковая. Ведь это греки — не правда ли? — сделали из любви богиню; и они, вероятно, были правы, но ведь они жили в Золотом веке.

— Фил обожал их.

«Фил!» Это слово резнуло его, — способность видеть вещи со всех сторон вдруг подсказала ему, почему она им не тяготится. Ей хотелось говорить о своем возлюбленном! Что ж, если это доставляет ей удовольствие! И он сказал:

— А он, наверно, понимал толк в скульптуре.

— Да. Он любил равновесие и пропорции, любил греков за то, как они без остатка отдавались искусству.

Равновесие! Насколько он помнил, этот молодой человек был совсем не уравновешенный; что касается пропорций... фигура у него была, конечно, хорошая, но эти странные глаза и выдающиеся скулы... пропорции?

— Вы тоже из Золотого века, дядя Джолион.

Старый Джолион оглянулся на нее. Что она, смеется над ним? Нет, глаза ее были мягки, как бархат. Льстит ему? Но зачем? С такого старика, как он, взять нечего.

— Фил так думал. Он всегда говорил: «Но я никак не могу ему сказать, что восхищаюсь им».

А, вот оно опять. Ее погибший возлюбленный; желание говорить о нем. И он пожал ей руку, отчасти обиженный этими воспоминаниями, отчасти благодарный, точно сознавая, как они связывают его с нею.

— Очень талантливый молодой человек был, — проговорил он. — Жарко, на меня жара теперь действует. Давайте посидим.

Они сели на стулья под каштаном, широкие листья которого защищали их от тихого сияния вечера. Приятно сидеть здесь, и смотреть на нее, и чувствовать, что ей хорошо с ним. И желание, чтобы ей стало еще лучше, заставило его продолжать.

— Вы, вероятно, знали его с такой стороны, какую я не мог видеть. Вам он показал лучшее, что в нем было. Его взгляды на искусство казались мне немного... новыми, — он чуть не сказал: «новомодными».

— Да, но он говорил, что вы понимаете толк в красоте.

Старый Джолион подумал: «Говорил он, как же!» Но ответил, подмигивая:

— Ну что ж, он был прав, а то я бы не сидел здесь с вами.

Очаровательна она, когда улыбается вот так, глазами.

— Он говорил, что у вас сердце из тех, что никогда не старятся. Фил замечательно разбирался в людях.

Старый Джолион не обманывался этой лестью, звучащей из прошлого, вызванной желанием говорить об умершем,— совсем нет; и все же он жадно ловил ее слова, ибо Ирэн радовала его взоры и сердце, которое — совершенно верно — так и не состарилось. Потому ли, что, не в пример ей и ее мертвому возлюбленному, он никогда не любил до отчаяния, всегда сохранял равновесие и чувство пропорций? Что же, зато в восемьдесят пять лет он еще способен наслаждаться красотой! И он подумал: «Будь я художником или скульптором!.. Но я старик. Надо жить, пока можно!»

Двое, обнявшись, прошли по траве перед ними, по краю тени от каштана. Солнце безжалостно освещало их бледные, помятые молодые лица.

— Некрасивое создание человек,— сказал вдруг старый Джолион.— Поражает меня, как любовь это пре-возмогает.

— Любовь все преодолевает.

— Так молодые думают,— сказал он тихо.

— У любви нет возраста, нет предела, нет смерти.

Ее бледное лицо светилось, грудь подымалась, глаза такие большие, и темные, и мягкие — прямо ожившая Венера! Но эта шальная мысль сейчас же вызвала реакцию, и он сказал, подмигивая:

— Да, если бы у нее были пределы, мы бы и на свет не родились. Ведь ей, честное слово, ставится немало препятствий.

Потом, сняв цилиндр, старый Джолион провел по нему манжетой. Большой и нескладный, он нагрел ему лоб; эти дни у него часто бывали приливы крови к голове — кровообращение уже не то, что было.

Она все сидела, глядя прямо перед собой, и вдруг проговорила еле слышно:

— Странно, как это я еще жива!

Слова Джо «загнанная, потерянная» пришли ему на память.

— А-а,— сказал он,— мой сын видел вас мельком в тот день.

— Это был ваш сын? Я слышала голос в холле; на секунду я подумала, что это — Фил.

Старый Джолион видел, что у нее задрожали губы. Она поднесла к ним руку, опять отняла ее и продолжала спокойно:

— В ту ночь я пошла к реке; какая-то женщина схватила меня за платье. Рассказала мне о себе. Когда узнаешь, что приходится выносить другим, становится стыдно.

— Одна из тех?

Она кивнула, и в душе старого Джолиона зашевелился ужас, ужас человека, никогда не знавшего, что значит бороться с отчаянием. Почти против воли он сказал:

— Расскажите мне, хорошо?

— Мне было все равно — жить или умереть. А когда дойдешь до такого, судьбе уж и не хочется тебя убивать. Эта женщина ухаживала за мной три дня, не отходила от меня. Денег у меня не было. Вот я теперь и делаю для них, что могу.

Но старый Джолион думал: «Не было денег!» Что может сравниться с такой участью? С этим и все остальное связано.

— Напрасно вы не пришли ко мне,— сказал он.— Почему?

Ирэн не ответила.

— Потому что моя фамилия Форсайт, наверно? Или Джун не хотели встретить? А теперь как ваши дела?

Он невольно окинул глазами ее фигуру. Может быть, она и теперь... но нет, она не худая, право же нет.

— О, ведь у меня пятьдесят фунтов в год, как раз хватает.

Ответ не удовлетворил его; уверенность пропала. Уж этот Сомс! Но чувство справедливости заглушило обвиняющий голос. Нет, она, конечно, скорее умрет, чем согласится принять хоть что-нибудь от него. Это ничего, что она такая мягкая, в ней, наверное, скрыта си-

ла, сила и верность. И нужно же было этому Босини дать себя раздавить и оставить ее на мели!

— Ну, теперь уж вы должны прийти ко мне, если вам что-нибудь понадобится,— сказал он,— а то я совсем обижусь,— и он встал, надевая цилиндр.— Пойдемте выпьем чаю. Я велел этому лентяю дать лошадям час отдохнуть и заехать за мною к вам. Сейчас возьмем кэб; я уже не могу столько ходить, как раньше.

Хорошо было пройтись до дальнего конца сада — звук ее голоса, взгляд ее глаз, тонкая красота прелестной женщины двигались рядом с ним. Хорошо было выпить чаю у Раффела на Хай-стрит,— он вышел оттуда с большой коробкой конфет, нацепленной на мизинец. Хорошо было ехать назад в Челси в наемной карете, покуривая сигару. Она обещала приехать в следующее воскресенье и снова играть ему, и мысленно он уже рвал гвоздику и ранние розы, чтобы дать их ей с собой в Лондон. Приятно было сделать ей приятное, если только это приятно от такого старика. Коляска уже ждала его, когда они приехали. Ведь вот человек! А когда его ждешь — всегда опаздывает! Старый Джолион зашел на минутку проститься. В маленькой темной передней ее квартирки стоял неприятный запах пачули; и на скамейке у стены — другой мебели не было — он заметил сидящую фигуру. Он слышал, как Ирэн тихо сказала: «Сию минуту». В маленькой гостиной, когда двери были закрыты, он серьезно спросил:

— Одна из ваших протеже?

— Да. Теперь, благодаря вам, я могу кое-что для нее сделать.

Он стоял, глядя перед собой и поглаживая подбородок, мощь которого столько в свое время отпугивала. Мысль, что она так близко соприкасается с этой несчастной, огорчала его и пугала. Чем она может им помочь? Ничем! Только сама может запачкаться и нажить неприятностей. И он сказал:

— Будьте осторожны, дорогая. Люди готовы что угодно истолковать в самом худшем смысле.

— Это я знаю.

Он отступил перед ее спокойной улыбкой.

— Так, значит, в воскресенье,— сказал он.— До свидания!

Она подставила ему щеку для поцелуя.

— До свидания,— повторил он,— берегите себя.

И он вышел, не оглядываясь на фигуру у стены. Домой он поехал через Хэммерсмит, решив зайти в знакомый магазин и распорядиться, чтобы ей послали две дюжины их лучшего бургундского. Ей, верно, нужно бывает иногда подкрепиться. Только в Ричмонд-парке он вспомнил, что поехал в город заказывать башмаки, и удивился, как такая нелепая мысль могла прийти ему в голову.

III

Легкие феи прошлого, которые роем выются вокруг стариков, никогда еще не тревожили старого Джолиона так мало, как в течение этих семидесяти часов, отделявших его от воскресенья. Зато улыбалась ему фея будущего, овеянная обаянием неизвестности. Теперь старый Джолион не тревожился и не ходил навещать упавшее дерево, потому что она обещала приехать к завтраку. Есть что-то необычайно успокоительное в еде. Сговоришься позавтракать вместе — и уляжется целый ворох сомнений, ибо никто не пропустит обеда или завтрака, если не будет на то совсем особых причин. Он часто играл с Холли в крикет на лужайке, подавал ей мячи, а она била, готовясь в свою очередь на каникулах подавать их Джолли. Ибо в ней было мало форсайтского, а в Джолли — бездна, а Форсайты всегда бьют, пока не выйдут в отставку и не доживут до восьмидесяти пяти лет. Пес Балтазар, неизменно находившийся тут же, когда только успевал, ложился на мяч, а мальчик-слуга бегал за мячами, пока лицо у него не начинало сиять, как полная луна. И потому, что ждать оставалось все меньше, каждый день был длиннее и лучезарнее предыдущего. В пятницу вечером он принял пилюлю от печени — бок давал себя чувствовать,— и хотя болело не с той стороны, где печень, все же он считал, что нет лучшего лекарства. Всякий, кто сказал бы ему, что он нашел себе в жизни новый повод для волнения и что волнение ему вредно, встретил бы твердый, несколько вызывающий взгляд его темно-серых глаз, словно говоривших: «Я знаю, что делаю». Так всегда было, так и останется.

В воскресенье утром, когда Холли с гувернанткой ушли в церковь, он направился к грядкам клубники. Там, в сопровождении пса Балтазара, он внимательно осмотрел кусты и разыскал ягод двадцать, не меньше, совсем спелых. Ему было вредно нагибаться, сильно закружилась голова, кровь прилила к вискам. Положив клубнику на блюде, он оставил ее на обеденном столе, вымыл руки и смочил лоб одеколоном. Здесь, перед зеркалом, он как-то вдруг заметил, что похудел. Какой «щепкой» он был в молодости! Приятно быть стройным — он не выносил толстяков; и все же щеки у него, пожалуй, уж очень впалые. Она должна была приехать поездом в половине первого и прийти пешком со станции по дороге мимо фермы Гейджа, с той стороны рощи. И, заглянув в комнату Джун, чтобы убедиться, приготовлена ли горячая вода, он отправился встречать ее не спеша, так как чувствовал сердцебиение. Воздух был душистый, пели жаворонки, Эпсомский ипподром был ясно виден. Чудный день! В точно такой день, вероятно, шесть лет назад Сомс привез сюда молодого Босини, чтобы посмотреть на участок, где предстояло начать постройку. Босини и выбрал окончательно, где строить дом, — это он не раз слышал от Джун. Эти дни он много думал о молодом архитекторе, словно дух его и правда витал над местом его последней работы в надежде увидеть ее. Босини — единственный, кто владел ее сердцем, кому она всю себя отдала с упоением. В восемьдесят пять лет невозможно было, конечно, представить себе все это, но в старом Джолионе шевелилась странная, смутная боль, как призрак беспредметной ревности; и другое чувство, более великодушное — жалость к этой так скоро погибшей любви. Каких-то несколько месяцев — и конец! Да, да. Он взглянул на часы, прежде чем войти в рощу: только четверть первого, еще двадцать пять минут ждать. А потом тропинка свернула, и он увидел ее на том же месте, где и в первый раз, на упавшем дереве, и понял, что она приехала более ранним поездом, чтобы побыть здесь одной часа два — ну конечно, не меньше. Два часа в ее обществе — потеряны! За какие воспоминания она так любит это дерево? Лицо его выдало эту мысль, потому что она сейчас же сказала:

— Простите меня, дядя Джолион. Здесь я в первый раз узнала...

— Да, да, тут оно и останется, приходите, когда захочется. Вид у вас неважный, слишком много уроков даете.

Его тревожило, что ей приходится давать уроки. Обучать каких-то девчонок, барабнящих гаммы толстыми пальцами!

— А где вы их даете? — спросил он.

— К счастью, почти все в еврейских семьях.

Старый Джолион удивился: в глазах всех Форсайтов евреи — странные и подозрительные люди.

— Они любят музыку, и они очень добрые.

— Попробовали бы они, черт возьми, не быть добрыми, — он взял ее под руку — бок у него всегда побаливал на подъеме — и сказал: — Видели вы что-нибудь лучше этих лютиков? За одну ночь распустились.

Ее глаза, казалось, летали над лугом, как пчелы в поисках цветов и меда.

— Я хотел, чтобы вы их посмотрели, не велел выгонять сюда коров. — Потом, вспомнив, что она приехала разговаривать о Босини, указал на башенку с часами, возвышавшуюся над конюшней: — Он, вероятно, не позволил бы мне это устроить. Насколько я помню, он не знал счета времени.

Но она, прижав к себе его руку, вместо ответа заговорила о цветах, и он понял ее умысел — не дать ему почувствовать, что она приехала говорить об умершем.

— Самый лучший цветок, какой я вам могу показать, — сказал он с каким-то торжеством, — это моя детка. Она сейчас вернется из церкви. В ней есть что-то, что немного напоминает мне вас, — он не увидел ничего особенного в том, что выразил свою мысль именно так, а не сказал: «В вас есть что-то, что немного напоминает мне ее». — А, да вот и она!

Холли, опередив пожилую гувернантку-француженку, пищеварение которой испортилось двадцать два года назад во время осады Страсбурга, со всех ног бежала к ним от старого дуба. Шагах в двадцати она остановилась погладить Балтазара, делая вид, что только для этого и бежала. Старый Джолион, который видел ее насквозь, сказал:

— Ну, моя маленькая, вот тебе обещанная дама в сером.

Холли выпрямилась и посмотрела на гостью. Он наблюдал за ними обеими, посмеиваясь глазами; Ирэн улыбалась, на лице Холли серьезная пытливость тоже сменилась робкой улыбкой, потом чем-то более глубоким. Она чувствует красоту, эта девочка, понимает толк в вещах! Хорошо было видеть, как они поцеловались.

— Миссис Эрон, *madame* Бос. Ну, *madame*, как проповедь?

Теперь, когда ему оставалось так мало времени жить, единственная часть богослужения, связанная с земной жизнью, поглощала весь оставшийся у него интерес к церкви. *Madame* Бос протянула похожую на паука ручку в черной лайковой перчатке — она жила в самых лучших домах, — печальные глаза на ее тощем желтоватом лице, казалось, спрашивали: «А вы хог'ошо воспитаны?» Каждый раз, как Холли или Джоли чем-нибудь ей не угождали — а случалось это нередко, — она говорила им: «Маленькие Тэйлоры никогда так не делали, такие хог'ошо воспитанные были детки!» Джоли ненавидел маленьких Тэйлоров; Холли ужасно удивлялась, как это ей все не удастся быть такой же, как они. «Чудачка эта *madame* Бос», — думал о ней старый Джолион.

Завтрак прошел удачно; из шампиньонов, которые он сам выбирал в теплице, из собранной им клубники и еще одной бутылки «Стейнберг Кэбинет» он почерпнул какое-то ароматное вдохновение и уверенность, что завтра у него будет легкая экзема. После завтрака они сидели под старым дубом и пили турецкий кофе. Старый Джолион не очень огорчился, когда мадемуазель Бос удалилась к себе в комнату писать воскресное письмо сестре, которая в прошлом чуть не погубила свое будущее, проглотив булавку, о чем ежедневно сообщалось детям в виде предостережения, чтобы они ели медленно и не забывали как следует жевать. На нижней лужайке, на пледе, Холли и пес Балтазар дразнили и ласкали друг друга, а в тени старый Джолион, положив ногу на ногу и наслаждаясь сигарой, смотрел на сидящую на качелях Ирэн. Легкая, чуть покачивающаяся серая фи-

гура в редких солнечных пятнах, губы полуоткрыты, глаза темные и мягкие под слегка опущенными веками. У нее был довольный вид. Конечно же, ей полезно приезжать к нему в гости! Старческий эгоизм еще не настолько завладел им, чтобы он не умел найти удовольствие в чужой радости. Он сознавал, что его желание — это хоть и много, но не все.

— Здесь очень тихо, — сказал он, — вы не приезжайте, если вам скучно. Но видеть вас мне радостно. Из всех лиц только лицо моей детки доставляет мне радость и ваше.

По ее улыбке он понял, что ей не совсем безразлично, когда ею любят, и это придало ему уверенности.

— Это не слова, — сказал он, — я никогда не говорил женщине, что она мне нравится, если этого не было. Да я и не знаю, когда вообще говорил женщине, что она мне нравится, разве только в давние времена жене. А жены странный народ. — Он помолчал, потом вдруг опять заговорил: — Ей хотелось слышать это от меня чаще, чем я это чувствовал, вот что тут поделаешь! — На ее лице отразилось какое-то смятение. И, испугавшись, что сказал что-то неприятное, он заторопился: — Когда моя детка выйдет замуж, надеюсь, ей попадется человек, понимающий чувства женщины. Я-то до этого не доживу, но очень уж много сейчас несуразного в браке; не хочется мне, чтоб она с этим столкнулась. — И, чувствуя, что только ухудшил дело, он добавил: — И когда эта собака перестанет чесаться!

Последовало молчание. О чем она думает, эта прелестная женщина с изломанной жизнью, покончившая с любовью, но созданная для любви? Когда-нибудь, когда его уже не будет, она, может быть, найдет другого спутника жизни — не такого беспорядочного, как этот молодой человек, который дал себя переехать. Да, но ее муж?

— Сомс никогда вам не докучает? — спросил он.

Она покачала головой. Лицо ее сразу замкнулось. При всей ее мягкости в ней было что-то непреклонное. И словно луч света, озаривший всю непреодолимость половой антипатии, пронизал сознание человека, воспитанного на культуре ранней эпохи Виктории, такой далекой от новой культуры его старости, — человека, никогда не задумывавшегося о таких простых вещах.

— И то хорошо,— сказал он.— Сегодня виден ипподром. Хотите, пройдемся?

Он провел ее по цветнику и фруктовому саду, где у высоких стен грелись на солнце шпалеры персиков; мимо коровника, в оранжерею, в теплицу с шампиньонами, мимо грядок со спаржей, в розарий, в беседку — даже в огород посмотреть зеленый горошек, из стручков которого Холли так любила выскребать пальцем горошинки, чтобы слизнуть их потом со своей смуглой ладошки. Много чудесных вещей он ей показал, а Холли и пес Балтазар носились вокруг, время от времени подбегая к ним и требуя внимания. Это был один из счастливейших дней его жизни, но он утомился и был рад, когда, наконец, уселся в гостиной и она налила ему чаю. К Холли пришла подруга — блондиночка с короткими, как у мальчика, волосами. Они резвились где-то в отдалении, под лестницей, на лестнице и на верхней галерее. Старый Джолион попросил Шопена. Она играла этюды, мажурки, вальсы, и девочки тихонько подошли и стали у рояля — слушали, наклонив вперед темную и золотую головки. Старый Джолион наблюдал за ними.

— Ну-ка вы, потанцуйте.

Они начали робко, не в такт. Подскакивая и кружась, серьезные, не очень ловкие, они долго двигались перед его креслом под музыку вальса. Он смотрел на них и на лицо игравшей, с улыбкой обращенное к маленьким балеринам, и думал: «Давно не видал такой прелестной картинки!» Послышался голос:

— Hollee! Mais enfin — qu'est ce que tu fais là — danser, le dimanche! Viens donc! ¹

Но девочки подошли к старому Джолиону, зная, что он не даст их в обиду, и глядели ему в лицо, на котором было ясно написано: «Попались!»

— В праздник-то еще лучше, *ma'm'zelle*. Это я виноват. Ну, бегите, цыплята, пейте чай.

И когда они ушли вместе с псом Балтазаром, которому тоже полагалось есть четыре раза в день, он посмотрел на Ирэн, подмигнул и сказал:

— Вот видите ли! А правда, милы? Среди ваших учениц есть маленькие?

¹ Холли, послушай, что же это такое — танцевать в воскресенье! Перестань! (франц.)

— Да, целых три — две из них прелесть.

— Хорошенькие?

— Очаровательные.

Старый Джолион вздохнул. Он был полон ненасытной любви ко всему молодому.

— Моя детка, — сказал он, — по-настоящему любит музыку; когда-нибудь будет музыкантшей. Вы бы не могли сказать мне свое мнение о ее игре?

— Конечно, с удовольствием.

— Вы бы не хотели... — но он удержался от слов «давать ей уроки».

Мысль, что она дает уроки, была ему неприятна. А между тем тогда уж он видел бы ее регулярно. Она встала и подошла к его креслу.

— Хотела бы, очень; но ведь есть Джун. Когда они возвращаются?

Старый Джолион нахмурился.

— Не раньше середины будущего месяца. А что из этого?

— Вы сказали, что Джун меня простила; но забыть сна не могла, дядя Джолион.

Забыть! Должна забыть, если он этого хочет.

Но будто отвечая ему, Ирэн покачала головой.

— Вы же знаете, что нет: такое не забывается.

Опять это злосчастное прошлое! И он сказал обиженно и твердо:

— Ну посмотрим.

Он еще больше часа говорил с ней о детях, о тысяче мелочей, пока не подали коляску, чтобы отвезти ее домой. А когда она уехала, он вернулся к своему креслу и долго сидел в нем, поглаживая подбородок и щеки и в мыслях заново переживая весь день.

В тот вечер после обеда он прошел к себе в кабинет и достал лист бумаги. Он не сразу начал писать, поднялся, постоял под шедевром «Голландские рыбацьи лодки на закате». Он думал не об этой картине, а о своей жизни. Он оставит ей что-нибудь в завещании; ничто так не могло взволновать тихие глубины его дум и памяти. Он оставит ей часть своего состояния, своих надежд, поступков, способностей и труда, которые это состояние создали; оставит ей часть всего того, что упустил в этой жизни, пройдя по ней здраво и твердо. Ах, а что же это

он упустил? «Голландские рыбацьи лодки» не отвечали; он подошел к стеклянной двери и открыл ее, отстранив портьеру. Поднялся ветер, прошлогодний дубовый листок, чудом избегнувший метлы садовника, еле слышно постукивая и шелестя, тащился в полутьме по каменной террасе. Других звуков не было, до него доносился запах недавно политых гелиотропов. Пролетела летучая мышь. Какая-то птица чирикнула напоследок. И прямо над старым дубом зажглась первая звезда. Фауст в опере променял душу на несколько лет молодости. Неестественная выдумка! Невозможна такая сделка, в этом-то и трагедия. Нельзя снова стать молодым для любви и для жизни. Ничего не осталось, как только издали наслаждаться красотой, пока еще можно, да отказать ей что-нибудь в завещании. Но сколько? И как будто не в состоянии произвести этот подсчет, глядя в вольную тишину деревенской ночи, он повернулся и подошел к камину. Вот его любимые бронзовые статуэтки: Клеопатра со змеей на груди; Сократ; борзая, играющая со щенком; силач, сдерживающий коней. «Они-то не умрут,— подумал он, и у него защемило сердце.— У них еще тысяча лет жизни впереди!»

«Сколько?» Что ж, во всяком случае достаточно, чтоб не дать ей состариться раньше срока, чтобы как можно дольше уберечь ее лицо от морщин, а светлые волосы от губительной седины. Он, может быть, проживет еще лет пять. Ей к тому времени будет за тридцать. «Сколько?» В ней нет ни капли его крови. Верность образу жизни, который он вел сорок лет, даже больше, с тех самых пор, как женился и основал это таинственное учреждение — семью, подсказала ему осторожную мысль: не его кровь, ни на что не имеет права. Так значит, эта его затея — роскошь! Баловство, потакание стариковскому капризу, поступок слабоумного. Его будущее по праву принадлежит тем, в ком течет его кровь, в ком он будет жить после смерти. Он отвернулся от статуэток и стоял, глядя на старое кожаное кресло, в котором выкурил не одну сотню сигар. И вдруг ему показалось, что в кресле сидит Ирэн — в сером платье, душистая, нежная, темноглазая, изящная, смотрит на него! Эх! Она и не думает о нем; только и думает, что о своем погибшем возлюбленном. Но она здесь, хочет она того или нет, и радуется

его своей красотой и грацией. Какое он, старик, имеет право навязывать ей свое общество, какое имеет право приглашать ее играть ему и позволять смотреть на себя — и все даром? В этой жизни за удовольствия надо платить. «Сколько?» В конце концов, денег у него много, его сын и трое внуков не пострадают. Он заработал все сам, чуть не от первого пенни; может оставить их кому хочет, может позволить себе это скромное удовольствие. Он вернулся к бюро. «Так я и сделаю,— решил он.— Пусть их думают, что хотят! Так и сделаю».

Сколько? Десять тысяч, двадцать тысяч, сколько? Если бы только за эти деньги он мог купить один год, один месяц молодости! И, пораженный этой мыслью, он стал быстро писать:

«Дорогой Хэринг, составьте к моему завещанию добавление такого содержания: «Завещаю племяннице моей Ирэн Форсайт, урожденной Ирэн Эрон, под коей фамилией она сейчас и живет, пятнадцать тысяч фунтов, не подлежащих обложению налогом на наследство».

Преданный вам *Джолион Форсайт*».

Запечатав конверт и наклеив марку, он опять подошел к двери и глубоко вдохнул в себя ночной воздух. Было темно, но теперь светило много звезд.

IV

Он проснулся в половине третьего, в час, когда — он это знал из долгого опыта — все тревожные мысли обостряются до безотчетного страха. По опыту он знал и то, что следующее пробуждение в нормальное время — в восемь часов — обнаруживает всю несостоятельность такой паники. В эту ночь новая страшная мысль быстро разрослась до невероятных размеров: ведь если он заболит, а это в его возрасте вполне возможно, он не увидит Ирэн. Отсюда был только шаг к догадке, что он лишится ее и тогда, когда его сын и Джун вернутся из Испании. Как оправдать свое желание встречаться с женщиной, которая украла — рано утром в выражениях не стесняешься, — украла у Джун жениха? Правда, он умер; но Джун такая упрямец, доброе сердце, но упряма, как пень, и —

совершенно верно — не из тех, что забывают. К середине будущего месяца они вернутся. Всего каких-то пять недель еще можно наслаждаться новым увлечением, которое появилось в его жизни, а ведь жить осталось немного. В темноте он до нелепости ясно понял свое чувство. Любоваться красотой — жадно искать того, что радует глаз. Смешно в его возрасте! А между тем какие же еще у него причины подвергать Джун тяжелым воспоминаниям и что сделать, чтобы его сын и жена сына не сочли его уж очень странным? Ему останется только уезжать тайком в Лондон; это его утомляет; а малейшее недомогание лишит его и этой возможности. Он лежал с открытыми глазами, заранее вооружаясь против такой перспективы и обзывая себя старым дураком, а сердце его билось громко, а потом, казалось, совсем перестало биться. Прежде чем опять уснуть, он видел, как рассвет прочертил щели в занавесках, слышал, как защебетали и зачирикали птицы и замычали коровы, и проснулся усталый, но с ясной головой. Еще пять недель можно не тревожиться, в его возрасте это целая вечность! Но предрассветная паника не прошла бесследно, она подхлестнула волю человека, который всю жизнь поступал по-своему. Он будет встречаться с ней, сколько ему вздумается. Почему бы не съездить в город к своему поверенному и самому не изменить завещание, вместо того чтобы писать Хэрингу; может быть, ей захочется пойти в оперу. Но только поездом: не желает он, чтобы этот толстый Бикон скалил зубы у него за спиной. Слуги такие дураки; да еще, наверное, знают всю старую историю Ирэн и Босини — слуги знают все, а об остальном догадываются. Утром он написал ей:

«Милая Ирэн, завтра мне нужно быть в городе. Если Вам хочется заглянуть в оперу, давайте пообедаем спокойно...»

Но где? Уже лет сорок он нигде не обедал в Лондоне, кроме как в своем клубе или в частном доме. Ах да, есть этот новомодный отель у самого Ковент-Гарден...

«Дайте мне знать завтра утром в отель «Пьемонт», ждать ли мне Вас там в семь часов.

Преданный Вам Джолион Форсайт».

Она поймет, что ему просто захотелось доставить ей маленькое удовольствие. Ибо мысль, что она может догадаться о его неотвязном желании видеть ее, была ему почему-то неприятна. Не дело такому старику нарушать свой образ жизни, чтобы увидеть красоту, да еще в женщине!

На следующий день поездка, хоть и короткая, и визит к поверенному утомили его. Было жарко, и, переодевшись к обеду, он прилег на диван немножко отдохнуть. С ним, вероятно, случился легкий обморок, так как он очнулся с очень странным ощущением и еле заставил себя подняться и позвонить. Как! Уже восьмой час, а он-то! И она уже, наверно, дожидается! Но головокружение внезапно повторилось, и ему пришлось снова опуститься на диван. Он услышал голос горничной:

— Вы звонили, сэр?

— Да, подойдите сюда.— Он видел ее неясно: перед глазами стоял туман.— Мне нездоровится, достаньте мне нюхательные соли.

— Сейчас, сэр.

Ее голос звучал испуганно.

Старый Джолион сделал усилие.

— Пойдите! Передайте поручение моей племяннице, она ждет в вестибюле — дама в сером. Скажите, мистеру Форсайту нездоровится — жара. Он очень сожалеет. Если он сейчас не сойдет вниз, пусть не ждет обедать.

Когда она ушла, он бессильно подумал: «Зачем я сказал: «дама в сером»? Она может быть в чем угодно. Нюхательные соли!» Сознания он снова не потерял, однако не помнил, как Ирэн очутилась рядом с ним, подносила ему к носу соли, подсовывала под голову подушку. Он слышал, как она спросила тревожно: «Дядя Джолион, дорогой, что с вами?», смутно почувствовал на руке мягкое прикосновение ее губ; потом глубоко вдохнул нюхательные соли, внезапно обнаружил в них силу и чихнул.

— Ха,— сказал он,— пустяки! Как вы сюда попали? Идите вниз и обедайте. Билеты на столе перед зеркалом. Через пять минут я буду молодцом.

Он почувствовал у себя на лбу прохладную руку,

вдохнул запах фиалок и сидел, колеблясь между чувством удовлетворения и твердой решимостью быть молодым.

— Как, вы и правда в сером,— сказал он.— Помогите мне встать.— Поднявшись на ноги, он встряхнулся.— Нужно же было мне так раскиснуть.— И он очень медленно двинулся к зеркалу.— Ну и скелет!

Ее голос тихо сказал у него за спиной:

— Не надо вам идти вниз, дядя Джолион, надо отдохнуть.

— Еще недоставало! Бокал шампанского живо поставит меня на ноги. Не могу я допустить, чтобы вы не попали в оперу.

Но путешествие по коридору оказалось нелегким делом. Что у них за ковры в этих новомодных отелях, такие толстые, что спотыкаешься о них на каждом шагу! В лифте он заметил, какой у нее встревоженный вид, и сказал, пытаюсь подмигнуть:

— Хорошо я вас принимаю, нечего сказать!

Когда лифт остановился, старому Джолиону пришлось крепко ухватиться за сиденье, чтобы не дать ему ускользнуть; но после супа и бокала шампанского он почувствовал себя гораздо лучше и начал испытывать удовольствие от недомогания, которое внесло столько заботливости в ее отношение к нему.

— Хорошо бы вы были моей дочерью,— сказал он вдруг и, видя, что глаза ее улыбаются, продолжал:— Нельзя жить только прошлым в вашем возрасте; еще успеете, когда доживете до моих лет. Красивое на вас платье, люблю этот стиль.

— Я сама сшила.

А-а! Женщина, которая может сшить себе красивое платье, еще не потеряла вкуса к жизни!

— Живите, пока можно,— сказал он,— и выпейте вот это. Мне хочется, чтобы вы порозовели. Нельзя портить себе жизнь; это не годится. Сегодня новая Маргарита; будем надеяться, что она не толстая. А Мефистофель — что может быть ужаснее, чем толстяк в роли черта!

Но в оперу они так и не попали, потому что после обеда у него опять закружилась голова и Ирэн настояла на том, что ему надо отдохнуть и рано лечь спать. Когда он

расстался с ней у подъезда отеля, заплатив кэбмену, увозившему ее в Челси, он снова присел на минутку, чтобы с наслаждением вспомнить ее слова: «Вы так добры ко мне, дядя Джолион». Ну а как же иначе! Он с удовольствием остался бы в Лондоне еще на денек и сходил с ней в Зоологический сад, но два дня подряд в его обществе — ей станет до смерти скучно! Нет, придется подождать до следующего воскресенья, она обещала приехать. Они условятся об уроках для Холли — хотя бы на месяц. Все лучше, чем ничего! Маленькой *mad'zelle* Бос это не понравится, ничего не поделаешь, проглотит. И, прижимая к груди старый цилиндр, он направился к лифту.

На следующее утро он поехал на вокзал Ватерлоо, борясь с желанием сказать: «Отвезите меня в Челси». Но чувство меры одержало верх. Кроме того, его все еще пошатывало, и он опасался, как бы не повторилось вчерашнее, да еще вдали от дома. И Холли ждала его и то, что он вез ей в саквояже. Впрочем, его детка не способна на корыстную любовь, просто у нее нежное сердечко. Потом с горьким стариковским цинизмом он на минуту усомнился: не корыстная ли любовь заставляет Ирэн терпеть его общество. Нет, она тоже не такая! Ей скорее даже недостает понимания своей выгоды, никакого чувства собственности у бедняжки! Да он и не обмолвился о завещании, и не надо — нечего забегать вперед.

В открытой коляске, которая выехала за ним на станцию, Холли усмиряла пса Балтазара, и их возня развлекала его до самого дома. Весь этот ясный жаркий день и почти весь следующий он был доволен и спокоен, отдыхая в тени, пока ровный солнечный свет щедро изливался золотом на цветы и газоны. Но в четверг вечером, сидя один за столом, он начал считать часы; шестьдесят пять до того, как он снова будет встречать ее в роще и вернется полями, с ней рядом. Он думал было поговорить с доктором о своем обмороке, но тот, конечно, предпишет покой, никаких волнений и все в этом духе, а он не намерен позволить привязать себя за ногу, не желает, чтобы ему говорили о серьезной болезни, если она у него есть, просто не может этого слышать, в свои годы, теперь, когда у него появился новый инте-

рес в жизни. И он нарочно ни словом не обмолвился об этом в письме к сыну. Только вызывать их домой раньше срока! Насколько он этим молчанием оберегал их спокойствие, насколько имел в виду свое собственное— об этом он не задумывался.

В тот вечер у себя в кабинете он только что докурив сигару и стал впадать в дремоту, как услышал шелест платья и почувствовал запах фиалок. Открыв глаза, он увидел ее у камина, одетую в серое, протягивающую вперед руки. Странно было то, что, хотя руки, казалось, ничего не держали, они были изогнуты, словно обвивались вокруг чьей-то шеи, а голова была закинута, губы открыты, веки опущены. Она исчезла мгновенно, и осталась каминная доска и его статуэтки. Но ведь этих статуэток и доски не было, когда здесь была Ирэн, только стена и камин. Потрясенный, озадаченный, он встал. «Нужно принять лекарство,— подумал он,— я болен». Сердце билось неестественно быстро, грудь стесняло, как при астме; и, подойдя к окну, он открыл его — не хватало воздуха. Вдалеке лаяла собака, верно, на ферме Гейджа, за рощей. Прекрасная тихая ночь, но темная. «Я задремал,— думал он,— вот в чем дело! А между тем, готов поклясться, глаза у меня были открыты». В ответ слышался звук, похожий на вздох.

— Что такое?— сказал он резко.— Кто здесь?

Прижав руки к груди, чтобы не так колотилось сердце, он вышел на террасу. Что-то мягкое метнулось во мраке. «Шшш!» Это была большая серая кошка. «Молодой Босини напоминал большую кошку,— подумал он.— Это он был там в комнате, это его она... она... Он все еще владеет ею!» Он дошел до края террасы и заглянул вниз, в темноту; чуть видны были ромашки, усеявшие нескошенный газон. Сегодня здесь, завтра погибнут! А вот и луна, она все видит, молодое и старое, живое и мертвое, и ни до чего ей нет дела! Скоро и его черед. За один день молодости он бы отдал все, что осталось! И он снова повернул к дому. Были видны окна детской на втором этаже. Его детка спит, конечно. «Только бы эта собака не разбудила ее,— подумал он.— Отчего это мы любим, отчего умираем? Пора спать».

И по плитам террасы, начинавшим сереть от света луны, он прошел обратно в комнаты.

Как еще старику проводить свои дни, если не в размышлениях о хорошо прожитой жизни? Эти мысли не согреты волнением, на них светит только бледное зимнее солнце. Оболочка выдержит мягкое биение моторов памяти. К настоящему ему следует относиться с опаской, от будущего держаться подальше. Из густой тени следует ему смотреть на солнечный свет, играющий у его ног. Если засветит летнее солнце, пусть не выходит, приняв его за осенний солнечный день. И тогда, может быть, он состарится тихо, мягко, незаметно, и наконец нетерпеливая Природа схватит его за горло, и он задохнется насмерть как-нибудь ранним утром, когда мир еще не проверен, и на могиле его напишут: «В расцвете лет». Н-да! Если Форсайт твердо придерживается своих принципов, он может жить еще долго после смерти.

Старый Джолион прекрасно знал все это, но было в нем и то, что выходило за пределы форсайтизма. Ибо известно, что Форсайт не должен любить красоту больше разума; ни ставить собственные желания выше собственного здоровья. А в эти дни что-то билось в нем, что с каждым ударом понемногу разрушало ветшающую оболочку. Он был умен и знал это, но знал также и то, что не может остановить это биение, а если бы и мог, не захотел бы. Между тем всякого, кто сказал бы ему, что он проживает свой капитал, он просто уничтожил бы взглядом. Нет, нет, капитал не проживают, это неприлично! Кумиры вчерашнего дня всегда реальнее сегодняшних фактов. И он, всю жизнь считавший, что проживать капитал — это смертный грех, никак не мог бы согласиться на такую грубую формулу в приложении к самому себе. Удовольствие полезно для здоровья; красота радует глаз; жить снова — молодостью молодых, — а что же, как не это, он и делает!

Методично, следуя привычке всей своей жизни, он распределил свое время. По вторникам он отправлялся в Лондон поездом; Ирэн приезжала к нему обедать, и они шли в оперу. По четвергам он ездил в город в коляске и, оставив где-нибудь толстяка с лошадьми, встречался с ней в Кенсингтонском саду, а расставшись, снова садился в коляску и поспевал домой к обеду. Дома он

объяснил мимоходом, что в эти дни у него в Лондоне дела. По средам и субботам она приезжала давать Холли уроки музыки. Чем больше удовольствия он находил в ее обществе, тем более становился сдержанным и корректным: самый прозаический добрый дядюшка. Да большего он и не чувствовал — ведь он как-никак был очень стар. А между тем, если она опаздывала, он не находил себе места. Если не приезжала, а это случилось два раза, глаза у него делались печальными, как у старой собаки, и он лишался сна.

И так прошел месяц — месяц лета в полях и в его сердце, с летним изнуряющим зноем. Кто бы поверил несколько недель назад, что он будет ждать возвращения сына и внучки чуть не со страхом? В эти недели дивной погоды, в новом общении с женщиной, которая ничего не требовала и всегда оставалась чуть-чуть незнакомой, сохраняя обаяние тайны, он наслаждался свободой и той самостоятельностью, которую человек теряет, когда создает семью. Словно глоток вина для того, кто, подобно ему, так долго пил воду, что чуть не забыл, как вино разгоняет кровь и туманит сознание. Цветы пестрели ярче, запахи, и музыка, и солнечный свет ожили, не были уже только напоминанием о прошлых радостях. Теперь ему было для чего жить, он непрестанно волновался и ждал. Он этим и жил, а не прошлым — существенная разница для человека в его возрасте. Утехи хорошего стола, которые он, будучи по природе воздержанным, никогда не ставил особенно высоко, теперь потеряли всякую ценность. Он ел мало, не разбирая, что ест; и с каждым днем худел, и вид у него становился все более изможденный. Он снова стал «щепкой»; и огромный лоб со впавшими висками придавал еще больше благородства похудевшей фигуре. Он прекрасно сознавал, что надо посоветоваться с доктором, но уж очень сладка была свобода. Не мог он пожертвовать свободой, чтобы возиться с одышкой и болью в боку! Вернуться к растительному существованию, которое он вел среди своих сельскохозяйственных журналов с кормовой свеклой в натуральную величину до того, как в его жизни появился этот новый интерес, — нет! Он стал больше курить. Две сигары в день он всегда позволял себе. Теперь он выкуривал три, иногда четыре — как всякий мужчина, в котором живет

творческий дух. Но очень часто он подумывал: «Надо бросить курить и пить кофе; надо бросить это катанье в город!» И не бросал; никого, кто мог бы повлиять на него, с ним не было, и это было великое благо. Слуги, возможно, недоумевали, но, разумеется, не говорили ни слова. Mam'zelle Бос была слишком занята собственным пищеварением и слишком «хог'ошо воспитана», чтобы говорить на личные темы. Холли еще не научилась замечать, как выглядит тот, кто был ей игрушкой и богом. Самой Ирэн приходилось уговаривать его есть побольше, отдыхать в жаркое время дня, принимать лекарства. Но она не говорила ему, что он худеет из-за нее, — ведь трудно увидеть опустошение, которому ты сам причиной. В восемьдесят пять лет мужчина не знает страсти, но красота, которая рождает страсть, действует по-прежнему, пока смерть не сомкнет глаза, жаждущие смотреть на нее.

В первый день второй недели июля он получил письмо из Парижа от сына с известием, что все они будут дома в пятницу. Он все время знал, что это неизбежно, но с трогательным легкомыслием, которое дается старым людям, чтобы они могли выдержать до конца, все же не вполне этому верил. Теперь он поверил, и что-то нужно было предпринять. Он уже не мог вообразить себе жизни без этого нового интереса, но невообразимое иногда существует, и Форсайты сплошь да рядом убеждаются в этом на собственной шкуре. Он сидел в старом кожаном кресле, складывая письмо и разминая губами конец незажженной сигары. Еще один день, а потом поездки в город по вторникам придется бросить. Разве что можно будет ездить в коляске раз в неделю под предлогом свиданий с юристом. Но и это будет зависеть от его здоровья, ведь теперь они начнут с ним нянчиться. Уроки! Уроки должны продолжаться! Пусть Ирэн отделается от своих страхов, и Джун должна спрятать чувства в карман. Она уже сделала это однажды — когда узнала о смерти Босини; как тогда поступила, конечно, может поступить и теперь. Четыре года, как ей нанесли это оскорбление, не по-христиански это — хранить память о старых обидах! У Джун сильная воля, но у него сильнее, ибо время его кончается. Ирэн такая мягкая, она, конечно, сделает это для него, подавит свои колебания, чтобы

не причинять ему боли. Уроки должны продолжаться; ведь если так — он спасен! И, закулив, наконец, сигару, он начал обдумывать, как рассказать своим, как объяснить им эту странную дружбу; как скрыть, заслонить от них голую истину, что он не вынесет, если у него отнимут возможность видеть красоту. А, Холли! Холли ее любит, Холли нравятся уроки! Она его выручит, его детка! И на этой счастливой мысли он совсем успокоился и уже не мог понять, о чем это он так страшно тревожился. Не нужно тревожиться, после этого он всегда испытывает необычайную слабость и ощущение, будто половина его находится вне его тела.

В тот вечер после обеда головокружение повторилось, хоть он и не потерял сознания. Звонить он не захотел, так как знал, что это вызовет кутерьму и сделает его завтрашнюю поездку в город еще более приметной. Когда ты стар, все, как сговорившись, пытаются ограничить твою свободу, а зачем? — чтобы немножко продлить тебе жизнь. Не хочет он этого — такой ценой! Только пес Балтазар видел, как он один оправился от своей слабости; пес с тревогой смотрел, как его хозяин подошел к буфету и выпил коньяку, вместо того чтобы дать ему печенья. Когда, наконец, старый Джолион почувствовал, что сладит с лестницей, он пошел спать. И хотя наутро он еще не твердо держался на ногах, мысль о вечере поддерживала его и прибавляла сил. Так бывало всегда приятно угостить Ирэн хорошим обедом: он подозревал, что она недоедает, когда остается одна; а потом в опере смотреть, как ее глаза горят и светлеют, как бессознательно улыбаются губы! Не много у нее радости в жизни, и это удовольствие он сможет ей доставить в последний раз! Но, укладывая саквояж, он поймал себя на мысли, что страшится предстоящего ему утомительного переодевания к обеду и усилия, необходимого, чтобы сообщить ей о возвращении Джун.

В театре в тот вечер давали «Кармен», и он выбрал для разговора последний антракт, инстинктивно откладывая объяснение до последней минуты. Она приняла новость спокойно, но немного странно; по правде сказать, он так и не разобрал, как она приняла ее, до того как снова зазвучала своенравная музыка и молчание стало необходимостью. Маска на ее лице была опущена, мас-

ка, за которой жило так много, чего он не знал. Ей, конечно, хочется повременить, обдумать. Он не станет ее торопить, ведь завтра она придет давать урок, и он увидит ее, когда она уже привыкнет к этой мысли. По дороге из театра он говорил только о Кармен: он видел лучших в прежнее время, но и эта совсем не плоха. Когда он взял ее руку, чтобы проститься, она быстро наклонилась и поцеловала его в лоб.

— Прощайте, дорогой дядя Джолион, вы были так добры ко мне!

— Значит, до завтра,— сказал он. — Спокойной ночи. Спите сладко.

Она тихо откликнулась:

— Спите сладко.

И в окне удаляющегося кэба он увидел ее лицо, повернутое к нему, и протянутую руку, словно застывшую в прощальном привет.

Он медленно направился к своему номеру. Каждый раз ему давали другой, и он не мог привыкнуть к этим «шикарным» спальням с новой мебелью и серо-зелеными коврами в палевых розах. Ему не спалось, эта несчастная хабанера все стучала в голове. Он никогда не владел французским достаточно, чтобы разобрать все слова, но смысл их знал, если только в них вообще был смысл; цыганская песенка, дикая, непонятная! Впрочем, есть в жизни что-то, что опрокидывает все наши труды и планы, заставляет людей плясать под свою дудку. И он лежал, вглядываясь запавшими глазами в темноту, где царило непонятное. Думаешь, что держишь свою жизнь в руках, а оно подкрадывается к тебе, хватается за шиворот, толкает туда, толкает сюда, а потом, чего доброго, задушит до смерти! Так, вероятно, оно хватается и звезды, сталкивает их носами и расшвыривает; никак не устанет играть свои шутки! Пять миллионов людей в этом дурацком громадном городе, и все они во власти этой силы — Жизни, как кучка сухих горошинок, которые прыгают по доске, когда ударишь по ней кулаком. Ему-то, положим, недолго осталось прыгать, глубокий долгий сон пойдет ему на пользу.

Как жарко тут в городе! Как шумно! Лоб у него горел; она поцеловала его как раз туда, где всегда беспокоило, будто знала верное место и хотела утешить. Но вмес-

то этого от прикосновения ее губ осталось чувство горестной растерянности. Никогда раньше она не говорила таким голосом, никогда не делала этого прощального жеста, не оглядывалась на него, уезжая. Он встал с постели и отдернул занавеску; окна выходили на реку. Было душно, но от вида протекающей мимо водной шири, спокойной, вечной, ему стало легче. «Самое главное,— подумал он,— не надоедать людям. Буду думать о моей детке и засну». Но еще не скоро жара и шум лондонской ночи сменились короткой дремотой летнего утра. И старый Джолион почти не сомкнул глаз.

Когда на следующий день старый Джолион добрался домой, он вышел в цветник и с помощью Холли, которая очень нежно обращалась с цветами, собрал большой букет гвоздики. Он сказал ей, что они для «дамы в сером», это имя все еще было в ходу между ними; и поставил их в вазу у себя в кабинете, где намеревался атаковать Ирэн, как только она приедет, по вопросу о Джун и дальнейших уроках. Благоухание и краски помогут! После завтрака он прилег, так как очень устал, а она должна была приехать со станции только в четыре. Но с приближением этого часа он стал беспокоиться и пошел в классную, выходящую окнами на дорогу. Шторы были спущены, Холли и мадемуазель Бос, укрывшись от зноя душного июльского дня, занимались шелковичными червями. Старый Джолион питал врожденное отвращение к этим методичным созданиям, цветом и формой головы напомиравшим ему слонов, прогрызавшим столько дырок в красивых зеленых листьях и пахнувшим, по его мнению, прескверно. Он сел на обитый ситцем диван у окна, откуда была видна дорога и где было не так душно; и пес Балтазар, который одобрял ситец в жаркие дни, вскочил на диван с ним рядом. На пианино был надет лиловый чехол, почти серый от времени, и стоявшая на нем ранняя мята наполняла классную своим запахом. Несмотря на прохладу комнаты, может быть, благодаря этой прохладе, биение жизни угнетающе действовало на ослабевшие чувства старого Джолиона. Каждый солнечный луч, проникавший сквозь щели, дразнил своим блеском; от собаки очень сильно пахло; одурял аромат мяты, шелковичные черви, выгибавшие серо-зеленые спинки, были живыми до ужаса; и темная головка Холли, склонен-

ная над ними, ярче обычного отливала шелком. Поражительная, до жестокости сильная штука — жизнь, когда ты стар и слаб; точно дразнит своим многообразием, бьющей через край энергией! Никогда до этих последних недель он не знал этого чудного ощущения, будто половину его существа захлестнуло и несет потоком жизни, а другая половина осталась на берегу и смотрит ей вслед. Только когда с ним была Ирэн, эта раздвоенность сознания исчезала.

Холли повернула голову, указала смуглым кулачком на рояль — ибо пальцем «хог'ошо воспитанные» дети не показывают — и сказала лукаво:

— Посмотри на «даму в сером», дедушка; правда, она сегодня хорошенькая?

У старого Джолиона забилося сердце, и на мгновение комнату застлал туман; потом туман рассеялся, и он спросил, подмигнув:

— Кто же это одел ее?

— Mam'zelle!

— Hollee! Не говори глупостей!

Ах уж эта француженка! Никак не может пережить, что у нее отняли уроки музыки. Ничего не поделаешь! Его детка — их единственный друг. А это ее уроки. И он не уступит, ни за что не уступит! Он погладил теплую шерсть на голове Балтазара и услышал голос Холли:

— Когда мама вернется, все останется, как сейчас, правда? Она ведь не любит чужих.

Слова девочки будто окружили старого Джолиона ледяной атмосферой протеста, показали ему, что грозит его вновь обретенной свободе. А! Придется признать себя стариком, сдаться на милость забот и любви. Или бороться за свою новую и незаменимую дружбу, а от борьбы он уставал смертельно. Но его худое, изможденное лицо так затвердело в решимости, что казалось сплошным подбородком. Это его дом; и его дело; он не уступит! Он взглянул на часы, старые, тонкие, как и он сам; они жили у него пятьдесят лет. Уже пятый час. И, мимоходом поцеловав Холли в макушку, он спустился в холл. Он хотел захватить Ирэн раньше, чем она пройдет наверх давать урок. Едва заслышав шум колес, он вышел на крыльцо и сейчас же увидел, что коляска пуста.

— Поезд пришел, сэр, но дама не приехала.

Старый Джолион строго взглянул на него снизу вверх, глаза его словно отталкивали от себя любопытство толстяка, запрещали ему уловить горькое разочарование, которое он испытывал.

— Хорошо,— сказал он и повернул обратно в дом.

Он прошел в кабинет и сел, дрожа как осиновый лист. Что это значит? Может быть, опоздала на поезд, но он слишком хорошо знал, что это не так. «Прощайте, дорогой дядя Джолион!» Почему «прощайте», а не «до свидания»? И ее рука, застывшая в воздухе. И ее поцелуй. Что это значит? Им овладела неистовая тревога и раздражение. Он встал и зашагал взад и вперед по турецкому ковру между окном и стеной. Она его бросила! Он был уверен в этом и безоружен. Старик, а хочет любоваться красотой! Не смешно ли! Старость сковала его уста, отняла способность бороться. Нет у него права на все живое и теплое, ни на что нет права, кроме воспоминаний и горя. Упрашивать ее он не мог: гордость есть и у стариков. Безоружен! Целый час, не чувствуя физической усталости, он ходил взад и вперед, мимо вазы с гвоздикой, которую нарвал для нее и которая дразнила его своим запахом.

Человеку, всю жизнь поступавшему по-своему, труднее всего снести поражение его воли. Жизнь поймала его в сети, и, как несчастная рыба, он плавал и бился о петли то тут, то там, не в силах выскользнуть или прорвать их. В пять часов ему принесли чай и письмо. На мгновение в нем вспыхнула надежда. Он разрезал конверт ножом для масла и прочел:

«Милый, дорогой дядя Джолион, мне так тяжело писать Вам то, что Вас может огорчить, но вчера я просто не решилась сказать. Я чувствую, что не могу, как раньше, приезжать и давать Холли уроки, теперь, когда возвращается Джун. Некоторые вещи ранят так глубоко, что их нельзя забыть. Так радостно было видеть Вас и Холли! Может быть, мы еще будем иногда встречаться, когда Вы будете приезжать в город, хотя я уверена, что Вам это вредно,— я ведь вижу, как Вы переутомляетесь. По-моему, Вам нужно как следует отдохнуть до конца жары, и теперь, с приездом Вашего сына и Джун, Вам

будет так хорошо. Тысячу раз благодарю Вас за всю Вашу доброту ко мне.

Любящая Вас *Ирэн*».

Так вот оно! Вредно ему радоваться, иметь то, что он больше всего ценит; пытаться оттянуть ощущение неизбежного конца всего, смерти, подкрадывающейся тихими, шуршащими шагами! Вредно! Даже она не могла понять, что она для него — новая возможность держаться за жизнь, воплощение всей той красоты, которая от него ускользает.

Чай остыл, сигара оставалась незакуренной; а он все шагал взад-вперед, разрываясь между жаждой жизни и гордостью. Невыносимо знать, что тебя медленно вытесняют из жизни без права высказать свое мнение; продолжать жить, когда твоя воля — в руках других, твердо решивших раздавить тебя заботой и любовью! Невыносимо! Он посмотрит, как на нее подействует правда, когда она узнает, что видеть ее ему важнее, чем просто тянуть подольше. Он сел к старому письменному столу и взял перо. Но не мог писать. Было что-то унижительное в необходимости упрашивать ее, упрашивать, чтобы она согрела его взор своей красотой. Все равно, что признаться в слабоумии! Он просто не мог. И вместо этого написал:

«Я надеялся, что память о былых обидах не сможет помешать тому, что идет на радость и пользу мне и моей маленькой внучке. Но старых людей учат отказываться от прихотей; что же делать, ведь даже от прихоти жить нужно рано или поздно отказаться; и может быть, чем раньше, тем лучше.

С приветом *Джوليон Форсайт*».

«Горько,— подумал он,— но иначе не могу. Устал я».

Он запечатал письмо, бросил его в ящик, чтобы забрали с вечерней почтой, и, услышав, как оно упало на дно, подумал: «Вот и кончено все, что у меня оставалось».

Вечером, после обеда, к которому он едва притронулся, после сигары, которую бросил, докурив до половины, потому что почувствовал слабость, он очень медленно поднялся наверх и неслышно зашел в детскую. Он присел у окна. Горел ночник, и он едва различал лицо Холли

и подложенную под щечку руку. Гудел жук, попавший в папиросную бумагу, которой был набит камин, одна из лошадей в конюшне беспокойно била ногой. Как спит эта девочка! Он раздвинул планки деревянной шторы и выглянул. Луна вставала кроваво-красная. Никогда он не видел такой красной луны! Леса и поля вдалеке тоже клонились ко сну в последнем отблеске летнего дня. А красота бродила, как призрак. «Я прожил долгую жизнь,— думал он,— имел все лучшее, что есть в этом мире. Я просто неблагодарный; я видел столько красоты в свое время. Бедный молодой Босини говорил, что у меня есть чувство красоты. На луне сегодня странные пятна!» Пролетела ночная бабочка, еще одна, еще. «Дамы в сером»! Он закрыл глаза. Им овладело чувство, что он уже никогда их не откроет; он дал этому чувству вырасти, дал себе ослабеть; потом вздрогнул и с усилием поднял веки. Несомненно, с ним творится что-то неладное, очень неладное; придется все-таки пригласить доктора. Теперь-то все равно! И в рощу, наверно, пробрался лунный свет; там тени, и одни только тени не спят. Пропали птицы, звери, цветы, насекомые; одни тени движутся; «дамы в сером»! Перелезают через упавшее дерево, шепчутся. Она и Босини? Чудная мысль! И лягушки и лесная мошкара тоже шепчутся. Как громко тикают часы! Было таинственно, жутко, там, в свете красной луны, и здесь тоже, при маленьком спокойном ночнике; тикали часы, халат няни свисал с ширмы, длинный, похожий на фигуру женщины. «Дама в сером»! И очень странная мысль завладела им: существует ли она вообще! Приезжала ли когда-нибудь? Или она только отзвук всей красоты, которую он любил в жизни и так скоро должен покинуть? Серо-лиловая фея с темными глазами и короной янтарных волос, что является на рассвете, и в лунные ночи, и в знойные дни? Что она, кто она, есть ли она вообще? Он встал и постоял немного, ухватившись за подоконник, чтобы вернуться в реальный мир; потом на цыпочках пошел к двери. В ногах кровати он остановился; и Холли, словно чувствуя его взгляд, устремленный на нее, зашевелилась, вздохнула и плотнее свернулась, защищаясь. Он тихо двинулся дальше и вышел в темную галерею; добрался до своей комнаты, сейчас же разделся и стал перед зеркалом в ночной рубаш-

ке. Ну и чучело — виски ввалились, ноги тонкие! Глаза его отказывались воспринимать собственный образ, на лице появилось выражение гордости. Все сговорились заставить его сдаться, даже его отражение в зеркале, но он не сдался — нет еще! Он лег в постель и долго лежал без сна, пытаясь смириться, слишком хорошо сознавая, что тревога и разочарование ему очень вредны.

Утром он проснулся такой неотдохнувший и обессиленный, что послал за доктором. Осмотрев его, тот скорчил недовольную мину и велел лежать в постели и бросить курить. Это не было лишением: вставать было незачем, а к табаку он всегда терял вкус, когда бывал болен. Он лениво провел утро при спущенных шторах, листая и перелистывая «Таймс», почти не читая, и пес Балтазар лежал около его кровати. Вместе с завтраком ему принесли телеграмму: «Письмо получила приеду сегодня буду у вас четыре тридцать Ирэн».

Приедет! Дождлся! Так она существует, и он не покинут! Приедет! По всему телу прошло тепло; щеки и лоб горели. Он выпил бульон, отодвинул столик и лежал очень тихо, пока не убрали посуду и он не остался один; но время от времени глаза его подмигивали. Приедет! Сердце билось быстро, а потом, казалось, совсем переставало биться. В три часа он встал и не спеша бесшумно оделся. Холли и *mad'zelle*, верно, в классной, прислуга, скорее всего, пообедала и спит. Он осторожно отворил дверь и сошел вниз. В холле одиноко лежал пес Балтазар, и в сопровождении его старый Джолион прошел в свой кабинет, а оттуда — на палящее солнце. Он думал пойти встретить ее в роще, но сейчас же почувствовал, что не сможет в такую жару. Тогда он уселся под старым дубом около качелей, и пес Балтазар, тоже страдавший от жары, улегся у его ног. Он сидел и улыбался. Какой буйный, яркий день! Как жужжат насекомые, воркуют голуби! Квинтэссенция летнего дня. Дивно! И он был счастлив, счастлив, как мальчишка. Она приедет; она его не бросила. У него есть все, чего он хочет в жизни, если бы только легче было дышать и не так давило вот тут! Он увидит ее, когда она выйдет из папоротников, подойдет, чуть покачиваясь, серо-лиловая фигурка, пройдет по ромашкам, и одуванчикам, и макам газона — по макам с цветущими шапками. Он не поше-

вельнется, но она подойдет к нему и скажет: «Милый дядя Джолион, простите!», и сядет на качели, и он сможет глядеть на нее и рассказать ей, что он немножко прихворнул, но сейчас совсем здоров; и пес будет лизать ей руку. Пес знает, что хозяин ее любит; хороший пес.

Под густыми ветвями было совсем тенисто; солнце не проникало к нему, только озаряло весь мир вокруг, так что был виден Эпсомский ипподром вон там, очень далеко, и коровы, что паслись в клевере, обмахиваясь хвостами от мух. Пахло липами и мятой. А, вот почему так шумели пчелы. Они были взволнованы, веселы, как взволновано и весело было его сердце. И сонные, сонные и пьяные от меда и счастья, как сонно и пьяно было у него на сердце. Жарко, жарко,— словно говорили они; большие пчелы, и маленькие, и мухи тоже.

Часы над конюшней пробили четыре; через полчаса она будет здесь. Он чуточку вздремнет, ведь он так мало спал последнее время; а потом проснется свежим для нее, для молодости и красоты, идущей к нему по залитой солнцем лужайке,— для дамы в сером! И, глубже усевшись в кресло, он закрыл глаза. Едва заметный ветерок принес пушинку от чертополоха, и она опустилась на его усы, более белые, чем она сама. Он не заметил этого; но его дыхание шевелило ее. Луч солнца пробился сквозь листву и лег на его башмак. Прилетел шмель и стал прохаживаться по его соломенной шляпе. И сладкая волна дремоты проникла под шляпу в мозг, и голова качнулась вперед и упала на грудь. Знойно, жарко,— жужжало вокруг.

Часы над конюшней пробили четверть. Пес Балтазар потянулся и взглянул на хозяина. Пушинка не шевелилась. Пес положил голову на освещенную солнцем ногу. Она осталась неподвижной. Пес быстро отнял морду, встал и вскочил на колени к старому Джолиону, заглянул ему в лицо, взвизгнул, потом, соскочив, сел на задние лапы, задрал голову. И вдруг протяжно, протяжно завыл.

Но пушинка была неподвижна, как смерть, как лицо его старого хозяина.

Жарко... жарко... знойно! Бесшумные шаги по траве!

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Д. Жантисева. Джон Голсуорси</i>	3
---	---

САГА О ФОРСАЙТАХ

Предисловие автора. <i>Перевод М. Лорие</i>	33
---	----

СОБСТВЕННИК

Перевод Н. Волжиной

Часть первая

I. Прием у старого Джолиона	39
II. Старый Джолион едет в оперу	58
III. Обед у Суизина	74
IV. Проект нового дома	90
V. Семейный очаг Форсайта	100
VI. Джемс во весь рост	107
VII. Прегрешение старого Джолиона	117
VIII. Проект дома готов	126
IX. Смерть тети Энн : :	135

Часть вторая

I. Дом строится	145
II. Праздник Джун	153
III. Поездка с Суизином	161
IV. Джемс решил убедиться собственными глазами	172
V. Сомс и Босини переписываются	183
VI. Старый Джолион в Зоологическом саду	199
VII. Съезд у Тимоти	205
VIII. Бал у Роджера	219

IX. Вечер в Ричмонде	228
X. Симптомы форсайтизма	239
XI. Босини отпущен на честное слово	249
XII. Джун ездит с визитами :	254
XIII. Постройка дома закончена = ...	264
XIV. Сомс сидит на лестнице ≠	272

Часть третья

I. Показания миссис Мак-Эндер	277
II. Ночь в парке	289
III. Встреча в Ботаническом саду :	294
IV. Блуждания в аду	308
V. Суд	319
VI. Сомс приходит с новостями	328
VII. Победа Джун :	339
VIII. Уход Босини	347
IX. Возвращение Ирэн	357

Интерлюдия

ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ФОРСАЙТА. Перевод М. Лорие	365
---	-----

Джон ГОЛСУОРСИ
Собрание сочинений в 16 томах.
Том I.

Иллюстрации художника
П. П и н к и с е в и ч а.

Оформление художника
А. В а с и н а.

Технический редактор
А. Ш а г а р и н а.

Подп. к печ. 26/XII 1961 г. Тираж 350.000 экз.
Изд. № 2318. Зак. 2754. Форм. бум. 84×108¹/₃₂.
Бум. л. 6,5. Печ. л. 21,32+5 вкл. (0,51 печ. л.).
Уч.-изд. л. 23,31. Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда».
Москва, А-47, улица «Правды», 24.